

История Греции, том 04 (из 12)

Джордж Гроут

HISTORY OF GREECE.

BY

GEORGE GROTE, Esq.

VOL. IV.

The Project Gutenberg eBook of История Греции, том 04 (из 12).

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать, дарить или повторно использовать ее на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: История Греции, том 04 (из 12)

Автор: Джордж Гроут

Дата выхода: 5 октября 2019 [eBook #60426].

Последнее обновление: 17 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: Продюсеры: Генри Флауэр, Адриан Мастронарди, Рамон Пахарес
Бокс и командой онлайн-распределенной корректуры по адресу
<http://www.pgdp.net> (Этот файл был создан на основе изображений
щедро предоставленных Интернет-архивом/Американскими
Libraries).

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK HISTORY OF GREECE, VOLUME 04 (OF 12) ***

[Примечание транскриптора](#)

[Оглавление](#)

ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ.

BY GEORGE GROTE, Esq.

VOL. IV.

ПЕРЕПЕЧАТАНО СО ВТОРОГО ЛОНДОНСКОГО ИЗДАНИЯ.

NEW YORK:

ХАРПЕР И БРАТЯ, ИЗДАТЕЛИ.

329 И 331 PEARL STREET.

1880.

СОДЕРЖАНИЕ.

VOL. IV.

ЧАСТЬ II.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ.

ГЛАВА XXV.

ИЛЛИРИЙЦЫ, МАКЕДОНЯНЕ, ПЕОНИЙЦЫ.

Различные племена иллирийцев. - Противоречия и контраст иллирийцев с греками. - Эпидамн и Аполлония по отношению к иллирийцам. - Ранние македонцы. - Их первоначальные места обитания. - Общий вид страны, которую они занимали - к востоку от Пинда и Скарда. - Распределение и племена македонян. - Македоняне вокруг Эдессы - ведущая часть народа. - Пиерийцы и боттиевцы - первоначально располагались на берегу Термического залива, между македонцами и морем. - Пеонийцы. - Аргейские греки, основавшие династию в Эдессе - Пердиккас. - Полководческий талант, проявленный греческими вождями над варварскими племенами. - Усиление Эдесской династии - завоевания вплоть до Термического залива, а также над внутренними македонянами. - Дружба между царем Аминтой и Писистратидами.

страницы 1-19

ГЛАВА XXVI.

ФРАКИЙЦЫ И ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ ВО ФРАКИИ.

Фракийцы - их численность и место проживания. - Много отдельных племен, но мало различий в характере. - Их жестокость, хищность и военная эффективность. - Фракийское богослужение и характер азиатов. - Ранняя дата появления халкидских колоний во Фракии. - Самое раннее Мефон - около 720 г. до н. э. - Несколько других небольших поселений на Халкидском полуострове и трех выступающих мысах. - Халкидский полуостров - гора Афон. - Колонии в Паллене, самом западном из трех мысов. - В Ситонии, или среднем мысе. - На мысе Афон - Аканф, Стагейра и т. д. - греческие поселения к востоку от Стримона во Фракии. - Остров Тасус. - Фракийский Херсонес. - Перинф, Селимория и Византия. - Греческие поселения на Эвксинском море, к югу от Дуная. - Лемнос и Имброс.

20-28

ГЛАВА XXVII.

КИРЕНА И БАРКА. - ГЕСПЕРИДЫ.

Первые путешествия греков в Ливию. - Основание Кирены. - Основан Баттусом с острова Фера. - Колония сначала обосновалась на острове Платея, а затем была переведена в Кирену. - Положение Кирены. - Плодородие, урожайность и процветание. - Ливийские племена в окрестностях Кирены. - Широкое господство Кирены и Барки над ливийцами. - Связь греческих колоний с кочевниками Ливии. - Нравы ливийских кочевников. - Смешение греков и ливийцев в Кирене. - Династия Баттусов, Аркесилай, Баттус Второй, в Кирене - свежие колонисты из Греции. - Споры с коренными ливийцами. - Аркесилай Второй, князь

Киренаиды - несчастья города - основание Барки. - Баттус Третий, хромой - реформа Демонекса, который отбирает верховную власть у Баттиадов. - Новая эмиграция - восстановление Баттиады Аркесилая Третьего. - Оракул, ограничивающий продолжительность династии Баттиадов. - Беспорядки в Кирене при Аркесилае Третьем. - Аркесилай посылает свою покорность Камбисесу, царю Персии. - Персидская экспедиция из Египта против Барки - Феретима, мать Аркесилая. - Взятие Барки вероломством - жестокость Феретима. - Баттус Четвертый и Аркесилай Четвертый - окончательное угасание династии около 460-450 гг. до н. э. - конституция Демонакса недолговечна.

29-49

ГЛАВА XXVIII.

ОБЩЕЭЛЛИНСКИЕ ПРАЗДНЕСТВА - ОЛИМПИЙСКИЕ, ПИФИЙСКИЕ, НЕМИЙСКИЕ И ИСТМИЙСКИЕ.

Отсутствие группировки и единства в ранний период греческой истории. - Новые причины, склоняющие к объединению, начинаются после 560 г. до н. э. - Фукидид не знает ни одной общей войны между 776 и 560 гг. до н. э. - Растущая предрасположенность к религиозному, интеллектуальному и социальному союзу. - Взаимный допуск городов на религиозные праздники друг друга. - Раннее величие ионического праздника на Делосе - его упадок. - Олимпийские игры - их известность и долгое продолжение. - Их постепенное увеличение - введение новых матчей. - Олимпийский фестиваль - первый, который переходит от местного к общегреческому характеру. - Пифийские игры, или фестиваль. - Раннее состояние и местоположение Дельф. - Фокийский город Крисса. - Кирра, морской порт Криссы. - Рост Дельф и Кирры - упадок Криссы. - Дерзость киррхейцев, наказанных Амфикионами. - Первая Священная война, 595 год до н. э. - разрушение Кирры. - Пифийские игры, основанные Амфикионами. - Немейские и Истмийские игры. - Панэллинский характер приобретают все четыре фестиваля - Олимпийский, Пифийский, Немейский и Истмийский. - Увеличение частоты других праздников в большинстве греческих городов. - Все остальные греческие города, кроме Спарты, поощряли такие посещения. - Влияние этих праздников на греческий ум.

50-73

ГЛАВА XXIX.

ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ. - СЕМЬ МУДРЕЦОВ.

Возраст и продолжительность греческой лирической поэзии. - Эпическая эпоха предшествует лирической. - Расширение круга тем для поэзии - новые метры - увеличение музыкальной шкалы. - Усовершенствование арфы Терпандром, флейты - Олимпом и другими. - Архилох, Каллинос, Тиртеос и Алкман - 670-600 гг. до н. э. - К гекзаметру добавляются новые метры - элегический, ямбический, трохаический. - Архилох. - Симонидес Аморгосский, Каллинос, Тиртхей. - Музыкальные и поэтические тенденции в Спарте. - Хорическое обучение - Алкман, Талетс. - Дорический диалект, используемый в хорических сочинениях. - Арион и Стесихор - замена профессионального на народный хор. - Распределение хора Стесихор - Строфа - Антистрофа - Эпода. - Алкей и Сапфо. - Гномические или морализирующие поэты. - Солон и Феогнис. - Подчинение музыкального и оркестрового сопровождения словам и смыслу. - Семь мудрецов. - Это были первые люди, которые приобрели эллинскую репутацию, не обладая поэтическим гением. - Раннее проявление философии - в виде максим. - Последующий рост диалектики и дискуссий. - Рост привычки к

письму - начало прозаических сочинений. - Первые зачатки греческого искусства. - Ограниченный характер раннего искусства, обусловленный религиозными ассоциациями. - Монументальные украшения в городах - начало в VI веке до н. э. - Значение греческого искусства как средства эллинского объединения.

73-101

ГЛАВА XXX.

ГРЕЧЕСКИЕ ДЕЛА ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ПИСИСТРАТА И ЕГО СЫНОВЕЙ В АФИНАХ.

Писистрат и его сыновья в Афинах - 500-510 гг. до н. э. - неопределенная хронология относительно Писистрата. - Состояние чувств в Аттике после воцарения Пейсистрата. - Отставка Писистрата и хитрость, с помощью которой он был восстановлен в должности. - Ссора Писистрата с Алкмеонидами - его вторая отставка. - Его второе и окончательное восстановление. - Его сильное правительство - наемники - очищение Делоса. - Мягкий деспотизм Писистрата. - Его сыновья Гиппиас и Гиппарх. - Гармодий и Аристогейтон. - Они устраивают заговор и убивают Гиппарха. 514 Г. ДО Н. Э. - Сильные и устойчивые настроения афинской общественности, соединенные с большой исторической ошибкой. - Гиппиас - деспот в одиночку - 514-510 гг. до н. э. - его жестокость и сознательная неуверенность. - Связь Афин с фракийским Херсонесом и азиатским побережьем Геллеспонта. - Первый Мильтиад - экист Херсонеса. - Второй Мильтиад - посланный туда Писистратидами. - Действия изгнанных Алкмеонидов против Гиппия. - Пожар и восстановление Дельфийского храма. - Алкмеониды отстраивают храм с великолепием. - Благодарность дельфийцев - они получают от оракула указания для Спарты, предписывающие изгнать Гиппия. - Спартанские походы в Аттику. - Изгнание Гиппия и освобождение Афин.

102-126

ГЛАВА XXXI.

ГРЕЧЕСКИЕ ДЕЛА ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ ПИСИСТРАТИДОВ. - РЕВОЛЮЦИЯ КЛЕЙСТЕНА И УСТАНОВЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ В АФИНАХ.

Состояние Афин после изгнания Гиппия. - Лидеры противоборствующих партий - Клейстенес - Исагор. - Демократическая революция во главе с Клейстенесом. - Перестройка и расширение политических прав. - Подавление четырех старых племен и образование десяти новых племен, включающих в себя увеличенное количество населения. - Несовершенное описание этого события у Геродота - его реальное значение. - Основания для противодействия ему в древнем афинском чувстве. - Названия новых племен - их отношение к демам. - Демы, принадлежащие каждому племени, обычно не примыкающие друг к другу. - Устройство и функции дема. - Солонская конституция сохраняется с изменениями. - Изменение военного устройства в государстве. - Десять стратегов, или генералов. - Судебное собрание граждан, или гелиэя, впоследствии разделившееся на фракции, каждая из которых судила отдельно. - Политическое собрание, или экклесия. - Финансовые механизмы. - Сенат пятисот. - Экклесия, или политическое собрание. - Клейстенес - подлинный автор афинской демократии. - Судебные атрибуты народа - их постепенное расширение. - Три момента в афинском конституционном праве, связанные между собой: - всеобщее допущение граждан к магистратуре - выбор по жребию - сокращение функций выбранных по жребию магистратов. - Всеобщая допустимость граждан к архонству - введена только после битвы при Платее. - Конституция Клейстенеса сохранила солонский закон об исключении из числа должностных лиц. - Разница между этой конституцией и политическим состоянием

Афин после Перикла. - Сенат Ареопага. - Остракизм. - Слабость общественной силы в греческих правительствах. - Прошлые преступления афинской знати. - Необходимость создания конституционной морали. - Цель и действие остракизма. - Средства защиты от злоупотребления им. - Остракизм, необходимый как защита ранней демократии - впоследствии от него отказались. - Остракизм аналогичен исключению известного претендента на престол в монархии. - Влияние долгого правления Перикла на укрепление конституционной морали. - Остракизм в других греческих городах. - Поразительное влияние революции Клейстенеса на умы граждан. - Исагор призывает против него Клеоменеса и лакедемонян. - Клеоменес и Исагор изгнаны из Афин. - Отзыв Клейстенеса - Афины просят союза с персами. - Первая связь между Афинами и Платеей. - Споры между Платеей и Фивами - решение Коринфа как арбитра. - Второй поход Клеомена против Афин - дезертирство его союзников. - Первое появление Спарты в качестве действующего главы пелопоннесских союзников. - Значительные успехи Афин против беотийцев и халкидян. - Насажение афинских поселенцев, или клерухов, на территории Халкиса. - Бедствия фиванцев - они просят помощи у Эгины. - Эгинетяне объявляют войну Афинам. - В Спарте готовятся к новому нападению на Афины - созданы спартанские союзники вместе с Гиппием. - Первый официальный созыв в Спарте - продвижение Греции к политической системе. - Ход созыва - оживленный протест Коринфа против любого вмешательства в пользу Гиппия - спартанские союзники отказываются вмешиваться. - Неприятие единоличного правления - теперь преобладающего в Греции. - Поразительное развитие афинской энергии после революции Клейстенеса - язык Геродота. - Влияние идеи или теории демократии на возбуждение афинских настроений. - Патриотизм афинянина между 500-400 гг. до н. э. - в сочетании с духом личного военного напряжения и самопожертвования. - Уменьшение этого активного настроения в восстановленной демократии после Тридцати тиранов.

126-181

ГЛАВА XXXII.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРСИДСКОЙ ИМПЕРИИ. - КИР.

Состояние Азии до возникновения персидской монархии. - Великая власть и союзы Крёза. - Возвышение Кира - неопределенность его ранней истории. - История Астиагеса. - Геродот и Ктесий. - Состояние местных персов при первом восстании Кира. - Территория Ирана - между Тигром и Индом. - Война между Киром и Ктесием. - Крёз испытывает оракулов - триумфальный ответ из Дельф - щедрость Крёза по отношению к оракулу. - Советы, данные ему оракулом. - Он просит о союзе Спарту. - Переправляется через Халис и нападает на персов. - Стремительный поход Кира к Сардам. - Осада и взятие Сард. - Крёс становится пленником Кира - как с ним обращаются. - Обращение Крёза к дельфийскому богу. - Успешное оправдание оракула. - Судьба Крёза впечатляет греческий ум. - Меры, или судьбы. - Состояние азиатских греков после завоевания Лидии Киром. - Они тщетно обращаются за помощью к Спарте. - Кир покидает Сарды - восстание лидийцев подавлено. - Персидский полководец Мазарес нападает на Ионию - лидийский Пактияс. - Гарпаг сменяет Мазареса - завоевание Ионии персами. - Судьба Фокеи. - Эмиграция фокейцев, которую пообещали все, но выполнила только одна половина. - Фокейская колония сначала в Алалии, затем в Элеи. - Предложение Биаса о пан-ионической эмиграции не принято. - Полное завоевание Малой Азии персами.

182-208

ГЛАВА XXXIII.

РОСТ ПЕРСИДСКОЙ ИМПЕРИИ.

Завоевания Кира в Азии. - Его нападение на Вавилон. - Трудный подход к Вавилону - захватчики не оказывают сопротивления. - Кир распределяет реку Гиндес по многим руслам. - Он берет Вавилон, отведя на время воды Евфрата. - Вавилон остается в неизменном виде, не уменьшаясь в силе и населении. - Кир нападает на массагетов - терпит поражение и погибает. - Необычайный стимул для персов, вызванный завоеваниями Кира. - Характер персов. - Жажда внешних завоеваний среди персов в течение трех царствований после Кира. - Камбизес сменяет своего отца Кира - его вторжение в Египет. - Смерть Амасиса, царя Египта, в то время, когда готовилась персидская экспедиция - его сын Псамменит становится преемником. - Завоевание Египта Камбисесом. - Подчинение Кирена и Барки Камбисесу - его проекты по завоеванию Ливии и Эфиопии не осуществились. - Оскорбления Камбисеса в адрес египетской религии. - Безумие Камбисеса - он предаёт смерти своего младшего брата Смердиса. - Заговор мага Патизейтеса, который ставит своего брата царем под именем Смердиса. - Смерть Камбисеса. - Правление лже-Смердиса - заговор семи персидских вельмож против него - он убит. - На престол вступает Дарий. - Политическое значение этого заговора - Смердис представляет перевес мидийцев, который вновь подавляется Дарием. - Восстание мидийцев - подавлено. - Недовольство сатрапов. - Восстание Вавилона. - Отвоеван и разобран Дарием. - Организация Персидской империи Дарием. - Двадцать сатрапий с фиксированной данью, распределенной между ними. - Налоги на различные сатрапии. - Организаторская тенденция Дария - первая императорская монета - императорские дороги и посты. - Остров Самос - его состояние при воцарении Дария. - Поликратес. - Поликратес порывает с Амасисом, царем Египта, и вступает в союз с Камбисесом. - Саамские изгнанники, изгнанные Поликратесом, обращаются за помощью в Спарту. - Лакедемоняне нападают на Самос, но получают отпор. - Нападение саамских изгнанников на Сифнос. - Процветание Поликратеса. - Его убивает персидский сатрап Орэтэс. - Мæндрий, лейтенант Поликратеса на Самосе - он хочет установить свободное правление после смерти Поликратеса - поведение саамитян. - Мæндрий становится деспотом. - Контраст между афинянами и саамитянами. - Силосон, брат Поликратеса, высаживается с персидской армией на Самосе - его история. - Мæндрий соглашается эвакуировать остров. - Многие персидские офицеры убиты - резня саамитян. - Силосон - деспот на Самосе. - Обращение Мæндрия за помощью к Спарте - отказ.

209-252

ГЛАВА XXXIV.

ДЕМОКЕДЫ. - ДАРИЙ ВТОРГАЕТСЯ В СКИФИЮ.

Завоевательные намерения Дария. - Влияние его жены Атоссы. - Кротонийский хирург Димокедес - его приключения - его везут рабом в Сузы. - Он лечит Дария, который щедро вознаграждает его. - Хитростью и влиянием Атоссы он добивается разрешения вернуться в Грецию. - Атосса предлагает Дарию отправиться в экспедицию против Греции. - Димокедес с несколькими персами отправляется за информацией для него. - Путешествие Димокедеса вдоль побережья Греции - он останавливается в Кротоне - судьба его персидских спутников. - Последствия, которые можно было ожидать, если бы Дарий предпринял экспедицию в Грецию. - Дарий выступает в поход против Скифии. - Его военно-морские силы сформированы из азиатских и островных греков. - Он приказывает грекам перебросить мост через Дунай и переправляется через реку. - Он вступает в Скифию - рассказ о его походе невозможен и невразумителен, если рассматривать его как историю. - Описание его похода скорее следует рассматривать как фантазийную картину, иллюстрирующую скифскую войну.

- Поэтическая группировка скифов и их соседей у Геродота. - Сильное впечатление, произведенное скифами на воображение Геродота. - Приказы, отданные Дарием ионийцам у моста через Дунай. - Ионийцы оставлены охранять мост; их поведение при задержке возвращения Дария. - Ионические деспоты сохраняют мост и дают Дарию возможность переправиться через реку, как средство поддержки своего собственного господства у себя дома. - Потеряна возможность освобождения от персов - Завоевание персами Фракии до реки Стримон - Миркин у этой реки отдан Гистиею. - Македоняне и пеонийцы покорены Мегабазом. - Наглость персидских посланников в Македонии - они убиты. - Гистизй основывает процветающую колонию в Миркине - Дарий посылает за ним в Азию. - Персидский полководец Отанес на Геллеспонте - он покоряет пеласгов на Лемносе, Имбросе и т. д. - Лемнос и Имброс захвачены афинянами и Мильтиадесом.

252-280

ГЛАВА XXXV.

ВОССТАНИЕ ИОНИЙЦЕВ.

Дарий увозит Гистиея в Сузы. - Обращение изгнанного Гиппия к Артафернесу, сатрапу Сард. - Состояние острова Наксос - наксийские изгнанники просят помощи у Аристагора Милетского. - Экспедиция против Наксоса, предпринятая Аристагором при содействии сатрапа Артафернеса. - Неудача из-за спора между Аристагором и персидским полководцем Мегабатесом. - Тревога Аристагора - он решает восстать против Персии - подстрекательство к этому со стороны Гистиея. - Восстание Аристагора и милезийцев - деспоты в различных городах свергнуты и захвачены. - Распространение восстания на всю Азиатскую Грецию - Аристагор отправляется просить помощи у Спарты. - Спартанцы отказывают ему в помощи. - Аристагор обращается в Афины - получает помощь и от Афин, и от Эретрии. - Поход Аристагора к Сардам с афинскими и эретрийскими союзниками - сожжение города - отступление и поражение греков от персов. - Афиняне отказываются от союза. - Распространение восстания на Кипр и Византию. - Феникийский флот, вызванный персами - персидские и феникийские войска направлены против Кипра - ионийцы посылают туда помощь - победа персов - они вновь завоевывают остров. - Успехи персов на восставшем побережье Малой Азии. - Аристагор теряет мужество и покидает страну. - Появление Гистиея, получившего разрешение на отъезд из Суз. - Артафернес подозревает Гистиея - он бежит на Хиос. - Он тщетно пытается добиться приема в Милет - ставит себя во главе небольшой пиратской эскадры. - Большое персидское войско, собранное при поддержке феникийского флота для осады Милета. - Союзный греческий флот собрался в Ладе. - Попытки персов разобщить союзников с помощью изгнанных деспотов. - Отсутствие командования и дисциплины в греческом флоте. - Энергия фокейца Дионисия - ему разрешают принять командование. - Недовольство греческих экипажей - они отказываются действовать под командованием Дионисия. - Контраст этой неспособности ионийских экипажей с последующей суровой дисциплиной афинских моряков. - На флоте нарастают беспорядок и недоверие - предательство саамских капитанов. - Полная победа персидского флота при Ладе - разорение ионического флота - тяжелые потери хианцев. - Добровольное изгнание и приключения Дионисия. - Осада, взятие и разорение Милета персами. - Феникийский флот отвоевывает все прибрежные города и острова. - Узкий проход Мильтиадеса от их преследования. - Жестокость персов после завоевания. - Передвижения и смерть Гистиея. - Сочувствие и ужас афинян при захвате Милета - трагический писатель Фриних оштрафован.

280-310

ГЛАВА XXXVI.

ОТ ВОССТАНИЯ ИОАННИТОВ ДО БИТВЫ ПРИ МАРАФОНЕ.

Действия сатрапа Артафернеса после отвоевания Ионии - Мардоний вступает с войском в Ионию - свергает деспотов в греческих городах. - Он идет во Фракию и Македонию - его флот уничтожен страшной бурей у горы Афон - он возвращается в Азию. - Остров Тасос - готовится к восстанию против персов - вынужден покориться. - Подготовка Дария к вторжению в Грецию - он посылает глашатаев по греческим городам, чтобы потребовать землю и воду - многие из них покоряются. - Гигина в числе покорившихся городов - состояние и отношения этого острова. - Вестники Дария преданы смерти, как в Афинах, так и в Спарте. - Последствия этого поступка для Спарты - враждебное отношение к Персии. - Афиняне обращаются к Спарте в связи с *медизмом* (или подчинением персам) Эгины. - Вмешательство Спарты - ее явное приобретение и принятие лидерства в Греции. - Одним из условий признания спартанского лидерства была крайняя слабость Аргоса в этот момент. - Победоносная война Спарты против Аргоса. - Уничтожение аргейцев Клеоменесом в роще героя Аргуса. - Клеоменес возвращается, так и не напав на город Аргос. - Его судят - его своеобразный способ защиты - оправдывают. - Аргос не в состоянии помешать Спарте в деле Эгины и в ее президентской власти. - Клеоменес отправляется в Эгину, чтобы захватить вождей *мединцев* - ему оказывают сопротивление, подстрекаемые его коллегой Демаратом. - В результате интриг Клеомена Демарат низложен, а царем избран Леотихид. - Демарат покидает Спарту и отправляется к Дарию. - Клеоменес и Леотихид отправляются в Эгину, захватывают десять заложников и доставляют их в качестве пленников в Афины. - Важное влияние этих действий на результат первого персидского вторжения в Грецию. - Сбор огромного персидского войска под командованием Датиса на Самосе. - Он пересекает Эгейское море - берет без сопротивления остров Наксос - берет Делос. - Он достигает Эвбеи - осада и взятие Эретрии. - Датис высаживается у Марафона. - Существующее состояние и характер афинян. - Мильтиадес - его приключения - избран одним из десяти полководцев в год, когда персы высадились у Марафона. - Фемистокл и Аристеидес. - Мильтиадес, Аристеидес и, возможно, Фемистокл, теперь были в числе десяти стратегов, или генералов, в 490 году до н. э. - Афиняне просят помощи у Спарты - задержка спартанцев. - Разногласия между десятью афинскими полководцами - пятеро из них рекомендуют немедленное сражение, остальные пятеро против него. - Настоятельные доводы Мильтиадеса в пользу немедленного сражения - решающий голос полемарха. - Поход афинян к Марафону - платейцы спонтанно присоединяются к ним. - Численность армий. - Местонахождение Марафона. - Битва при Марафоне - стремительная атака Мильтиадеса - поражение персов. - Потери с обеих сторон. - Тайные планы персов против Афин - благоприятная для них партия в Аттике. - Быстрый поход Мильтиадеса в Афины в день битвы. - Персы отказываются от предприятия и возвращаются домой. - Афины спасены благодаря скоротечной битве, начатой Мильтиадесом. - Изменение отношения греков к персам - ужас, который они внушали во время Марафонской битвы. - Огромное влияние марафонской победы на чувства греков - особенно афинян. - Кто были те, кто пригласил персов в Афины после битвы - ложное обвинение в адрес Алкмеонидов. - Сверхъестественная вера, связанная с битвой - воспоминания о ней. - Возвращение Датиса в Азию - судьба эретрийских пленников. - Слава Мильтиадеса - его дальнейшее поведение - неудачная экспедиция на Парос - плохое самочувствие Мильтиадеса. - Обида Мильтиадеса по возвращении. - Он оштрафован - умирает от раны - штраф выплачивает его сын Кимон. - Размышления о последних приключениях в жизни Мильтиадеса. - Непостоянство и неблагодарность, вменяемые афинянам, - насколько они заслуживают этого обвинения. - Обычный нрав афинских дикастов при оценке прежних заслуг. - Склонность выдающихся греков к развращению успехом. - В каком смысле, по-видимому, верно, что непостоянство было атрибутом афинской демократии.

ГЛАВА XXXVII.

ИОНИЙСКИЕ ФИЛОСОФЫ. - ПИФАГОРЕЙЦЫ. - КРОТОН И СИБАРИС.

Фаларис - деспот Агригентума. - Талес. - Ионические философы - не школа и не преемственность. - Ступень в философии, начатая Фалесом. - Обширные проблемы со скудными средствами решения. - Одна из причин скептицизма, проходящего через всю греческую философию. - Талес - первоэлемент воды, или жидкости. - Анаксимандр. - Проблема единого и многого - постоянного и переменного. - Ксенофан - его учение противоположно учению Анаксимандра. - Элеатская школа, Парменидес и Зенон, происходящие от Ксенофана - их диалектика - большое влияние на греческую спекуляцию. - Ферекидес. - История Пифагора. - Его характер и доктрины. - Пифагор больше миссионер и школьный учитель, чем политик - его политическая эффективность преувеличена более поздними свидетелями. - Его этическое воспитание - вероятно, применялось не ко всем членам его ордена. - Упадок и последующее обновление пифагорейского ордена. - Пифагор не просто заимствователь, но оригинальный и восходящий ум. - Он переезжает с Самоса в Кротон. - Государство Кротон - олигархическое правительство - прекрасная гимнастическая подготовка и медицинское мастерство. - Быстрые и чудесные результаты, как говорят, были достигнуты благодаря увещаниям Пифагора. - Он создает могущественный клуб, или общество, состоящее из трехсот человек, взятых из богатых слоев населения Кротона. - Политическое влияние Пифагора - косвенный результат конституции ордена. - Причины, приведшие к подрыву пифагорейского ордена. - Насилия, сопровождавшие его низвержение. - Пифагорейский орден сводится к религиозно-философской секте, в характере которой он продолжает существовать. - Война между Сибарисом и Кротоном. - Поражение сибаритов и разрушение их города, отчасти благодаря помощи спартанского князя Дориея. - Сенсация, вызванная в эллинском мире разрушением Сибариса. - Постепенный упадок греческого могущества в Италии. - Противоречивые заявления и аргументы относительно присутствия Дориея. - Геродот не упоминает пифагорейцев, когда говорит о войне между Сибарисом и Кротоном. - Харондас, законодатель Катаны, Наксоса, Занкла, Регии и т. д.

ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ.

ЧАСТЬ II.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ГРЕЦИИ.

ГЛАВА XXV. ИЛЛИРИЙЦЫ, МАКЕДОНЫ, ПЕОНИЙЦЫ.

К северу от племен, называемых эпирами, жили более многочисленные и широко распространенные племена, носившие общее название иллирийцев; на западе они были ограничены Адриатическим морем, на востоке - горной цепью Скардус, северным продолжением Пинда, и таким образом охватывали то, что сейчас называется Средней и Верхней Албанией, вместе с более северными горами Черногории, Герцеговины и Боснии. Их пределы на севере и северо-востоке не могут быть определены, но Дардани и Аутариатæ, должно быть, достигали северо-востока Скарда и даже востока сербской равнины Косово; в то время как вдоль Адриатического побережья Скилакс распространяет расу так далеко на север, чтобы включить Далмацию, считая либурнов и истрийцев за их пределами не иллирийцами: Однако Аппиан и другие считают либурнцев и истрийцев иллирийцами, а Геродот даже включает под это название энеи, или венетов, на оконечности Адриатического залива.^[1] Булины, созвучные Скилаксу, были самым северным иллирийским племенем: Амантины, расположенные непосредственно к северу от эпиротических хаонийцев, были самым южным. К южным иллирийским племенам относятся тауланты - первоначально владельцы, а затем непосредственные соседи территории, на которой был основан Эпидамн. Древний географ Гекатей^[2] (около 500 г. до н. э.) достаточно хорошо знаком с ними, чтобы указать их город Сесаретхус: он также назвал Хелидонии их северными, Энхелеи - южными соседями, а Абри - почти соседним племенем. Мы слышим об иллирийцах Парфини, почти в тех же областях, о Дассаретах^[3] у Лихнидского озера, о Пенесте с укрепленным городом Ускана к северу от Дассаретов, об Ардианах, Аутариатах и Дарданах по всей Верхней Албании к востоку до Верхней Мисии, включая сам Скардусский хребет; так что некоторые иллирийские племена были смежны на востоке с македонцами, а на юге - с македонцами и пеонийцами. Страбон даже распространяет некоторые из иллирийских племен гораздо дальше на север, почти до Юлийских Альп^[4].

За исключением некоторых частей того, что сейчас называется Средней Албанией, территория этих племен состояла в основном из горных пастбищ с определенной долей плодородной долины, но редко выходила на равнину. Аутариаты пользовались репутацией невоинственных племен, но в целом иллирийцы были бедны, хищны, свирепы и грозны в бою. Они разделяли с отдаленными фракийскими племенами обычай татуировки^[5] на теле и человеческих жертвоприношений: кроме того, они всегда были готовы продать свою военную службу за плату, как современные Альбанианские Шкипетары, в которых, вероятно, еще течет их кровь, хотя и со значительной примесью последующих эмиграций. Об Иллирийском царстве на Адриатическом побережье со столицей в Скодре (Скутари), которое стало грозным благодаря своим безрассудным пиратствам в третьем веке до нашей эры, мы ничего не слышим в период расцвета греческой истории. В описании Скилакса отмечается, что в его время на всем протяжении северной Адриатики существовало значительное и постоянное сообщение между побережьем и внутренними районами, которое осуществляли либурнцы, истринцы и небольшие греческие поселения Фарус и Исса. Но он не называет Скодру, и, вероятно, этот сильный пост вместе с греческим городом Лиссус, основанным Дионисием Сиракузским, был занят после его времени завоевателями из внутренних районов,^[6] предшественниками Агрона и Гентиуса, - так же, как прибрежные земли Термического залива были завоеваны внутренними македонцами.

Однажды во время Пелопоннесской войны отряд наемных иллирийцев, шедший в Македонию Линкестис (кажется, через перевал Скардус немного восточнее Лихнида, или Охриды), испытал доблесть спартанца Брасидаса; И по этому случаю, как и в упомянутой

выше экспедиции эпиротов против Акарнании, мы заметим заметное превосходство греческого характера, даже в случае вооружения, состоящего в основном из гелотов, недавно получивших право голоса, над македонцами и иллирийцами, - мы увидим контраст между храбрыми людьми, действующими сообща и подчиняясь общей власти, и нападающим воинством, не менее храбрым по отдельности, но в котором каждый человек сам себе хозяин[7] и сражается, как ему заблагорассудится. Быстрый и стремительный натиск иллирийцев, если первый удар не возымел действия, сменялся столь же быстрым отступлением или бегством. В дальнейшем мы ничего не слышим об этих варварах до времен Филиппа Македонского, чья энергичность и военная мощь сначала подавили их набеги, а затем частично покорили их. По-видимому, именно в этот период (400-350 гг. до н. э.) произошло великое движение галлов с запада на восток, которое привело галльских скордисков и другие племена в области между Дунаем и Адриатическим морем, и которое, вероятно, вытеснило некоторых северных иллирийцев, чтобы побудить их к новым предприятиям и новым местам обитания.

То, что сейчас называется Средней Албанией, иллирийская территория, расположенная к северу от Эпира, значительно превосходит последний по продуктивности.[8] Хотя она и гористая, но обладает большим количеством как низких холмов, так и долин, и более плодородными, а также более плодородными возделываемыми пространствами. Эпидамн и Аполлония были морскими портами этой территории, и торговля с южными иллирийцами, менее варварскими, чем северные, была одним из источников[9] их большого процветания в течение первого века их существования, - процветания, прерванного в случае эпидамнцев внутренними разногласиями, которые ослабили их превосходство над своими иллирийскими соседями и в конечном итоге поставили их в противоречие с их городом-матерью Коркирой. Торговля между этими греческими морскими портами и внутренними племенами, когда первые стали достаточно сильны, чтобы сделать нападение последних безнадежным, была взаимно выгодна для них обоих. Греческое масло и вино попадали к этим варварам, чьи вожди в то же время учились ценить тканые ткани,[10] полированные и резные металлические изделия, закаленное оружие и керамику, которые производили греческие ремесленники. Кроме того, ввоз иногда соленой рыбы, а всегда и самой соли, был очень важен для этих жителей внутренних районов, особенно для тех мест, где были озера, изобилующие рыбой, как, например, Лихнид. Мы слышим о войнах между Autariatæ и Ardiæi из-за соленых источников вблизи их границ, а также о других племенах, которых недостаток соли привел к необходимости подчиниться римлянам.[С другой стороны, эти племена обладали двумя предметами обмена, настолько ценными в глазах греков, что Полибий считает их абсолютно необходимыми[12] - скотом и рабами; последние, несомненно, закупались в Иллирии, часто в обмен на соль, как и во Фракии, на Эвксинском море и в Аквилее на Адриатике, в ходе внутренних войн одного племени с другим. В Дамастии в Иллирии добывали серебро. Воск и мед, вероятно, также были предметами экспорта, и доказательством того, что природные продукты Иллирии тщательно искались, является то, что вид ириса, свойственный этой стране, был собран и отправлен в Коринф, где его корень использовался для придания особого вкуса знаменитому ароматическому средству[13].

Взаимодействие между эллинскими портами и иллирийцами внутри страны не было исключительно торговым. Греческие изгнанники также попали в Иллирию, и греческие мифы стали там локализовываться, как видно из сказки о Кадме и Гармонии, от которых, как утверждали вожди иллирийских энхелеев, ведут свое происхождение[14].

Македоняне четвертого века до н. э. приобрели, благодаря способностям и предприимчивости двух сменявших друг друга царей, большое совершенство греческой

военной организации без каких-либо высоких эллинских качеств. Их карьера в Греции носит чисто разрушительный характер: они уничтожили свободное передвижение отдельных городов, вооружили граждан-солдат, чтобы освободить место для иностранных наемников, чей меч не был осквернен никакими чувствами патриотизма, - и при этом совершенно неспособны заменить собой какую-либо хорошую систему центрального или мирного управления. Но македонцы седьмого и шестого веков до н. э. представляют собой лишь совокупность грубых внутренних племен, разделенных на отдельные мелкие княжества и отделенных от греков более широким этническим различием, чем эпироты; поскольку Геродот, считающий эпиротов-молоссов и феспротийцев детьми эллинов, в отношении македонцев решительно думает наоборот.^[15] В основном, однако, в этот ранний период они выглядят аналогичными эпиротам по характеру и цивилизации. У них было несколько городов, но в основном они были деревенскими жителями, чрезвычайно храбрыми и драчливыми. Обычаи некоторых племен предписывали, что человек, еще не убивший врага, должен в некоторых случаях отличаться позорным знаком^[16].

Первоначально македоняне жили к востоку от Скарда (северного продолжения Пинда) - к северу от цепи Камбунских гор, соединяющей Олимп с Пиндом и образующей северо-западную границу Фессалии. Но они не простирались так далеко на восток, как Термический залив; по-видимому, не дальше горы Бермиус, или примерно на долготе Эдессы и Берроии. Таким образом, они охватывали верхнюю часть течения рек Халиакмон и Эригон до слияния последней с Аксием; а верхнее течение Аксиа, выше этого места слияния, по-видимому, принадлежало Пеонии, хотя границы Македонии и Пеонии ни в одно время не могли быть четко обозначены.

Большое пространство страны, расположенное между вышеупомянутыми границами, в значительной степени гористое, занятое боковыми хребтами или возвышенностями, которые соединяются с главной линией Скарда. Но она также включает в себя три широких аллювиальных бассейна, или равнины, которые имеют большую протяженность и хорошо приспособлены для культивации, - равнину Теттово, или Калканделе (самая северная из трех), которая содержит истоки и раннее течение Аксиуса, или Вардара, - Битолийская равнина, в значительной степени совпадающая с древней Пелагонией, где Эригон течет к Аксиусу, - и более крупный и волнистый бассейн Гревено и Анаселицас, содержащий верховья Халиакмона с впадающими в него потоками. Этот последний регион отделен от Фессалийского бассейна горной линией значительной протяженности, но с многочисленными удобными проходами.^[17] Если считать Фессалийский бассейн четвертым, то на восточной стороне этого длинного хребта Скардус и Пинд находятся четыре отдельные замкнутые равнины, каждая из которых в целом ограничена горами, обрывисто поднимающимися до альпийской высоты, и каждая оставляет только одну расщелину для стока одной реки - Аксиус, Эригон, Халиакмон и Пенеус соответственно. Все четыре страны, хотя и находятся на высоком уровне над морем, в большинстве своем отличаются плодородием, особенно равнины Теттово, Битолии и Фессалии. Тучные, богатые земли к востоку от Пинда и Скарда описываются как образующие заметный контраст с легкой известковой почвой албанских равнин и долин на западной стороне. Бассейны Битолии и Халиакмона с окружающими и прилегающими горами принадлежали исконным македонцам, а Теттово на севере - части пеонийцев. Из этих четырех областей Фессалия - самая просторная; однако две из них, составлявшие первобытные места обитания македонян, обе очень значительные по величине, образовывали территорию, лучше приспособленную для питания и создания значительного населения, чем менее благоприятные места обитания и меньшая ширина долин и равнин, занятых эпиротами или иллирийцами. Обилие легко выращиваемой кукурузы, пастбищ для скота и новых

плодородных земель, открытых для обработки, было бы достаточно, чтобы увеличить число выносливых сельских жителей, равнодушных к роскоши и накоплению, и освобожденных от тех деспотичных поборов правителей, которые сегодня преследуют те же прекрасные регионы[18].

Жители этой первобытной Македонии, несомненно, сильно отличались друг от друга в древности, как и сейчас, в зависимости от того, жили они на горах или на равнине, от почвы и климата - более или менее благоприятного; но все они признавали общее этническое имя и национальность, а племена во многих случаях отличались друг от друга, не имея собственных имен, а лишь местными эпитетами греческого происхождения. Так, мы находим Элимиотæ македонян, или македонян из Элимеи, - Линкестæ македонян, или македонян из Линкуса, и т.д. Orestæ, несомненно, является дополнением к имени того же характера. Жители более северных областей, называемых Пелагонией и Деуриописом, также принадлежали к македонской совокупности, хотя и были соседями пеонийцев, с которыми они имели большое родство: были ли эорды и альмопийцы македонской расы, сказать сложнее. Македонский язык отличался от иллирийского, фракийского и, похоже, от пеонийского. Он также отличался от греческого, но, по-видимому, не более сильно, чем эпироты, - так что овладение греческим языком было сравнительно легким для вождей и народа, хотя всегда существовали некоторые греческие буквы, которые они не могли произнести. И когда мы проследим их историю, то обнаружим в них больше обычного воина, завоевывающего для поддержания господства и дани, и меньше вооруженного грабителя, чем в иллирийцах, фракийцах или эпиротах, которыми они имели несчастье быть окруженными. Они ближе к фессалийцам[20] и другим неодавленным членам эллинской семьи.

Большой и сравнительно плодородный регион, занимаемый различными группами македонцев, помогает объяснить тот рост превосходства, которое они последовательно приобрели над всеми своими соседями. Однако лишь в поздний период они объединились под единым правительством. Сначала у каждой части, сколько их было, мы не знаем, был свой князь, или вождь. Элимиоты, или жители Элимеи, самой южной части Македонии, первоначально были отдельными и независимыми; Орестæ, жившие в горах несколько северо-западнее Элимеи, - Линкестæ и Эорди, занимавшие часть территории на пути последующего Эгнатского пути, между Лихнидом (Охридой) и Эдессой, - пелагонцы,[21] с одноименным городом на плодородной равнине Битолии, - и более северные деуриопийцы. А ранний политический союз обычно был настолько рыхлым, что каждая из этих конфессий, вероятно, включает в себя множество мелких независимых территорий, небольших городов и деревень. Та часть македонян, которая впоследствии поглотила всех остальных и стала известна как *македоняне*, имела свой первоначальный центр в Эгесе, или Эдессе, - возвышенном, величественном и живописном месте современной Водены. И хотя в более поздние времена резиденция царей была перенесена в болотистую Пеллу, расположенную на приморской равнине, Эдесса всегда оставалась местом царского погребения и очагом, к которому была привязана религиозная преемственность нации, столь почитаемая в древние времена. Этот древний город, лежавший на римско-эгнатском пути из Лихнида в Пеллу и Фессалонику, образовывал проход через горный хребет, называемый Бермиус, или то продолжение к северу от горы Олимп, через которое Халиакмон выходит на приморскую равнину в Веррии, по расщелине более обрывистой и труднопроходимой, чем Пеня в дефиле Темпека.

Эта горная цепь под названием Бермий, простирающаяся от Олимпа значительно севернее Эдессы, была первоначальной восточной границей македонских племен, которые, по-видимому, сначала не достигли долины Аксия ни в одной части его течения, и, конечно, не

дошли сначала до Термического залива. Между упомянутым заливом и восточными крепостями Олимп и Бермий существует узкая полоса равнинной земли или низких холмов, которая тянется от устья Пеней до верховья Термического залива. Там она расширяется в просторную и плодородную равнину Салоники, включающую устья Халиакмона, Аксиуса и Эхеидоруса: река Лудияс, которая течет из Эдессы в болота вокруг Пеллы и которая в древности соединялась с Халиакмоном недалеко от его устья, теперь изменила свое русло так, чтобы соединиться с Аксиусом. Эта узкая полоса между устьями Пеней и Халиакмона была первоначальным местом обитания пирских фракийцев, которые жили близко к подножию Олимпа, и среди которых поклонение Музам, кажется, было первобытной характеристикой; греческая поэзия изобилует местными аллюзиями и эпитетами, которые, кажется, прослеживаются до этого раннего факта, хотя мы не можем проследить его в деталях. К северу от пирийцев, от устья Халиакмона до Аксия, жили боттиези.^[22] За рекой Аксиус, в нижней части ее течения, начинаются племена великой фракийской расы - мигдоны, крестоны, эдоны, бисалты, ситоны: мигдоны, по-видимому, были первоначально самыми могущественными, поскольку страна все еще продолжала называться их именем, Мигдония, даже после македонского завоевания. Эти и другие фракийские племена первоначально занимали большую часть страны между устьем Аксия и рекой Стримон, а также тот памятный трехгранный полуостров, который получил от греческих колоний название Халкидики. Таким образом, если считать боттиевцев и пирийцев фракийцами, то окажется, что фракийская раса первоначально простиралась на юг до устья Пеней: боттиевцы, правда, исповедовали критское происхождение, но на это притязание не обращают внимания ни Геродот, ни Фукидид. Во времена Скилакса,^[23] по-видимому, в начале правления Филиппа, сына Аминта, Македонию и Фракию разделял Стримон.

Нам еще предстоит рассказать о пеонийцах, многочисленной и сильно разделенной расе, которая, казалось бы, не была ни фракийской, ни македонской, ни иллирийской, но утверждала, что происходит от Тевкри из Трои, - они занимали оба берега Стримона, от окрестностей горы Скомиус, на которой поднимается эта река, вплоть до озера близ ее устья. Некоторые из их племен владели плодородной равниной Сируса (ныне Серес) - землей к северу от горы Пангея - и даже частью пространства, через которое Ксеркс прошел по пути из Аканфа в Термы. Кроме того, похоже, что верхние части долины Аксия также были заняты племенами пеонийцев; как далеко вниз по реке они простирались, мы не можем сказать. Не стоит полагать, что вся территория между Аксиусом и Стримоном была заселена ими постоянно. Непрерывное население не характерно для древнего мира, и, кроме того, кажется, что в то время как земля, непосредственно граничащая с обеими реками, в очень многих местах богатейшего качества, пространства между ними - это либо горы, либо бесплодные низкие холмы, - что составляет заметный контраст с богатым аллювиальным бассейном македонской реки Эригон.^[24] Таким образом, пеонийцы в своих северо-западных племенах граничили с македонской Пелагонией, в своих северных племенах - с иллирийскими Дардани и Аутариате, в своих восточных, южных и юго-восточных племенах - с фракийцами и пирийцами, ^[25] то есть со вторыми местами, занятыми изгнанными пирийцами под горой Пангеей.

Таково, насколько мы можем судить, было положение македонцев и их ближайших соседей в седьмом веке до н. э. Оно было впервые изменено благодаря предприимчивости и способностям семьи изгнанных греков, которые привели часть македонского народа к тем завоеваниям, которые их потомки, Филипп и Александр Великий, впоследствии так чудесно преумножили.

О первобытном происхождении этих двух принцев существуют разные истории, но все сходятся в том, что происхождение семьи восходит к роду Гераклидов или Теменидов из Аргоса. Согласно одной из историй (которая, очевидно, не может быть прослежена выше Теопомпа), Каранус, брат деспота Фидона, переселился из Аргоса в Македонию и утвердился в качестве завоевателя в Эдессе; Согласно другому рассказу, который мы находим у Геродота, три изгнанника из рода Теменидов, Гауанес, Аэроп и Пердиккас, бежали из Аргоса в Иллирию, откуда перешли в Верхнюю Македонию, в такой бедности, что были вынуждены служить мелкому царю города Лебея в качестве пастухов. Замечательное чудо, случившееся с Пердиккасом, предвещает будущее возвышение его рода и приводит к его увольнению царем Лебеи, от которого он с трудом спасается бегством, благодаря внезапному подъему реки сразу после того, как он переправился через нее, чтобы сделать ее непроходимой для преследовавших его всадников. Этой реке, как спасителю семьи, цари Македонии еще приносили торжественные жертвы во времена Геродота. Пердиккас с двумя братьями, спасшись таким образом, обосновался вблизи места, называемого Садам Мидаса на горе Бермий, и от чресл этого выносливого молодого пастуха произошла династия Эдессы.[26] В этой истории гораздо больше признаков подлинной местной традиции, чем в рассказе Теопомпа. А происхождение македонского рода, или Аргеады, из Аргоса, похоже, было повсеместно признано греческими исследователями,[27] так что Александр, сын Аминта, современник персидского вторжения, был допущен элладотами к участию в Олимпийских играх как истинный грек, хотя его соперники пытались исключить его как македонца.

Полководческий талант был в такой степени свойственен греческому уму, чем любому из соседних варваров, что мы легко можем представить себе отважного аргейского авантюриста, добившегося большого превосходства в местных спорах македонских племен и передавшего вождя одного из них своему потомству. Влияние, приобретенное Мильтиадесом среди фракийцев Херсонеса и Формионом среди акарнанцев (которые специально просили, чтобы после его смерти для управления ими из Афин был прислан его сын или кто-то из его рода),[28] было очень похоже на это: мы можем добавить случай Сертория среди местных иберов. Подобным образом цари македонской Линкесты утверждали, что происходят от Вакхиадов[29] из Коринфа; а соседство Эпидамна и Аполлонии, в обоих из которых, несомненно, проживали представители этого великого рода, делает эту историю еще более правдоподобной, чем эмиграция из Аргоса. Цари эпиротических молоссов также претендовали на происхождение от героического греческого рода Эакидов. На самом деле, наши знания не позволяют нам отличить случаи, в которых эти царствующие семьи были изначально греками, от тех, в которых они были эллинизированными туземцами, претендующими на греческую кровь.

После легенды об основании Македонского царства у нас нет ничего, кроме длинного пробела до правления царя Аминта (около 520-500 гг. до н. э.) и его сына Александра (около 480 г. до н. э.) Геродот дает нам пять последовательных царей между основателем Пердиккасом и Аминтом, - Пердиккас, Аргей, Филипп, Аэроп, Алкет, Аминт и Александр, - современник и в некоторой степени союзник Ксеркса.[30] Хотя у нас нет возможности установить какие-либо даты в этой ранней серии, ни имен, ни фактов, мы видим, что цари Теменидов, начиная со скромного происхождения, последовательно расширяли свои владения со всех сторон. Они покорили бригов[31], первоначально своих соседей на горе Бермий, эордов, граничивших с Эдессой на западе, которые были либо уничтожены, либо изгнаны из страны, оставив небольшой остаток, все еще существовавший во времена Фукидида в Фиске между Стримоном и Аксиом, альмопийцев, внутреннее племя неизвестного происхождения, и многие внутренние македонские племена, которые сначала были автономными. Кроме этих внутренних завоеваний, они сделали еще более важное

приобретение - Пиерию, территорию, лежащую между горой Бермий и морем, откуда они изгнали исконных пирийцев, которые нашли новые места на восточном берегу Стримона между горой Пангея и морем. Таким образом, Аминтас, царь Македонии, стал хозяином очень значительной территории, включавшей побережье Термического залива к северу от устья Халиакмона, а также некоторые другие территории на том же заливе, откуда были изгнаны боттиевцы; но не включавшей побережье между устьями Аксия и Халиакмона и даже Пеллы, последующей столицы, которые все еще находились в руках боттиевцев в тот период, когда через них проходил Ксеркс.^[32] Он владел также Антемом, городом и территорией на полуострове Халкидике, и некоторыми частями Мигдонии, территории к востоку от устья Аксия; но сколько именно, мы не знаем. В дальнейшем мы увидим, что македонцы еще больше расширили свои владения в период между Персидской и Пелопоннесской войнами.

Мы слышим о царе Аминте, который находился в дружеских отношениях с афинскими князьями Писистратидами, чье владычество частично поддерживалось наемниками из Стримона, и эти дружеские чувства сохранялись между его сыном Александром и освобожденными афинянами. [Только в правление этих двух принцев Македония начинает вмешиваться в греческие дела: царская династия настолько полностью македонизировалась и настолько отказалась от эллинского братства, что претензии Александра на участие в Олимпийских играх были оспорены его соперниками, и он был призван доказать свою родословную перед элланодикийцами.

ГЛАВА XXVI. ФРАКИЙЦЫ И ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ ВО ФРАКИИ.

Обширное пространство между реками Стримон и Дунай, ограниченное на западе самыми восточными иллирийскими племенами, к северу от Стримона было занято бесчисленными подразделениями расы, называемой фракийцами, или тритийцами. Они были самой многочисленной и самой страшной расой, известной Геродоту: если бы они могли действовать в унисон или под единым владычеством (говорит он), они были бы непреодолимы. В первые годы Пелопоннесской войны, в правление Ситалкеса, царя одрисов, который царствовал от Абдеры в устье Неста до Эвксинского моря и собрал под свой скипетр большую часть этих свирепых, но воинственных грабителей, так что греки вплоть до Фермопилы трепетали перед его ожидаемым приближением, казалось, надвигалась грозная развязка. Но способностей этого князя оказалось недостаточно, чтобы объединить все силы Фракии в эффективное сотрудничество и агрессию против других.

Как ни многочисленны были племена фракийцев, их обычаи и характер (по словам Геродота) отличались большим единообразием: о гетах, трауси и других он сообщает нам несколько подробностей. А большая территория, на которой обитали фракийцы, включавшая в себя всю цепь гор Хемус и еще более высокую цепь Родопек, а также часть гор Орбеклус и Скомиус, все же частично была занята ровной и плодородной поверхностью - например, большая равнина Адрианополя и земли к нижнему течению рек Нест и Гебрус. Равнинные фракийцы, хотя и не менее воинственные, были, по крайней мере, более домовитыми и менее жадными до чужой добычи, чем горные. Но общий характер расы представляет собой

совокупность отталкивающих черт, не исправляемых наличием даже самых обычных бытовых проблем.[34] Фракийский вождь вел свою родословную от бога, называемого греками Гермесом, которому он поклонялся отдельно от остальных членов своего племени, иногда с приемлемым подарком в виде человеческой жертвы. Он татуировал свое тело[35] и тело женщин, принадлежавших ему, как привилегию почетного происхождения: он покупал своих жен у их родителей, а детей продавал для вывоза иностранным купцам: он считал позорным возделывать землю и считал честью только приобретения, полученные в результате войны и грабежа. Фракийские племена поклонялись божествам, которых греки уподобляют Аресу, Дионису и Артемиде: великое святилище и оракул их бога Диониса находилось на одной из самых высоких вершин Родопа, среди густых и туманных зарослей, - резиденция свирепых и неприступных Сатраэ. Чтобы проиллюстрировать характер фракийцев, мы можем обратиться к деянию, совершенному царем бисальтов, возможно, одним из нескольких вождей этого обширного фракийского племени, чья территория, между Стримоном и Аксием, лежала на пути прямого марша Ксеркса в Грецию, и который бежал на пустынные высоты Родопа, чтобы избежать позора быть затянутым в ряды обязательных вспомогательных войск персидского вторжения, запретив своим шести сыновьям принимать в нем какое-либо участие. Из безрассудства или любопытства сыновья послушали его приказа и отправились с Ксерксом в Грецию; они вернулись невредимыми от греческого копья, но разгневанный отец, когда они снова появились в его присутствии, велел выколоть им всем глаза. Ликование от успеха проявилось у фракийцев в повышенной готовности проливать кровь; но как воины, единственное занятие, которое они почитали, они были не менее храбры, чем терпеливы к трудностям, и держали хороший фронт, под своей собственной особой структурой, против сил, значительно превосходящих их во всех военных качествах.[36] Похоже, что тинийцы и вибийцы[37] на азиатской стороне Босфора, возможно, также мисийцы, были представителями этой великой фракийской расы, которая была более отдаленно связана также с фригийцами. И можно сказать, что вся эта раса имеет скорее азиатский, чем европейский характер, особенно в тех экстаических и безумных религиозных обрядах, которые преобладали не меньше среди эдонских фракийцев, чем в горах Иды и Диндимона в Азии, хотя и с некоторыми существенными различиями. Фракийцы поставляли грекам наемные войска и рабов, а многочисленные греческие колонии, высаженные на побережье, отчасти смягчили племена в непосредственной близости, между вождями которых и греческими вождями нередко были брачные союзы. Но внутренние племена, похоже, сохранили свои дикарские привычки без особых смягчений, так что язык, на котором Тацит[38] описывает их, является подходящим продолжением языка Геродота, хотя он появился более чем через пять веков после него.

Описывать положение каждого из этих многочисленных племен на огромной территории Фракии, которая даже сейчас так плохо известна и плохо нанесена на карту, было бы излишне, да и нецелесообразно. Я перейду к описанию основных греческих колоний, которые были образованы в этой стране, изредка отмечая конкретные фракийские племена, с которыми они вступали в контакт.

Греческие колонии, основанные на берегу Термического залива, а также на полуострове Халкидике, происходящие в основном из Халкиса и Эретрии, хотя мы не знаем их точной эпохи, по-видимому, были ранними и, вероятно, предшествовали тому времени, когда македоняне из Эдессы распространили свои завоевания на море. В этот ранний период пирийцы еще находились между Пенеем и Халиакмоном, а также ряд мелких фракийских племен по всей широкой части Халкидского полуострова; Пидна была пирийским городом, а Термы, Антемы, Халастры и др. Мигдония.

Самой древней греческой колонией в этих краях, по-видимому, была Метона, основанная эретрийцами в Пиерии; почти в то же время (если мы можем доверять утверждению довольно подозрительного характера, хотя сама дата маловероятна), когда Коркира была заселена коринфянами (около 730-720 гг. до н. э.).^[39] Он находился немного севернее пирского города Пидны и был отделен примерно десятью милями от боттийского города Алора, который лежал к северу от Халиакмона. ^[40] Мы очень мало знаем о Метоне, кроме того, что он сохранил свою автономию и эллинизм до времен Филиппа Македонского, который взял и разрушил его. Но хотя, будучи однажды основанным, он был достаточно силен, чтобы сохранить себя, несмотря на завоевания македонцами Эдессы, мы можем справедливо предположить, что он не мог быть первоначально посажен на македонской территории. Да и в действительности его положение было особенно выгодным для греческих колонистов, поскольку по соседству с ним находились другие приморские города, не греческие, - Пидна, Алор, Термы, Халастра; тогда как выгода греческой колонии заключалась в том, чтобы стать исключительным морским портом для коренных жителей материка.

Колонии, основанные Халкисом и Эретрией на всех трех выступках Халкидского полуострова, были многочисленными, хотя долгое время и незначительными. Мы не знаем, насколько эти выступающие мысы были заняты до прибытия поселенцев из Эвбеи, - событие, которое мы, вероятно, можем отнести к периоду ранее 600 года до н. э., поскольку после этого периода Халкис и Эретрия, похоже, пришли в упадок, - и, похоже, халкидские колонисты во Фракии помогали своему городу-матери Халкису в войне против Эретрии, что не может быть намного позже 600 года до н. э., хотя может быть и значительно раньше.

Горный хребет, проходящий от Термального до Стримонского залива и образующий северную границу Халкидского полуострова, склоняется к южной оконечности, чтобы оставить значительный участок плодородной земли между Торонтским и Термальным заливами, включая плодородный мыс под названием Паллен, - самый западный из трех зубцов Халкидики, вдающихся в Эгейское море. Из двух других зубцов, или выступов, самый восточный заканчивается возвышенной горой Афон, которая поднимается из моря в виде обрывистой скалы высотой шесть тысяч песа четыреста футов, соединенной с материком хребтом высотой не более половины высоты самой горы, но все еще высокой, изрезанной и лесистой от моря до моря, оставляя лишь небольшие случайные пространства, пригодные для занятия или возделывания. Промежуточный или Ситонский мыс также холмист и лесист, хотя и в меньшей степени, - и менее привлекателен, и менее продуктивен, чем Паллен.

Энея, близ мыса, отмечающего вход во внутренний Термический залив, и Потидея, у узкого перешейка Паллена, были основаны Коринфом. Между этими двумя городами лежала плодородная территория под названием Крусис, или Кроссæа, которая в последующие времена была частью владений Олинфа, но в шестом веке до н. э. была занята мелкими фракийскими поселениями. [В пределах Паллена находились города Мендек, колония из Эретрии, Скион, который, не имея законного города-матери, вел свое происхождение от пелленских воинов, возвращавшихся из Трои, - Афитис, Неаполь, Иг, Трамбос и Санк,^[43] либо полностью, либо частично колонии из Эретрии. На Ситонийском полуострове находились Асса, Пилорус, Сингус, Сарта, Торон, Галепс, Сермилк и Мекиберна; все или большинство из них, по-видимому, были халкидского происхождения. Но в верховьях Торонского залива (который лежит между Ситонией и Палланом) находился Олинф, окруженный обширной и плодородной равниной. Олинф, изначально боттийский город, во время персидского нашествия перешел в руки халкидских греков^[44] и постепенно присоединил к себе несколько мелких соседних поселений, принадлежавших этой расе;

таким образом халкидцы приобрели заметный перевес на полуострове, который они сохраняли, даже вопреки усилиям Афин, вплоть до времен Филиппа Македонского.

На скудных пространствах, допускаемых горным мысом, или хребтом, заканчивающимся Афоном, были основаны фракийские и пеласгические поселения тех же жителей, что занимали Лемнос и Имброс; несколько халкидских граждан проживали вместе с ними, а народ говорил как на пеласгическом, так и на эллинском языках. Но у узкого перешейка, соединяющего этот мыс с Фракией, и вдоль северо-западного побережья Стримонского залива располагались греческие города, имевшие большое значение, - Санк, Аканф, Стагейра и Аргилус, все колонии с Андроса, который сам был колонизирован из Эретрии.^[45] Аканф и Стагейра, как говорят, были основаны в 654 году до н. э.

Если проследить южное побережье Фракии от устья реки Стримон на восток, то можно усомниться в том, что в 560 году до н. э. на нем еще не было образовано сколько-нибудь значительных независимых колоний греков. Ионическая колония Абдера, расположенная к востоку от устья реки Нест, образованная из Теоса в Ионии, относится к более позднему времени, хотя клазомены^[46] начали неудачное поселение там еще в 651 году до н. э.; а Дикея - хианское поселение Маронея и лесбийское поселение Инус в устье Гебруса - неизвестны.^[47] Важная и ценная территория вблизи устья Стримона, где после многих неудач сохранилась афинская колония Амфиполь, в упомянутую здесь дату принадлежала эдонским фракийцам и пирийцам: различные фракийские племена - сатраэ, эдонцы, дерсэйтцы, сапэйтцы, бистоны, киконы, пэтийцы и др. - были в силе на основной части территории между Стримоном и Хебром, вплоть до морского побережья. Следует, однако, отметить, что остров Фасус и остров Самофракия обладали тем, что по-гречески называлось *Peræa*,^[49] - полосой прилегающего материка, возделанной и защищенной с помощью укрепленных постов или небольших городов: вероятно, эти занятия очень древние, поскольку они представляются почти незаменимыми средствами поддержки островов. Ведь бесплодный Фасус, в особенности, и по сей день заслуживает нелицеприятного описания, данного ему поэтом Архилохом в седьмом веке до н. э., - "хребет осла, поросший диким лесом"^[50], настолько он полностью состоит из гор, голых или лесистых, и настолько скуден на нем участки пригодной для обработки земли, почти все расположенные вблизи морского берега. Первоначально этот остров был занят фениками, которые разрабатывали золотые рудники в его горах с такой степенью промышленности, которая даже в своих остатках вызвала восхищение Геродота. Как и когда они его покинули, мы не знаем; но поэт Архилох^[51] был одним из колонистов-пирейцев, которые обосновались на нем в седьмом веке до нашей эры и вели войны, не всегда успешные, против фракийского племени, называемого саянами: в одном случае Архилох был вынужден выбросить свой щит. Благодаря своим рудникам и владениям на материке (где были еще более богатые рудники, в Скаптеке-Хиле и других местах, чем на острове), тасийские греки достигли значительного могущества и численности населения. И поскольку они, похоже, были единственными греками, вплоть до поселения милезийцев Гистиея на Стримоне около 510 года до н. э., которые активно занимались добычей полезных ископаемых в районах Фракии, расположенных напротив их острова, мы не можем не удивиться, узнав, что их явный избыток доходов до персидского завоевания, около 493 года до н. э., после покрытия расходов своего правительства без всякого налогообложения, составлял большую сумму в двести талантов, иногда даже в триста талантов, в каждый год (от сорока шести тысяч до шестидесяти шести тысяч фунтов).

На длинном полуострове, называемом Фракийским Херсонесом, вероятно, рано возникли небольшие греческие поселения, хотя мы не знаем, в какое время были основаны

милезийское поселение Кардия на западной стороне перешейка этого полуострова у Эгейского моря или эолийская колония Сест на Геллеспонте; В то время как афинское господство на полуострове начинается только с переселения первого Мильтиада, во время правления Пейсистрата в Афинах. Саамская колония Перинф, на северном побережье Пропонтиды, [52] считается древней, а мегарские колонии, Селимбрия и Византия, относятся к седьмому веку до н. э.: последняя из них относится к 30-й Олимпиаде (657 г. до н. э.), а ее сосед Халкедон, на противоположном побережье, - на несколько лет раньше. Расположение Византии в узком проливе Босфор, с его обильным рыбным хозяйством, [53] которое одновременно и обеспечивало работой и питанием большую часть бедных свободных людей, было одинаково удобно как для морских перевозок, так и для взимания взносов с многочисленных кукурузных кораблей, которые проходили из Эвксинского моря в Эгейское; нам даже говорят, что она держала значительное число соседних вифинских фракийцев в качестве данников Периеки. Такое господство, хотя, вероятно, и сохранялось в более энергичный период жизни греческих городов, в более поздние времена стало неосуществимым, и мы даже видим, что византийцы не всегда были способны защитить свою собственную небольшую окружающую территорию. Тем не менее, можно сделать вывод, что это место имело большое значение на протяжении всего периода этой истории [54].

Греческие поселения на негостеприимном юго-западном побережье Эвксинского моря, к югу от Дуная, по-видимому, никогда не привлекали внимания: основное движение греческих кораблей в этом море было направлено на более северные порты, на берегах Бористенеса и в Херсонесе Таврическом. Истрия была основана милезийцами у южного устья Дуная, Аполлония и Одесса на том же побережье, более южном, - все, вероятно, между 600-560 гг. до н. э. Мегарийская или византийская колония Месамбрия, похоже, возникла позже ионийского восстания; возраст Каллатиса неизвестен. Томи, расположенный к северу от Каллатиса и к югу от Истрии, известен как место изгнания Овидия. [55] Картина, которую он дает этому непривлекательному месту, где не было передышки от соседства с кровожадными гетами, в достаточной мере объясняет нам, почему эти города приобрели малое значение или вообще не имели его.

Острова Лемнос и Имброс в Эгейском море в ранний период были заняты тирренскими пеласгами, завоеваны персами около 508 года до н. э. и, похоже, перешли под власть афинян в то время, когда Иония восстала от персов. Если мифические или поэтические истории о тирренских пеласгах содержат хоть какую-то основу правды, они, должно быть, были расой буканьеров, не менее хищных, чем жестоких. Когда-то эти пеласги, по-видимому, владели и Самофракией, но как и когда их вытеснили греки, мы не находим достоверных сведений; население Самофракии во время персидской войны было ионическим [56].

ГЛАВА XXVII. КИРЕНА И БАРКА. - ГЕСПЕРИДЫ.

В одной из предыдущих глав уже упоминалось, что царь Египта Псамметих около середины VII века до н. э. впервые снял запреты, препятствовавшие греческой торговле в его стране. В его правление в Египте впервые появились греческие наемники, а греческие торговцы были

допущены, при соблюдении определенных правил, на Нил. Открытие этого нового рынка побудило их пересечь прямое море, отделяющее Крэт от Египта, - опасное плавание на судах, которые редко осмеливались терять землю из виду, - и, похоже, впервые познакомило их с соседним побережьем Ливии, между Нилом и заливом под названием Великий Сиртис. Отсюда возникло основание важной колонии под названием Кирен.

Как и в случае с большинством других греческих колоний, так и в случае с Киреной, как основание, так и ранняя история известны очень плохо. Дата события, насколько можно судить среди множества противоречивых утверждений, - около 630 года до н. э.^[57] Материнским городом была Фера, которая сама была колонией из Лакедемона; а поселения, образовавшиеся в Ливии, стали немаловажным украшением дорийского имени в Элладе.

Согласно рассказу потерянного историка Менеклеса^[58], политические разногласия среди жителей Феры привели к эмиграции, которая основала Кирену; и более обширные легендарные подробности, собранные Геродотом, частично от терских, частично от киренейских информаторов, не противоречат этому утверждению, хотя и указывают на плохие сезоны, бедствия и перенаселение. Оба они подчеркивают, что дельфийский оракул был как подстрекателем, так и руководителем первых эмигрантов, чьи опасения по поводу опасного путешествия и неизвестной страны было очень трудно преодолеть. Оба они утверждали, что первоначальный экист Баттус был избран и посвящен в дело по божественному повелению: оба называли Баттуса сыном Полимнеста, из мифического рода Минийцев. Но в других вопросах эти два рассказа полностью расходятся, и сами киренейцы, чей город был частично заселен эмигрантами из Крета, описывали мать Баттуса как дочь Этеарха, князя критского города Аксус.^[59] У Баттуса был дефект речи, и именно после того, как он попросил у дельфийского оракула исцеления от этого недуга, он получил указание отправиться "скотоводческим экистом в Ливию". Страдающим ферейцам было приказано помочь ему, но ни он, ни они не знали, где находится Ливия, и не могли найти ни одного жителя Крета, который когда-либо ее посещал. Такова была ограниченность греческой навигации к югу от Эгейского моря даже спустя столетие после основания Сиракуз. В конце концов, путем долгих расспросов, они обнаружили человека, занимавшегося ловлей пурпурных моллюсков, по имени Коробий, который рассказал, что однажды из-за непогоды был вынужден отправиться на остров Платея, расположенный недалеко от берегов Ливии и со стороны, не далеко отстоящей от западного предела Египта. Несколько терцев, посланных вместе с Коробием осмотреть этот остров, оставили его там с запасом провизии и вернулись в Теру, чтобы проводить эмигрантов. Из семи округов, на которые была разделена Фера, были набраны эмигранты для колонии, причем из разных многочисленных семей по жребию выбирался один брат. Но так долго откладывалось их возвращение в Платею, что провизия Коробия истощилась, и от голодной смерти его спасло только случайное прибытие саамского корабля, отбившегося от курса во время плавания в Египет из-за встречных ветров. Хозяин этого корабля Колеус (чья огромная прибыль от первого плавания в Тартесс была отмечена в предыдущей главе) снабдил его провизией на год - акт доброты, который, как говорят, зложил первый фундамент союза и добрых чувств, впоследствии преобладавших между Ферами, Киреной и Самосом. Вскоре ожидаемые эмигранты достигли острова, но нашли плавание настолько опасным и трудным, что однажды в отчаянии вернулись в Теру, где им помешала пересадка только сила. Группа, сопровождавшая Баттуса, была перевезена на двух пентеконтерах - вооруженных кораблях с пятьюдесятью гребцами на каждом. Так скромно было положено начало могущественному Кирену, который во времена Геродота занимал площадь, равную всему острову Платея^[60].

Однако этот остров, хотя и находился недалеко от Ливии, и колонисты принимали его за Ливию, на самом деле таковым не являлся: веления оракула не были исполнены буквально. Поэтому в течение двух лет поселение не приносило ничего, кроме лишений, и Баттус вернулся со своими спутниками в Дельфы, чтобы пожаловаться, что обещанная земля оказалась горьким разочарованием. Бог через свою жрицу ответил: "Если ты, никогда не посещавший скотоводческую Ливию, знаешь ее лучше, чем я, то я восхищен твоей сообразительностью". И снова неумолимый мандат заставил их вернуться; на этот раз они поселились на самом континенте Ливия, почти напротив острова Платея, в местности под названием Азирис, окруженной с обеих сторон прекрасным лесом и примыкающей к ручью. После шести лет проживания в этом месте некоторые из коренных ливийцев убедили их покинуть его, пообещав, что они будут переведены в более благоприятное место; и теперь их проводники привели их на фактическое место Kyrênê, сказав: "Здесь, люди Эллады, место для вас, чтобы жить, потому что здесь небо пронизано". "Дорога, по которой они шли, вела через заманчивую область Ираса с ее фонтаном Фесте, и их проводники предусмотрительно провели их через нее ночью, чтобы они остались в неведении относительно ее красот.

Таковы были предварительные шаги, божественные и человеческие, которые привели Баттуса и его колонистов в Кирену. Во времена Геродота Ираса была отдаленной частью восточной территории этого могущественного города. Но в приведенной истории мы видим мнение, распространенное среди его киренейских информаторов, что Ираса с ее фонтаном Фесте была более привлекательным местом, чем Кирена с ее фонтаном Аполлона, и по благоразумию должна была быть выбрана изначально; из этого мнения, в соответствии с общей привычкой греческого ума, возник анекдот, объясняющий, как была совершена предполагаемая ошибка. Какими могли быть рекомендации Ирасы, нам не дано знать: но описания современных путешественников, как и последующая история Кирена, далеко не всегда оправдывают сделанный выбор. Город располагался на расстоянии около десяти миль от моря, имея защищенный порт под названием Аполлония, ставший впоследствии значительным городом, - он находился примерно в двадцати милях от мыса Фикус, который образует самый северный выступ африканского побережья, почти на долготе пелопоннесского мыса Тенарус (Матапан). Кирена располагалась на высоте около восемнадцатисот футов над уровнем Средиземного моря, с которого открывался прекрасный вид, и с которого она была хорошо видна, на краю гряды холмов, спускающихся последовательными террасами к порту. Почва вокруг, частично известковая, частично песчаная, по описанию капитана Бичи, отличается бурной растительностью и замечательным плодородием, хотя древние считали, что в этом отношении она уступает Барке^[62] и Гесперидам, а также более западным районам близ Кинипса. Но обильные периодические дожди, привлекаемые окружающими высокими горами и оправдывающие выражение "продырявленное небо", имели под африканским солнцем даже большее значение, чем необычайное богатство почвы.^[63] Приморские районы около Кирена и Барки, и Гесперид, производили масло и вино, а также кукурузу, в то время как обширный район между этими городами, состоящий из чередующихся гор, лесов и равнин, был прекрасно приспособлен для пастбищ и скотоводства; а порты были безопасны, представляя удобства для общения греческого торговца с Северной Африкой, такие, каких не было на всех побережьях Великого Сиртиса к западу от Гесперид. Обилие пригодных земель - большое разнообразие как климата, так и урожайных сезонов, между морским побережьем, низкими холмами и вершинами гор, на небольшом пространстве, так что урожай постоянно собирался, а свежие продукты поступали с земли в течение восьми месяцев в году, - вместе с монополией на ценное растение под названием Сильфиум, которое не росло нигде, кроме

Киренаики, и сок которого был широко востребован во всей Греции и Италии, - привели к быстрому росту Киренаики, несмотря на серьезные и постоянные политические проблемы. И даже сейчас огромные останки, которые все еще отмечают его заброшенное место, свидетельства прошлого труда и заботы у фонтана Аполлона и в других местах, вместе с обилием раскопанных и украшенных гробниц, в достаточной степени свидетельствуют о величии этого места, должно быть, во времена Геродота и Пиндара. Киренейцы так гордились сильфиумом, дикорастущим в их глубинке, от острова Платея на востоке до внутреннего углубления Большого Сиртиса на западе, - листья которого были очень полезны для скота, стебель - для человека, а корень давал особый сок для экспорта, - что они утверждали, будто он впервые появился за семь лет до прибытия первых греческих колонистов в их город[64].

Но не только свойства почвы способствовали процветанию Кирена. Исократес[65] восхваляет удачно выбранное место для колонии, потому что она была посажена посреди местных жителей, склонных к подчинению, и вдали от грозных врагов. То, что местные ливийские племена в значительной степени способствовали росту греко-ливийских городов, не подлежит сомнению; и, рассматривая историю этих городов, мы должны помнить, что их население было не чисто греческим, а более или менее смешанным, как в колониях в Италии, Сицилии или Ионии. Хотя наши сведения очень несовершенны, мы видим достаточно, чтобы доказать, что небольшое войско, привезенное Баттусом Стаммером, смогло сначала побрататься с коренными ливийцами, а затем, усиленное дополнительными колонистами и пользуясь властью местных вождей, победить и подчинить их себе. Киренейцы вместе с Баркой и Гесперидами, происходившими от ее корня[66], властвовали над ливийскими племенами между границами Египта и внутренним углублением Большого Сиртиса на протяжении трех градусов долготы, возвышаясь над ними подобно тому, как Карфаген властвовал над более западными ливийцами у Малого Сиртиса. В этих киренейских пределах и далее на запад вдоль берегов Большого Сиртиса ливийские племена вели скотоводческий образ жизни; к западу, за Тритонским озером и Малым Сиртисом,[67] они стали заниматься земледелием. Непосредственно к западу от Египта жили адырмачиды, граничившие с Аписом и Мареей, пограничными городами Египта;[68] они подчинялись египтянам и переняли некоторые из тех мелких ритуалов и религиозных обрядов, которые характерны для региона Нила. На запад от адырмачидов шли гилигаммы, асбисты, аусхисцы, кабалы и насамоны, последние из которых занимали юго-восточный угол Большого Сиртиса; далее - макэ, гинданы, лотофаги, махлисы, вплоть до некой реки и озера под названием Тритон и Тритонис, которые, по-видимому, находились вблизи Малого Сиртиса. Эти последние племена не зависели ни от Кирена, ни от Карфагена ни во времена Геродота, ни, вероятно, в соответствующий период свободной греческой истории (600-300 гг. до н. э.) В третьем веке до н. э, Птолеми, правившие в Кирене, расширили свои владения на запад, а Карфаген продвинул свои колонии и крепости на восток, так что две державы охватили всю линию побережья между Большим и Малым Сиртом, встретившись в месте, называемом Алтари братьев Филени, - столь знаменитом благодаря своей памятной легенде.[69] Но даже в шестом веке до н. э, Карфаген ревниво относился к расширению греческих колоний на этом побережье и помог ливийцу Макэ (около 510 года до н. э.) изгнать спартанского принца Дориея из его поселения у реки Кинипс. Недалеко от этого места впоследствии феникийские или карфагенские изгнанники основали город Лептис Магна[70] (ныне Лебида), который, похоже, не существовал во времена Геродота. Последний историк также не упоминает мармаридов, которые появляются как главное ливийское племя на западе Египта в период между эпохой Скилакса и третьим веком христианской эры. Какая-то миграция или революция после Геродота, должно быть, привела к тому, что это название стало преобладающим[71].

Внутренняя часть страны, простирающаяся на запад от Египта вдоль тридцатой и тридцать первой параллели широты до Большого Сиртиса, а затем вдоль южного берега этого залива, в значительной степени низкая и песчаная, и совершенно лишена деревьев, но во многих местах дает воду, траву и плодородную почву.[72] Но приморский регион к северу от этого, составляющий выступающую часть африканского побережья от острова Платея (залив Бомба) на востоке до Гесперид (Бенгази) на западе, имеет совершенно другой характер; он покрыт горами значительной высоты, достигающими своей высшей точки около Киренка, перемежающимися с плодородными равнинами и долинами, разбитыми частыми оврагами, уносящими зимние потоки в море, и никогда в любое время года не лишены воды. Именно это последнее преимущество заставляет арабов-бедуинов посещать их каждое лето, которые стекаются к неиссякаемому фонтану Аполлона и в другие части горного региона от Кирена до Гесперид, когда во внутренних районах не хватает воды и травы:[73] и это же обстоятельство, должно быть, действовало в древние времена, чтобы держать кочевых ливийцев в своего рода зависимости от Кирена и Барки. Кирена присвоила себе приморскую часть территории ливийских асбистов:[74] аусхисцы занимали область к югу от Барки, касаясь моря у Гесперид, - кабалы у Теухейры на территории Барки. По внутренним пространствам эти ливийские кочевники со своим скотом и свернутыми шатрами бродили безудержно, сытно питаясь мясом и молоком,[75] одеваясь в козы шкуры и наслаждаясь лучшим здоровьем, чем любой другой народ, известный Геродоту. Лошади у них были превосходной породы, а их колесницы или повозки с четырьмя лошадьми могли совершать подвиги, которыми восхищались даже греки: именно этим лошадям князя[76] и магнаты Кирена и Барки часто были обязаны успехами своих колесниц на играх в Греции. Ливийские насамоны, оставляя свой скот у моря, имели обыкновение ежегодно совершать путешествие по стране к оазису Аугила, чтобы собрать урожай фиников или купить финики, - путешествие, которое до сих пор ежегодно совершают арабы-бедуины из Бенгази, везя с собой пшеницу и ячмень для той же цели. Каждое из ливийских племен отличалось своим способом стрижки волос и некоторыми особенностями религиозного культа, хотя в целом все они поклонялись Солнцу и Луне.[78] Но в районе озера Тритонис (по-видимому, западная оконечность греческой каботажной торговли во времена Геродота, который мало что знает дальше и начинает апеллировать к карфагенским властям) были локализованы греческие божества Посейдон и Атен, а также легенда о Ясоне и аргонавтах. Кроме того, существовали пророчества о том, что сто эллинских городов будут основаны вокруг озера, и что один город на острове Фла, окруженном озером, будет основан лакедемонянами.[79] Это, действительно, было одним из многих несбывшихся пророчеств, которые со всех сторон обманывали греческое ухо, - в данном случае, вероятно, от киренейских или терских торговцев, которые считали это место выгодным для поселения и распространяли свои собственные надежды под видом божественных заверений. Примерно в 510 году до н. э.[80] некоторые из этих ферейцев подговорили спартанского принца Дориея основать колонию в плодородной области Кинипс, принадлежащей ливийским макейцам. Но Карфаген, заинтересованный в предотвращении распространения греческих поселений на запад, помог ливийцам изгнать его.

Ливийцы, жившие в непосредственной близости от Кирена, существенно изменились после основания этого города и составили большую часть его населения - сначала, вероятно, далеко не самую большую. Не обладая той свирепой стойкостью привычек, которую магометанская религия наложила на современных арабов, они были открыты для смешанного влияния принуждения и соблазнения со стороны греческих поселенцев; так что во времена Геродота кабалы и асбисты из внутренних районов стали копировать киренейские вкусы и обычаи.[81] Терские колонисты, получив не только согласие, но даже руководство туземцев на занятие Кирена, стали похожи на привилегированных спартанских

граждан посреди ливийских периеков.[82] Они, по-видимому, женились на ливийских женах, поэтому Геродот описывает женщин Кирена и Барки как соблюдающих, даже в его время, религиозные обряды туземного, а не эллинского происхождения.[83] Даже потомки первобытного экиста Баттуса были полуливийцами. Геродот сообщает нам любопытную информацию о том, что Баттус был ливийским словом, обозначавшим царя, делая из этого справедливый вывод, что имя Баттус не было изначально личным для экиста, а было приобретено в Ливии сначала как титул[84], а затем перешло к его потомкам как собственное имя. На протяжении восьми поколений правящие принцы назывались Баттус и Аркесилай, причем ливийский титул чередовался с греческим, пока род окончательно не лишился власти. Более того, мы находим вождя Барки, родственника Аркесилая из Кирена, носящего имя Алазир; имя, безусловно, не эллинское, а, вероятно, ливийское.[85] Таким образом, мы должны представить себе первых колонистов-терранов как обосновавшихся в своем высоком укрепленном пункте Кирен, в центре ливийских периеков, до тех пор незнакомых со стенами, искусствами и, возможно, даже с возделанной землей. Вероятно, эти Периеки всегда были подчинены и подчинены в большей или меньшей степени, хотя в течение полувека они продолжали сохранять своего собственного царя.

Этим грубым людям террейцы передали элементы эллинизма и цивилизации, не получив взамен много неэллинского; и, возможно, реакционное влияние ливийского элемента на эллинский могло бы оказаться сильнее, если бы они не были усилены новыми выходцами из Греции. После сорока лет правления Баттуса Экиста (около 630-590 гг. до н. э.) и шестнадцати лет правления его сына Аркесилая (около 590-574 гг. до н. э.), на смену пришел второй Баттус[86], названный Баттусом Процветающим, в знак необычайного роста Киренаиды во время его правления. При нем киренейцы старались приглашать новых поселенцев из всех частей Греции без различия, - обстоятельство, заслуживающее внимания в греческой колонизации, которая обычно проявляла предпочтение к определенным расам, если не исключала остальные. Каждому новоприбывшему был обещан участок земли, и дельфийская жрица настойчиво поддерживала желания киренейцев, заявляя, что "тот, кто достигнет места слишком поздно для раздела земли, будет иметь основания раскаиваться в этом". Такое обещание новой земли, а также санкция оракула, несомненно, были обнародованы на всех играх и собраниях греков, и большое количество новых колонистов отправилось в Кирену. Точное число не называется, но мы должны полагать, что оно было очень большим, если учесть, что в течение последующего поколения не менее семи тысяч греческих гоплитов Кирена погибли от рук восставших ливийцев, оставив при этом и сам город, и его соседку Барку по-прежнему могущественными. Потеря такого большого количества греческих гоплитов, как семь тысяч, имеет очень мало параллелей во всей истории Греции. Фактически, это второе переселение во время правления Баттуса Процветающего, которое должно было произойти между 574-554 годами до н. э., следует рассматривать как момент настоящей и эффективной колонизации Кирена. Именно по этому случаю, вероятно, был впервые занят и укреплен порт Аполлонии, который впоследствии сравнялся по значению с самим городом, - ведь вторая стая эмигрантов прибыла по морю, в то время как первоначальные колонисты добрались до Кирена по суше с острова Платея через Ирасу. Новые переселенцы прибыли из Пелопоннеса, Креты и некоторых других островов Эгейского моря.

Чтобы предоставить столько новых участков земли, было необходимо или целесообразно лишить собственности многих ливийских периеков, положение которых и в других отношениях сильно изменилось к худшему. Ливийский царь Адикран, сам оказавшийся в числе пострадавших, обратился за помощью к египетскому царю Априксу, находившемуся тогда в зените своего могущества; он послал объявить себя и свой народ египетскими

подданными, как и их соседей адырмачидов. Египетский принц, приняв предложение, отправил большой отряд туземных воинов, постоянно находившихся в западном пограничном городе Марее, по маршруту вдоль берега, чтобы напасть на Кирену. Они были встречены в Ирасе греками Кирена и, будучи совершенно незнакомыми с греческим оружием и тактикой, потерпели столь полное поражение, что лишь немногие из них добрались до дома.^[87] О последствиях этой катастрофы в Египте, где она привела к передаче трона от Априеса к Амасису, говорилось в одной из предыдущих глав.

Конечно, ливийские перизки были усмирены, а передел земель около Кирена между греческими поселенцами завершен, что значительно увеличило мощь города. А правление Баттуса Процветающего знаменует собой эпоху расцвета города и приобретения большого земельного владения, предшествовавшего годам раздоров и бедствий. Киренейцы вступили в тесный союз с египетским царем Амасисом, который всячески поощрял греческие связи и даже взял в жены Ладикку, женщину из рода Баттиадов в Кирене, так что ливийские перизки потеряли всякий шанс на египетскую помощь против греков^[88].

Новые перспективы, однако, открылись перед ними во время правления Аркесилая Второго, сына Баттуса Процветающего (около 554-544 гг. до н. э.). Поведение этого царевича возмутило и оттолкнуло его собственных братьев, которые подняли против него восстание, отделились вместе с частью граждан и побудили часть ливийских перизков принять в нем участие. Они основали греко-ливийский город Барка на территории ливийских аусхисцев, примерно в двенадцати милях от побережья, удаленного от Кирена морем примерно на семьдесят миль к западу. Пространство между ними и даже за Баркой, вплоть до более западной греческой колонии под названием Гесперида, во времена Скилакса было снабжено удобными портами для убежища или высадки:^[89] в какое время была основана Гесперида, мы не знаем, но она существовала около 510 года до н. э.^[90] Препятствовал ли Аркесилай основанию Барки, точно не известно; но он направил киренейские войска против восставших ливийцев, которые присоединились к нему. Не в силах сопротивляться, последние бежали в поисках убежища к своим более восточным собратьям у границ Египта, и Аркесилай преследовал их. В конце концов, в районе под названием Леукон беглецы нашли возможность напасть на него с таким огромным преимуществом, что почти уничтожили киренейскую армию, семь тысяч гоплитов (как уже говорилось) остались мертвыми на поле боя. Аркесилай недолго пережил эту катастрофу. Он был задушен во время болезни своим братом Леархом, претендовавшим на престол; но Эриксо, вдова умершего царевича,^[91] отомстила за это преступление, убив Леарха.

В то, что авторитет принцев Баттиады был подорван такой чередой бедствий и преступлений, мы можем легко поверить. Но еще больший удар по нему нанесло то обстоятельство, что Баттус Третий, сын и преемник Аркесилая, был хромым и деформированным на ноги. По мнению киренейцев, быть управляемым человеком с таким личным недостатком было оскорблением, которое нельзя было вынести, а также оправданием для уже существовавших недовольств; и было принято решение обратиться за советом к дельфийскому оракулу. Жрица велела им пригласить из Мантинеи модератора, уполномоченного прекратить дискуссии и предложить схему правления, - мантинейцы выбрали Демонакса, одного из мудрейших своих граждан, для решения той же проблемы, которая была поручена Солону в Афинах. По его решению царская прерогатива рода Баттиадов была прекращена, а республиканское правительство установлено, кажется, около 543 года до н. э.; лишенный власти принц сохранил за собой как земельные владения ^[92], так и различные сакральные функции, принадлежавшие его предшественникам.

Однако о новом правительстве Геродот, к сожалению, почти ничего не сообщает. Демонакс разделил жителей Кирена на три племена, состоящие из: 1. 1. терцы со своими ливийскими перизками; 2. греки, пришедшие из Пелопоннеса и Креты; 3. греки, пришедшие со всех других островов Эгейского моря. Кроме того, судя по всему, был создан сенат, состоявший, несомненно, из представителей этих трех племен, причем, как мы можем предположить, в равной пропорции. Представляется вероятным, что до этого не существовало ни конституционной классификации, ни политических привилегий, кроме тех, которыми обладали террейцы, - что эти последние, потомки первоначальных колонистов, были единственными лицами, *известными* до сих пор *конституции*, - и что остальные греки, хотя и были свободными землевладельцами и гоплитами, не имели права действовать как составная часть политического тела, и вообще не были распределены по племенам.^[93] Все полномочия по управлению государством, до этого времени принадлежавшие князьям Баттиады, при условии, что граждане ферейского происхождения могли вмешаться в их деятельность, теперь были переданы от князя народу, то есть определенным лицам или собраниям, выбранным каким-то образом из числа всех граждан. В Кирене, как и в Фере и Спарте, существовал совет эфоров и отряд из трехсот вооруженных полицейских,^[94] аналогичный тем, кого в Спарте называли Гиппеями, или Всадниками: были ли они учреждены Демонаксом, мы не знаем, да и идентичность титулатуры в разных государствах не дает оснований предполагать идентичность власти. Это особенно следует отметить в отношении перизков в Кирене, которые, возможно, были более похожи на гелотов, чем на перизков Спарты. Тот факт, что в новой конституции перизки рассматривались как представители ферейской ветви граждан, показывает, что последние все еще продолжали оставаться привилегированным сословием, как патриции с их клиентами в Риме по отношению к плебсу.

В то, что реорганизация, проведенная Демонаксом, была мудрой, согласной с общим течением греческих чувств и рассчитанной на успешную работу, есть все основания верить: никакое недовольство внутри не смогло бы подорвать ее без помощи посторонних сил. Баттус Хромой мирно мирился с этим при жизни; но его вдова и сын, Феретимек и Аркесилай, подняли восстание после его смерти и попытались силой вернуть царские привилегии семьи. Они потерпели поражение и были вынуждены бежать: мать - на Кипр, сын - на Самос, где оба занялись добычей иностранного оружия для вторжения в Кирену и ее завоевания. Хотя Феретимек не смогла получить действенной помощи от Эуэлтона, принца Саламины на Кипре, ее сын добился большего успеха на Самосе, пригласив новых греческих поселенцев в Кирену под обещание перераспределения земель. К нему присоединилось большое количество эмигрантов; казалось бы, время было благоприятным для этого, так как ионийские города незадолго до этого подчинились Персии и были недовольны этим игром. Но прежде чем вести этот многочисленный отряд против родного города, он счел нужным спросить совета у дельфийского оракула. Ему был обещан успех, но после успеха настоятельно рекомендовались умеренность и милосердие под страхом потери жизни; и бог объявил, что роду Баттиадов суждено править в Кирене в течение восьми поколений, но не более, - до четырех принцев по имени Баттус и четырех по имени Аркесилай.^[95] "Более чем на эти восемь поколений (сказала пифия) Аполлон запрещает Баттиадам даже стремиться". Этот оракул, несомненно, был рассказан Геродоту киренейскими информаторами, когда он посетил их город после окончательного низложения князей Баттиадов, которое произошло в лице четвертого Аркесилая между 460-450 гг. до н. э.; вторжение в Кирену Аркесилая Третьего, шестого князя из рода Баттиадов, к которому, как утверждает оракул, произошло около 530 г. до н. э. Слова, вложенные в уста жрицы, несомненно, относятся к более позднему из этих двух периодов и служат примером того, как притворные пророчества не только составляются на основе предшествующего послезнания, но и придумываются

таким образом, чтобы служить настоящей цели. Ведь четкий запрет бога "даже не стремиться к более длинной родословной, чем восемь принцев Баттиады", кажется, явно предназначен для того, чтобы удержать сторонников свергнутой семьи от попыток восстановить их.

Аркесилай Третий, которому, предположительно, было адресовано это пророчество, вернулся со своей матерью Феретимой и армией новых колонистов в Кирену. Он был достаточно силен, чтобы унести все перед собой - изгнать некоторых из своих главных противников и захватить других, которых он отправил на Кипр для уничтожения; хотя корабли были выбиты из курса бурей на полуостров Книдус, где жители спасли пленников и отправили их в Теру. Другие киренейцы, выступившие против Баттиадов, укрылись в возвышенной частной башне, принадлежавшей Агломаху, где Аркесилай заставил их всех сжечь, навалив вокруг дров и подожгли. Но после этого триумфа и мести он осознал, что отступил от кротости, предписанной ему оракулом, и попытался избежать наказания, которым оно грозило, удалившись из Киренки. Во всяком случае, он удалился из Кирена в Барку, в резиденцию баркейского князя, своего родственника Алазира, на дочери которого он женился. Но в Барке он нашел некоторых из тех несчастных, которые бежали из Кирена, спасаясь от него: эти изгнанники, при поддержке нескольких баркейцев, выжидали подходящий момент, чтобы напасть на него на рыночной площади, и убили его вместе с его родственником, князем Алазиром[96].

Победа Аркесилая при Кирене и его убийство в Барке, несомненно, являются реальными фактами; но, похоже, они были скомпонованы вместе и неправильно окрашены, чтобы придать смерти киренейского принца видимость божественного суда. Ведь правление Аркесилая не могло быть очень коротким, так как в течение него произошли события чрезвычайной важности. Персы при Камбисе завоевали Египет, и киренейский и баркейский принцы отправились в Мемфис, чтобы выразить свою покорность завоевателю, - преподнесли подарки и обложили себя ежегодной данью. Подарки киренейцев, пятьсот мин серебра, показались Камбисесу настолько презрительно малыми, что он сразу же схватил их и разбросал среди своих солдат. А в тот момент, когда умер Аркесилай, в Египте обосновался Арианд, персидский сатрап после смерти Камбисеса[97].

Во время отсутствия Аркесилая в Барке его мать Феретима исполняла обязанности регентши, занимая свое место на обсуждениях в сенате; но когда произошла его смерть, и в Барке сильно проявилось чувство против Баттиадов, она не почувствовала себя достаточно сильной, чтобы подавить его, и отправилась в Египет просить помощи у Арианда. Сатрап, убедившись в том, что Аркесилай погиб за стойкую преданность персам, послал в Барку глашатая, чтобы тот потребовал людей, убивших его. Баркейцы взяли на себя коллективную ответственность за этот поступок, заявив, что он нанес им многочисленные и тяжелые увечья, - еще одно доказательство того, что его правление не могло быть очень коротким. Получив такой ответ, сатрап немедленно отправил мощное персидское войско, как сухопутное, так и морское, во исполнение замыслов Феретима против Барки. Они осаждали город в течение девяти месяцев, пытаясь штурмовать, таранить и подрывать стены;[98] но их усилия были тщетны, и в конце концов он был взят только благодаря акту грубейшего вероломства. Притворившись, что от отчаяния отказался от попытки, персидский полководец заключил с баркейцами договор, в котором оговаривалось, что последние должны продолжать платить дань Великому царю, а армия должна уйти без дальнейших военных действий: "Я клянусь в этом (сказал персидский генерал), и моя клятва будет верна, пока эта земля будет стоять на своем месте". Но место, на котором произошел обмен клятвами, было подготовлено обманом: был вырыт ров и обложен барьерами, на

которые снова была уложена земля. Баркейцы, поверив клятве и обрадовавшись освобождению, немедленно открыли ворота и ослабили охрану, а персы, сломав заграждения и опустив насыпанный грунт, чтобы соблюсти букву клятвы, ворвались в город и взяли его без труда.

Печальна была участь, которую Феретиме припасла для этих заплутавших пленников. Она распяла главных противников себя и своего покойного сына вокруг стен, на которых также были прикреплены груди их жен; затем, за исключением тех жителей, которые были баттиадами и ни в коей мере не были причастны к смерти Аркесилая, она отправила остальных в рабство в Персию. Они были уведены в плен в Персидскую империю, где Дарий выделил им в качестве места жительства деревню в Бактрии, которая и во времена Геродота носила название Барка.

Во время этой экспедиции, судя по всему, персидская армия продвинулась до Гесперид и подчинила себе многие ливийские племена: эти племена, а также Кирен и Барка, фигурируют среди данников и помощников Ксеркса в его походе на Грецию. И когда армия по приказу Ариандеса возвращалась в Египет, они наполовину склонялись к тому, чтобы захватить на своем пути саму Кирену, но возможность была упущена, а цель осталась невыполненной^[99].

Феретима сопровождала отступающую армию в Египет, где вскоре умерла от страшной болезни, съеденная червями; таким образом, говорит Геродот,^[100] показав, что "чрезмерная жестокость в мести навлекает на людей неудовольствие богов". Следует помнить, что в жилах этой дикарки ливийская кровь смешалась с греческой. Политическая вражда в Греции убивает, но редко калечит или проливает кровь женщин.

Таким образом, мы оставляем Кирену и Барку снова подвластными баттиадским князьям, в то время как они являются данниками Персии. Еще один Баттус и еще один Аркесилай должны были вмешаться, прежде чем стекло этой никчемной династии закончилось, между 460-450 гг. до н. э. Я не буду сейчас привлекать внимание читателя к этому последнему Аркесилаю, который удостоился двух побед на колесницах в Греции и двух прекрасных од Пиндара.

Победа третьего Аркесилая и восстановление Баттиадов разрушили справедливую конституцию, установленную Демонексом. Его тройная классификация племен должна была быть полностью переработана, хотя мы не знаем, каким образом. Ведь количество новых колонистов, которых ввел Аркесилай, должно было потребовать нового распределения земли, и крайне сомнительно, что отношения террейского класса граждан с их перизками, установленные Демонексом, продолжали существовать. На этот факт необходимо обратить внимание, потому что некоторые авторы говорят об установлениях Демонакса так, будто они составляли постоянную конституцию Кирена; в то время как они не могли пережить восстановление Баттиадов, и даже не могли быть возрождены после окончательного изгнания этой династии, поскольку количество новых граждан и значительное изменение собственности, введенное Аркесилаем Третьим, сделало бы их неприменимыми к последующему городу.

ГЛАВА XXVIII.

ОБЩЕЭЛЛИНСКИЕ ПРАЗДНИКИ - ОЛИМПИЙСКИЙ, ПИФИЙСКИЙ, НЕМАЙСКИЙ И ИСТМИЙСКИЙ.

В предыдущих главах я был вынужден представить читателю картину, совершенно бессвязную и лишенную центрального эффекта, - кратко указать каждый из двух-трех сотен городов, согласных носить эллинское имя, и рассказать о его рождении и ранней жизни, насколько позволяют наши свидетельства, - но не имея возможности указать ни на одно действие и реакцию, подвиги или страдания, процветание или несчастье, славу или позор, общие для всех. В значительной степени это характерная черта, неотделимая от истории Греции от ее начала и до конца, ибо единственное политическое единство, которое она когда-либо получала, - это меланхоличное единство подчинения под власть всепобеждающего Рима. Ничто, кроме силы, не изгладит в сознании свободного грека идею его города как автономной и отдельной организации; деревня - это фракция, но город - это единица, - и высшая из всех политических единиц, не допускающая объединения с другими в десятку или сотню, в жертву своей отдельной и индивидуальной марке. Таков характер расы, как в ее первобытной стране, так и в колониальных поселениях, - как в ранней, так и в поздней истории, - разделившейся в результате естественного перелома на множество самоуправляющихся, неделимых городов. Но что отличает ранний исторический период до Писистрата и что накладывает на него отпечаток несогласованности, одновременно столь утомительной и непоправимой, так это то, что до сих пор не возникло причин, способных противостоять этой политической изоляции. Каждый город, прогрессивный или стационарный, благоразумный или авантюрный, бурный или спокойный, следует по своей собственной нити существования, не имея ни партнерства, ни общих целей с остальными, и пока не принуждаемый к какому-либо активному партнерству с ними посторонними силами. Точно так же и расы, которые со всех сторон окружают эллинский мир, выглядят отдельными и не связанными между собой, еще не объединенными в какую-либо взаимодействующую массу или систему.

Одновременно с воцарением Писистрата это положение вещей меняется как в Элладе, так и за ее пределами, - первое как следствие второго: Ибо в это время начинается формирование великой Персидской империи, которая вбирает в себя не только Верхнюю и Малую Азию, но и Феникию, Египет, Фракию, Македонию и значительное число греческих городов; и общая опасность, грозящая большим государствам собственно Греции от этой огромной совокупности, побуждает их, несмотря на большую неохоту и ревность, к активному объединению. Отсюда возникает новый импульс, противодействующий естественной тенденции к политической изоляции эллинских городов и в определенной степени централизующий их деятельность в течение двух веков, следующих за 560 годом до н. э.; Афины и Спарта воспользовались централизаторскими тенденциями, возникшими в результате персидской войны. Но в период между 776-560 гг. до н. э. не прослеживается ни начала такой тенденции, ни каких-либо сдерживающих сил, призванных ее вызвать. Даже Фукидид, как мы видим из его прекрасного предисловия, не знал в течение этих двух веков ничего, кроме политики отдельных городов и эпизодических войн между соседями: единственным событием, в котором, по его словам, совместно участвовало значительное число греческих городов, была война между Халкисом и Эретрией, дата которой нам неизвестна. В этой войне несколько городов участвовали в качестве союзников: Самос, среди прочих, с Эретрией, Милет с Халкисом:[101] насколько далеко простирались союзы каждого из них, мы не имеем свидетельств, но можно предположить, что в них не участвовало большое число греческих городов. Однако, какой бы она ни была, эта война

между Халкисом и Эретрией была ближайшим и единственным подходом к панэллинскому процессу, который Фукидид указывает между Троянской и Персидской войнами. И он, и Геродот представляют этот ранний период лишь в качестве предисловия и контраста к последующему, когда панэллинский дух и тенденции, хотя никогда и не были преобладающими, все же были мощным элементом истории и ощутимо изменяли универсальный инстинкт изоляции городов. Они мало рассказывают о ней, либо потому, что не смогли найти надежных информаторов, либо потому, что в ней не было ничего, что могло бы захватить воображение так же, как персидские или пелопоннесские войны. Какова бы ни была причина их молчания, оно вызывает глубокое сожаление, поскольку явления двух веков 776-560 гг. до н. э., хотя и не поддаются какой-либо центральной группировке, должны были бы представлять собой наиболее поучительный материал для изучения, если бы они были сохранены. Ни в один период истории не образовывалось такого количества новых политических сообществ при таком разнообразии обстоятельств, как личных, так и местных. И несколько хроник, пусть и лишенных философского смысла, сообщающих о точном пути некоторых из этих колоний с момента их основания, - среди всех трудностей, связанных со слиянием с чужими туземцами, а также с новым распределением земли, - значительно расширили бы наши знания как о греческом характере, так и о греческом общественном бытии.

Если взять два столетия, которые мы сейчас рассматриваем, то окажется, что среди греческих государств не только нет растущего политического единства, но даже есть тенденция к противоположному - к рассеянию и взаимному отчуждению. Однако не так обстоит дело с другими чувствами единства, которые могут существовать между людьми, не признающими общей политической власти, - симпатиями, основанными на общей религии, языке, верованиях расы, легендах, вкусах и обычаях, интеллектуальных пристрастиях, чувстве меры и художественном совершенстве, удовольствиях, связанных с отдыхом, и т. д. По всем этим пунктам проявления эллинского единства становятся все более выраженными и всеобъемлющими, несмотря на все большее политическое распространение, на протяжении одного и того же периода. Широта общих чувств и симпатий между греками и гречанками, а также представление о многочисленных периодических собраниях как о неотъемлемой части существования, в 560 году до н. э. представляется гораздо более значительной, чем за столетие до этого. Этому способствовало растущее убеждение в превосходстве греков над иностранцами - убеждение, постепенно все более и более оправдывавшееся по мере совершенствования греческого искусства и интеллекта, а также по мере расширения обзора зарубежных стран, - а также многочисленные новые усилия гениальных людей в области музыки, поэзии, скульптуры и архитектуры, каждый из которых затрагивал аккорды чувств, принадлежащие другим грекам не меньше, чем своему собственному городу. В то же время жизнь каждого отдельного города продолжает оставаться самобытной и даже собирает в себя все большее количество фактов и внутренних интересов. Таким образом, в течение двух столетий, о которых пойдет речь, в сознании каждого грека росло как чувство города, так и общегреческое чувство, но, с другой стороны, угасало старое чувство отдельной расы - дорийской, ионической, эолийской.

В предыдущем томе я уже касался многогранного характера греческой религии, которая входила во все удовольствия и страдания, надежды и страхи, привязанности и антипатии людей, - не просто налагая ограничения и обязательства, но защищая, умножая и разнообразя все социальные удовольствия и все украшения жизни. Каждый город и даже каждая деревня имели свои особые религиозные праздники, где жертвоприношения богам обычно сопровождались публичными развлечениями того или иного рода, - пиршествами, шествиями, пением и танцами или состязаниями в силовых и активных упражнениях.

Изначально праздник был местным, но дружба или общность расы проявлялась в приглашении других, не местных жителей, принять участие в его развлечениях. В случае колонии и ее метрополии частой практикой было то, что граждане метрополии удостоивались привилегированного места на праздниках колонии или что одному из них предоставлялось право первым отведать жертву.^[102] Взаимное посещение религиозных праздников было, таким образом, постоянным свидетельством дружбы и братства между городами, не объединенными политически. В том, что они существовали в той или иной степени с древнейших времен, не может быть никаких разумных сомнений; хотя у Гомера и Гесиода мы находим только празднование погребальных игр, проводимых вождем за свой личный счет в честь умершего отца или друга, - со всеми сопутствующими развлечениями, однако, как на общественном празднике, и с чужаками, не только присутствующими, но и претендующими на ценные призы.^[103] Переходя к исторической Греции седьмого века до нашей эры, мы находим свидетельства о двух фестивалях, уже тогда очень значительных и посещаемых греками из разных городов и областей, - фестивале на Делосе в честь Аполлона, великом месте встречи ионийцев по всему Эгейскому морю, и Олимпийских играх. Гомеровский гимн Делийскому Аполлону, который должен быть помещен ранее 600 года до н. э., с упоением рассказывает о великолепии Делийского фестиваля, не имеющего себе равных во всей Греции, как представляется, в течение всего первого периода этой истории, по богатству, изысканности нарядов и разнообразию выставок, как поэтического гения, так и телесной активности,^[104] - вероятно, равного в то время, если не превосходящего, Олимпийским играм. Полное и неизменное величие этого Делийского пан-ионического фестиваля - один из главных признаков первого периода греческой истории, до сравнительного упадка ионических греков, вызванного приходом Персии: он отмечался периодически в каждый четвертый год в честь Аполлона и Артемиды. От Олимпийских игр он отличался двумя обстоятельствами, заслуживающими внимания, - во-первых, включением торжественных состязаний не только гимнастических, но и музыкальных и поэтических, тогда как последние не имели места в Олимпии; во-вторых, допуском в качестве зрителей мужчин, женщин и детей без разбора, тогда как женщины были формально исключены из олимпийской церемонии.^[105] Возможно, такое исключение отчасти объясняется внутренним расположением Олимпии, куда женщинам было менее удобно добираться, чем на остров Делос; но даже если учесть это обстоятельство, как одно, так и другое отличие свидетельствует о более грубом характере этоло-дорийцев в Пелопоннесе. Делийский праздник, сильно угасший во время подчинения азиатских и островных греков Персии, был возрожден Афинами в период их империи, когда они всячески стремились укрепить свое центральное положение в Эгейском море. Но хотя под ее руководством он продолжал демонстративно отмечаться, он так и не обрел той величественной святости и многолюдности, о которых мы находим свидетельства в гомеровском гимне Аполлону, относящемся к более раннему периоду.

Совсем иной была судьба олимпийского праздника на берегу Алфея (¹⁰⁶) в Пелопоннесе, возле старого оракульного храма Зевса Олимпийского, который не только непрерывно развивался от малого начала до максимума общегреческого значения, но даже сохранял свои толпы посетителей и свою известность в течение многих веков после исчезновения греческой свободы, и только получил свое окончательное упразднение, после более чем одиннадцатисот лет продолжения, от указа христианского императора Феодосия в 394 году нашей эры. D. В предыдущем томе этой истории я уже рассказывал о попытке Фидона, деспота Аргоса, вернуть пизанцам или приобрести для себя управление этим праздником - событие, доказывающее важность этого праздника в Пелопоннесе еще в 740 году до нашей эры. В то время и в течение нескольких лет после этого его, похоже, посещали в основном, если не исключительно, окрестные жители центрального и западного Пелопоннеса -

спартанцы, мессенцы, аркадяне, трифилийцы, пизаты, элейцы и ахейцы[107] - и он является важным звеном, связывающим этоло-элейцев и их привилегии как агонотетов на проведение праздника и председательствование на нем со Спартой. Начиная с 720 года до н. э., мы видим положительные свидетельства постепенного присутствия более отдаленных греков - коринфян, мегарцев, беотийцев, афинян и даже смирнцев из Азии.

Мы наблюдаем также еще одно доказательство растущей важности - увеличение числа и разнообразия матчей, демонстрируемых зрителям, и замена простой короны из оливы, почетной награды, на более существенный подарок, который Олимпийский фестиваль и все другие греческие праздники начинали с вручения победителю. С скромная конституция Олимпийских игр первоначально представляла собой не что иное, как состязание бегунов на отмеренной дистанции, называемой стадионом: непрерывный ряд победивших бегунов был официально записан и сохранен элейцами, начиная с Корэбуса в 776 году до н. э., и служил исследователям хронологии с третьего века до н. э. и далее, как средство измерения хронологической последовательности греческих событий. Именно по случаю 7-й Олимпиады после Корибуса мессенец Дайклес впервые получил за свою победу на стадионе не более высокую награду, чем венок из священного оливкового дерева близ Олимпии:[108] честь быть провозглашенным победителем была сочтена достаточной, без всякого денежного дополнения. Но вплоть до XIV Олимпиады зрители не могли наблюдать никаких других состязаний, кроме простых бегов на стадионе. По этому случаю сначала ввели вторую гонку - бегунов на двойном стадионе, или вверх и вниз по дистанции; на следующей, 15-й Олимпиаде (720 г. до н. э.) - третий матч, длинная дистанция для бегунов, или несколько раз вверх и вниз по стадиону. Таким образом, существовало три вида состязаний - простой стадион, двойной стадион, или диаулос, и длинная дистанция, или долихос, все для бегунов, - которые продолжались без дополнений до 18-й Олимпиады, когда были добавлены борцовский матч и сложное пятиборье, включающее прыжки, бег, квоит, копье и борьбу. Еще одна новинка появляется на 23-й Олимпиаде (688 г. до н. э.) - боксерский поединок, а другая, еще более важная, - на 25-й (680 г. до н. э.) - колесница с четырьмя полновозрастными лошадьми. Последнее дополнение заслуживает особого внимания не только потому, что оно разнообразило сцену появлением лошадей, но и потому, что оно ввело совершенно новый класс участников - богатых мужчин и женщин, которые обладали лучшими лошадьми и могли нанять самых искусных водителей, не обладая при этом ни личным превосходством, ни способностью к телесным демонстрациям.[109] Невероятная демонстрация богатства, которой предавались владельцы колесниц, не только свидетельствует о растущем значении Олимпийских игр, но и существенно повышает это значение, а также усиливает интерес зрителей. В 33-ю Олимпиаду (648 г. до н. э.) были добавлены еще два поединка - панкратион, или бокс и борьба, соединенные вместе,[110] с рукой без оружия или без жесткого кожаного цеста[111], который носил драчун и который делал удар последнего более страшным, но в то же время не позволял ему схватить или удержать своего противника, - и одиночные скачки на лошадях. Один за другим вводились многие другие новшества, которые нет нужды перечислять, - скачки между мужчинами, одетыми в полное облачение и несущими каждый свой щит, различные поединки между мальчиками, аналогичные поединкам между взрослыми мужчинами, и между жеребьями, такого же характера, как и между взрослыми лошадьми. На максимуме своей привлекательности олимпийская торжественность занимала пять дней, но до 77-й Олимпиады все различные матчи были сжаты в один, - начинались с рассветом и не всегда заканчивались до темноты.[112] 77-я Олимпиада следует сразу после успеха изгнания персидских захватчиков из Греции, когда панэллинские чувства были остро стимулированы сопротивлением общему врагу; и мы можем легко представить, что это был подходящий момент для придания дополнительного достоинства главному национальному празднику.

Таким образом, мы можем частично проследить, как в течение двух веков после 776 года до н. э. праздник Зевса Олимпийского в Фисатидах постепенно перешел от местного к национальному характеру и приобрел притягательную силу, способную объединить во временный союз разрозненные осколки Эллады от Марселя до Трапезунда. В этой важной функции он недолго оставался в одиночестве. В течение VI века до н. э. три других праздника, сначала местные, стали последовательно национализироваться: Пифия в Дельфах, Истмия в Коринфе, Немей в Клеоне, между Сикионом и Аргосом.

Что касается пифийского праздника, мы находим краткое извещение о конкретных случаях и лицах, благодаря которым он был восстановлен и расширен, - извещение тем более интересное, что сами эти случаи являются проявлением чего-то вроде общеэллинского патриотизма, стоящего почти особняком в эпоху, когда мало что еще действует, кроме отдельных городских интересов. В то время, когда был написан гомеровский гимн дельфийскому Аполлону (вероятно, в седьмом веке до нашей эры), пифийский праздник еще не приобрел большого размаха. Богатый и священный храм Аполлона был тогда чисто оракульным, созданным для того, чтобы сообщать благочестивым искателям "советы бессмертных". Толпы посетителей приходили сюда, чтобы посоветоваться, а также принести жертвы и внести дорогие подношения; Но хотя богу нравились звуки арфы, сопровождавшие пение пеанов, он отнюдь не стремился поощрять скачки и гонки на колесницах по соседству, - более того, псалмопевец считает, что шум лошадей был бы "помехой", питье мулов - осквернением священных фонтанов, а показное поведение прекрасно построенных колесниц - предосудительным^[113], поскольку отвлекало бы внимание зрителей от великого храма и его богатств.

От таких неудобств бог был защищен, поместив свое святилище "в скалистом Пифо" - изрезанном и неровном углублении не очень больших размеров, заключенном в южном склоне Парнаса и примерно на две тысячи футов выше уровня моря, в то время как самые высокие парнасские вершины достигают высоты около восьми тысяч футов. Ситуация была чрезвычайно впечатляющей, но по своей природе она не подходила для скопления значительного числа зрителей - совершенно непригодной для гонок на колесницах - и стала возможной только благодаря более позднему искусству и затратам на театр и стадион; первоначальный стадион, когда он был впервые основан, располагался на равнине под ним. Он не давал средств к существованию, но жертвы и подарки посетителей позволяли служителям храма жить в изобилии^[114] и постепенно собрали вокруг него деревню. Недалеко от святилища Пифо, примерно на той же высоте, располагался древний фокийский город Крисса, на выступающем отроге Парнаса, - над ним нависала линия скалистого обрыва, называемого Федриадами, а внизу нависало глубокое ущелье, через которое протекала река Плейстус. По другую сторону этой реки возвышается крутая гора Кирфис, которая выступает на юг в Коринфский залив, - река достигает этого залива через широкую Криссейскую или Кирхейскую равнину, которая простирается на запад почти до локрийского города Амфисса; равнина по большей части плодородная и продуктивная, хотя наименее ее восточная часть непосредственно под Кирфисом, где находился морской порт Кирра. [Храм, оракул и богатства Пифона относятся к самым ранним периодам греческой античности; но восьмилетние торжества в честь бога поначалу не включали никаких других состязаний, кроме бардов, которые пели каждый свой пеан с арфой. В предыдущем томе уже упоминалось, что амфикиционный сбор проводило одно из своих полугодовых собраний у храма Пифона, а другое - в Фермопиле.

В те ранние времена, когда был написан гомеровский гимн Аполлону, город Крисса, по-видимому, был великим и могущественным, владея всей широкой равниной между

Парнасом, Кирфисом и заливом, которому он дал свое название, - и владея также, что было не менее ценной собственностью, прилегающим святилищем самого Пифона, которое в гимне отождествляется с Криссой, не указывая на Дельфы как на отдельное место. Криссцы, несомненно, получали большую прибыль от количества посетителей, приезжавших в Дельфы как по суше, так и по морю, и Кирра первоначально была лишь названием их морского порта. Постепенно, однако, порт, по-видимому, вырос за счет города, подобно тому как Аполлония и Птолемаис сравнивались с Киреной и Баркой, а Плимутский док превратился в Девонпорт; в то же время святилище Пифо с его администраторами расширилось за счет города Дельфы и стало претендовать на самостоятельное существование. Таким образом, первоначальные отношения между Криссой, Киррой и Дельфами были подорваны: первая пришла в упадок, а две последние возвысились. Криссцы оказались лишены права управления храмом, которое перешло к дельфийцам, а также прибыли, получаемой от посетителей, чьи средства шли на обогащение жителей Кирры. Крисса была примитивным городом с фокийским названием и могла похвастаться местом в гомеровском каталоге, так что утрата ее значимости вряд ли была бы спокойно перенесена. Более того, в дополнение к вышеперечисленным фактам, которые уже сами по себе являются достаточным основанием для ссоры, нам говорят, что кирренцы злоупотребляли своим положением хозяев морского пути к храму и взимали непомерные пошлины с высаживавшихся там гостей, число которых постоянно росло из-за умножения трансмаринских колоний и процветания колоний в Италии и Сицилии. Помимо того, что они наносили обиды общей греческой публике, они также вызывали вражду своих фокийских соседей, совершая нападения на женщин, как фокийских, так и аргейских, возвращавшихся из храма[116].

Так продолжалось, по-видимому, около 595 года до н. э., когда собрание Амфикитионов вмешалось - либо по инициативе фокийцев, либо, возможно, по собственному спонтанному побуждению, из уважения к храму, - чтобы наказать кирхейцев. После десятилетней войны, первой Священной войны в Греции, эта цель была полностью достигнута объединенными силами фессалийцев под командованием Эврилоха, сикионцев под командованием Клейстенеса и афинян под командованием Алкмеона; афинянин Солон был тем человеком, который инициировал и осуществил на Амфикиктионском совете предложение о вмешательстве. Кирра, по-видимому, оказывала упорное сопротивление, пока ее снабжение с моря не было перехвачено морскими силами сикионского Клейстенеса; и даже после взятия города его жители некоторое время защищались на высотах Кирфиса.[117] Однако в конце концов они были полностью покорены. Их город был разрушен или остался существовать только как место высадки; а вся прилегающая равнина была посвящена дельфийскому богу, чьи владения соприкасались с морем. Согласно этому приговору, вынесенному религиозным чувством Греции и освященному торжественной клятвой, публично принесенной и начертанной в Дельфах, земля была обречена оставаться необработанной и незасаженной, без всякого человеческого ухода и служить только для выпаса скота. Последнее обстоятельство было удобно для храма, поскольку обеспечивало изобилие жертв для паломников, которые высаживались на берег и приходили для жертвоприношения, - ведь без предварительного жертвоприношения никто не мог обратиться к оракулу;[118] а полный запрет на обработку земли был единственным средством предотвратить появление еще одного беспокойного соседа на морском берегу. Судьба Кирры в этой войне выяснена: судьба Криссы не столь ясна, и мы не знаем, была ли она уничтожена или осталась существовать в уступающем положении по отношению к Дельфам. Однако с этого времени дельфийская община предстает как самостоятельная и независимая, осуществляющая управление храмом по своему усмотрению; хотя мы не раз обнаружим, что фокийцы оспаривают это право и претендуют на управление храмом для

себя[119] - пережиток того раннего периода, когда оракул находился во владениях фокийской Криссы. Более того, похоже, что между дельфийцами и фокийцами существовала постоянная антипатия.

Только что упомянутая Священная война, возникшая на основании торжественного декрета Амфикинии, проведенная совместно войсками разных государств, которые, как мы знаем, никогда прежде не сотрудничали, и направленная исключительно на объект общих интересов, сама по себе является важным фактом, свидетельствующим о решительном росте панэллинских чувств. Спарта не упоминается в качестве вмешивающегося государства, - обстоятельство, которое кажется примечательным, если учесть как ее могущество, даже в том виде, в котором она тогда находилась, так и ее тесную связь с Дельфийским оракулом, - в то время как афиняне выступают в качестве главных движущих сил, через величайших и лучших из своих граждан: заслуга великодушного патриотизма лежит в значительной степени на них.

Но если сама эта Священная война свидетельствует о том, что панэллинский дух крепнет, то положительный результат, которым она завершилась, еще больше укрепил этот дух. Добыча из Кирры была использована союзниками-победителями для основания Пифийских игр. Восьмилетний праздник, до сих пор отмечавшийся в Дельфах в честь бога и не включавший в себя никаких других состязаний, кроме игры на арфе и пеане, был расширен до всеобъемлющих игр по образцу Олимпийских, с состязаниями не только в музыке, но и в гимнастике и колесницах, - праздновавшихся не в самих Дельфах, а на приморской равнине возле разрушенной Кирры, - и под непосредственным руководством самих амфикионов. Я уже упоминал о том, что Солон обеспечил крупные вознаграждения тем афинянам, которые одерживали победы на Олимпийских и Истмийских играх, тем самым показывая свое понимание огромной ценности национальных игр как средства содействия эллинскому общению. Это же чувство послужило толчком к основанию новых игр на Кирхейской равнине, в память об оправданной чести Аполлона и на территории, вновь переданной ему. Они проводились во второй половине лета или в первой половине каждого третьего олимпийского года - Амфикионы были мнимыми агонотетами, или администраторами, и назначали людей для выполнения обязанностей от своего имени.[120] На первой пифийской церемонии (в 586 г. до н. э.) были вручены ценные награды. На первой пифийской церемонии (в 586 году до н. э.) различным победителям вручались ценные награды; на второй (582 год до н. э.) не вручалось ничего, кроме лавровых венков, - быстро достигнутая известность игр была такова, что делала излишними любые другие награды. Сам сикионский деспот Клейстенес, один из лидеров завоевания Кирры, получил приз на гонках колесниц во время второй Пифии. Мы находим и других великих людей Греции, часто упоминаемых в качестве участников, и игры долгое время сохраняли достоинство, уступающее только Олимпийским, перед которыми, правда, они имели некоторые преимущества; во-первых, ими не злоупотребляли в целях поощрения мелкой ревности и антипатии любого управляющего государства, как Олимпийские игры были извращены элейцами, не раз; во-вторых, они включали в себя музыку и поэзию, а также телесные демонстрации. По обстоятельствам, сопутствовавшим их основанию, пифийские игры заслуживали, даже больше, чем олимпийские, титула, данного им Демосфеном: "Общий Агон греков"[121].

Олимпийские и Пифийские игры всегда оставались самыми почитаемыми торжествами в Греции: однако Немейские и Истмийские приобрели известность, не намного уступающую им; олимпийский приз считается самым высоким из всех.[122] И Немейские, и Истмийские игры отличались от двух других праздников тем, что проводились не раз в четыре года, а раз в два года; первые - во второй и четвертый годы каждой Олимпиады, вторые - в первый и

третий годы. Обоим приписывается, по греческому обычаю, происхождение, связанное с интересными личностями и обстоятельствами греческой древности: но наши исторические знания об обоих начинаются с шестого века до н. э. Первая историческая Немида представляется как относящаяся к 52 или 53 Олимпиаде (572-568 гг. до н. э.), через несколько лет после упомянутой выше Священной войны и возникновения Пифии. Праздник отмечался в честь Зевса Немейского в долине Немей, между Флием и Клионом, - и первоначально самими клионцами, пока в какой-то период после 460 г. до н. э. аргейцы не лишили их этой чести и не присвоили себе права управления.^[123] На Немейских играх, как и на Олимпийских, были свои элланодики^[124], которые руководили, следили за порядком и распределяли призы. Что касается Истмийского фестиваля, то наши первые исторические сведения относятся к более раннему времени, поскольку уже говорилось, что Солон назначил премию каждому афинскому гражданину, получившему приз на этом фестивале, так же как и на Олимпийском, - в 594 году до н. э. или позже. Коринфяне праздновали его на своем перешейке в честь Посейдона; и если мы можем сделать какой-либо вывод из легенд о его основании, которое иногда приписывается Тесею, афиняне, похоже, отождествляли его с древностью своего государства^[125].

Таким образом, мы видим, что промежуток между 600-560 гг. до н. э. демонстрирует первое историческое проявление Пифии, Истмии и Немей, - первое расширение всех трех из местных в общеэллинские фестивали. К Олимпийским играм, в течение некоторого времени являвшимся единственным великим центром объединения всех широко рассеянных греков, теперь добавились еще три священных агона такого же публичного, открытого, национального характера, представлявшие собой видимые знаки, а также покровительственные узы коллективного эллинизма и обеспечивавшие каждому греку, отправлявшемуся на состязания, безопасный и неприкосновенный проезд даже через враждебные эллинские государства. [Эти четыре, расположенные в Пелопоннесе или вблизи него, и один из которых происходил в каждом году, составляли период, или цикл, священных игр, а те, кто завоевывал призы на всех четырех, получали завидное обозначение периодоников:^[127] почести, воздаваемые олимпийским победителям по возвращении в родной город, были непомерными даже в шестом веке до нашей эры, и стали еще более экстравагантными впоследствии. Можно заметить, что только в Олимпийских играх, самых древних и самых знаменитых из четырех, отсутствовал музыкальный и интеллектуальный элемент: все три более поздних агона включали короны за упражнения в музыке и поэзии, наряду с гимнастикой, колесницами и лошадьми.

Не только в отличительной национальной печати, наложенной на эти четыре великих праздника, проявлялся постепенный рост эллинского семейного чувства в течение этого раннего периода нашей истории. В соответствии с теми же тенденциями религиозные праздники во всех крупных городах постепенно становились все более открытыми и доступными и привлекали гостей, а также конкурентов из-за границы; достоинство государства, а также почести, оказанные богу-председателю, измерялись количеством, восхищением и завистью завсегдатаев.^[128] Нет никаких положительных доказательств такого расширения аттических праздников ранее правления Писистрата, который впервые добавил четырехлетнюю или большую Панафинею к древней ежегодной или меньшей Панафинее; мы также не можем проследить шаги прогресса в отношении Фив, Орхомена, Феспий, Мегары, Сикиона, Пеллена, Игины, Аргоса и т. д., но мы находим все основания полагать, что такова была общая реальность. Среди олимпийских или истмийских победителей, которых прославляли Пиндар и Симонид, многие получили часть своей славы благодаря предыдущим победам, одержанным на нескольких из этих местных состязаний^[129] - победам иногда столь многочисленным, чтобы доказать, насколько

широко распространилась привычка к взаимному участию;^[130] хотя даже в III веке до н. э. мы находим союзные договоры между различными городами, в которых считается необходимым предоставить это взаимное право путем прямого оговаривания. Выдающимся гимнастическим или музыкальным состязаниям предлагалось искушение в виде ценных призов; И Тимей даже утверждал, как доказательство непомерной гордыни Кротона и Сибариса, что эти города пытались вытеснить главенство Олимпийских игр, учреждая свои собственные игры с богатейшими призами, которые должны были отмечаться в то же время^[131] - утверждение само по себе не заслуживает доверия, но тем не менее иллюстрирует оживленное соперничество, которое, как известно, преобладало среди греческих городов в обеспечении для себя великолепных и многолюдных игр. В то время, когда был написан гомеровский гимн Деметре, поклонение этой богине, по-видимому, было чисто местным в Элевсисе; но до персидской войны на празднике, который афиняне ежегодно устраивали в честь элевсинской Деметры, греки всех городов принимали участие в посвящении, и на него съезжались огромные толпы^[132].

Таким образом, простота и строгое местное применение примитивного религиозного праздника в больших государствах Греции постепенно переросли, в определенных великих случаях, периодически повторяющихся, в сложную и регламентированную серию выставок, - не просто допускающих, но требующих братского присутствия всех эллинских зрителей. В этом отношении Спарта, похоже, составляла исключение из остальных государств: ее праздники устраивались только для нее самой, и ее общая грубость по отношению к другим грекам не смягчалась даже на Карнеях,^[133] Гиакинтах или Гимнопедии. С другой стороны, аттические дионисии постепенно возвысились, превратившись из первоначального грубого спонтанного всплеска деревенских чувств в благодарность богу, сопровождаемого песнями, танцами и весельем разного рода, в дорогие и разнообразные представления, сначала с участием обученного хора, затем с добавлением к нему актеров;^[134] и созданные таким образом драматические композиции, воплощая в себе совершенство греческого искусства, были прекрасно рассчитаны на всеэллинскую аудиторию и поощряли чувства эллинского единства. Драматическая литература Афин, однако, относится к более позднему периоду; до 560 года до н. э. мы видим только те зачатки нововведений, которые навлекли на Фесписа^[135] упреки Солона, который сам способствовал приданию Панафинейскому празднику более торжественного и привлекательного характера, сдерживая вольности рапсодов и обеспечивая присутствующим полный, упорядоченный пересказ "Илиады".

Священные игры и фестивали, о которых здесь говорится как о классе, овладевали умами греков благодаря такому разнообразию чувств,^[136] что в значительной степени уравнивали политические разногласия и поддерживали среди их широко разбросанных городов, посреди постоянной ревности и частых ссор, чувство братства и содружества, которое в противном случае должно было угаснуть. Теоры, или священные посланники, приезжавшие в Олимпию или Дельфы из разных точек, приносили жертвы одному и тому же богу и у одного и того же алтаря, наблюдали одни и те же спортивные состязания и своими пожертвованиями обогащали или украшали одну уважаемую сцену. Не стоит забывать и о том, что фестиваль давал возможность провести своего рода ярмарку, включавшую в себя большое движение среди столь большой массы зрителей,^[137] а кроме выставок самих игр, в просторном зале совета для тех, кто решил их послушать, читали лекции поэты, рапсоды, философы и историки, среди которых, как говорят, история Геродота была публично прочитана ее автором.^[138] Среди богатых и великих людей в разных городах многие боролись просто за победы на колесницах и на конях. Но были и такие, чьи амбиции носили более сугубо личный характер, и они раздевались догола как бегуны, борцы, боксеры или панкратиасты, пройдя через крайнее утомление от полной предшествующей

тренировки. Килон, о неудачной попытке которого узурпировать скипетр в Афинах уже рассказывалось, выиграл приз на олимпийском стадионе: Александр, сын Аминтаса, принц Македонии, бежал за ним.[139] Великий род Диагоридов на Родосе, , который поставлял магистратов и генералов в свой родной город, поставлял еще большее число успешных боксеров и панкратиастов в Олимпии, а также другие случаи, когда генералы, названные различными городами из списков успешных олимпийских гимнастов; и оды Пиндара, всегда дорого покупаемые, свидетельствуют, как много великих и богатых людей было в этом списке.[Совершенная популярность и равенство людей на этих великих играх - черта не менее примечательная, чем точное следование заранее установленным правилам и самочинное подчинение огромной толпы горстке слуг, вооруженных палками,[141] исполнявших приказы элейских элланоидиков. Земля, на которой происходила церемония, и даже территория управляющего государства были защищены "Божьим перемирием" на месяц праздника, о начале которого официально объявляли глашатаи, рассылаемые по разным государствам. Мирные договоры между различными городами часто официально отмечались воздвигнутыми там столбами, и общее впечатление от сцены не наводило ни на какие мысли, кроме идей мира и братства между греками.[142] И я могу отметить, что впечатление об играх как о принадлежащих всем грекам и никому, кроме греков, было сильнее и четче в промежуток между 600-300 гг. до н. э., чем впоследствии. Ведь македонские завоевания привели к размыванию и развращению эллинизма, нанеся внешний лак эллинских вкусов и манер на широкую область несоответствующих иностранцев, которые были неспособны к реальному возвышению эллинского характера; так что, хотя в более поздние времена игры продолжали оставаться неизменными, как по привлекательности, так и по количеству посетителей, дух панэллинского единения, который когда-то оживлял сцену, ушел навсегда.

ГЛАВА XXIX. ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ. - СЕМЬ МУДРЕЦОВ.

Период между 776-560 гг. до н. э. представляет нам удивительное развитие греческого гения в создании элегической, ямбической, лирической, хореической и гномической поэзии, которая была разнообразна во многих отношениях и усовершенствована многими отдельными мастерами. Создатели всех этих различных стилей - от Каллина и Архилоха до Стесихора - относятся к двум векам, о которых пойдет речь; хотя Пиндар и Симонидес, "гордые и высоколбые барды"[143], которые довели лирическую и хореическую поэзию до максимального развития, соответствующего полному поэтическому эффекту, жили в следующем веке и были современниками трагика Эсхила. Греческая драма, как комическая, так и трагическая, пятого века до нашей эры, объединила лирическую и хореическую песню с живым действием ямбического диалога, таким образом, представляя собой последнее восходящее движение в поэтическом гении расы. Оставляя это для будущего времени и для истории Афин, к которой это относится в большей степени, я предлагаю теперь говорить только о поэтическом движении двух предыдущих веков, в котором Афины практически не принимали участия. К сожалению, остатки этих ранних поэтов столь скудны, что мы можем предложить лишь критические замечания, заимствованные из вторых рук, и несколько общих соображений об их творчестве и тенденциях[144].

Архилох и Каллин относятся к середине седьмого века до н. э., и именно с них начинаются нововведения в греческой поэзии. До них, как нам говорят, не существовало ничего, кроме

эпоса, или дактилической гекзаметровой поэзии, о которой много говорилось в моем предыдущем томе, - это легендарные истории или рассказы о приключениях вместе с обращениями или гимнами к богам. Следует также помнить, что это была не только вся поэзия, но и вся литература того времени: проза была совершенно неизвестна, а письмо, если и начинало использоваться в качестве вспомогательного средства для нескольких высших людей, то, во всяком случае, в целом не использовалось и не находило читающей публики. Голос был единственным коммуникатором, а ухо - единственным получателем всех тех идей и чувств, которые продуктивные умы общества были вынуждены излить; и голос, и ухо были приучены к музыкальной декламации, или песнопению, очевидно, нечто среднее между песней и речью, с простым ритмом и еще более простым эпизодическим аккомпанементом примитивной четырехструнной арфы. Такие привычки и требования к голосу и слуху были в то время неразрывно связаны с успехом и популярностью поэта и, несомненно, способствовали ограничению круга тем, с которыми он мог иметь дело. Тип был в определенной степени освящен, как первобытные статуи богов, от которых люди осмеливались отклоняться только путем постепенных и почти неосознанных нововведений. Более того, в первой половине седьмого века до н. э. тот гений, который когда-то создал "Илиаду" и "Одиссею", уже не был востребован, и работа над гекзаметровым повествованием перешла к менее одаренным людям - к тем циклическим поэтам, о которых я говорил в предыдущих томах.

Таково, насколько мы можем судить по весьма неопределенным свидетельствам, было состояние греческого ума непосредственно перед появлением элегических и лирических поэтов; в то же время его опыт расширялся за счет образования новых колоний, а общение между различными государствами имело тенденцию увеличиваться за счет более свободного взаимопомощи в религиозных играх и праздниках. Возникла потребность обратить литературу эпохи - я использую это слово как синоним поэзии - к новым чувствам и целям, применить богатый, пластичный и музыкальный язык старого эпоса к современным страстям и обстоятельствам, как социальным, так и индивидуальным. Такая тенденция стала очевидной еще у Гесиода, даже в пределах гекзаметра; но те же причины, которые привели к расширению тематики поэзии, склоняли людей также к изменению метра.

Что касается этого последнего пункта, есть основания полагать, что расширение греческой музыки было непосредственной определяющей причиной; ведь уже говорилось, что музыкальная шкала и инструменты греков, изначально очень узкие, были значительно расширены за счет заимствований из Фригии и Лидии, и эти приобретения, похоже, впервые были реализованы в начале седьмого века до нашей эры, через лесбийского арфиста Терпандера, фригийского (или греко-фригийского) флейтиста Олимпа и аркадского или беотийского флейтиста Клонаса. Терпандр сделал важный шаг вперед, заменив первоначальную четырехструнную арфу на семиструнную, охватывающую октаву или два греческих тетрахорда, а Олимп, как и Клонас, научил греков многим новым нонам, или мелодиям, на флейте, которые до этого были им неизвестны, - вероятно, также и использованию флейты с более разнообразным музыкальным компасом. Терпандр, как говорят, получил приз на первом зафиксированном праздновании лакедемонского фестиваля Карнея в 676 году до н. э.: это один из наиболее достоверных моментов в неясной хронологии седьмого века; и есть основания относить Олимп и Клонас почти к тому же периоду, немного раньше Архилоха и Каллина.^[145] Терпандеру, Олимпу и Клонасу приписывают формирование самых ранних музыкальных нон, известных пытливым грекам более позднего времени: первому - нона для арфы, двум последним - для флейты, - каждый нон был общей схемой, или основой, из которой фактически исполняемые звуки представляли собой множество вариаций, в определенных пределах.^[146] Терпандр

использовал свои расширенные инструментальные возможности в качестве нового аккомпанемента к гомеровским поэмам, а также к некоторым эпическим проэмиям или гимнам богам собственного сочинения. Но он, похоже, не отходил от гекзаметра и дактилического ритма, к которым новый аккомпанемент, вероятно, не совсем подходил; и, возможно, таким образом, возникла идея сочетать слова также по новым ритмическим и метрическим законам.

По крайней мере, несомненно, что эпоха (670-600 гг.), непосредственно следующая за Терпандером, включающая Архилоха, Каллина, Тиртея и Алкмана, чьи временные отношения друг к другу мы не можем точно определить,^[147] хотя Алкман, кажется, был самым поздним, - представляет собой замечательное разнообразие как новых метров, так и новых ритмов, наложенных на предшествующий дактилический гекзаметр. Первое отступление от этого последнего обнаруживается в элегическом стихе, используемом, по-видимому, в большей или меньшей степени всеми четырьмя вышеупомянутыми поэтами, но главным образом первыми двумя, и даже приписываемом некоторыми изобретению Каллина. Тиртэй в своих военных маршевых песнях использует анапест, но у Архилоха, как и у Алкмана, мы находим следы гораздо большего разнообразия метрических форм - ямбических, трохаических, анапестных, ионных и т. д., - иногда даже асинартетических или составных метров, анапестных или дактилических, смешанных с трохаическими или ямбическими. То, что осталось от Мимнермуса, который появился примерно в конце предыдущей четверки, является элегическим; его современники Алкей и Сапфо, помимо использования большинства существующих метров, придумали каждый свою собственную строфу, которая известна под именем, полученным от каждого. У Солона, младшего современника Мимнерма, мы имеем элегию, ямб и трохею: у Феогниса, еще более позднего, - только элегию. Но и Арион, и Стесихор, по-видимому, были новаторами в этой области: первый - своим усовершенствованием дифирамбического хора или круговой песни и танца в честь Диониса, второй - своими более сложными хорическими композициями, содержащими не только строфу и антистрофу, но и третий раздел или эпод, следующий за ними, произносимый хором, стоящим на месте. Анакреон и Ибикус также пополнили запас существующих метрических разновидностей. Таким образом, мы видим, что за полтора столетия после Терпандра греческая поэзия (или греческая литература, что в то время было одним и тем же) значительно обогатилась по содержанию, а также разнообразилась по форме.

В определенной степени между этими двумя явлениями, по-видимому, существовала реальная связь: Новые формы были необходимы для выражения новых потребностей и чувств, - хотя утверждение, что элегический метр особенно приспособлен для одного набора чувств, трохаический для второго, а ямбический для третьего, если оно вообще верно, может быть признано только с большой свободой исключения, когда мы находим так много из них, используемых поэтами для очень разных тем, - радостных или меланхолических, горьких или жалобных, серьезных или энергичных, - казалось бы, без особого разбора.

Но принятие какого-то нового метра, отличного от вечного ряда гекзаметров, требовалось, когда поэт хотел сделать нечто большее, чем пересказ длинной истории или фрагмента героической легенды, - когда он стремился донести до слушателя себя, своих друзей, врагов, свой город, свои надежды и опасения по поводу дел недавних или грядущих, и все это сразу, с краткостью и оживлением. Греческий гекзаметр, как и наш чистый стих, имеет все свои ограничительные условия, касающиеся каждой отдельной строки, и не представляет слушателю ни predetermined места отдыха, ни естественной паузы за его пределами.^[149] В отношении любого длинного произведения, эпического или

драматического, такая необузданная свобода действий кажется удобной, и в греческом эпосе и драме дело обстояло аналогичным образом - однострочный ямбический триметр обычно использовался для диалога трагедии и комедии, так же как дактилический гекзаметр использовался для эпического произведения. Метрические изменения, введенные Архилохом и его современниками, можно сравнить с переходом от нашего чистого стиха к рифмованному двустистию и четверостишию: стих был разбит на небольшие системы из двух, трех или четырех строк, с паузой в конце каждой; и остановка, которую таким образом обеспечивало, а также ожидало и наслаждалось ухо, обычно совпадала с близким, полным или частичным, в смысле, который таким образом распространялся с большей точностью и эффектом. Элегический стих, или общий гекзаметр и пентаметр (эта вторая строка представляет собой гекзаметр с третьим и шестым тезисом, [150] или последней половиной третьей и шестой стопы, подавленной, и вместо нее оставлена пауза), а также эпод (или ямбический триметр, за которым следует ямбический диметр) и некоторые другие бинарные комбинации стиха, которые мы прослеживаем среди фрагментов Архилоха, задуманы с целью такого усиления воздействия на слух и ум, не менее чем для непосредственного удовольствия от новизны и разнообразия.

Ямбический метр, построенный на основе примитивного ямба, или грубого и развратного шутовства, [151] составлявшего часть некоторых греческих праздников (особенно праздников Деметры, как в Аттике, так и на Паросе, родине поэта), - лишь один из многих новых путей, проложенных его изобретательным гением; Его изобилие поражает нас, когда мы принимаем во внимание, что он берет свое начало не более чем с простого гекзаметра, [152] в котором он тоже был выдающимся композитором, - ведь даже элегический стих он, скорее всего, был изобретателем, как и Каллинос, так же как он был самым первым популярным и успешным композитором застольных песен, или сколий, хотя Терпандр, возможно, создал некоторые из них до него. Полная утрата его стихов, за исключением нескольких фрагментов, позволяет нам узнать не более одной характеристики - интенсивной личности, которая пронизывала их, а также грубой, прямой и откровенной свободы, которая впоследствии придала такой ужасный эффект старой комедии в Афинах. Говорят, что из-за его lamentаций повесился Ликамбес, отец Необулы: последняя была обещана в жены Архилоху, но обещание было нарушено, и поэт обрушился на отца и дочь со всеми видами клеветы. [153] В дополнение к этому разочарованию, он был беден, сын матери-рабыни, и был изгнанником из своей страны, Пароса, в бесперспективную колонию Тасос. Отрывочные упоминания о нем выдают состояние страдания в сочетании с развязным поведением, которое выливалось то в жалобы, то в клеветнические нападки; в конце концов он был убит кем-то, кого его муза так раззадорила. Его необыкновенный поэтический гений находит только одно одобрение в античности. Его триумфальная песнь *Hêra klês* все еще популярно распевалась победителями в Олимпии, спустя почти два столетия после его смерти, во времена Пиндара; но этот величественный и комплиментарный поэт одновременно обличает злобу и свидетельствует о возмездии за страдания великого парийского ямбиста [154].

Среди разнообразных направлений, в которых Архилох проявил свой гений, не обошлось без морализаторской или гномической поэзии, а его современник Симонид из Аморгоса посвящает ямбический метр именно этому направлению, которому впоследствии последовали Солон и Феогнис. Но Каллинос, самый ранний знаменитый элегический поэт, насколько мы можем судить по его немногочисленным фрагментам, использовал элегический метр для призывов к воинственному патриотизму; а более обширные остатки, которыми мы располагаем от Тиртея, - это проповеди в том же духе, проповедующие спартамцам храбрость против врага и единодушие, а также послушание закону дома. Это

патриотические излияния, вызванные обстоятельствами времени и исполненные одним голосом под аккомпанемент флейты[155] для тех, в чьих сердцах должно было разгореться пламя мужества. Ибо хотя то, что мы читаем, написано в стихах, мы все еще находимся в потоке реальной и настоящей жизни, и мы должны представлять себя скорее слушающими оратора, обращающегося к гражданам, когда опасность или раздор действительно надвигаются. Только в руках Мимнермуса элегический стих становится посвященным мягким и любовным темам. Его немногочисленные фрагменты представляют собой жилу пассивных и нежных чувств, проиллюстрированных соответствующими сюжетами легенд, таких, которые были бы брошены в поэзию во все века, и совершенно отличных от риторики Каллина и Тиртея.

Поэтическая карьера Алкмана снова отличается от карьеры любого из его вышеупомянутых современников. Их сочинения, помимо гимнов богам, были в основном выражением чувств, предназначенных для исполнения отдельными людьми, хотя иногда подходили и для комуса, или группы праздничных добровольцев, собравшихся по какому-то общему поводу: сочинения Алкмана были в основном хорическими, предназначенными для песни и сопровождающего ее танца хора. Он был уроженцем Сардиса в Лидии, или, по крайней мере, его семья была таковой; похоже, что в раннем возрасте он приехал в Спарту, хотя его гений и владение греческим языком опровергают версию о том, что он был привезен в Спарту в качестве раба. Древнейшее устройство музыки в Спарте, обычно приписываемое Терпандру,[156] претерпело значительные изменения не только благодаря элегическим и анапестическим мерам Тиртея, но и благодаря критскому Талету и лидийскому Алкману. С арфой, инструментом Терпандра, соперничала и частично вытеснила ее флейта или труба, которая недавно стала более эффективной в руках Олимпа, Клонаса и Полимнеста, и которая постепенно стала для композиций, предназначенных для сильных эмоций, любимым инструментом обоих, - она использовалась как аккомпанемент и к элегиям Тиртея, и к гипорхематам (песням или гимнам, объединенным с танцами) Талектаса; а также в качестве стимула и регулятора спартанского военного марша.[157]

Эти элегии (как только что было отмечено) исполнялись одним человеком, посреди собрания слушателей, и, несомненно, существовали и другие композиции, предназначенные для индивидуального голоса. Но в целом характер музыки и поэзии в Спарте был не таким; все, что там делалось, как серьезное, так и развлекательное, было публичным и коллективным, так что хор и его выступления получили необычайное развитие. Уже говорилось, что хор, как правило, с песнями и танцами вместе, составлял важную часть богослужения по всей Греции и первоначально был публичным выступлением граждан союзников, - большая часть из них активно участвовала в нем[158] и получала определенную подготовку для этой цели в качестве обычной отрасли образования. Ни песня, ни танец в таких условиях не могли быть иными, кроме как предельно простыми. Но со временем представления на главных праздниках становились все более изощренными и переходили в руки специально и профессионально обученных людей, а масса горожан постепенно переставала принимать активное участие и присутствовала лишь в качестве зрителей. Именно такая практика развивалась в большинстве районов Греции, и особенно в Афинах, где драматический хор достиг своего наивысшего совершенства. Но в Спарте драма никогда не находила признания, и особенности спартанской жизни во многом способствовали сохранению народного хора на его древней основе. Он был, по сути, одним из элементов той непрерывающейся тренировки, которой спартанцы подвергались с детства, и служил цели, аналогичной их военной подготовке, приучая их к одновременным и упорядоченным движениям, - настолько, что сравнение между хором, особенно в его пиррических, или военных, танцах, и военной эномотией, кажется, часто приводилось в пример.[159] Во время

исполнения торжественного пения в честь Аполлона на празднике Гиакинфа царь Агесилай подчинялся хормейстеру и пел на отведенном ему месте;[160] в то время как все без исключения спартанцы - старики, среднего возраста и молодежь, матроны и девственницы - были распределены по различным хорам[161] и обучены гармонии голоса и движений, что публично демонстрировалось на торжествах Гимнопедии. Слово "*танец*" следует понимать в более широком смысле, чем тот, в котором оно используется сейчас, и как включающее в себя все виды ритмичных, акцентированных, сговорчивых движений, жестикуляции или позы тела, от самых медленных до самых быстрых;[162] особенно практиковалась хейрономия, или благопристойные и выразительные движения рук.

Таким образом, мы видим, что и в Спарте, и в Крте (которая по публичности индивидуальной жизни наиболее близко подходила к Спарте) хорические склонности и проявления занимали большее пространство, чем в любом другом греческом городе. А поскольку для удовлетворения этой потребности требовалась определенная степень музыкального и ритмического разнообразия,[163] в то время как спартанских граждан никогда не обучали музыке индивидуально, нам становится более понятно, как такие чужестранцы, как Терпандр, Полимнест, Талет, Тиртеус, Алкман и т. д., были не только приняты, но и приобрели большое влияние в Спарте, несмотря на преобладающий в спартанском характере дух ревливой замкнутости. Все эти мастера были эффективны в своем особом призвании - обучении хора, которому они прививали новые ритмические действия и для которого сочиняли новую музыку. Но Алкман делал и это, и кое-что еще; он обладал гением поэта, и его сочинения читали потом с удовольствием те, кто не мог слышать их пение или видеть их танцы. В том небольшом количестве его стихов, которое сохранилось, мы видим то разнообразие ритма и метра, которым он славился. В этом отношении он (вместе с критянином Талетом, который, как говорят, привнес в Спарту более бурный стиль музыки и танца, с критским и пеонийским ритмом[164]) превзошел Архилоха и подготовил почву для сложных хорических движений Стесихора и Пиндара: некоторые из фрагментов также демонстрируют то свежее излияние индивидуальных чувств и эмоций, которое составляет большую часть очарования народной поэзии. Помимо трогательного обращения в старости к спартанским девственницам, чьиими песнями и танцами он привык руководить, он не боится говорить о своем сердечном аппетите, довольствуясь простой пищей и смакуя миску теплого бульона на зимнем тропике.[165] А к весне он приложил эпитет, который передает реальные чувства бедной страны больше, чем те пленительные картины, которыми изобилуют стихи, как древние, так и современные: он называет ее "сезоном короткой еды" - урожай предыдущего года почти съеден, и земледelec вынужден ущемлять себя, пока не соберет новый урожай.[166] Те, кто помнит, что в более ранние периоды нашей истории и во всех странах, где мало накопленных запасов, часто наблюдается непомерная разница в цене на кукурузу до и после сбора урожая, почувствуют справедливость описания Алкмана.

Судя по этим и нескольким другим фрагментам этого поэта, Алкман, по-видимому, соединил жизнь и захватывающую энергичность Архилоха в песне, как она правильно называется, исполняемой им самим индивидуально, - с большим знанием музыкального и ритмического эффекта в отношении хорического исполнения. Он сочинял на лаконском диалекте - разновидности дорийского с некоторой примесью эолизмов. Именно благодаря ему, а также другим композиторам, работавшим в Спарте в течение столетия после Терпандра, а также одновременному развитию хорической музыки[167] в Аргосе, Сикионе, Аркадии и других частях Пелопоннеса, дорийский диалект получил постоянную опору в Греции как единственный подходящий диалект для хорических композиций. Продолженная Стесихором и Пиндаром, эта привычка перешла даже к аттическим драматургам, чьи хорические песни в значительной степени дорийские, а диалоги - аттические. В Спарте, как и в других частях

Пелопоннеса,[168] музыкальный и ритмический стиль, похоже, был установлен Алкманом и его современниками и упорно сохранялся в течение двух или трех столетий, практически без нововведений; тем более что флейтисты в Спарте были наследственной профессией, которые следовали распорядку своих отцов[169].

Алкман был последним поэтом, обратившимся к народному хору. И Арион, и Стесихор сочиняли для подготовленных людей, причем с таким разнообразием и нестандартностью, которых не могла достичь простая часть народа. Первобытный дифирамб - хороводный танец и песня в честь Диониса,[170] распространенные на Наксосе, в Фивах и, кажется, во многих других местах на дионисийском празднике, - спонтанное излияние пьяных мужчин в час веселья, в котором поэт Архилох, "с громом вина, полным его ума", часто принимал главное участие.[171] Его волнующий характер приближался к поклонению Великой Матери в Азии и контрастировал с торжественным и величественным пеаном, обращенным к Аполлону. Арион внес в нее изменения, подобные тем, которые Архилох сам внес в ямб. Он превратил его в сложную композицию в честь бога, которую пел и танцевал хор из пятидесяти человек, не только трезвых, но и обученных с большой строгостью; хотя его ритм и движения, а также снаряжение в образе сатиров, представляли собой более или менее подражание первобытной лицензии. Арион родился в Метимне на Лесбосе как арфист, певец и композитор, которого очень любил Периандр в Коринфе, в этом городе он впервые "сочинил, обозначил и преподавал дифирамб", раньше всех известных Геродоту.[172] Однако он не остался там постоянно, а путешествовал из города в город, участвуя в фестивалях за деньги, особенно в Сицилии и Итальянской Греции, где он получил большие доходы. Здесь мы можем еще раз отметить, как поэты и фестивали способствовали укреплению чувства единства среди разрозненных греков. Такой перенос дифирамба с поля стихийной природы в сад искусства[173] представляет собой первый этап в утонченности дионисийского культа, который впоследствии будет еще более возвышен в форме аттической драмы.

Дата создания Ариона - около 600 года до н. э., вскоре после Алкмены: дата создания Стесихора - несколькими годами позже. Именно ему греческий хор обязан высоким уровнем совершенствования, в частности, последним законченным распределением его исполнения на строфы, антистрофы и эподы: поворот, возвращение и отдых, - ритм и метр песни во время каждой строфы соответствовал ритму и метру антистрофы, но менялся во время эподы и снова менялся во время следующих строф. До этого времени песня была монострофой, состоящей не более чем из одной однородной строфы, повторяющейся от начала до конца композиции;[174] так что мы можем легко увидеть, насколько огромны были новые сложности и трудности, введенные Стесихором, - не только для исполнителей, но и для композитора, который в то время сам был учителем и тренером исполнителей. И этот поэт, и его современник, флейтист Сакадас из Аргоса, получивший приз на первых трех Пифийских играх, основанных после Священной войны, похоже, превзошли своих предшественников в широте охвата тем, заимствуя из неисчерпаемой области древних легенд и расширяя хорическую песню до хорошо выдержанного эпического повествования.[175] Действительно, эти пифийские игры открыли новую карьеру для музыкальных композиторов как раз в то время, когда Спарта стала закрываться от музыкальных новинок.

Алкей и Сапфо, уроженцы Лесбоса, оказываются примерно современниками Ариона, 610-580 гг. до н. э. От их некогда знаменитых лирических композиций почти ничего не осталось. Но критика, сохранившаяся на них обоих, ставит их в сильный контраст с Алкманом, который жил и сочинял в более строгой атмосфере Спарты, - и в значительной степени сходна с бурной яростью Архилоха,[176] хотя и без его сильной личной злобы. Оба они писали для

своей местной аудитории и на своем лесбийском эолийском диалекте; не потому, что этот диалект как-то особенно подходил для выражения их чувств, а потому, что он был более привычен для их слушателей. Сама Сапфо хвалится преобладанием лесбийских бардов;^[177] а известность Терпандра, Периклеиты и Ариона позволяет нам предположить, что до нее на острове могло быть много популярных бардов, не достигших эллинской славы. Алкей включал в свои песни самые яростные вспышки политических чувств, волнуящее чередование войны и изгнания, а также весь пылкий вкус восприимчивого человека к вину и любви.^[178] Песня о любви, похоже, была главной темой Сапфо, которая, однако, также сочиняла оды или песни^[179] на множество других тем, как серьезных, так и сатирических, и, как говорят далее, впервые использовала миксолидийский лад в музыке. Склонность эпохи к метрической и ритмической новизне проявляется в том, что Алкей и Сапфо, как говорят, каждый из них изобрел особую строфу, известную под их именами, - комбинации дактиля, трохея и ямба, аналогичные асинархическим стихам Архилоха; они ни в коем случае не ограничивались, однако, алкейским и сапфическим метром. Как те, так и другие сочиняли гимны богам; впрочем, эта тема является общей для всех лирических и хорических поэтов, какими бы ни были их особенности в других отношениях. Большинство их произведений - это песни для одного голоса, а не для хора. Поэзия Алкея заслуживает самого пристального внимания, поскольку это самый ранний пример использования Музы в реальной политической войне, и она показывает, как сильно этот мотив влиял на греческий ум.

Гномические поэты, или моралисты в стихах, по тону своих чувств больше приближаются к природе прозы. Они начинаются с Симонидеса с Аморгоса или Самоса, современника Архилоха: последний и сам посвятил несколько сочинений иллюстративной басне, которая не была неизвестна даже Гесиоду. В останках Симонида Аморгосского мы не находим ничего, относящегося лично к этому человеку, хотя у него, как и у Архилоха, был индивидуальный враг, Ородэкидес, чей характер был придушен его музой.^[180] Его единственная сохранившаяся значительная поэма посвящена обзору женских характеров, в ямбическом стихе и на примере сравнения с различными животными - кобылой, ослом, пчелой и т. д. В ней прослеживается гесиодовская линия в отношении социальных и экономических бед, обычно причиняемых женщинами, за некоторыми почетными исключениями; но поэт демонстрирует гораздо больший диапазон наблюдений и иллюстраций, если сравнивать его с его предшественником Гесиодом; кроме того, его иллюстрации взяты из жизни и реальности. Мы находим в этом раннем ямбисте ту же симпатию к промышленности и ее заслуженному вознаграждению, которая наблюдается у Гесиода, вместе с еще более меланхоличным чувством неопределенности человеческих событий.

О Солоне и Феогнисе я уже говорил в предыдущих главах. Они отчасти повторяют морализаторскую жилку Симонида, хотя и с сильной примесью личного чувства и непосредственного применения к происходящим событиям. Смещение политической и социальной морали, которое мы находим у обоих, отмечает их более зрелый возраст: В этом отношении Солон находится в таком же отношении к Симониду, как его современник Алкей к Архилоху. Его поэмы, насколько мы можем судить по сохранившимся фрагментам, были короткими эпизодическими излияниями, за исключением эпической поэмы о затопленном острове Атлантида, которую он начал под конец своей жизни, но так и не закончил. Это элегии, ямбический триметр и трохаический тетраметр: в его руках ни один из этих метров, конечно, не может быть назван каким-то особенным или отдельным. Если стихи Солона коротки, то стихи Феогниса гораздо короче, и они действительно настолько разбиты (в том виде, в каком они представлены в нашем сборнике), что читаются как отдельные эпиграммы или всплески чувств, которые поэт не потрудился включить в какую-либо определенную

схему или серию. Они образуют необычную смесь максимы и страсти, общих наставлений и личной привязанности к юноше Kyrnus, которая удивляет нас, если судить по стандартам литературной композиции, но которая кажется очень искренним проявлением жалоб и беспокойства обедневшего изгнанника. Что осталось нам от Фокилидеса, еще одного гномического поэта, почти современника Солона, так это несколько изречений в стихах - парных, с именем автора, в нескольких случаях воплощенным в них.

При всем разнообразии ритмических и метрических новшеств, которые были перечислены, древний эпос продолжал декламироваться рапсодами, как и прежде, а к существующему фонду добавилось несколько новых эпических композиций: Эвгаммон Киренский, написанный около 50-й Олимпиады (580 г. до н. э.), кажется последним в этом ряду. В Афинах, особенно в Афинах, и Солон, и Писистрат проявляли большую заботу как о чтении, так и о правильном сохранении "Илиады". Возможно, ее популярность снизилась из-за конкуренции со многими лирическими и хорическими стихотворениями, более яркими и впечатляющими в своих аккомпанементах, а также более изменчивыми в своем ритмическом характере. Однако каким бы ни был вторичный эффект, который этот новый вид поэзии мог извлечь из такой помощи, его основной эффект был произведен настоящим интеллектуальным или поэтическим совершенством, - мыслями, чувствами и выражением, а не аккомпанементом. В течение долгого времени музыкальный композитор и поэт, как правило, оставались одним и тем же человеком; и помимо тех, кто приобрел достаточную известность, чтобы дойти до потомков, мы не можем сомневаться, что было много тех, кто был известен только своим современникам. Но у всех них инструмент и мелодия составляли лишь второстепенную часть того, что называлось музыкой, - полностью подчиненную "мыслям, которые дышат, и словам, которые горят"[181] Точность и разнообразие ритмического произношения давали последним полное воздействие на тонкий слух; но такое удовольствие для уха было вспомогательным по отношению к душевному волнению, возникающему от передаваемого чувства. Уже в 500 году до н. э. поэты жаловались на то, что аккомпанемент становится слишком заметным. Но только в эпоху комического поэта Аристофана, в конце V века до н. э., примитивное соотношение между инструментальным сопровождением и словами было действительно изменено на противоположное, - и громкими были жалобы, которые это вызвало;[182] исполнение флейты или арфы стало более изощренным, показным и чрезмерным, а слова были составлены так, чтобы продемонстрировать исполнение игрока. Я вкратце описываю эту последующую революцию для того, чтобы по контрасту показать истинно интеллектуальный характер первоначальной лирической и хорической поэзии Греции; и чтобы показать, насколько смутные чувства, возникающие от простого музыкального звука, были потеряны в более определенных эмоциях и в более длительных и репродуктивных комбинациях, порожденных поэтическим смыслом.

Имя и поэзия Солон, а также краткие максимы или изречения Фокилидеса приводят нас к упоминанию семи мудрецов Греции. Солон сам был одним из семи, и большинство из них, если не все, были поэтами или сочинителями стихов.[183] Большинству из них также приписывается обилие остроумных реплик, а также одно короткое изречение или максима, свойственная каждому, служащая своего рода отличительным девизом;[184] действительно, проверкой опытного человека того времени был его талант петь или декламировать стихи, а также давать умные и готовые ответы. Об этом созвездии мудрецов, о которых в следующем столетии греческой истории, когда философия стала предметом дискуссий и споров, говорили с большой хвалой, все высказывания сбивчивы, отчасти даже противоречивы. Ни число, ни имена не называются всеми авторами одинаково. Дикеарх насчитал десять, Гермипп - семнадцать: имена афинянина Солон, милезийца Фалеса, митиленца Питтака и

приенисейца Биаса присутствуют во всех списках, а остальные имена, приведенные Платоном[185], - это Клеобул из Линда на Родосе, Майсон из Хенеса и Хейлон из Спарты. В других источниках, однако, имена указаны иначе: мы также не можем с уверенностью распределить между ними изречения или девизы, которым в более поздние времена Амфикионы удостоились чести быть начертанными в Дельфийском храме: Знай себя, ничего лишнего, знай свои возможности, самоуверенность - предвестник гибели. Биас восхваляется как превосходный судья, а Майсон был объявлен дельфийским оракулом самым осмотнительным человеком среди греков, согласно свидетельству поэта-сатирика Гиппонакса. Это самое древнее свидетельство (540 г. до н. э.), которое можно привести в пользу любого из семи; но Клеобул Линдский, далекий от всеобщего восхваления, назван поэтом Симонидесом глупцом.[Дикеарх, однако, справедливо заметил, что эти семь или десять человек были не мудрецами или философами в том смысле, который придавали этим словам в его время, а людьми практической проницательности в отношении человека и общества[187] - того же склада ума, что и их временный собрат баснописец Эзоп, хотя и не использовавший тот же способ иллюстрации. Их появление составляет эпоху в греческой истории, поскольку они являются первыми людьми, которые когда-либо приобретали эллинскую репутацию, основанную на умственных способностях, а не на поэтическом гении или эффекте, - доказательство того, что политическое и социальное благоразумие начали ценить и восхищаться им самим по себе. Солон, Питтакус, Биас и Талес были влиятельными людьми - первые два даже занимали высокие посты[188] - в своих городах. Клеобул был деспотом Линда, а Периандр (некоторые причисляют его к семерым) - Коринфа. Талес выделяется как самое раннее имя в физической философии, которой, как говорят, не занимались другие современные мудрецы; их слава основывается исключительно на моральной, социальной и политической мудрости, которая становилась все более почетной по мере совершенствования этического чувства греков и расширения их опыта.

В этих знаменитых именах мы имеем социальную философию в ее раннем и младенческом состоянии, в форме домашних изречений или наставлений, либо предполагаемых как самоочевидные, либо опирающихся на некий великий авторитет божественный или человеческий, но не сопровождаемых доводами и не признающих никакого обращения к исследованию и обсуждению в качестве надлежащей проверки их правильности. От такого ничего не подозревающего попустительства - чувства, которому обязаны эти наставления, - мы частично освобождаемся даже у поэта Симонида Кеосского, который (как уже говорилось) подвергает суровой критике песню Клеобула, а также ее автора. Полвека, следовавшие за эпохой Симонидеса (промежуток примерно между 480-430 гг. до н. э.), все больше и больше разрушали эти настроения, приобщая общество к аргументированным спорам в общественных собраниях, народной судебной системе и даже на драматической сцене. И возросшая таким образом самостоятельная работа греческого ума проявилась в Сократесе, который подверг все этические и социальные доктрины тщательному анализу разума и впервые пробудил в своих соотечественниках любовь к диалектике, которая никогда их не покидала, - аналитический интерес к умственному процессу выяснения, проверки, доказательства и изложения истины. На этот главный элемент человеческого прогресса, обеспеченный греками - и только ими - человечеству в целом, наше внимание будет обращено в более поздний период истории; сейчас же он упоминается только в контрасте с голым, догматическим лаконизмом семи мудрецов и простым принуждением ранних поэтов: состояние, в котором мораль занимает определенное место в чувствах, но не имеет корней, даже среди высших умов, в сознательном применении разума.

Период между Архилохом и Солоном (660-580 гг. до н. э.), как уже отмечалось в моем предыдущем томе, кажется периодом, когда письменность впервые стала применяться к

греческим поэмам, в том числе и к гомеровским; вскоре после окончания этого периода начинается эра сочинений без метра или прозы. Философ Ферекидес из Сироса, около 550 года до н. э., называется некоторыми самым ранним прозаиком; но ни один прозаик в течение значительного времени после этого не приобрел известности, - кажется, не ранее Гекатея Милетского, [189] около 510-490 годов до н. э., - проза была подчиненным и неэффективным видом композиции, не всегда даже выразительным, но требующим немалой практики, прежде чем была приобретена способность сделать ее интересной. [190] Вплоть до поколения, предшествующего Сократесу, поэты продолжали быть главными лидерами греческого ума: до этого времени молодежь не учили ничему, кроме как читать, запоминать, читать музыкально и ритмично и понимать поэтическое произведение. Возможно, комментарии наставников, обращенные к ученикам, стали полнее и поучительнее, но текст по-прежнему оставался эпической или лирической поэзией. Не стоит забывать и о том, что эти поэты, так сказать, были лучшими мастерами для овладения сложным ударением и ритмом греческого языка, что было необходимо образованному человеку в древние времена и обязательно обнаруживалось, если не было приобретено должным образом. Не говоря уже о холиабисте Гиппонаксе, который, кажется, был одержим дьяволом Архилоха, а отчасти и его гением, - Анакреон, Ибикус, Пиндар, Вакхилидес, Симонидес и афинские драматурги без перерыва продолжают линию выдающихся поэтов. После персидской войны требования публичных выступлений создали класс учителей риторики, а постепенное распространение физической философии расширило диапазон обучения: так что прозаическое сочинение, для речи или для письма, занимало все большую и большую долю внимания людей и постепенно доводилось до высокого совершенства, такого, какое мы впервые видим у Геродота. Но прежде чем она усовершенствовалась и приобрела тот стиль, который стал условием широкой популярности, мы можем быть уверены, что она молча использовалась как средство записи информации; и что ни большая масса географических материалов, содержащихся в "Периегесисе" Гекатея, ни карта, впервые подготовленная его современником Анаксимандром, не могли быть представлены миру без предшествующих трудов непритязательных прозаиков, излагавших результаты собственного опыта. Приобретение прозы, начавшееся примерно в эпоху Писистрата, не менее примечательно как свидетельство прошлого, а не как средство будущего прогресса.

О великольном гении в скульптуре и архитектуре, просиявшем в Греции после персидского нашествия, можно обнаружить лишь первые черты в период между 600-560 гг. до н. э., в Коринфе, Игине, Самосе, Хиосе, Эфесе и т. д., - достаточно, однако, чтобы свидетельствовать о совершенствовании и прогрессе. Говорят, что Глаукс из Хиоса открыл искусство сварки железа, а Рикс или его сын Теодорус из Самоса - искусство литья меди или латуни в форму: оба эти открытия, насколько можно судить, датируются немногим ранее 600 года до н. э. [191] Первобытный мемориал, воздвигнутый в честь бога, даже не претендовал на изображение, а часто был не более чем столбом, доской, бесформенным камнем, столбом и т. д., закрепленные так, чтобы обозначить и освятить место, и получавшие от соседей почтительный уход и украшение, а также поклонение. Иногда там стояла настоящая статуя, хотя и самого грубого характера, вырезанная из дерева; и семьи резчиков, которые от отца к сыну занимались этим ремеслом, представленные в Аттике именем Дедала, а в Эгине - именем Смилиса, долго, со строгой точностью, придерживались освященного типа каждого конкретного бога. Постепенно возникло желание изменить материал, а также исправить грубость таких примитивных идолов; иногда в качестве материала сохранялось первоначальное дерево, но его частично покрывали слоновой костью или золотом, в других случаях заменяли мрамором или металлом. Дипейнос и Скиллис из Крета прославились как мраморные мастера около 50-й Олимпиады (580 г. до н. э.), и от них вниз по течению можно проследить ряд имен, более или менее выдающихся;

более того, похоже, что примерно в этот же период начинаются самые ранние храмовые приношения в произведениях искусства, правильно называемых так, - золотая статуя Зевса и большой резной ларец, посвященный Кипселидами из Коринфа в Олимпии.^[192] Благочестивые ассоциации, связанные со старым типом, были настолько сильны, что рука художника была сильно сдержана в работе со статуями богов. Именно в статуях людей, особенно в статуях победителей в Олимпии и других священных играх, впервые были заложены и отчасти достигнуты подлинные представления о красоте, откуда они затем перешли к статуям богов. Такие статуи атлетов, по-видимому, начали создаваться где-то между Олимпиадами 53-58 (568-548 гг. до н. э.).

До этого же периода (600-550 гг. до н. э.) мы не находим никаких следов этих архитектурных памятников, с помощью которых более значительные города Греции впоследствии привлекли к себе столько славы. Два величайших храма Греции, известных Геродоту, - Артемисион в Эфесе и Геренон на Самосе: первый из них, по-видимому, был начат саамцем Теодором около 600 года до н. э., а второй, начатый саамцем Рикусом, вряд ли может быть отнесен к более древним. Первые попытки украсить Афины подобными дополнениями исходили от Писистрата и его сыновей, примерно в то же время. Насколько мы можем судить, в отсутствие прямых доказательств, храмы Пестума в Италии и Селина в Сицилии, похоже, относятся к тому же веку. О живописи в эти первые века ничего нельзя сказать; она никогда не достигала такого же совершенства, как скульптура, и мы можем предположить, что годы ее младенчества были, по крайней мере, столь же грубыми.

Огромное развитие греческого искусства впоследствии и великое совершенство греческих художников - факты, имеющие огромное значение в истории человечества. Что же касается самих греков, то они не только оказывали сильное воздействие на вкус народа, но и были ценны косвенно, как общая гордость эллинизма и как источник братской симпатии и взаимной гордости среди его широко разбросанных частей. Именно скудость и слабость этих связей делает историю Греции до 560 года до н. э. не более чем серией параллельных, но изолированных нитей, каждая из которых связана с отдельным городом; и тот возросший диапазон совместных эллинских чувств и действий, к которому мы сейчас приступим, хотя и возникает, несомненно, в значительной степени из-за новых и общих опасностей, угрожающих многим городам сразу, - также частично проистекает из тех других причин, которые были перечислены в этой главе как действующие на греческий ум. Он исходит из стимула, применяемого ко всем общим чувствам в религии, искусстве и отдыхе, - из постепенного формирования национальных фестивалей, обращающихся различными способами к вкусам и чувствам, которые оживляли каждую эллинскую грудь, - из вдохновения людей гения, поэтов, музыкантов, скульпторов, архитекторов, которые поставляли больше или меньше в каждом греческом городе, образование для молодежи, обучение для хора и украшение для местности, - от постепенного развития науки, философии и риторики в течение последующего периода этой истории, что сделало один город интеллектуальной столицей Греции и привело к Исократесу и Платону учеников из самых отдаленных уголков греческого мира. Именно этот фонд общих вкусов, наклонностей и способностей заставил социальные атомы Эллады тяготеть друг к другу и позволил грекам стать чем-то лучшим и большим, чем совокупность мелких разобщенных общин вроде фракийцев или фригийцев. И создание такого общего, внеполитического эллинизма - самое интересное явление, на которое историк должен обратить внимание в ранний период, о котором мы сейчас говорим. Он призван остановиться на нем тем более настойчиво, что современный читатель, как правило, не представляет себе национального союза без политического союза - ассоциации, чуждой греческому уму. Как бы странно ни выглядел автор песен, выдвинутый в качестве активного инструмента объединения своих

соотечественников, не менее верно и то, что те поэты, о которых мы вкратце рассказали, обогащая общий язык и переходя из города в город лично или в своих сочинениях, способствовали разжиганию пламени общегреческого патриотизма в то время, когда было мало обстоятельств для сотрудничества с ними, и когда причины, склоняющие к сохранению изоляции, казались на высоте.

ГЛАВА XXX.

ДЕЛА ГРЕКОВ ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ПИСИСТРАТА И ЕГО СЫНОВЕЙ В АФИНАХ.

Теперь мы подошли к тому, что можно назвать вторым периодом греческой истории, начиная с правления Писистрата в Афинах и Крёза в Лидии.

Уже говорилось, что Писистрат стал деспотом Афин в 560 году до н. э.: он умер в 527 году до н. э., и его сменил сын Гиппий, который был свергнут и изгнан в 510 году до н. э., таким образом, между первым возвышением отца и окончательным изгнанием сына прошло целых пятьдесят лет. Эти хронологические моменты установлены на основании веских доказательств: но тридцать три года, охватываемые правлением Писистрата, прерываются двумя периодами изгнания, один из которых длился не менее десяти лет, а другой - пять лет. А точное место годов изгнания, нигде не закрепленное авторитетно, по-разному определяется догадками хронологов.^[193] Отчасти из этой полуизвестной хронологии, отчасти из очень скудного собрания фактов, история полувека, которая сейчас перед нами, может быть дана только очень несовершенно: и мы не можем удивляться нашему невежеству, когда мы находим, что даже среди самих афинян, только столетие спустя, заявления самых неправильных и противоречивых относительно Пейсистратидов были в обращении, как ясно, и несколько укоризненно, знакомит нас Фукидид.

Прошло уже более тридцати лет с момента обнародования солонийской конституции, в соответствии с которой был создан ежегодный сенат четырехсот, а общественное собрание (которому предшествовал, а также помогал и регулировал его деятельность сенат) было наделено правом требовать ответственности от магистратов после года их пребывания в должности. Таким образом, семена последующей демократии были посеяны, и, несомненно, управление архонтов было практически смягчено ими; но ничего похожего на демократические настроения еще не было создано. Через сто лет мы найдем эти настроения единодушными и сильными среди предприимчивых масс Афин и Пирея и будем вынуждены выслушивать громкие жалобы на то, как трудно иметь дело с "этим сердитым, осанистым, несговорчивым стариком, Декмом из Пникса" - так Аристофан^[194] называет афинский народ в лицо, со свободой, которая показывает, что он, по крайней мере, рассчитывал на его добрый нрав. Но в 560-510 гг. до н. э. народ настолько пассивен в отношении политических прав и гарантий, насколько может пожелать самый ярый враг демократии, а правительство переходит из рук в руки путем сделок и перекрестных обменов между двумя или тремя могущественными людьми^[195] во главе партизан, которые вторят их голосам, поддерживают их личные ссоры и обнажают меч по их приказу. Именно эту древнюю конституцию - Афины в том виде, в каком они существовали до афинской демократии, - македонец Антипатр намеревался восстановить в 322 году до н. э., когда по его приказу

большинство бедных граждан было полностью отстранено от участия в политической жизни[196].

С помощью хитрости, о которой рассказывалось в предыдущей главе,[197] Пейсистрат получил от общественного собрания охрану, которую он использовал для насильственного овладения акрополем. Таким образом, он стал хозяином администрации; но он использовал свою власть благородно и хорошо, не нарушая существующие формы дальше, чем это было необходимо для обеспечения себе полного господства. Тем не менее, из стихов Солона[198] (единственного современного свидетельства, которым мы располагаем) мы можем видеть, что преобладающие настроения отнюдь не благоприятствовали его недавним действиям, и что во многих умах было сильное чувство ужаса и отвращения, которое вскоре проявилось в вооруженной коалиции двух его соперников - Мегаклеса во главе парали, или жителей морского побережья, и Ликурга во главе тех, кто жил на соседней равнине. Поскольку их объединение образовало слишком мощную силу, чтобы Писистрат мог противостоять ей, он был изгнан в изгнание, недолго удерживая свою деспотию.

Но пришло время, и мы не можем сказать, как скоро, когда два соперника, изгнавшие его, поссорились, и Мегаклес сделал предложение Писистрату, приглашая его вернуть власть, обещая свою помощь и оговаривая, что Писистрат должен жениться на его дочери. Условия были приняты, и два новых союзника разработали план, как привести их в исполнение с помощью новой хитрости, поскольку симулированные раны и притворная личная опасность вряд ли могли быть разыграны во второй раз с успехом. Двое заговорщиков одели статную женщину шести футов ростом по имени Фик в одеяние и костюм Афины, окружили ее процессионными аккомпанементами, принадлежащими богине, и посадили в колесницу с Пейсистратом рядом. В таком виде изгнанный деспот и его сторонники приблизились к городу и подъехали к акрополю, предваряемые герольдами, которые громко кричали народу: "Афиняне, примите радушно Писистрата, которого Афина почитала превыше всех других людей и теперь возвращает в свой акрополь". Жители города приняли прославленную богиню с нескрываемой верой и демонстрацией поклонения, а среди деревенских кантонов быстро распространился слух, что Афина явилась лично, чтобы восстановить Писистрата, который таким образом, даже не оказав сопротивления, оказался во владении акрополя и правительства. Его собственная партия, объединенная с партией Мегаклеса, была достаточно сильна, чтобы удержать его, когда он овладел владением; и, вероятно, все, кроме лидеров, искренне верили в прозрение богини, которое стало известно, что это был обман, только после ссоры Писистрата и Мегаклеса[199].

Дочь Мегаклеса, согласно договоренности, быстро стала женой Писистрата, но не родила ему детей; стало известно, что ее муж, имея уже взрослых сыновей от прежнего брака и считая, что килонское проклятие лежит на всем роде Алкмаэонидов, не хотел, чтобы она становилась матерью. Мегаклес был так разгневан таким поведением, что не только отказался от союза с Писистратом, но даже заключил мир с третьей стороной, приверженцами Ликурга, - и занял столь угрожающую позицию, что деспот был вынужден эвакуироваться из Аттики. Он удалился в Эретрию в Эвбее, где оставался не менее десяти лет; но значительная часть этого времени была занята приготовлениями к насильственному возвращению, и, похоже, даже находясь в изгнании, он пользовался влиянием, значительно превышающим частного человека. Он оказал ценную помощь Лигдамису Наксосскому[201], чтобы тот стал деспотом этого острова, и он обладал, мы не знаем, каким образом, средствами для оказания ценных услуг различным городам, в частности Фивам. Они отплатили ему крупными денежными взносами, чтобы помочь в его переустройстве: наемники были наняты из Аргоса, а наксийский Лигдамис сам прибыл как с деньгами, так и с

войсками. Вооружившись и получив помощь, Писистрат высадился в Марафоне в Аттике. Как управлялось афинское правительство во время его десятилетнего отсутствия, мы не знаем; но его руководители позволили ему оставаться в Марафоне без помех и собирать своих партизан как из города, так и из страны; и только когда он вырвался из Марафона и достиг Паллена на пути в Афины, они выступили против него. Более того, их поведение, даже когда обе армии находились рядом, должно быть, было либо крайне небрежным, либо испорченным; ведь Писистрат нашел возможность напасть на них неподготовленными, разгромив их силы почти без сопротивления. На самом деле, все эти действия похожи на согласованное предательство: войска, потерпевшие поражение, хотя и не были преследованы, как говорят, сразу же рассеялись и вернулись в свои дома, повинаясь провозглашению Пейсистрата, который промаршировал в Афины и в третий раз оказался правителем[202].

После этого третьего успешного вступления он принял энергичные меры, чтобы сделать свое место постоянным. Алкмеониды и их ближайшие сторонники удалились в изгнание; но он захватил детей тех, кто остался, и чьи чувства он подозревал, в качестве заложников за поведение их родителей, и поместил их на Наксос, под опеку Лигдамиса. Кроме того, он снабдил себя мощным корпусом фракийских наемников, оплачиваемых из налогов, взимаемых с народа:[203] и не преминул задобрить богов очищением священного острова Делос: все мертвые тела, которые были похоронены в пределах видимости от храма Аполлона, были эксгумированы и перезахоронены дальше. В это время Делийский праздник, на котором присутствовали азиатские ионийцы и жители островов и с которым Афины, конечно же, были особенно связаны, должен был начать терять свое первозданное величие; ведь подчинение Киром континентальных ионийских городов уже было достигнуто, а могущество Самоса, хотя и усилилось при деспоте Поликратесе, похоже, росло за счет и к разорению меньших ионийских островов. Из тех же чувств, которые отчасти привели к очищению Делоса, отчасти в качестве партийного акта, Писистрат приказал сравнять с землей дома Алкмеонидов, а тела умерших членов этой семьи выкопать и вывезти за пределы страны[204].

Этот третий и последний период правления Пейсистрата продолжался несколько лет, до его смерти в 527 году до н. э.: говорят, что он был настолько мягким по своему характеру, что однажды даже позволил вызвать себя на суд сената Ареопага; но поскольку мы знаем, что ему пришлось содержать большое количество фракийских наемников из средств народа, мы будем склонны трактовать этот панегирик скорее сравнительно, чем положительно. Фукидид утверждает, что и он, и его сыновья управляли в мудром и добродетельном духе, взимая с народа только подходящий налог в размере пяти процентов[205]. Это высокая похвала, исходящая от такого авторитета, хотя, кажется, мы должны сделать некоторую поправку на то обстоятельство, что Фукидид был связан по происхождению с семьей Писистратидов.[206] Суждение Геродота также очень благоприятно в отношении Писистрата; суждение Аристотеля благоприятно, но с оговорками, поскольку он включает этих деспотов в список тех, кто предпринимал государственные и священные работы с намеренной целью обеднять, а также захватывать своих подданных. В пользу этого предположения говорит невероятный масштаб, с которым был начат храм Зевса Олимпийского в Афинах при Писистрате, - масштаб, намного превосходящий Парфенон или храм Афины Полиас, которые были возведены в более поздние времена, когда средства Афин были значительно больше,[207] а склонность к демонстративному благочестию, конечно, ничуть не уменьшилась. Он оставил ее незаконченной, и она никогда не была завершена, пока за дело не взялся римский император Адриан. Более того, Писистрат ввел большой Панафинейский фестиваль,

который проводился раз в четыре года, в третий олимпийский год: ежегодный Панафинейский фестиваль, отныне называемый Малым, все еще продолжался.

Я уже подробно рассказывал о том, с какой тщательностью он собирал полные и правильные копии гомеровских поэм, а также улучшал их чтение на Панафинейском празднике, за что мы ему очень благодарны, но различные критики ошибочно истолковывали это. Вероятно, он также собрал произведения других поэтов, названные Аулуcom Геллием (Aulus Gellius)[208] на языке, не очень подходящем для шестого века до н. э., библиотекой, открытой для публики; и услуга, которую он таким образом оказал, должна была быть очень ценной в то время, когда письменность и чтение не были широко распространены. Его сын Гиппарх следовал тому же вкусу, получая удовольствие от общества самых выдающихся поэтов того времени[209] - Симонида, Анакреона и Ласуса, не говоря уже об афинском мистике Ономакрите, который, хотя сам и не претендовал на дар пророчества, считался владельцем и редактором различных пророчеств, приписываемых древнему имени Мусей. Писистратиды были хорошо знакомы с этими пророчествами и придавали им большое значение; но Ономакрит, будучи однажды уличен в интерполяции пророчеств Мусея, был в результате изгнан Гиппархом. [Статуи Гермеса, воздвигнутые этим принцем или его личными друзьями в различных частях Аттики[211] и надписанные короткими нравоучительными предложениями, восхваляются автором платоновского диалога Гиппархом с преувеличением, близким к иронии; но несомненно, что оба сына Писистрата, как и он сам, были точны в выполнении религиозных обязательств государства и украсили город несколькими способами, особенно общественным фонтаном Каллиррока. Говорят, что они поддерживали существовавшие ранее формы закона и правосудия, заботясь лишь о том, чтобы всегда держать себя и своих приверженцев в эффективных государственных должностях и в полной реальности власти. Кроме того, они были скромны и популярны в своем личном поведении и благотворительны к бедным; однако есть один яркий пример беспринципной вражды, когда они убили Кимона ночью с помощью наемных убийц. [Однако есть все основания полагать, что правление Писистрата и его сыновей было в целом мягким до смерти Гиппарха от рук Гармодия и Аристогейтона, после чего оставшийся в живых Гиппий стал тревожным, жестоким и деспотичным в течение последних четырех лет своей жизни. И суровость этого заключительного периода оставила в афинском сознании[213] ту глубокую и неистребимую ненависть к династии в целом, о которой свидетельствует Фукидид, хотя он старается показать, что она не была заслуженной ни Пейсistrатом, ни вначале Гиппием.

Писистрат оставил трех законных сыновей - Гиппия, Гиппарха и Фессала: по общему мнению современников Фукидида в Афинах, Гиппарх был старшим из трех и стал его преемником; но историк решительно объявляет это ошибкой и под свою ответственность подтверждает, что Гиппий был и старшим сыном, и преемником. Такое его заверение, подкрепленное некоторыми доводами, сами по себе не очень убедительными, является достаточным основанием для нашей веры, тем более что Геродот поддерживает ту же версию. Но нас удивляет такая степень исторической беспечности афинской публики и, кажется, даже Платона[214] в отношении вопроса, одновременно интересного и сравнительно недавнего. Чтобы смягчить это удивление и объяснить, как имя Гиппарха вытеснило имя Гиппия в народной молве, Фукидид пересказывает памятную историю Гармодия и Аристогейтона.

Из этих двух афинских граждан,[215] оба принадлежавших к древнему роду, называвшемуся Гефирей, первый был прекрасным юношей, привязанным к последнему взаимной дружбой и преданной близостью, которую греческие нравы не осуждали. Гиппарх неоднократно делал Гармодию предложения, которые были отвергнуты, но которые, став известны Аристогейтону,

возбудили его ревность и опасения, как бы разочарованный поклонник не применил силу, - опасения, оправданные нередкими для греческих деспотов действиями[216] и отсутствием всякой правовой защиты от возмущения с такой стороны. Под влиянием этих чувств он начал искать, как мог, средства для свержения деспотии. Между тем Гиппарх, хотя и не замышлял никакого насилия, был так разгневан отказом Гармодия, что не мог успокоиться, не сделав чего-нибудь, чтобы оскорбить или унижить его. Чтобы скрыть мотив, из которого исходило оскорбление, он предложил его не непосредственно Гармодию, а его сестре. По его приказу эта юная дева однажды была призвана принять участие в религиозной процессии в качестве одной из *kanêphoræ*, или носильщиц корзин, как это было принято в Афинах; но когда она прибыла на место, где собрались ее подруги, ее с презрением отвергли как недостойную столь уважаемой должности, а вызов, адресованный ей, был отменен.[217] Публично нанесенное оскорбление наполнило Гармодию негодованием и еще больше обострило чувства Аристогейтона: оба они, решив во что бы то ни стало покончить с деспотизмом, согласовали средства агрессии с несколькими избранными соратниками. Они ждали праздника Великой Панафинеи, когда все граждане имели обыкновение вооруженным шествием, с копьем и щитом, идти на акрополь; это был единственный день, когда вооруженные люди могли собраться вместе, не вызывая подозрений. Заговорщики явились вооруженными, как и остальные граждане, но кроме этого имели при себе скрытые кинжалы. Гармодий и Аристогейтон обязались своими руками убить двух Писистратидов, а остальные обещали немедленно выступить на защиту от иноземных наемников; и хотя общее число участников было невелико, они рассчитывали на спонтанное сочувствие вооруженных зрителей в стремлении вернуть свои свободы, как только будет нанесен удар. Наступил день праздника, и Гиппий, со своим иностранным телохранителем, собирал вооруженных граждан для шествия по Керамейкусу перед воротами, когда Гармодий и Аристогейтон подошли со спрятанными кинжалами для исполнения своей цели. Приблизившись, они были поражены, увидев, что один из их соратников по заговору беседует с Гиппием, который был легко доступен каждому, и сразу же решили, что заговор раскрыт. Ожидая, что их схватят, и доведенные до отчаяния, они решили, по крайней мере, не умирать, не отомстив Гиппарху, которого они нашли в городских воротах у часовни, называемой Леокорион, и немедленно убили его. Его стражники убили Гармодия на месте, а Аристогейтон, которого на время спасла толпа, был после этого схвачен и погиб под пытками, чтобы заставить его выдать своих сообщников[218].

Новость быстро долетела до Гиппия в Керамейкусе, который услышал ее раньше, чем находившиеся рядом с ним вооруженные граждане, ожидавшие его приказа о начале шествия. С необычайным самообладанием он воспользовался этим драгоценным мгновением предвидения и двинулся к ним, приказав на короткое время бросить оружие и собраться на прилегающей площадке. Они безропотно повиновались, и он тут же приказал своим гвардейцам завладеть освободившимся оружием. Теперь он был бесспорным хозяином и мог захватывать всех граждан, к которым испытывал недоверие, особенно тех, у кого при себе были кинжалы, которые не принято было носить во время панафинеийской процессии.

Таков памятный рассказ Гармодия и Аристогейтона, особенно ценный тем, что все это происходит от Фукидида.[219] Обладать огромной властью, быть выше законных ограничений, внушать необычайный страх - это привилегия, столь желанная для гигантов человечества, что мы вполне можем обратить внимание на те случаи, когда она приносит несчастье даже им самим. Страх, внушенный Гиппарху, - перед замыслами, которые он на самом деле не вынашивал, но мог вынашивать и был компетентен осуществить без помех, - стал в данном случае главной причиной его гибели.

Заговор, о котором здесь рассказывается, произошел в 514 году до нашей эры, на тринадцатом году правления Гиппия, которое продолжалось еще четыре года, до 510 года до н. э. И эти последние четыре года, по мнению афинской публики, считались за все его правление; более того, многие из них совершили еще большую историческую ошибку, полностью исключив эти последние четыре года и полагая, что заговор Гармодия и Аристогеитона сверг правительство Писистратидов и освободил Афины. И поэты, и философы разделяли эту веру, которая отчетливо выражена в прекрасном и популярном "Сколионе", или песне на эту тему: два друга прославляются там как авторы свободы в Афинах, - "они убили деспота и дали Афинам равные законы". "Они убили деспота и дали Афинам равные законы"[220] Столь неоценимого подарка было достаточно, чтобы закрепить в сознании последующей демократии тех, кто продал свою жизнь, чтобы приобрести ее; кроме того, мы должны помнить, что интимная связь между этими двумя, столь отвратительная для современного читателя, рассматривалась в Афинах с симпатией, так что эта история завладела афинским умом благодаря жилам романтики, соединенной с жилами патриотизма. Впоследствии Гармодий и Аристогейтон стали почитаться и как победители, и как протомученики афинской свободы. Вскоре после окончательного изгнания Писистратидов в их честь были воздвигнуты статуи; потомкам их семей был предоставлен иммунитет от налогов и общественных тягот, а оратор, предложивший отменить такие иммунитеты в то время, когда их число было чрезмерно умножено, сделал свое единственное особое исключение в пользу этого уважаемого рода.[221] А поскольку имя Гиппарха было повсеместно известно как человека, которого убили, мы узнаем, как получилось, что не критичная публика стала считать его главенствующим членом семьи Писистратидов, старшим сыном и преемником Писистрата, царствующего деспота, - в сравнительном пренебрежении к Гиппиасу. Та же публика, вероятно, лелеяла множество других анекдотов,[222] не менее охотно веривших, поскольку они не могли быть подтверждены, относительно этого богатого событиями периода.

Какова бы ни была сдержанность Гиппия раньше, негодование по поводу смерти брата и страх за собственную безопасность[223] теперь побудили его полностью отказаться от нее. Это подтверждается и Фукидидом, и Геродотом, и не вызывает сомнений, что его власть теперь использовалась жестко и жестоко, что он предал смерти значительное число граждан. Мы также находим утверждение, неправдоподобное само по себе, подтвержденное Павсанием и Плутархом, - более низкими авторитетами, но все же в данном случае достаточно достоверное, - что он подверг пыткам до смерти Лину, любовницу Аристогеитона, чтобы вырвать у нее сведения о тайнах и сообщниках последнего.[224] Но поскольку он не мог не понимать, что эта система терроризма таит в себе опасность для него самого, он искал убежища и поддержки на случай изгнания из Афин; с этой целью он пытался связать себя с Дарием, царем Персии, - связь, полная последствий, которые будут описаны ниже. В это время Эантидес, сын Гиппокла, деспота Лампсака на Геллеспонте, пользовался большим расположением персидского монарха, что побудило Гиппия отдать ему в жены свою дочь Арчедику; не малая честь для Лампсакена в оценке Фукидида.[225] Чтобы объяснить, как Гиппий остановился на этом городе, необходимо сказать несколько слов о внешней политике Писистратидов.

Уже упоминалось, что еще во времена поэта Алкейса афиняне заняли Сигей в Троаде и вели там войну с митиленцами, так что их приобретения в этих краях относятся ко времени Писистрата. Вероятно, благодаря этому обстоятельству в начале его правления к нему обратились долонкийские фракийцы, жители Херсонеса на противоположном берегу Геллеспонта, с просьбой о помощи против их могущественных соседей - фракийцев племени абсинтиев; таким образом, появилась возможность послать колонию, чтобы приобрести этот

ценный полуостров для Афин. Пейсистрат охотно включился в эту затею, а Мильтиадес, сын Кипсела, знатный афинянин, нетерпеливо живший под его деспотией, с не меньшим удовольствием взял на себя инициативу по ее осуществлению: его уход и уход других недовольных в качестве основателей колонии отвечал интересам всех сторон. Согласно рассказу Геродота, в равной степени благочестивому и живописному, и, несомненно, распространявшемуся как достоверный на ежегодных играх, которые херсонеситы даже в его время праздновали в честь своего экиста, именно дельфийский бог направляет план и выделяет человека. Вожди бедствующих долонкийцев отправились в Дельфы, чтобы попросить помощи в приобретении греческих колонистов, и получили указание выбрать для своего экиста того, кто первым окажет им гостеприимство при выходе из храма. Они отправились в путь по так называемой Священной дороге, через Фокис и Беотию в Афины, не получив ни одного гостеприимного приглашения; наконец они вошли в Афины и прошли мимо дома Мильтиадеса, когда он сам сидел перед ним. Увидев людей, чей костюм и оружие выдавали в них чужеземцев, он пригласил их в свой дом и любезно угостил: они сообщили ему, что именно на него указывает оракул, и умоляли не отказывать им в согласии. Спросив лично мнение оракула и получив утвердительный ответ, он согласился; во главе афинских эмигрантов он отплыл в качестве экиста в Херсонес[226].

Достигнув этого полуострова и став деспотом смешанного фракийского и афинского населения, он не теряя времени укрепил узкий перешеек стеной, протянувшейся от Кардии до Пактии, на расстояние около четырех с половиной миль; таким образом, абсинтийские захватчики были на время фактически отброшены,[227] хотя защита не сохранялась постоянно. Он также вступил в войну с Лампсакусом на азиатской стороне пролива, но имел несчастье попасть в засаду и оказаться в плену. Ничто не сохранило ему жизнь, кроме немедленного вмешательства лидийского царя Крёза, сопровождавшегося настойчивыми угрозами в адрес лампсаков, которые были вынуждены отпустить своего пленника; Мильтиадес приобрел большую благосклонность этого принца, каким образом, нам не известно. Через некоторое время после этого он умер бездетным, а его племянник Стесагор, который стал его преемником, погиб в результате убийства, произошедшего через некоторое время после смерти Пейсистрата в Афинах[228].

Экспедиция Мильтиадеса в Херсонес, должно быть, произошла вскоре после первой узурпации Писистрата, поскольку даже его заключение в тюрьму Лампсакенами произошло до гибели Крёза (546 г. до н. э.). Но только гораздо позже, предположительно в третий, самый могущественный период правления Пеисистрата, последний предпринял экспедицию против Сигея в Троаде. Это место, по-видимому, попало в руки митиленцев: Пеисистрат вновь захватил его[229] и поставил там деспотом своего незаконнорожденного сына Гегезистрата. Митиленцы, возможно, были ослаблены в это время (где-то между 537-527 гг. до н. э.) не только успехами персидских завоеваний на материке, но и разрушительным поражением, которое они потерпели от Поликратеса и саамов.[Гегезистрат удерживал это место от различных враждебных попыток в течение всего царствования Гиппия, так что афинские владения в тех краях охватывали в этот период и Херсонес, и Сигею. 231] В первый из них Гиппий послал Мильтиада, племянника первого экиста, в качестве правителя после смерти его брата Стесагора. Новый правитель обнаружил на полуострове много недовольства, но сумел усмирить его, поймав и посадив в тюрьму главных людей в каждом городе. Он также взял на службу полк из пятисот наемников и женился на Гегесипиле, дочери фракийского царя Олора.[232] Похоже, что около 515 года до н. э. этот второй Мильтиадес отправился в Херсонес.[Он, по-видимому, был вынужден покинуть его на некоторое время после скифской экспедиции Дария, поскольку вызвал враждебность персов; но он находился там с начала восстания ионийцев до 493 г. до н. э., или за два-три

года до битвы при Марафоне, в которой он исполнял обязанности командующего афинской армией.

Херсонес и Сигея, хотя и были афинскими владениями, теперь находились в подчинении и зависимости от Персии. Именно на нее Гиппий в последние годы своей тревоги рассчитывал в случае изгнания из Афин: он рассчитывал на Сигею как на убежище, а на Эантидеса, как и на Дария, как на союзника. Ни тот, ни другой не подвели его.

Те же обстоятельства, которые тревожили Гиппия и делали его владычество в Аттике одновременно и более тягостным, и более одиозным, конечно же, усиливали надежды его врагов - афинских изгнанников с могущественными Алкмæонидами во главе. Полагая, что наступил благоприятный момент, они даже решились на вторжение в Аттику и заняли пост под названием Лейпсидрион в горном массиве Парнас, отделяющем Аттику от Беотии.^[234] Но их планы полностью провалились: Гиппий разгромил их и изгнал из страны. Теперь его господство казалось подтвержденным, так как лакедемоняне находились с ним в тесной дружбе, а македонский царь Аминтас, как и фессалийцы, были его союзниками. Однако изгнанникам, которых он победил в открытом поле, удалось совершить неожиданный маневр, который, при благоприятном стечении обстоятельств, стал для него гибельным.

В результате несчастного случая, произошедшего в 548 году до н. э.,^[235] дельфийский храм был подожжен и сгорел. Восполнение этой тяжелой утраты стало предметом заботы всей Греции; но расходы были очень велики, и, судя по всему, деньги долго не удавалось собрать. Амфиктионы постановили, что четвертую часть расходов должны взять на себя сами дельфийцы, которые оказались настолько обременены этим налогом, что разослали посланников по всей Греции для сбора подписки на помощь и получили, среди прочих пожертвований, от греческих поселенцев в Египте двадцать мин, а также большой подарок квасцов от египетского царя Амасиса: их щедрый благодетель Крёс стал жертвой персов в 546 году до н. э., так что его сокровища больше не были открыты для них. Общая требуемая сумма составляла триста талантов (равная, вероятно, примерно ста пятнадцати тысячам фунтов стерлингов),^[236] - непомерная сумма, которую нужно было собрать с разбросанных по всему миру греческих городов, не признававших общей власти, и среди которых было так трудно определить долю, которую разумно требовать с каждого, чтобы удовлетворить все стороны. Однако в конце концов деньги были собраны, и Амфиктионы смогли заключить договор на строительство храма. Алкмæониды, находившиеся в изгнании со времени третьего и окончательного захвата власти Писистратом, приняли контракт; и при его исполнении они не только выполнили работу наилучшим образом, но даже вышли за рамки оговоренных условий; они использовали парийский мрамор для фасада, где предписанным им материалом был грубый камень. [Как уже отмечалось в случае с Писистратом, когда он находился в изгнании, мы удивлены, что изгнанники, чье имущество было конфисковано, были так хорошо обеспечены деньгами, - если только мы не предположим, что Клейстенес Алкмæонид, внук сикионского Клейстенеса,^[238] унаследовал через свою мать богатство, независимое от Аттики, и вложил его в храм Самианской Герки. Но факт неоспорим, и они приобрели известность во всем эллинском мире за свое либеральное исполнение столь важного предприятия. В том, что возведение храма заняло немало времени, сомневаться не приходится. Насколько можно судить, оно было закончено примерно через год или два после смерти Гиппарха - 512 г. до н. э. - более чем через тридцать лет после пожара.

Для дельфийцев восстановление их храма в таком превосходном масштабе было самой важной из всех услуг, и их благодарность Алкмæонидам была пропорционально велика. Отчасти благодаря таким чувствам, отчасти благодаря денежным подаркам, Клейстенес получил возможность использовать оракул в политических целях и призвать мощную руку

Спарты против Гиппия. Всякий раз, когда спартанец обращался к оракулу по частным или государственным делам, ответ жрицы всегда звучал в одном ключе: "Афины должны быть освобождены". Постоянное повторение этого предписания в конце концов заставило благочестивых лакедемонян нехотя подчиниться. Почитание бога пересилило сильное чувство дружбы к Писистратидам, и Анхимолий, сын Астера, был отправлен по морю в Афины во главе спартанского войска, чтобы изгнать их. Однако, высадившись в Фалеруме, он обнаружил, что они уже предупреждены и подготовлены, а также дополнительно усилены тысячей лошадей, специально выпрошенных у их союзников в Фессалии. На равнине Фалерума эти последние силы оказались особенно эффективными, так что дивизия Анхимолия была отброшена к кораблям с большими потерями, а сам он убит.^[239] Разбитое войско, вероятно, было небольшим, и его отпор только спровоцировал лакедемонян послать более многочисленное, под командованием их царя Клеомена лично, который по этому случаю отправился в Аттику по суше. Достигнув Афинской равнины, он подвергся нападению фессалийских конников, но отбил их так галантно, что они тут же ускакали и вернулись в родную страну, бросив своих союзников с верностью, нередкой в фессалийском характере. Клеоменес без дальнейшего сопротивления двинулся к Афинам и вместе с Алкмæонидами и недовольными афинянами овладел городом. В то время в городе не было никаких укреплений, кроме акрополя, в который Гиппий удалился со своими наемниками и наиболее верными ему гражданами; он позаботился заранее снабдить его всем необходимым, чтобы был не менее защищен от голода, чем от нападения. Он мог бы бросить вызов осаждающим, которые ни в коем случае не были готовы к длительной блокаде; но, не вполне доверяя своему положению, он попытался тайком выслать своих детей из страны, и в результате дети были взяты в плен. Чтобы добиться их восстановления, Гиппий согласился на все, что от него требовали, и в течение пяти дней удалился из Аттики в Сигею в Троаде.

Так пала династия Писистратидов в 510 году до н. э., через пятьдесят лет после первой узурпации ее основателя^[240]. Она была низложена с помощью иностранцев^[241], и эти иностранцы в душе желали ей добра, хотя и враждовали с ней из ошибочного чувства божественного предписания. Однако и обстоятельства его падения, и последующий ход событий свидетельствуют о том, что у него было мало друзей в стране, и что изгнание Гиппия было единодушно встречено подавляющим большинством афинян. Его семья и главные сторонники отправились в изгнание - вероятно, как само собой разумеющееся, не требующее формального приговора; на акрополе был воздвигнут алтарь с колонной, на которой отмечались как прошлые беззакония свергнутой династии, так и имена всех ее членов^[242].

ГЛАВА XXXI.

ГРЕЧЕСКИЕ ДЕЛА ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ ПИСИСТРАТИДОВ. - РЕВОЛЮЦИЯ КЛЕЙСТЕНА И УСТАНОВЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ В АФИНАХ.

Вместе с Гиппием исчез наемный фракийский гарнизон, на который он и его отец до него опирались как для защиты, так и для обеспечения власти; ушел и Клеоменес со своими лакедемонскими войсками, задержавшись лишь настолько, чтобы установить личную

дружбу, имевшую впоследствии важные последствия, между спартанским царем и афинянином Исагором. Таким образом, афиняне были предоставлены сами себе, без какого-либо иностранного вмешательства, которое могло бы сдерживать их в политических делах.

В предыдущей главе упоминалось, что Писистратиды в основном соблюдали формы солонской конституции: девять архонтов и проболетический или предварительный сенат из четырехсот человек (оба ежегодно менялись) все еще продолжали существовать, наряду с периодическими собраниями народа - или, скорее, той части народа, которая входила в генты, фратрии и четыре ионийских племени. Тимократическая классификация Солона (или четырехкратная шкала доходов и оценка политических прав в соответствии с ней) также продолжала существовать, но все было под контролем и подчинено целям правящей семьи, которая всегда держала одного из своих членов в качестве настоящего хозяина, среди главных администраторов, и всегда сохраняла владение акрополем, а также наемными войсками.

Теперь, когда изгнание Гиппия устранило это подавляющее давление, порабощенные формы сразу обрели свободу и реальность. В Аттике снова появилось то, чего она не знала тридцать лет, - объявленные политические партии и выраженная оппозиция между двумя людьми в качестве лидеров: с одной стороны, Исагор, сын Тисандра, человек славного происхождения, с другой - Клейстенес Алкмаeonид, не менее славный и в этот момент претендующий на признательность своих соотечественников как самый упорный и самый эффективный противник свергнутых деспотов. Каким образом происходило это противостояние, нам не известно. По-видимому, она была не совсем мирной; но, во всяком случае, Клейстенесу досталось больше всех, и в результате этого поражения, говорит историк, "он взял в партнеры народ, который прежде был исключен из всего"[243] Его партнерство с народом дало начало афинской демократии: это была настоящая и важная революция.

Политическое право или характер афинского гражданина, как до, так и после Солона, были ограничены первобытным четырех ионических племен, каждое из которых представляло собой совокупность многих близких корпораций или квазисемей, - *gentes* и *phratries*. Таким образом, никто из жителей Аттики, кроме тех, кто входил в какой-либо род или фратрию, не имел права голоса. Такие непривилегированные жители, вероятно, всегда были многочисленны и становились все более многочисленными за счет новых поселенцев: более того, они имели тенденцию к наибольшему размножению в Афинах и Пирее, где обычно обосновывались эмигранты. Клейстенес разрушил существующую стену привилегий и предоставил политическое право исключенной массе. Но это нельзя было сделать путем зачисления их в новые генты или фратрии, созданные в дополнение к старым; ведь гентильные узы были основаны на старой вере и чувствах, которые, при существующем состоянии греческого ума, не могли быть внезапно придуманы как узы союза для сравнительно чужих людей: это можно было сделать только путем полного отсоединения франшизы от ионических племен, а также от составлявших их гентов, и путем перераспределения населения в новые племена с характером и целью исключительно политического характера. Соответственно, Клейстенес упразднил четыре ионических племени и создал вместо них десять новых племен, основанных по другому принципу, независимо от гентов и фратрий. Каждое из новых племен состояло из определенного количества демов или кантонов, в каждом из которых были записаны владельцы и жители. Демоны в целом включали всю поверхность Аттики, так что конституция Клейстена допускала к политическому голосованию всех свободных коренных афинян, и не только их, но и многих метисов, и даже некоторых рабов высшего порядка. 244] Исключив из поля

зрения общую массу рабов и рассматривая только свободных жителей, это была, по сути, схема, приближающаяся к всеобщему избирательному праву, как политическому, так и судебному.

Незначительная и беглая манера, в которой Геродот сообщает об этой памятной революции, заставляет нас не замечать ее реального значения. Он останавливается главным образом на изменении числа и названий племен: Клейстенес, говорит он, настолько презирал ионийцев, что не потерпел сохранения в Аттике четырех племен, которые преобладали в ионийских городах,^[245] получивших свои имена от четырех сыновей Иона, - точно так же, как его дед, сикионянин Клейстенес, ненавидя дорийцев, унизил и прозвал три дорийских племена в Сикионе. Таково представление Геродота, который, похоже, сам испытывал некоторое презрение к ионийцам^[246] и поэтому подозревал подобное чувство там, где оно не имело реального существования. Но сфера деятельности Клейстенеса была гораздо шире: он упразднил четыре древних племена не потому, что они были ионийскими, а потому, что они стали несоизмеримы с существующим состоянием аттического народа, и потому, что такое упразднение обеспечило как ему самому, так и его политической схеме новых, а также сердечных союзников. И действительно, если мы изучим обстоятельства дела, то увидим весьма очевидные причины, чтобы предположить такое решение. На протяжении более чем тридцати лет - целого поколения - старая конституция была лишь пустой формальностью, работающей только в подчинении царствующей династии и лишенной всякой реальной контролирующей силы. Поэтому мы можем быть уверены, что и Сенат Четырехсот, и народное собрание, лишенные свободы слова, которая придавала им не только всю их ценность, но и все их очарование, стали мало цениться обществом и, вероятно, собирали лишь несколько приверженцев; таким образом, разница между квалифицированными гражданами и людьми не столь квалифицированными, между членами четырех старых племен и людьми не членами, была практически стерта в этот период. Это, по сути, было единственным благом, которое греческий деспотизм, кажется, когда-либо делал: он смешивал привилегированных и непривилегированных под одной властью принуждения, общей для обоих, так что различие между ними было нелегко возродить, когда деспотизм ушел в прошлое. Как только Гиппий был изгнан, сенат и общественное собрание восстановили свою эффективность. Но если бы они остались на прежнем уровне, не включая никого, кроме членов четырех племен, то эти племена вновь получили бы привилегию, которую в действительности они так давно утратили, что ее возрождение показалось бы одиозной новинкой, а оставшееся население, вероятно, не подчинилось бы ей. Если к тому же учесть политическое волнение момента - восстановление одного корпуса людей из изгнания и отправление другого корпуса в изгнание, - излияние долго подавляемой ненависти, частично против этих самых форм, благодаря развращению которых деспот воцарился, - мы увидим, что благоразумие, как и патриотизм, диктовало принятие расширенной схемы правления. Клейстенес научился некоторой мудрости во время своего долгого изгнания; и поскольку он, вероятно, продолжал некоторое время после введения новой конституции быть главным советником своих соотечественников, мы можем рассматривать их необычайный успех как свидетельство его благоразумия и мастерства не в меньшей степени, чем их мужества и единодушия.

Не кажется также неразумным отдать ему должное за более щедрое движение вперед, чем то, что подразумевается в буквальном рассказе Геродота. Вместо того чтобы против своей воли приобрести поддержку народа, предложив новую конституцию, Клейстенес, возможно, предложил ее раньше, во время дискуссий, последовавших за отставкой Гиппия; так что ее отклонение стало причиной ссоры между ним и Исагором, о которой ничего не говорится. Последний, несомненно, нашел достаточную поддержку в существующем сенате и

общественном собрании, чтобы предотвратить его проведение без фактического обращения к народу, и его противодействие этому не трудно понять. Ведь как ни необходимы были эти изменения, они были не меньшим потрясением для древних аттических идей. Оно радикально изменило саму идею племени, которое теперь стало совокупностью демов, а не гентов, - собратьев-демонов, а не собратьев-гентов; и таким образом оно разрушило те ассоциации, религиозные, социальные и политические, между целым и частями старой системы, которые оказывали сильное влияние на разум каждого старомодного афинянина. Патриции в Риме, составлявшие *gentes* и *curiæ*, и плебеи, не принимавшие участия в этих корпорациях, долгое время составляли две отдельные и противоборствующие фракции в одном городе, каждая со своей собственной организацией. Лишь постепенно плебеи завоевывали позиции, и политическое значение патрицианского рода долгое время сохранялось наряду с плебейским и отдельно от него. Так и в итальянских и немецких городах Средневековья патрицианские семьи отказывались расстаться со своей отдельной политической идентичностью, когда рядом с ними выросли гильдии; даже будучи вынужденными отказаться от части своей власти, они продолжали оставаться отдельным братством и не подчинялись тому, чтобы их заново, под измененными категориями и обозначениями, распределяли вместе с торговцами, которые выросли в богатстве и значении.^[247] Но реформа Клейстенеса привела к тому, что все сразу изменилось, как название, так и реальность. В некоторых случаях, правда, то, что было названием рода, сохранялось как название демы, но и тогда старые гентилы без разбора причислялись к оставшимся демотам; и афинский народ, с политической точки зрения, таким образом, превратился в однородное целое, распределенное для удобства на части, численно, локально и политически равные. Следует, однако, помнить, что, хотя четыре ионических племени были упразднены, составлявшие их генты и фратрии остались нетронутыми и продолжали существовать как семейные и религиозные объединения, хотя и не несли с собой никаких политических привилегий.

Десять вновь созданных племен, расположенных в установленном порядке старшинства, назывались: Эрехтекис, Игекис, Пандионис, Леонтис, Акамантис, *ᾠενῆις*, Кекрёпис, Гиппотоонтис, Иантис, Антиохис; названия были заимствованы главным образом у уважаемых героев аттической легенды.^{248]} Это число оставалось неизменным до 305 года до н. э., когда оно было увеличено до двенадцати за счет добавления двух новых племен, Антигонии и Деметрии, которые впоследствии были заново обозначены именами Птолемаиды и Атталиды. Сами названия этих двух племен, заимствованные у живых царей, а не у легендарных героев, свидетельствуют о переходе от свободы к подчинению в Афинах. Каждое племя имело в Аттике определенное количество демов - кантонов, приходов или волостей. Но общее число этих демов точно не установлено; хотя мы знаем, что во времена Полемо (третий век до н. э.) их было сто семьдесят четыре, мы не можем быть уверены, что оно всегда оставалось таким же; и некоторые критики истолковывают слова Геродота так, что сначала Клейстенес признал именно сто демов, распределенных в равной пропорции между его десятью племенами.^[249] Но такое толкование слов более чем сомнительно, а сам факт маловероятен; отчасти потому, что если бы изменение числа было столь значительным, как разница между ста и ста семьдесят четырем, то, вероятно, нашлись бы какие-то положительные доказательства этого, - отчасти потому, что у Клейстенеса, действительно, был мотив сделать количество граждан почти равным, но не мотив сделать количество демов равным в каждом из десяти племен. Хорошо известно, как велика сила местных привычек и как неизменны границы приходов или кантонов. Поэтому, в отсутствие доказательств обратного, мы можем с полным основанием предположить, что число и очертания демов, найденные или измененные Клейстенесом, сохранились впоследствии с небольшими изменениями, по крайней мере, до увеличения числа племен.

Однако есть и другой момент, который одновременно и более определенный, и более важный для внимания. Поместья, которые Клейстенес выделил каждому племени, ни в коем случае не примыкали друг к другу; поэтому племя в целом не соответствовало какому-либо непрерывному участку территории и не могло иметь особых местных интересов, отдельных от всего сообщества. Такое систематическое избегание фракций, возникающих из-за соседства, кажется особенно необходимым, если вспомнить, что ссоры парали, диакриев, педиаков в течение предыдущего столетия были порождены местной враждой, хотя, несомненно, искусно разжигались индивидуальным честолюбием. Более того, только благодаря этой же предосторожности было предотвращено местное преобладание города и формирование интересов города, отличных от интересов страны, которые вряд ли могли не возникнуть, если бы город сам по себе представлял собой один дем или одно племя. Клейстенес распределил город (или нашел его уже распределенным) на несколько демов, а те - между несколькими племенами; Пейрæй и Фалекрум, каждый из которых составлял отдельный дем, также были отнесены к разным племенам; таким образом, не было никаких местных преимуществ, которые могли бы дать преобладание или создать борьбу за преобладание одного племени над остальными.^[250] У каждого дема были свои местные интересы, за которыми нужно было следить; но племя было просто совокупностью демов для политических, военных и религиозных целей, без отдельных надежд и страхов, отдельно от всего государства. У каждого племени была часовня, священные обряды и праздники, общий фонд для таких собраний, в честь своего одноименного героя, управляемый членами по собственному выбору;^[251] а статуи всех десяти одноименных героев, братских покровителей демократии, были установлены в самой заметной части афинской агоры. В дальнейшей работе афинского правительства мы не обнаружим никаких признаков тревожных местных группировок - существенная поправка по сравнению со спорами предыдущего века, отчасти объясняемая отсутствием пограничных отношений между демами одного и того же племени.

Теперь дем стал примитивным составным элементом сообщества, как в отношении людей, так и в отношении имущества. У него был свой демарх, свой реестр записанных граждан, своя коллективная собственность, свои общественные собрания и религиозные церемонии, свои налоги, которые взимались и управлялись им самим. Реестр квалифицированных граждан^[252] вел демарх, а запись новых граждан происходила на собраниях демотов, законные сыновья которых записывались по достижении восемнадцати лет, а усыновленные - в любое время по представлению и присяге усыновляющего гражданина. Гражданство могло быть предоставлено только публичным голосованием народа, но богатые несвободные люди иногда могли обойти этот закон и купить запись в реестр какого-нибудь бедного дема, вероятно, с помощью фиктивного усыновления. На собраниях демотов этот реестр пересматривался, и иногда случалось, что некоторые имена исключались, - в этом случае лишенная права голоса сторона могла обратиться в народный суд.^{253]} Однако местная административная власть этих демов была столь велика, что их называют заменой,^[254] по клейстенской системе, наукрариев по солонийской и досолонийской. Триттии и наукрарии, хотя номинально и сохранились, а последние (как утверждают некоторые) увеличились в числе с сорока восьми до пятидесяти, отныне представляются малозначимыми.

Клейстенес сохранил, но в то же время изменил и расширил все основные черты политической конституции Солона: общественное собрание, или экклесию, - предварительный сенат, состоящий из членов от всех племен, - и привычку ежегодно избирать магистратов, а также нести перед ними ежегодную ответственность. Должно быть, теперь, в момент недоумения и разногласий, можно было ощутить всю ценность наличия

таких уже существующих институтов, на которые можно было опираться. Но клейстенская экклесия приобрела новую силу и почти новый характер благодаря значительному увеличению числа граждан, имеющих право участвовать в ней; а ежегодно сменяемый сенат, вместо того чтобы состоять из четырехсот членов, взятых в равной пропорции от каждого из старых четырех колен, был увеличен до пятисот, взятых в равной пропорции от каждого из новых десяти колен. Теперь он предстает перед нами под названием "Сенат пятисот", как активный и необходимый орган всей афинской демократии: и, похоже, началась практика (хотя период начала не может быть решительно доказан) определения имен сенаторов по жребию. И сенат, сформированный таким образом, и общественное собрание были гораздо более популярными и энергичными, чем при первоначальном устройстве Солона.

Новая конституция триб, приведшая к изменению ежегодного состава сената, не менее непосредственно изменила военные порядки в государстве, как в отношении солдат, так и в отношении офицеров. Граждане, призванные к военной службе, теперь были распределены по племенам, каждое племя имело своих таксиархов в качестве офицеров для гоплитов и своего филарха во главе всадников. Кроме того, впервые были учреждены десять стратегов, или генералов, по одному от каждого племени, и два гиппарха для верховного командования всадниками. По прежней афинской конституции командование военными силами принадлежало третьему архонту, или полемарху, а стратегов тогда не было; и даже после создания последних, по Клейстенской конституции, полемарх сохранил за собой право совместного командования с ними, как нам рассказывают в битве при Марафоне, где полемарх Каллимах не только имел равный голос в военном совете вместе с десятью стратегами, но даже занимал почетный пост на правом фланге.^[255] Таким образом, десять генералов, ежегодно сменяемых, являются (как и десять племен) плодом клейстенской конституции, которая в то же время была мощно укреплена и защищена такой перестройкой военной силы. Функции генералов становились все более широкими по мере развития демократии, и постепенно они, по-видимому, приобрели не только руководство военными и морскими делами, но и внешними сношениями города в целом, в то время как девять архонтов, включая полемарха, были постепенно низведены с той полной исполнительной и судебной компетенции, которой они когда-то обладали, до простого министерства полиции и подготовительного правосудия. С одной стороны, на них посягали стратеги, с другой - их эффективность была ограничена появлением народных дикастерий или многочисленных судов присяжных. Мы можем быть совершенно уверены, что эти народные дикастерии не имели права собираться и действовать при деспотизме Пеисистратидов, и что судебные дела в городе тогда должны были вестись частично сенатом Ареопага, частично архонтами; возможно, с номинальной ответственностью последних в конце года их полномочий перед согласной с ними экклесией. И если даже допустить, как утверждают некоторые авторы, что привычка к прямому народному суду, помимо этого ежегодного испытания ответственности, была частично введена Солоном, она должна была прекратиться во время длительного принуждения со стороны сменившейся династии. Но всплеск народного духа, придавший силу Клисфенессу, несомненно, привлек народ к прямому действию в качестве присяжных в совокупности Гелизии, не менее чем в качестве избирателей в экклесии, - и таким образом началось изменение, способствовавшее низведению архонтов из их первобытного статуса судей в более низкую функцию предварительных экзаменаторов и председателей жюри. Подобные созывы многочисленных присяжных, начинавшиеся сначала с совокупности присяжных граждан старше тридцати лет, а затем разделявшиеся на отдельные органы или каналы для рассмотрения конкретных дел, постепенно становились все более частыми и систематизированными, пока, наконец, во времена Перикла, за них не стали платить небольшую плату, и они стали одной из самых заметных черт афинской жизни. Мы не можем

описать различные этапы, на которых было достигнуто такое окончательное развитие, и судебная компетенция архонта была сведена лишь к полномочиям налагать небольшой штраф; но первые шаги в этом направлении мы находим в революции Клейстенеса, и, кажется, они были завершены реформами Перикла. О функции, которую выполняли девять архонтов, а также многие другие магистраты и официальные лица в Афинах, созывая дикастерий, или суд присяжных, передавая дела в суд - и председательствуя на суде, - функции, составляющей один из признаков высшей магистратуры и называемой гегемонией, или председательством в дикастерии, - я расскажу подробнее в дальнейшем. Сейчас же я хочу лишь обратить внимание на все более и более расширяющуюся сферу деятельности, в которую вступил народ при том памятном повороте дел, о котором мы сейчас говорим.

Финансовые дела города в эту эпоху претерпели столь же полные изменения, как и военные: фактически, назначение магистратов и чиновников десятниками, по одному от каждого племени, похоже, стало обычной практикой. Коллегия из десяти человек, называвшихся аподектэ, была наделена верховным управлением казной, вела дела с подрядчиками в отношении тех частей дохода, которые обрабатывались, получала все налоги от сборщиков и распределяла их в соответствии с компетентными полномочиями. Первое назначение этой коллегии прямо приписывается Клейстенесу,^[256] который заменил неких лиц, называемых *Kôlakretæ*, которые выполняли ту же функцию раньше, а теперь были оставлены только для подчиненных услуг. Впоследствии обязанности аподектов ограничили получением государственных доходов и передачей их десяти казначеям богини Атене, которые хранили их во внутренней камере Парфенона и расходовали по мере необходимости; но это более сложное устройство нельзя отнести к Клейстенесу. С его времени Сенат пятисот также выходит далеко за рамки своей первоначальной обязанности готовить вопросы для обсуждения в экклесии: он охватывает, кроме того, большой круг административного и общего надзора, который едва ли поддается какому-либо определению. Его заседания становятся постоянными, за исключением особых праздников, а год делится на десять частей, называемых пртаниями, - пятьдесят сенаторов от каждого племени по очереди берут на себя обязанность постоянного присутствия в течение одной пртании и получают на это время титул пртанов: порядок старшинства среди племен в этих обязанностях ежегодно определялся жребием. В обычном аттическом году, состоявшем из двенадцати лунных месяцев, или трехсот пятидесяти четырех дней, шесть пританий содержали тридцать пять дней, четыре - тридцать шесть: в интеркаляционных годах, состоявших из тринадцати месяцев, число дней составляло тридцать восемь и тридцать девять соответственно. Кроме того, было признано дальнейшее деление пританий на пять периодов по семь дней каждый, а пятидесяти триб-сенаторов - на пять корпусов по десять человек: каждый корпус из десяти человек председательствовал в сенате один период в семь дней, каждый день бросая жребий среди своего числа на нового председателя, называемого Эпистатесом, которому в течение дня его полномочий передавались ключи от акрополя и казначейства, а также городская печать. Остальные сенаторы, не принадлежавшие к племени прытанов, могли, конечно, присутствовать по своему усмотрению; но присутствие девяти из них, по одному от каждого из остальных девяти племен, было совершенно необходимо для того, чтобы собрание было действительным и обеспечивало постоянное представительство коллективного народа.

В более поздние времена, известные нам благодаря великим ораторам, экклесия, или официальное собрание граждан, созывалась четыре раза регулярно во время каждой прютании или чаще, если того требовала необходимость, - обычно сенатом, хотя стратеги имели право созывать ее и собственными силами. Председательствовали на нем прытаны, а

вопросы ставились на голосование их эписитесом, или председателем; но девять представителей не прытающих племен всегда присутствовали как само собой разумеющееся, и, кажется, еще во времена ораторов, приобрели себе руководство им, вместе с правом ставить вопросы на голосование,^[257] оттеснив полностью или частично пятьдесят прытанов. Однако если мы вернемся к состоянию экклесии, впервые организованной Клейстенесом (я уже отмечал, что толкователи афинской конституции слишком склонны пренебрегать различием времен и полагать, что то, что было принято в 400-330 гг. до н. э., было принято всегда), то окажется, что это не так. то представляется вероятным, что он предусмотрел одно регулярное собрание в каждую пирушку, и не более; предоставив сенату и стратигам право созывать специальные собрания, если это необходимо, но установив одну экклесию в каждую пирушку, или десять в год, в качестве регулярной государственной необходимости. Как часто созывались древние экклесии в период между Солоном и Писистратом, мы точно сказать не можем, вероятно, лишь изредка в течение года. Но при Пеисистратах ее созыв превратился в недейственную формальность, и восстановление ее Клейстенесом, не только с полномочиями определять, но и при полном уведомлении и предварительной подготовке дел, а также с лучшими гарантиями упорядоченной процедуры, само по себе было революцией, впечатляющей ум каждого афинского гражданина. Чтобы сделать экклесию эффективной, было необходимо, чтобы ее собрания были частыми и свободными. Таким образом, люди приучались к обязанностям как ораторов, так и слушателей, и каждый, чувствуя свою долю влияния на решение, отождествлял свою безопасность и счастье с голосованием большинства и знакомился с понятием суверенной власти, которой он не мог и не должен был сопротивляться. Эта идея была новой для афинской груди; вместе с ней пришли чувства, освящающие свободу слова и равенство законов, - слова, которые ни один афинский гражданин впоследствии не слышал без волнения: вместе с тем чувством единого и неделимого содружества, которое всегда над местными и кантональными особыми связями, хотя и не вытесняло их. Не будет лишним сказать, что эти патриотические и облагораживающие порывы были новым продуктом в афинском сознании, аналогов которому нет даже во времена Солона. Они были вызваны, несомненно, сильной реакцией против Писистратидов, но еще больше тем фактом, что противостоящий лидер, Клейстенес, обратил это преходящее чувство в лучшую сторону и придал ему энергичное постоянство, а также четко определенную позитивную цель, благодаря народным элементам, заметным в его конституции. Его имя фигурирует в истории меньше, чем мы ожидали бы, потому что он стал простым реконструктором схемы правления Солона после того, как она была свергнута Писистратом. Вероятно, он сам исповедовал эту цель, поскольку она способствовала успеху его предложений: и если ограничиться буквой дела, то факт в значительной степени верен, поскольку и ежегодный сенат, и экклесия - оба солонские, - но оба они при его реформе были облечены в совершенно новые обстоятельства и раздулись до гигантских размеров. О том, насколько мощным был всплеск афинского энтузиазма, мгновенно изменивший положение Афин среди греческих держав, мы узнаем из уст Геродота и найдем еще более недвусмысленное подтверждение в фактах его истории.

Но не только народ, формально установленный в своей экклесии, получил от Клейстенеса реальные атрибуты суверенитета, - именно при нем народ впервые был призван к прямому действию в качестве дикастов, или присяжных. Я уже отмечал, что этот обычай, можно сказать, в некотором ограниченном смысле, зародился во времена Солона, поскольку этот законодатель наделил народное собрание полномочиями выносить приговор архонтам после года их правления. И здесь здание, ставшее впоследствии таким просторным и величественным, было возведено на солонском фундаменте, хотя само оно не было солонским. В то, что народные дикастерии в той развитой форме, в которой они

существовали начиная с Перикла, были введены Клейстеном сразу, поверить невозможно; однако шаги, по которым они постепенно развивались, не поддаются четкому описанию. Скорее можно предположить, что сначала только совокупность граждан старше тридцати лет осуществляла судебные функции, будучи специально созданной и приведенной к присяге для суда над лицами, обвиняемыми в государственных преступлениях, и нося при этом имя *heliæa*, или гелиастов; частные правонарушения и споры между людьми по-прежнему решались отдельными магистратами в городе, а значительная судебная власть по-прежнему принадлежала сенату Ареопага. Есть основания полагать, что именно такое положение вещей было установлено Клейстеном, а затем изменилось в связи с тем, что судебные обязанности постепенно перешли к гелиастам, и возникла необходимость разделить коллективную гелиэю. Согласно этому делению, которое практиковалось в наиболее известные времена, шесть тысяч граждан старше тридцати лет ежегодно выбирались по жребию из всего числа, по шестьсот от каждого из десяти племен: пять тысяч из этих граждан были распределены по десяти паннам или декуриям по пятьсот человек в каждой, а оставшаяся тысяча была зарезервирована для заполнения вакансий в случае смерти или отсутствия первых. Все шесть тысяч человек принесли предписанную клятву, сформулированную в очень ярких выражениях, и каждый получил билет, на котором было написано его собственное имя, а также буква, обозначающая его декурию. Когда дело или преступление созревало для разбирательства, тесмотеты, или шесть низших архонтов, определяли по жребию, во-первых, какие декурии должны заседать, в зависимости от желаемого числа, - во-вторых, в каком суде или под председательством какого магистрата должны заседать декурии В или Е, так что заранее нельзя было знать, по какому делу каждая из них будет судить. Однако число лиц, которые присутствовали и заседали, было весьма разнообразным, и иногда две декурии заседали вместе. [258\]](#) Описанное здесь устройство, как мы должны помнить, относится к тем временам, когда дикасты получали регулярную плату после каждого дневного заседания; и вряд ли оно могло долго существовать без этого условия, которое не выполнялось до времен Периклеса. Каждый из этих декурионов, заседавших в суде, назывался "*Гелиэя*" - название, принадлежащее коллективному собранию народа; это коллективное собрание само было первоначальной судебной инстанцией. Я полагаю, что практика распределения этого коллективного собрания, или гелиэи, на секции присяжных для выполнения судебных обязанностей, могла начаться в той или иной форме вскоре после реформы Клейстенеса, поскольку прямое вмешательство народа в государственные дела имело тенденцию все более и более усиливаться. Но она могла лишь постепенно перерасти в ту постоянную и систематическую службу, к которой в конце концов в полной мере призвало жалованье Перикла. По последней системе судебная компетенция архонтов была отменена, а третий архонт, или полемарх, отстранен от всех военных функций. Однако это еще не было сделано во время Марафонской битвы, в которой полемарх Каллимах не только командовал вместе со стратигами, но и имел над ними своего рода преобладание; не было сделано это и в течение года после Марафонской битвы, когда архонтом был Аристеидес, - ведь магистратские решения Аристеидеса составляли одно из главных оснований его почетной фамилии Справедливый [\[259\]](#).

С этим вопросом о сравнительном объеме судебной власти, которой Клейстенес наделил народную дикастерию и архонтов, в действительности связаны два других в афинском конституционном праве; они касаются, во-первых, допустимости всех граждан на должность архонта, а во-вторых, выбора архонтов по жребию. Хорошо известно, что во времена Перикла архонты, а также различные другие отдельные должностные лица, стали выбираться по жребию, - более того, все граждане были юридически приемлемы и могли

назвать свои имена, чтобы их выбрали по жребию, при условии, что перед вступлением в должность они проходили так называемую докимасию, или юридическую проверку на статус гражданина, а также на различные моральные и религиозные качества; В то же время функции архонта стали не более чем предварительной проверкой сторон и свидетелей для дикастерия и председательством на нем, когда он после этого собирался, вместе с полномочиями налагать властью штраф в небольших размерах на низших нарушителей.

Все эти три политических механизма существенно связаны между собой. Согласно греческим демократическим представлениям, огромная ценность жребия заключалась в том, что он уравнивал шансы на получение должности между богатыми и бедными. Но до тех пор, пока бедные граждане были юридически недопустимы, выбор по жребию не мог иметь никаких рекомендаций ни для богатых, ни для бедных; фактически, он был бы менее демократичным, чем выборы общей массой граждан, потому что бедный гражданин при последней системе пользовался бы важным правом вмешательства посредством своего избирательного права, хотя он и не мог быть избран сам.^[260] Кроме того, выбор по жребию никогда и ни при каких обстоятельствах не мог быть применен к тем должностям, где особая компетенция и определенная мера качеств, которыми обладают лишь немногие, не могли быть исключены без очевидной опасности, - и никогда не применялся, на протяжении всей истории демократических Афин, к стратигам, или генералам, которые всегда избирались поднятием рук собравшихся граждан. Соответственно, мы можем считать несомненным, что к тому времени, когда архонты впервые стали выбираться по жребию, главные и ответственные обязанности, некогда связанные с этой должностью, были отделены или находились в процессе отделения от нее и переданы либо народным дикастам, либо десяти избранным стратигам: так что для этих архонтов оставалась лишь рутинная полиция и управления, действительно важная для государства, но такая, которую мог выполнять любой гражданин средней честности, трудолюбия и способности. По крайней мере, не было очевидного абсурда в том, чтобы так думать; и докимасия не допускала к должности людей с заведомо порочной жизнью, даже после того, как они могли вытянуть удачный жребий. Периклес,^[261] хотя и избирался стратегом из года в год, никогда не был архонтом; и можно даже сомневаться, что люди, обладавшие первоклассными талантами и честностью, часто предлагали свои имена для этой должности. Для людей с меньшими устремлениями^[262] она, несомненно, была источником важности, но налагала хлопоты, не давала жалованья и влекла за собой определенную опасность для любого архонта, который мог обидеться на могущественных людей, когда ему предстояло пройти через испытание ответственности, которое следовало сразу после года его пребывания в должности. Мало что делало эту должность приемлемой как для очень бедных, так и для очень богатых и амбициозных людей; а между средними людьми, которые называли свои имена, любой мог быть взят без большого практического вреда, всегда предполагая две гарантии - докимасию перед должностью и подотчетность после нее. Именно к такому выводу - на мой взгляд, ошибочному и не находящему поддержки в настоящее время - привели афинских демократов их настойчивое желание уравнивать шансы на получение должности для богатых и бедных. Но их чувства, похоже, удовлетворило частичное применение жребия к выбору некоторых должностей, особенно архонтов, как первобытных главных магистратов государства, без применения его ко всем или к самым ответственным и трудным. Не стали бы они применять его и к архонтам, если бы было крайне необходимо, чтобы эти магистраты сохранили свою первоначальную очень серьезную обязанность - судить споры и осуждать преступников.

Поэтому я считаю, что эти три пункта: 1. Открытие должности архонта для всех граждан без разбора; 2. Выбор архонтов по жребию; 3. Уменьшение круга обязанностей и

ответственности архонта за счет распространения их на народные суды, с одной стороны, и на стратегов, с другой, - связаны между собой и должны были быть одновременными или почти одновременными в момент введения: принятие закона о всеобщей приемлемости должности, конечно, не после двух других, а, вероятно, немного раньше их.

Теперь, что касается права всех афинян без исключения занимать должность архонта, мы находим четкое и положительное свидетельство о времени, когда оно было впервые введено. Плутарх рассказывает нам[263], что олигархический,[264] но высокопринципиальный Аристеидес сам был инициатором этого конституционного изменения - вскоре после битвы при Платее, последовавшего за ней изгнания персов из Греции и возвращения афинян-беженцев в свой разрушенный город. Редко в истории человечества случалось, чтобы богатые и бедные были так полностью уравнены, как среди населения Афин во время того памятного изгнания и героической борьбы. Нас также нисколько не удивляет, что масса граждан, вернувшись со свежим патриотизмом и сознанием того, что их страна была восстановлена только благодаря равным усилиям всех, больше не соглашалась на то, чтобы их лишили права занимать государственные должности на законных основаниях. Именно по этому случаю конституция впервые стала действительно "общей" для всех, а архонты, стратеги и все должностные лица впервые стали выбираться из всех афинян без каких-либо различий в юридической пригодности.[265] В этом важном заявлении Плутарха, которое, как мне кажется, заслуживает всяческого доверия и учит нас тому, что вплоть до вторжения Ксеркса не только сохранялся исключительный принцип солонского закона о квалификации (согласно которому только первые три класса по переписи допускались ко всем отдельным должностям, а четвертый или фетический класс исключался), но и архонты до сих пор избирались гражданами, а не по жребию.

Теперь в финансовых целях четырехкратная перепись Солона сохранялась еще долго после этого периода, даже после Пелопоннесской войны и тридцатилетней олигархии. Но мы узнаем, что Клейстенес в своей конституции сохранил ее и для политических целей, по крайней мере частично: он признал исключение огромной массы граждан из всех отдельных должностей, таких как архонт, стратиг и т. д. В его время, вероятно, не возникало никаких жалоб по этому поводу. Его конституция давала коллективным органам - сенату, эkkлeсии и гелизе, или дикастерии, - такую власть и значение, каких они никогда прежде не знали и не представляли: и мы вполне можем предположить, что афинский народ того времени не возражал даже против провозглашенной системы и теории управления исключительно людьми с богатством и положением в качестве индивидуальных магистратов, - тем более что многие из вновь получивших права граждан ранее были митиками и рабами. К этому следует добавить, что даже при полной демократии поздних Афин, хотя народ тогда страстно привязался к теории равного допуска всех граждан к должности, на практике бедняки редко получали должности, которые избирались общим голосованием, как это будет более подробно показано в ходе этой истории[266].

Выбор стратегов и впоследствии оставался на той основе, на которую его поставил Аристеидес. Но жребий для выбора архонта, должно быть, был введен вскоре после его предложения о всеобщей правомочности, и тоже в результате того же прилива демократических чувств, - введен в качестве дальнейшей коррекции, поскольку бедный гражданин, хотя он и стал правомочным, все же не был избран. И в это же время, как я полагаю, впервые было упорядочено распределение гелизи, или совокупности дикастов, или присяжных, по отдельным каналам, или дикастериям, для решения судебных вопросов. Именно это изменение отняло у архонтов столь важную часть их прежней юрисдикции: именно это изменение Периклес довел до конца, обеспечив оплату труда дикастов. Но

сейчас не время вдаваться в подробности изменений, которые претерпели Афины в течение поколения после битвы при Платее. Они были вкратце описаны для того, чтобы в отсутствие прямых доказательств вернуться к Афинам, какими они были за поколение до той памятной битвы, после реформы Клейстенеса. Его реформа, хотя и была в высшей степени демократичной, не дотягивала до зрелой демократии, которая преобладала от Перикла до Демосфена, особенно в трех аспектах, среди различных других; поэтому она иногда рассматривается поздними авторами как аристократическая конституция:^[267] 1. Она по-прежнему в значительной степени признавала архонтов в качестве судей, а третьего архонта, или полемарха, - в качестве общего военачальника наряду со стратегом. 2. Они по-прежнему избирались ежегодно собранием граждан, а не выбирались по жребию^[268]. 3. Он по-прежнему исключал четвертый класс солонийской переписи из всех отдельных должностей, архонтов в том числе. Однако солонский закон об исключении, хотя и сохранился в принципе, был смягчен на практике до такой степени, что если Солон не давал права на архонство никому, кроме членов высшего класса переписи (Pentakosiomedimni), то Клейстенес открыл это достоинство для всех первых трех классов, закрыв доступ только четвертому. О том, что он так поступил, можно судить по тому факту, что архонтом стал Аристеидес, который, несомненно, не был богатым человеком.

Я также склонен полагать, что сенат пятисот человек, созданный Клейстенесом, был сформирован не путем выборов, а по жребию из представителей десяти племен, и каждый гражданин мог стать его членом. Выборы для этой цели - то есть привилегия ежегодно избирать партию из пятидесяти сенаторов, всех сразу, от каждого племени - вероятно, были бы более хлопотными, чем ценными; мы также не слышим об отдельных собраниях каждого племени для целей выборов. Кроме того, должность сенатора была коллективной, а не индивидуальной; поэтому потрясение чувств полудемократизированных Афин от неприятной мысли о том, что среди пятидесяти пританов сидит бедняк, было бы меньше, чем если бы они представляли его полемархом во главе правого крыла армии или архонтом, вершащим правосудие.

Еще одно отличие конституции Солона от конституции Клейстенеса можно найти в положении сената Ареопага. При первом сенат был главным органом в государстве, и он даже расширил его полномочия; при втором к нему, должно быть, сначала относились как к врагу и держали в узде. Поскольку он состоял только из всех прошлых архонтов, а в течение предыдущих тридцати лет каждый архонт был креатурой Писистратидов, Ареопагиты в совокупности должны были быть враждебны и одиозны для Клейстенеса и его сторонников, - возможно, часть их членов даже ушла в изгнание вместе с Гиппием. Его влияние должно было ощутимо ослабнуть в результате смены партии, пока его постепенно не заполнили свежие архонты, вышедшие из лона клейстенской конституции. Но в этот важный промежуток времени новообразованный сенат пятисот и народное собрание заняли то место, которое они никогда впоследствии не теряли. Со времен Клейстенеса ареопагиты перестают быть главной и выдающейся силой в государстве, но все еще остаются значительными; и когда после битвы при Платее произошел второй прилив демократических сил, они стали центром той партии, которая тогда считалась партией олигархического сопротивления. Я уже отмечал, что архонты в промежуточный период (около 509-477 гг. до н. э.) избирались экклесией, а не выбирались по жребию, и что четвертый (или самый бедный и многочисленный) класс по переписи населения по закону тогда не имел права голоса; в то время как выборы в Афинах, даже когда каждый гражданин без исключения был выборщиком и имел право голоса, имели естественную тенденцию падать на людей богатых и влиятельных. Таким образом, мы видим, как получилось, что прошлые архонты, объединившись в сенате Ареопага, привнесли в этот орган симпатии, предрассудки и

интересы более богатых классов. Именно это привело их к конфликту с более демократичной партией, возглавляемой Периклесом и Эфиальтесом, в те времена, когда некоторые части Клейстенской конституции были дискредитированы как слишком пропитанные олигархией.

Еще одно замечательное учреждение, явно приписываемое Клейстене, все еще остается незамеченным - остракизм; о нем я уже сделал несколько замечаний, [269] касаясь памятного солонийского прокламации против нейтралитета во время смуты. Не будет лишним сказать, что без этого защитного процесса ни один из других институтов не достиг бы зрелости.

По остракизму гражданин изгонялся без особого обвинения, суда или защиты на десять лет - впоследствии срок сократился до пяти. У него не отбирали имущество и не портили репутацию, так что наказание заключалось только в изгнании из родного города в другой греческий город. Что касается репутации, то остракизм был скорее комплиментом, чем чем-то иным; [270] и это ярко проявилось, когда, примерно через девяносто лет после Клейстенеса, заговор между Никиасом и Алкивиадом закрепил его за Гиперболом. Оба первых рекомендовали провести остракизм, каждый надеясь вызвать изгнание другого; но прежде чем настал день, они уладили разногласия. Выстрелить из ружья республики в столь малоопасного человека, как Гипербол, было названо проституцией великой политической церемонии: "Не против таких людей, как он (говорит комический писатель Платон), [271] предназначалась устричная раковина (или горшок)". Процесс остракизма осуществлялся путем написания на раковине или горшке имени человека, которого гражданин считал целесообразным на время изгнать; эта раковина, помещенная в соответствующий сосуд, засчитывалась в качестве голоса при вынесении приговора.

Я уже отмечал, что все правительства греческих городов, если сравнивать их с тем представлением, которое современный читатель склонен иметь о мере силы, принадлежащей правительству, были по сути слабыми, как хорошие, так и плохие, - демократические, олигархические и деспотические. Сила, находящаяся в руках любого правительства, чтобы справиться с заговорщиками или мятежниками, была крайне мала, за единственным исключением деспота, окруженного своими наемными войсками; так что ни один достаточно устойчивый заговор или узурпатор не мог быть подавлен иначе, как прямой помощью народа в поддержку правительства; что означало расторжение, на время, конституционной власти и было чревато реакционными последствиями, которые никто не мог предвидеть. Поэтому предотвращение попыток узурпации со стороны могущественных людей имело первостепенное значение; и деспот или олигархия могли по своему усмотрению использовать превентивные средства, [272] гораздо более жесткие, чем остракизм, например, убийство Кимона, о котором говорилось в моей последней главе, по указанию Пейсистратидов. По крайней мере, они могли отослать любого, от кого ожидали нападения или опасности, не подвергаясь даже обвинению в суровости. Но в условиях демократии, где произвол магистрата был всех остальных наиболее страшным, а установленные законы, с судом и защитой в качестве предварительных условий наказания, воспринимались обычным гражданином как гарантия его личной безопасности и гордость его социального положения, - создание такой исключительной власти представляло серьезную трудность. Если мы перенесемся во времена Клисфена, сразу после изгнания Пейсистратидов, когда работа демократического механизма еще не была опробована, мы увидим, что эта трудность достигла своего максимума; но мы также увидим, что необходимость наделения такой властью где-то совершенно настоятельна. Ведь афинской знати еще только предстояло усвоить урок уважения к любой конституции; в их прошлой истории были постоянные схватки между вооруженными группировками Мегаклеса, Ликурга

и Пейсистрата, которые через некоторое время были подавлены превосходящей силой и союзами последнего. И хотя Клейстенес, сын Мегаклеса, мог быть твердо настроен отказаться от примера своего отца и действовать как верный гражданин установленной конституции, он слишком хорошо знал, что сыновья соратников и соперников его отца будут осуществлять честолюбивые цели, не обращая внимания на ограничения, наложенные законом, если когда-либо они приобретут достаточно сторонников, чтобы представить справедливую перспективу успеха. Более того, когда два кандидата на власть с такими безрассудными наклонностями вступали в ожесточенное личное соперничество, мотивы каждого из них, проистекающие как из страха, так и из честолюбия, чтобы уничтожить своего соперника любой ценой для конституции, вполне могли стать непреодолимыми, если только какое-нибудь беспристрастное и проникательное вмешательство не могло вовремя остановить распри. "Если бы афиняне были мудры (как сообщается, сказал Аристеидес^[273] в разгар и опасность своей парламентской борьбы с Фемистоклесом), они бросили бы и Фемистоклеса, и меня в баратрум". "И кто прочтет печальное повествование о коркирской смуте в третьей книге Фукидида, вместе с размышлениями историка о ней,^[275] тот проследит постепенное обострение этих партийных распри, начинающихся даже в демократических формах, пока в конце концов они не разрушат барьеры как общественной, так и частной морали.

Против этого случая внутренних нападений Клейстенес должен был защитить демократическую конституцию, во-первых, создавая препятствия на их пути и затрудняя им получение необходимой поддержки; во-вторых, устраняя их прежде, чем какие-либо насильственные проекты созреют для исполнения. Чтобы сделать то или другое, необходимо было создать такую конституцию, которая не только примирила бы добрую волю, но и разожгла бы страстную привязанность массы граждан, чтобы даже значительное меньшинство не было намеренно склонно изменить ее силой. Необходимо было создать в народе, а через него и в ведущих амбициозных людях, то редкое и трудное чувство, которое мы можем назвать конституционной моралью; Первостепенное почтение к формам конституции, принуждающее к повиновению властям, действующим в рамках этих форм, но в сочетании с привычкой к открытому высказыванию, к действиям, подчиненным только определенному правовому контролю, и безудержному порицанию этих самых властей в отношении всех их публичных действий, - в сочетании с полной уверенностью в душе каждого гражданина, среди горечи партийной борьбы, что формы конституции будут не менее священны в глазах его противников, чем в его собственных. Это сосуществование свободы и самоограничения, покорности власти с безмерным порицанием лиц, ее осуществляющих, можно обнаружить как в аристократии Англии (начиная примерно с 1688 года), так и в демократии Американских Соединенных Штатов: и поскольку мы знакомы с ним, мы склонны считать его естественным чувством; хотя, судя по историческому опыту, мало найдется чувств, которые было бы труднее утвердить и распространить среди общества. Мы можем видеть, как несовершенно оно существует сегодня в швейцарских кантонах; а многочисленные насилия первой французской революции иллюстрируют, наряду с другими уроками, фатальные последствия, возникающие из-за его отсутствия даже среди людей, занимающих высокое положение в шкале интеллекта. Тем не менее, слияние такой конституционной морали не только среди большинства любого сообщества, но и во всем мире, является необходимым условием правительства, одновременно свободного и мирного; поскольку даже любое мощное и упрямое меньшинство может сделать работу свободных институтов неосуществимой, не будучи достаточно сильным, чтобы завоевать для себя власть. Ничто иное, как единодушие или столь подавляющее большинство, что это равносильно единодушию, по кардинальному пункту уважения конституционных форм, даже теми, кто не полностью их одобряет, не может сделать возбуждение политических страстей

бескровным и при этом подвергнуть все власти в государстве полной свободе мирной критики.

В эпоху правления Клизфенеса, которая по удивительному совпадению совпадает с эпохой правления в Риме, такая конституционная мораль, если она и существовала где-либо еще, не имела места в Афинах; и первое создание ее в каком-либо конкретном обществе должно считаться интересным историческим фактом. Духом своих реформ - равных, народных и всеобъемлющих, намного превосходящих предыдущий опыт афинян, - он обеспечил сердечную привязанность граждан; но от первого поколения ведущих людей, в условиях зарождающейся демократии и с такими прецедентами, на которые им приходилось оглядываться, нельзя было ожидать самоограничений в амбициях: И задача заключалась в том, чтобы заранее устранить любого, кто собирается преступить эти границы, чтобы избежать необходимости его последующего уничтожения, со всеми этими кровопролитиями и реакцией, в разгар которых свободное функционирование конституции было бы если не безвозвратно уничтожено, то, по крайней мере, приостановлено. Чтобы приобрести такое влияние, которое сделало бы его опасным при демократических формах, человек должен предстать перед обществом в качестве свидетеля, чтобы иметь возможность судить о его характере и целях; и безопасность, которую обеспечил Клейстенес, заключалась в том, чтобы призвать граждан к положительному суждению относительно его будущих обещаний чисто и просто, чтобы они не оставались слишком долго нейтральными между двумя грозными политическими соперниками, - в определенной степени в соответствии с солоновской прокламацией против нейтралитета во время смуты, как я уже отмечал в предыдущей главе. Он включил в саму конституцию принцип *privilegium* (если воспользоваться римским выражением, означающим не особую услугу, оказанную кому-либо, а особое неудобство), но только при торжественных и четко определенных обстоятельствах, при полном уведомлении и предварительном обсуждении, а также при положительном тайном голосовании значительной части граждан. "Ни один закон не может быть принят против одного гражданина без того, чтобы тот же закон не был принят против всех афинских граждан, если только это не покажется полезным шести тысячам граждан, голосующих тайно"[276] - таков был общий принцип конституции, в соответствии с которым остракизм был частным случаем. Прежде чем принять решение об остракизме, в сенате и общественном собрании должны были быть приведены доводы в его оправдание. В шестую часть года эти два органа обсуждали и решали, является ли состояние республики настолько угрожающим, чтобы требовать такой исключительной меры.[277] Если они решали утвердительно, назначался день, агора обносилась перилами, в которой оставалось десять входов для граждан каждого племени и десять отдельных бочек или сосудов для внесения голосов, состоявших из раковины или горшка с написанным на нем именем человека, которого каждый гражданин хотел изгнать. В конце дня количество голосов суммировалось, и если оказывалось, что против одного человека подано шесть тысяч голосов, он подвергался остракизму; если нет - церемония заканчивалась ничем.[278] На улаживание своих ярмарок ему давалось десять дней, после чего он должен был покинуть Аттику на десять лет, но сохранял свое имущество и не подвергался другим наказаниям.

В Афинах не было принято спасаться от ошибок народа, вызывая различные ошибки и зловещие интересы сверхпопулярных или привилегированных лиц; не было и третьего пути, поскольку принципы представительного правления не были поняты и не могли быть удобно применены к очень маленьким общинам. Афиняне считали, что за суждением народа нет никакой апелляции, и их главной задачей было окружить вынесение этого суждения лучшими гарантиями правильности и лучшими средствами защиты от поспешности, страсти или частной коррупции. Какую бы меру хорошего управления нельзя было получить таким

путем, ее, по их мнению, нельзя было получить вообще. Я более подробно проиллюстрирую действия афинян в этом вопросе, когда буду говорить о работе их зрелой демократии, а пока, что касается этой великой защиты зарождающейся демократии - вотума ostracism, - можно обнаружить, что меры, придуманные Клейстенесом, чтобы сделать приговор действенным в отношении действительно опасного человека и никого другого, проявляют не меньше дальновидности, чем патриотизма. Главной целью было сделать голосование выражением осознанного общественного чувства, в отличие от простой фактической антипатии: необходимый минимум голосов, одна четвертая часть всего населения страны, значительно обеспечивал этот эффект, тем более что каждый голос, поданный в тайне, однозначно считался выражением подлинного и независимого чувства, и его нельзя было ни принудить, ни купить. Кроме того, Клейстенес не допускал, чтобы процесс ostracism был открыт исключительно против одного гражданина. Если он вообще открывался, то приговору подвергались все без исключения; так что друзья Фемистокла не могли применить его против Аристиды,[279] как и друзья последнего против первого, не подвергая своего вождя той же опасности изгнания. Поэтому вряд ли на него вообще можно было ссылаться, пока отчаяние не зашло настолько далеко, что обе стороны не стали нечувствительны к этому шансу - точному показателю растущей междоусобной вражды, которую ostracism не давал довести до крайности. Но и тогда он не мог быть ратифицирован, если не было представлено случая убедить более нейтральную часть сената и эkkлeсии: более того, в конце концов, эkkлeсия не сама подвергла себя ostracism, но был назван будущий день, и все граждане были торжественно приглашены к голосованию. Таким образом, ostracism был принят не только для того, чтобы сделать его эффективным для защиты конституции, но и для того, чтобы предотвратить его использование в каких-либо других целях. И мы должны помнить, что ostracism оказывал свое опекуновское влияние не только в тех случаях, когда он действительно применялся, но и благодаря одному лишь осознанию того, что он может быть применен, а также благодаря сдерживающему эффекту, который это осознание оказывало на поведение великих людей. Кроме того, ostracism, хотя и имел исключительный характер, все же был исключением, освященным и ограниченным самой конституцией; таким образом, гражданин, подавая свой голос за ostracism, ни в коей мере не отступал от конституции и не терял своего почтения к ней. Вопрос, поставленный перед ним: "Есть ли человек, которого вы считаете жизненно опасным для государства? Если да, то кто?" - хотя и был расплывчатым, все же был поставлен прямо и законно. Если бы ostracism не было, он, вероятно, мог бы быть поднят косвенно и незаконно, по случаю какого-нибудь особого вменяемого преступления подозреваемого политического лидера, когда его обвиняют перед судом - извращение, влекущее за собой все беды ostracism, без его защитных преимуществ.

Было сделано все возможное, чтобы избавить ostracism от всех болезненных последствий, кроме тех, что были неотделимы от изгнания; и это не одно из наименьших доказательств мудрости, с которой он был разработан. Разумеется, оно никогда не лишало общество кандидатов на политическое влияние: и если учесть то небольшое количество индивидуального зла, которое оно причинило, - зла, слишком уменьшенного, в случае Кимона и Аристидеса, реакционными настроениями, которые увеличили их последующую популярность после возвращения, - двух замечаний будет вполне достаточно, чтобы предложить его в качестве оправдания. Во-первых, она полностью оправдала свое предназначение; ведь демократия выросла с младенчества до зрелости без единой попытки свергнуть ее силой,[280]- результат, на который не решился бы рассчитывать ни один размышляющий современник Клейстенеса. Далее, благодаря такой спокойной работе демократических форм, среди ведущих афинян сформировалась достаточно полная конституционная мораль, чтобы через некоторое время народ мог отказаться от той

исключительной безопасности, которую обеспечивал ostracism. [281] Для зарождающейся демократии он был совершенно необходим; для растущей, но воинствующей демократии он был полезен; но полноценная демократия могла обойтись и обходилась без него. Ostracism, которому подвергся Гипербол, примерно через девяносто лет после Клейстенеса, стал последним случаем его применения. И даже это вряд ли можно считать серьезным случаем: это был трюк, согласованный двумя выдающимися афинянами (Никиасом и Алкивиадом), чтобы обратить на свой политический счет процесс, который уже начал становиться устаревшим. Такой маневр не был бы возможен, если бы современные афинские граждане были проникнуты тем же серьезным чувством ценности ostracism как гарантии демократии, которое когда-то было у их отцов и дедов. Между Клейстенесом и Гиперболом мы слышим примерно о десяти разных людях, изгнанных ostracism. Прежде всего, Гиппарх из дема Холаргус, сын Хармуса, родственник недавно изгнанного деспота Пеисистратида; [282] затем Аристеидес, Фемистоклес, Кимон и Фукидид, сын Мелесия, все они были известными политическими лидерами; также Алкивиад и Мегаклес (деды по отцовской и материнской линии выдающегося Алкивиада) и Каллиас, принадлежавший к другой выдающейся афинской семье; [283] наконец, Дамон, наставник Периклеса в поэзии и музыке и выдающийся своими приобретениями в философии. [284] В этом последнем случае проявляется вульгарная сторона человечества, как аристократического, так и демократического; ибо и у тех, и у других философский процесс и личности философов одинаково непопулярны. Говорят, что даже сам Клейстенес был подвергнут ostracism по своему собственному закону, а также Ксантипп; но оба они были осуждены слишком слабым авторитетом, чтобы доверять ему. [285] Мильтиада вообще не подвергали ostracism, но судили и наказали за проступок в его командовании.

Вряд ли мне стоило так много говорить об этом памятном и своеобразном институте Клейстенеса, если бы ошибочные обвинения в адрес афинской демократии - в зависти, несправедливости и жестоком обращении с вышестоящими людьми - не были в значительной степени основаны на нем, и если бы такая критика не перешла из древности в современность без особого изучения. В монархических правительствах претендент на престол, имеющий определенное количество сторонников, как само собой разумеющееся, не допускается в страну. Герцог Бордоский не может сейчас проживать во Франции, как и Наполеон после 1815 года, как и Карл Эдуард в Англии в прошлом веке. Никто не считает это вопиющей несправедливостью, однако это параллель с ostracism, причем в пользу последнего говорят более веские аргументы, поскольку смена одной царской династии на другую не обязательно уничтожает все сопутствующие институты и гарантии страны. Плутарх утверждал, что ostracism возник из-за зависти и ревности, присущих демократии, [286] а не из-за оправданных опасений, - наблюдение, часто повторяемое, но не менее очевидно не соответствующее действительности. И не только потому, что ostracism действовал так, что часто усиливал влияние того политического лидера, чьего соперника он устранял, - но еще больше потому, что, если бы дело обстояло так, как говорит Плутарх, этот институт продолжался бы столько же, сколько и демократия; тогда как он закончился с изгнанием Гипербола, в период, когда правительство было более решительно демократическим, чем во времена Клисфенеса. По правде говоря, это был продукт страха и неуверенности, [287] как со стороны демократии, так и со стороны ее лучших друзей, - страха вполне обоснованного и казавшегося ненужным только потому, что принятые меры предосторожности предотвращали нападение. Как только распространение конституционной морали поставило массу граждан выше серьезного страха перед агрессивным узурпатором, ostracism был прекращен. И, несомненно, чувство, что от него можно смело отказаться, должно быть, укрепилось благодаря долгому возвышению Перикла, - зрелищу великого государственного деятеля, которого когда-либо производили Афины, неуклонно

действующего в рамках конституции; а также неудачные попытки двух его противников, Кимона и Фукидида, опиравшихся на многочисленных сторонников и великих комических писателей, в период, когда комедия была такой силой в государстве, какой не было ни до, ни после, подвергнуть его остракизму. Им удалось раздуть обычную антипатию горожан к философам настолько, что они добились остракизма его друга и учителя Дамона: но сам Периклес, по выражению его злейшего врага, комического поэта Кратина,^[288] "был недосыгаем для устричной раковины". Если Периклеса не считали опасным для конституции, то никто из его преемников и вовсе не был склонен к такому мнению. Дамон и Гипербол были двумя последними лицами, подвергшимися остракизму: Оба они были случаями и единственными случаями недвусмысленного злоупотребления институтом, потому что, каковы бы ни были причины недовольства ими, невозможно представить ни одного из них как угрожающего государству, - в то время как все остальные известные страдальцы были людьми такого положения и власти, что шесть или восемь тысяч граждан, вписавших каждое имя в раковину, или, по крайней мере, большая их часть, вполне могли сделать это в самом сознательном убеждении, что они охраняют конституцию от реальной опасности. Такое изменение в характере подвергаемых остракизму лиц явно свидетельствует о том, что остракизм отделился от того подлинного патриотического благоразумия, которое изначально делало его законным и популярным. В течение двух поколений он служил неоценимой цели, - он дожил до того, что был дважды опозорен, - а затем, с всеобщего согласия, стал достоянием истории.

Процесс, аналогичный остракизму, существовал в Аргосе,^[289] Сиракузах и некоторых других греческих демократиях. Аристотель утверждает, что им злоупотребляли в корыстных целях, а в Сиракузах, где он был введен после изгнания династии Гелонов, Диодор утверждает, что он применялся так несправедливо и обильно, что удерживал людей с достатком и положением от участия в общественных делах; по этой причине он был быстро прекращен. У нас нет никаких подробностей, которые позволили бы нам оценить это общее утверждение. Но мы не можем с уверенностью заключить, что, поскольку остракизм в целом хорошо работал в Афинах, он обязательно должен был хорошо работать и в других государствах, тем более что мы не знаем, был ли он окружен такими же предупредительными формальностями, и даже требовался ли такой же большой минимум голосов, чтобы сделать его эффективным. Эта последняя гарантия, столь ценная для института, которым, по сути, легко злоупотребить, не отмечена Диодором в его кратком рассказе о "лепестках" - так этот процесс назывался в Сиракузах^[290].

Такова была первая афинская демократия, порожденная как реакцией против Гиппия и его династии, так и памятным партнерством, спонтанным или принудительным, между Клейстенесом и бесправным народом. Ее следует отличать как от смягченной олигархии, установленной Солоном ранее, так и от полноценной и симметричной демократии, которая преобладала впоследствии, с начала Пелопоннесской войны и до конца карьеры Перикла. Это была действительно поразительная революция, которая произвела впечатление на гражданина не столько чувствами, к которым она апеллировала, сколько видимыми изменениями, которые она произвела в политической и социальной жизни. Он увидел себя в рядах гоплитов, рядом с новыми товарищами по оружию, - он был записан в новый реестр, а его имущество - в новый график, в его деме и его демархом, доселе неизвестным чиновником, - он обнаружил, что год заново распределен, для всех юридических целей, на десять частей, носящих название пританий, каждая из которых отмечена торжественной и свободной экклесией, на которой он имел право присутствовать, - эту экклесию созывали и возглавляли сенаторы, называемые прытанами, члены сената, новые как по числу, так и по распределению, - его политические обязанности теперь выполнялись как члена племени,

обозначаемого именем, ранее не произносимым в обычной аттической жизни, связанного с одним из десяти героев, статуи которых он впервые увидел на агоре, и объединяющего его с соплеменниками из всех частей Аттики. Все это и многое другое было ощутимой новизной, которая чувствовалась в повседневных делах гражданина. Но самым главным новшеством было подлинное признание десяти новых племен в качестве суверенного *dêmos*, или народа, отдельно от всех особей фратрийского или языческого происхождения, со свободой слова и равными законами; не сохранилось никаких различий, кроме четырех классов солонского имущественного ценза с их градациями права. Для значительной части граждан эта великая новинка была еще более привлекательна тем, что выводила их из униженного положения метисов и рабов; а для значительного большинства всех граждан она представляла собой великолепную политическую идею, глубоко впечатляющую греческий ум, способную вызвать самую горячую привязанность, а также самое преданное чувство активной обязанности и послушания. Теперь нам предстоит увидеть, как проявился их вновь созданный патриотизм.

Клейстенес и его новая конституция настолько захватили народное расположение, что у Исагора не было иного способа противостоять ей, кроме вмешательства Клеоменеса и лакедемонян. Клеоменес тем охотнее прислушался к этому призыву, что, по слухам, был в близких отношениях с женой Исагора. Он приготовился прибыть в Афины, но первой его целью было лишить демократию ее великого вождя Клейстенеса, который, как считалось, принадлежал к роду Алкмаeonидов и был запятнан наследственным грехом своего прадеда Мегаклеса, уничтожителя узурпатора Килона. Клеоменес послал в Афины глашатая с требованием изгнать "проклятых" - так называли эту семью ее враги, и так их продолжали называть восемьдесят лет спустя, когда тот же самый маневр был предпринят лакедемонянами того времени против Перикла. Это требование было рекомендовано Исагором и оказалось настолько своевременным, что Клейстенес, не решившись его послушаться, добровольно отступил, и Клеоменес, хотя и прибыл в Афины с небольшим отрядом, оказался хозяином города. По наущению Исагора он отправил в изгнание семьсот семей, выбранных из главных приверженцев Клейстенеса: следующей попыткой было распустить новый сенат пятисот и передать все управление в руки трехсот приверженцев вождя, чье дело он поддерживал. Но теперь был виден дух, вселившийся в народ благодаря новой конституции. Во время первой узурпации Писистрата тогдашний сенат не только не сопротивлялся, но даже поддержал эту затею. Но новый сенат Клейстенеса решительно отказался подчиниться роспуску, а граждане проявили себя одновременно так враждебно и так решительно, что Клеоменес и Исагор были совершенно обескуражены. Они были вынуждены отступить в акрополь и встать в оборону, и этот признак слабости послужил сигналом для всеобщего восстания афинян, которые осадили спартанского царя на священной скале. Очевидно, он пришел, не ожидая встретить сопротивление и не имея возможности его одолеть; к концу двух дней его провизия была исчерпана, и он был вынужден капитулировать. Ему и его лакедемонянам, а также Исагору было позволено удалиться в Спарту; афиняне же из захваченной вместе с ним партии были заключены в тюрьму, осуждены^[291] и казнены народом.

Клейстенес с семьей сотнями изгнанных семей был немедленно отозван, и его новая конституция значительно укрепилась благодаря этому первому успеху. Однако перспектива повторного нападения спартанцев была достаточно серьезной, чтобы побудить его отправить посланников к Артафернесу, персидскому сатрапу в Сардах, с просьбой о принятии Афин в персидский союз: вероятно, он опасался интриг изгнанного Гиппия в том

же квартале. Артафернес, предварительно осведомившись, кто такие афиняне и где они живут, ответил, что если они решат послать царю Персии землю и воду, то могут быть приняты в союзники, но ни при каких других условиях. Посланники покинули Афины в таком тревожном настроении, что не преминули пообещать этот безоговорочный знак покорности. Но по возвращении их соотечественники отrekliсь от них с презрением и негодованием[292].

Именно в это время началась первая связь между Афинами и маленьким беотийским городком Платея, расположенным на северном склоне хребта Китерон, между этой горой и рекой Асопус, - на дороге из Афин в Фивы; и именно в этот первый раз мы знакомимся с беотийцами и их полисами. В одном из моих предыдущих томов[293] уже было дано краткое описание Беотийской федерации, состоявшей из двенадцати или тринадцати автономных городов под руководством Фив, которые были или считались их городом-матерью. Платея, как утверждали фиванцы, была их последним основанием;[294] она плохо использовалась ими и была недовольна союзом. Поэтому, когда Клеоменес возвращался из Афин, платейцы, воспользовавшись случаем, обратились к нему, попросили защиты у Спарты против Фив и безропотно сдали свой город и территорию. Спартанский царь, не имея побудительных мотивов к доверию, которое не сулило ничего, кроме неприятностей, посоветовал им обратиться за защитой к Афинам, как более близким и доступным для них в случае необходимости. Он предвидел, что таким образом афиняне будут связаны с Беотией, и это предвидение было главным мотивом, побудившим его дать совет, которому платейцы последовали. Выбрав случай для публичного жертвоприношения в Афинах, они отправили туда посланников, которые сели в качестве сторонников у алтаря, сдали свой город Афинам и попросили защиты от Фив. На такой призыв нельзя было не откликнуться, и защита была обещана; вскоре она понадобилась, так как фиванцы вторглись на платейскую территорию, и афинские войска выступили на ее защиту. Битва уже была готова, когда коринфяне выступили со своим посредничеством, которое было принято обеими сторонами. Они приняли решение полностью в пользу Платеи, объявив, что фиванцы не имеют права применять силу против любого отделившегося члена Беотийской федерации.[295] Но фиванцы, сочтя решение противным, отказались подчиниться ему и, напав на афинян по возвращении, потерпели полное поражение: последние отомстили за нарушение веры, присоединив к Платее часть фиванской территории к югу от Асопа и сделав эту реку границей между ними. Однако в результате такого успеха афиняне не приобрели ничего, кроме враждебности Беотии, - как и предвидел Клеоменес. Их союз с Платеей, продолжавшийся долгое время и представивший в ходе этой истории несколько инцидентов, трогательных для наших симпатий, будет признан, если исключить один великолепный случай, только тягостным для одной стороны, но недостаточным как защита для другой.

Тем временем Клеоменес вернулся в Спарту, полный негодования на афинян, и решил наказать их, а также установить над ними деспотию своего друга Исагора. Наученный унижительным опытом, что это нелегко, он не стал предпринимать попытку, не собрав значительных сил; он созвал союзников из всех пелопоннесских государств, но не решился сообщить им о своих намерениях. В то же время он согласовал меры с беотийцами и халкидянами Эвбеи для одновременного вторжения в Аттику со всех сторон. Судя по всему, он был более уверен в их враждебном отношении к Афинам, чем в пелопоннесцах, поскольку не побоялся ознакомить их со своим планом, - а беотийцы, вероятно, были разгневаны недавним вмешательством Афин в дело Платеи. Как только эти приготовления были завершены, два царя Спарты, Клеоменес и Демарат, во главе объединенного пелопоннесского войска выступили в поход в Аттику и дошли до Элевсиса на пути к Афинам.

Но когда союзники узнали, с какой целью их собираются использовать, среди них проявился дух недовольства. Они не питали недружелюбных чувств к Афинам, и особенно коринфяне, настроенные к этому городу скорее благосклонно, чем иначе, решили не идти дальше, вывели свой контингент из лагеря и вернулись домой. В то же время царь Демарат, то ли разделяя общее недовольство, то ли движимый какой-то не проявившейся ранее злобой на своего коллегу, тоже отказался от затеи. И эти два примера, воздействуя на уже существовавшие настроения союзников в целом, заставили весь лагерь разойтись и вернуться домой, не нанеся ни одного удара[297].

Здесь мы можем отметить, что это первый известный случай, когда Спарта выступает в качестве признанного главы обязательного пелопоннесского союза,[298] созывая контингенты из городов под командованием своего царя. Ее главенство, признанное ранее в теории, переходит теперь в действие, но неудовлетворительным образом, чтобы доказать необходимость предосторожности и предварительного согласования, которые, как выяснится, не заставили себя долго ждать.

В соответствии с разработанной схемой, беотийцы и халкидяне напали на Аттику в то же время, когда в нее вошел Клеоменес. Первые захватили *Σηοὴ* и *Νυσιᾶ*, пограничные демоны Аттики со стороны Платеи, а вторые атаковали северо-восточную границу, обращенную к Эвбее. Афиняне оказались в серьезной опасности и были вынуждены сосредоточить все свои силы в Элевсисе против Клеомена, оставив без сопротивления беотийцев и халкидян. Но неожиданный разгром армии, вторгшейся из Пелопоннеса, спас их и позволил им обратить все свое внимание на другую границу. Они направились в Беотию к проливу Эврипа, отделяющему ее от Эвбеи, намереваясь предотвратить соединение беотийцев и халкидян и напасть на последних сначала порознь. Но прибытие беотийцев внесло изменения в их план; они напали на беотийцев первыми и одержали полную победу, убив большое количество и захватив семьсот пленников. В тот же день они переправились на Эвбею, напали на халкидян и одержали еще одну победу, настолько решающую, что сразу же положили конец войне. Многие халкидяне были захвачены, как и беотийцы, и в цепях доставлены в Афины, где после некоторого заключения они были наконец выкуплены по две мины за человека; десятая часть вырученной суммы была использована для изготовления колесницы и четырех лошадей из бронзы, которая была помещена в акрополе в память о победе. Геродот видел этот трофей, когда был в Афинах. Он видел и еще более выразительный трофей - настоящие цепи, в которые были закованы пленники, демонстрирующие своим видом ущерб, нанесенный акрополю, сожженному Ксерксом: надпись в четыре строки описывала эти подношения и сообщала о победе, в результате которой они появились[299].

Эта победа имела еще одно важное последствие. Афиняне посадили четыре тысячи своих граждан в качестве клерухов (держателей жребия) или поселенцев на землях богатой халкидской олигархии, называемой Гиппоботэ, - владельцев, вероятно, плодородной равнины Лелантум, между Халкисом и Эретрией. Эта система, как мы увидим далее, широко применялась афинянами в дни их могущества; отчасти с целью обеспечить своих более бедных граждан, отчасти для того, чтобы служить гарнизоном среди враждебного или сомнительно верного населения. Эти аттические клерухи (я не могу найти другого названия, чтобы говорить о них) не потеряли своего права афинского гражданина по рождению: они не были колонистами в греческом смысле, и известны под совершенно другим названием, - но они очень близко соответствовали колониям, формально высаженным на завоеванных Римом землях. Увеличение бедного населения всегда более или менее болезненно ощущалось в каждом греческом городе. И хотя общая численность населения, по-видимому,

никогда не увеличивалась очень быстро, умножение детей в бедных семьях приводило к разделу небольших участков земли, пока в конце концов их не стало не хватать для содержания; и обедневшим людям было трудно добывать средства к существованию другими способами, тем более что труд более богатых слоев населения в значительной степени выполнялся привозными рабами. Несомненно, некоторые семьи, владевшие земельной собственностью, вымерли; но это несколько не пошло на пользу мелким и бедным владельцам; ведь земли, освободившиеся таким образом, переходили не к ним, а по наследству, завещанию или в результате брака к другим владельцам, по большей части находящимся в легком положении, - поскольку одна богатая семья обычно вступала в брак с другой. В будущем я подробнее остановлюсь на этом вопросе - великой и серьезной проблеме народонаселения, как она затрагивала греческие общины в целом и как ее теоретически решали сильные умы Платона и Аристотеля. Сейчас достаточно отметить, что многочисленные клеветы, отправленные Афинами, первый из которых был отправлен на Эвбею, возникли в значительной степени из-за умножения бедного населения, на обеспечение которого была направлена ее обширная власть. Последующие ее действия с той же целью не всегда будут считаться столь оправданными, как нынешнее, которое, согласно представлениям того времени, естественно выросло из ее успеха в борьбе с халкидянами.

Однако война между Афинами и Фивами с их беотийскими союзниками все еще продолжалась, к большому и постоянному ущербу последних, пока наконец фиванцы в отчаянии не послали просить совета у дельфийского оракула и получили указание "просить помощи у ближайших к ним людей"[300] "Как (ответили они) мы должны повиноваться? Наши ближайшие соседи - Танагра, Коронея и Феспия - сейчас и с самого начала оказывают нам посильную помощь". Однако находчивый фиванец, придя на помощь своим озадаченным согражданам, погрузился в глубины легенды и выудил оттуда счастливый смысл. "Ближайшие к нам (сказал он) - жители Эгины: ведь Феб (эпоним Фив) и Эгина (эпоним этого острова) были сестрами, дочерьми Асопа: пошлем же просить помощи у эгинетян". Если его тонкая интерпретация (основанная на их происхождении от одних и тех же легендарных прародителей) не убедила сразу всех, кто ее услышал, то, по крайней мере, никто не смог предложить ничего лучшего; и посланники сразу же были отправлены к эгинетянам, которые в ответ на петицию, основанную на легендарных претензиях, прислали на помощь фиванцам подкрепление из легендарных, но почитаемых вспомогательных войск - героев Эакидов. Остается предположить, что здесь имеются в виду их чучела. Однако слава и предполагаемое присутствие эакидов Теламона и Пелея в фиванском лагере оказались напрасными. Победа по-прежнему оставалась на стороне Афин, и обескураженные фиванцы снова отправились в Эгину, восстанавливая героев[301] и моля о помощи более человеческого и положительного характера. Их просьба была удовлетворена, и эгинетяне начали войну против Афин даже без приличных предварительных объявлений и деклараций[302].

Это замечательное посольство впервые знакомит нас с дорийцами из Эгины - олигархическими, богатыми, торговыми и могущественными на море даже в самые ранние времена; они больше похожи на Коринф, чем на любой из других городов, называемых дорийскими. Беспощадная вражда, которую они начали против Афин, подавленная Спартой в критический момент битвы при Марафоне, затем вновь вспыхнувшая, на некоторое время затихшая из-за общей опасности персидского вторжения при Ксерксе, была успокоена только завоеванием острова примерно через двадцать лет после этого события, изгнанием и уничтожением его жителей несколько лет спустя. По словам Геродота, между Афинами и Эгиной действительно существовала древняя вражда, о которой он рассказывает в

необычном повествовании, сочетающем религию, политику, изложение древних обычаев и т. д.; но в то время, когда фиванцы обратились за помощью к Эгине, последняя находилась в мире с Афинами. Эгинетяне использовали свой мощный для того времени флот для опустошения Фалерума и приморских владений Аттики; у афинян еще не было флота, чтобы противостоять им.[304] Вполне вероятно, что желаемый эффект был достигнут: часть афинских сил была отвлечена от войны с Беотией, и таким образом Фивы получили частичное облегчение. Но война Афин против них обеих продолжалась еще значительное время, хотя мы не располагаем информацией о ее деталях.

Тем временем внимание Афин было отвлечено от этих объединенных врагов более грозной тучей, которая грозила надвинуться на нее со стороны Спарты. Клеоменес и его соотечественники, полные негодования по поводу бесславного покидания Элевсиса, были еще более разгневаны недавно сделанным открытием, что запрет дельфийской жрицы на изгнание Гиппия из Афин был получен обманным путем.[Кроме того, Клеоменес, запертый вместе с Исагором в афинском акрополе, нашел там различные пророчества, ранее хранившиеся у Пеисистратидов, многие из которых предвещали события, крайне пагубные для Спарты. И хотя недавние блестящие проявления храбрости и неоднократные победы Афин, казалось, указывали на то, что эти пророчества могут сбыться, Спарте пришлось упрекнуть себя в том, что из-за глупого и озорного поведения Клеомена она свела на нет эффект от своей предыдущей помощи Пеисистратидам и тем самым потеряла ту ответную благодарность, которую афиняне в противном случае могли бы засвидетельствовать. Под таким впечатлением спартанские власти предприняли замечательный шаг: отправили Гиппия из его резиденции в Сигее в Пелопоннес и созвали депутатов от всех своих союзников, чтобы встретиться с ним в Спарте.

Созванный таким образом собор заслуживает внимания как начало новой эры в греческой политике. Предыдущая экспедиция Клеомена против Аттики представляет нам первый известный пример того, как спартанское руководство перешло от теории к действию: эта экспедиция окончилась неудачей, потому что союзники, хотя и были готовы следовать за ним, не хотели слепо следовать за ним и не хотели, чтобы их делали орудием исполнения целей, противных их чувствам. Теперь Спарта поняла, что для того, чтобы заручиться их искренним согласием, необходимо сообщить им о своих планах, чтобы убедиться хотя бы в том, что ей не придется ожидать решительного сопротивления. Итак, перед нами третий этап спонтанного движения Греции к систематическому объединению, пусть и несовершенному, ее многочисленных автономных единиц. Сначала спартанское главенство предлагается в теории, исходя из стечения обстоятельств, которые привлекают к ней восхищение всей Греции, - сила, непревзойденная подготовка, нетронутая древность и т. д.; затем теория переходит в действие, пока грубое и бесформенное: наконец, действие облачается в формальности, ему предшествует обсуждение и определение. Первый созыв союзников в Спарте для рассмотрения общего вопроса вполне можно считать важным событием в греческой политической истории. Не менее важны и события, происходившие на этом созыве, - они свидетельствуют о том, как чувствовали и действовали греки того времени, и их следует иметь в виду как контраст со временем, о котором пойдет речь далее.

Когда Гиппий был представлен собравшимся союзникам, спартанцы выразили свое сожаление по поводу его свержения, свое негодование и тревогу по поводу новорожденной дерзости Афин.[306] уже испытанной ее ближайшими соседями и угрожающей каждому государству, представленному на соборе, и свое желание восстановить Гиппия, не только в качестве возмещения за прошлые обиды, но и как средство, посредством его правления, держать Афины в подчинении и зависимости. Но это предложение, хотя и исходило от

Спарты, было выслушано союзниками с одним общим чувством отвращения. Они не испытывали симпатии к Гиппию, не испытывали неприязни, а тем более страха перед Афинами и с глубоким отвращением относились к характеру деспота. Дух, одушевлявший вооруженные отряды в Элевсисе, теперь вновь проявился среди депутатов Спарты, и коринфяне снова взяли инициативу в свои руки. Их депутат Сосиклес протестовал против проекта в самом яростном и возмущенном тоне: ни один язык не может быть сильнее длинной речи, которую Геродот вкладывает в его уста, где изливаются горькие воспоминания, распространенные в Коринфе в отношении Кипсела и Периандра. "Конечно, небо и земля вот-вот поменяются местами, - рыбы будут жить на суше, а люди - в море, - когда вы, спартанцы, предложите ниспровергнуть народные правительства и установить в городах эту злую и кровавую вещь, называемую деспотом.[307] Сначала испытайте ее на себе в Спарте, а потом, если сможете, навяжите ее другим: вы не вкусили ее бедствий, как мы, и очень заботитесь о том, чтобы держать ее подальше от себя. Клянемся общими богами Эллады - не сажайте деспотов в ее городах: если вы будете упорствовать в столь нечестивом замысле, знайте, что коринфяне не поддержат вас".

Этот вдохновенный призыв был воспринят союзниками с криками одобрения и сочувствия. Все единодушно присоединились к Сосиклесу, приказывая лакедемонянам[308] "не устраивать революции ни в одном эллинском городе". Никто не слушал Гиппия, когда он в ответ предупреждал коринфян, что придет время, когда они, как никто другой, будут бояться и ненавидеть афинскую демократию и желать возвращения Пеисистратидов. Он хорошо знал, говорит Геродот, что так и будет, ибо был знаком с пророчествами лучше, чем кто-либо другой. Но никто ему не поверил, и он был вынужден уехать в Сигею: спартанцы не решились поддержать его против решительного настроения союзников[309].

Эти решительные настроения заслуживают внимания, поскольку они характеризуют нынешний период развития эллинского ума: через пятьдесят лет они будут существенно изменены. Отвращение к единоличному правлению и горькие воспоминания о таких людях, как Кипсел и Периандр, - вот аккорды, которые звучат в собрании греческих депутатов: идея революции, подразумевающая тем самым большие и всеобъемлющие перемены, которые партия, использующая это слово, не одобряет, состоит в замене постоянного Единого на тех периодических магистратов и собраний, которые были общим атрибутом олигархии и демократии: антитеза между двумя последними еще на заднем плане, и не преобладает ни страх перед Афинами, ни ненависть к афинской демократии. Но когда мы обращаемся к периоду, непосредственно предшествующему Пелопоннесской войне, то обнаруживаем, что порядок первенства между этими двумя настроениями меняется на противоположный. Антимонархическое чувство не исчезло, но было перекрыто другими и более поздними политическими антипатиями, - противопоставление демократии и олигархии стало не единственным, но самым главным чувством в умах греческих политиков в целом и душой активного партийного движения. Более того, против Афин и их демократии выросла ненависть самого смертоносного характера, особенно у внуков тех самых коринфян, которые теперь выступают в качестве ее сочувствующих друзей. Удивительная перемена чувств, о которой здесь говорится, нигде не проявляется так ярко, как при сравнении только что рассказанного обращения коринфского Сосиклеса с речью коринфских посланников в Спарте, непосредственно предшествовавшей Пелопоннесской войне, приведенной в Фукидиде[310]. В дальнейшем она будет полностью объяснена промежуточными событиями, ростом афинской мощи и еще более чудесным развитием афинской энергии.

Такое развитие, плод свежесозданной демократии, а также семя для ее поддержания и усиления, продолжалось в течение всего периода, о котором мы только что говорили. Но

первый неожиданный всплеск ее, при Клейстенской конституции и после изгнания Гиппия, описан Геродотом в слишком выразительных выражениях, чтобы их можно было опустить. Рассказав о последовательных победах афинян над беотийцами и халкидянами, этот историк продолжает: "Таким образом, афиняне росли в силе. И не только в этом, но и во всех других случаях мы можем найти подтверждение тому, насколько ценной вещью является свобода: ведь даже афиняне, находясь под властью деспота, не превосходили в войне никого из своих соседей, но, как только избавились от деспота, стали далеко не первыми среди всех. Все это показывает, что, пока их держал один человек, они были вялыми и робкими, как люди, работающие на хозяина; но когда их освободили, каждый отдельный человек стал стремиться к подвигам ради собственной выгоды". То же сравнение повторяется через некоторое время после этого, где он говорит нам, что "афиняне, когда были свободны, чувствовали себя равными Спарте; но когда их удерживал любой человек в условиях деспотизма, они были слабыми и склонными к покорности"[311].

Невозможно найти более сильных выражений, чтобы описать стремительное улучшение афинского народа, вызванное его новой демократией. Конечно, это произошло не только благодаря отмене прежних жестокостей, улучшению законов и администрации. Это, конечно, были существенные условия, но активной преобразующей причиной здесь был принцип и система, детали которой составляли эти поправки: великая и новая идея суверенного народа, состоящего из свободных и равных граждан, - или свобода и равенство, если воспользоваться словами, которые так глубоко взволновали французскую нацию полвека назад. Именно эта всеобъемлющая политическая идея произвела на афинян электрический эффект, породив в них множество чувств, мотивов, симпатий и способностей, которые были им прежде чужды. Демократия в греческой древности обладала привилегией не только разжигать искреннюю и единодушную привязанность к конституции в груди граждан, но и создавать энергию общественных и частных действий, такую, какой никогда нельзя было добиться при олигархии, где максимум, на что можно было надеяться, - это пассивное согласие и повиновение. Мистер Берк заметил, что народные массы, как правило, очень равнодушны к теориям правления; но такого равнодушия - хотя улучшения в практической работе всех правительств имеют тенденцию способствовать ему - вряд ли можно ожидать среди людей, которые проявляют решительную умственную активность и дух в других вопросах; и обратное, несомненно, было верно в 500 году до н. э. среди общин Древней Греции. Теории правления там были не просто мертвой буквой: они были связаны с эмоциями как самого сильного, так и самого противоположного характера. Например, теория постоянного правящего Единого была повсеместно одиозной: теория правящего Немногих, хотя и принималась, никогда не была положительно привлекательной, если только она не была связана с поддержанием особого воспитания и привычек, как в Спарте, или если она представляла собой единственную противоположность демократии, которая в силу особых обстоятельств стала объектом террора. Но теория демократии была очень соблазнительна; она вызвала в массе граждан сильную положительную привязанность и располагала их к добровольным действиям и страданиям от ее имени, которых не могли добиться никакие принуждения со стороны других правительств. Геродот[312], сравнивая три вида правления, ставит в первый ряд преимуществ демократии "ее самое великолепное имя и обещание" - способность привлекать сердца граждан в поддержку своей конституции и обеспечивать для всех общие узы союза и братства. Это то, что не всегда удавалось даже демократии: но это было то, чего не *могло* сделать ни одно другое правительство в Греции, и одной этой причины достаточно, чтобы закрепить за ним звание лучшего правительства, представляющего наибольший шанс на благотворные результаты для греческой общины. Среди афинских граждан, безусловно, оно породило такую силу и единодушие позитивных политических настроений, какие редко встречались в истории человечества, что вызывает

наше удивление и восхищение, когда мы сравниваем его с предшествующей апатией, - и которая даже подразумевается как естественное состояние общественного разума в знаменитой прокламации Солона против нейтралитета во время смуты.[313] Так как демократия оказывается неприятной для большинства современных читателей, они привыкли рассматривать описанные здесь настроения только в их наименее почетных проявлениях - в карикатурах Аристофана или в пустых общих местах риторических декламаторов. Но не в этом смысле следует оценивать силу, серьезность или обязательную ценность демократических настроений в Афинах. Мы должны слушать, как они звучат из уст Перикла,[314] когда он настойчиво навязывает народу те активные обязанности, к которым он и побуждает, и придает мужества; или от олигархического Никиаса в гавани Сиракуз, когда он пытается возродить мужество своих отчаявшихся войск для последней смертельной схватки, и когда он взывает к их демократическому патриотизму, как к единственному пламени, которое еще живо и горит даже в этот момент агонии.[315] Начиная со времен Клисфена и далее, создание этого нового могучего импульса производит полный переворот в афинском характере. И если эта перемена так ярко проявилась перед глазами Геродота, то гораздо больше ее должны были почувствовать современники, среди которых она произошла.

Привязанность афинского гражданина к своей демократической конституции состояла из двух различных чувств: во-первых, его права, защита и преимущества, вытекающие из нее, - во-вторых, его обязанности прилагать усилия и жертвовать собой по отношению к ней и по отношению к ней. Ни одно из этих двух чувств никогда не отсутствовало полностью; но в зависимости от того, присутствовало ли то или другое в разное время в разных пропорциях, патриотизм гражданина был очень разным чувством. Геродот отмечает необычайные усилия сердца и рук, которые внезапно проявили афиняне, - действенность активного чувства среди основной массы граждан; и мы увидим еще более яркие свидетельства того же явления, если проследим историю от Клейстена до конца Пелопоннесской войны: мы проследим ряд событий и мотивов, идеально рассчитанных на стимулирование того самоотверженного труда и дисциплины, которые впервые вызвала ранняя демократия. Но когда мы продвинемся дальше, от восстановления демократии после Тридцати тиранов до времени Демосфена, - я рискну сделать это краткое предположение, будучи убежденным, что один период греческой истории может быть тщательно понят только путем сравнения его с другим, - мы обнаружим ощутимое изменение в афинском патриотизме. Активное чувство долга сравнительно бездейственно, - гражданин, правда, остро чувствует ценность демократии как защиты и обеспечения его ценных прав, и он, более того, готов выполнять свою обычную сферу юридических обязанностей по отношению к ней; но он смотрит на нее как на вещь установленную и способную поддерживать себя в должной мере внешним превосходством, без каких-либо личных усилий, подобных тем, которые его предки с радостью возлагали на себя. В орациях Демосфена содержатся меланхоличные доказательства такого изменения тона патриотизма, той вялости, паралича и ожидания действий других, которые предшествовали катастрофе в Херонее, несмотря на неослабевающую привязанность к демократии как источнику защиты и хорошего правительства.[316] Та же сверхъестественная активность, которую союзники Спарты в начале Пелопоннесской войны одновременно осуждали и восхищались афинянами, теперь отмечается оратором как присущая их врагу Филиппу.

Подобные колебания в масштабах национальной энергии пронизывают всю историю, как современную, так и древнюю, но в отношении греческой истории, особенно, их нельзя упускать из виду. Ведь определенная мера, не только позитивной политической привязанности, но и активной самоотдачи, военной готовности и личных усилий, была

необходимым условием сохранения эллинской автономии как в Афинах, так и в других местах; и она стала таковой, как никогда, когда македонцы однажды были организованы под руководством предприимчивого и полуэллинизированного принца. Демократия стала первой творческой причиной той поразительной личной и многогранной энергии, которой был отмечен афинский характер в течение целого столетия, начиная с Клейстенеса. То, что та же ультраэллинская активность не продолжалась дольше, объясняется другими причинами, которые в дальнейшем будут частично объяснены. Ни одна система правления, даже если предположить, что она намного лучше и безупречнее афинской демократии, никогда не сможет претендовать на то, чтобы достичь своей законной цели в отрыве от личного характера людей или отменить необходимость индивидуальной добродетели и энергичности. В течение полувека, непосредственно предшествовавшего битве при Херонее, афиняне утратили ту замечательную энергию, которая отличала их в течение первого века их демократии, и опустились почти на один уровень с другими греками, вместе с которыми они были вынуждены уступить давлению иностранного врага. Здесь я кратко останавлиюсь на последнем периоде их вялости, контрастирующем с первым всплеском демократического пыла при Клейстенесе, который сейчас открывается, - чувством, которое, как мы увидим дальше, продолжалось дольше, чем можно было разумно предположить, но которое было слишком сильным, чтобы стать вечным и неотъемлемым атрибутом любого сообщества.

ГЛАВА XXXII. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРСИДСКОЙ ИМПЕРИИ. - ЦИРКУС.

В предыдущей главе я проследил историю Центральной Греции почти до того момента, когда история азиатских греков сливается с ней, после чего эти два потока начинают в значительной степени течь в одном русле. Теперь я возвращаюсь к делам азиатских греков и связанных с ними азиатских царей в той точке, в которой они были оставлены в моей семнадцатой главе.

Заключительные факты, изложенные в этой главе, имели печальное и серьезное значение для эллинского мира. Ионические и эолийские греки на азиатском побережье были покорены и подчинены лидийским царем Крёзом: "До этого времени (говорит Геродот) все греки были свободны". Их завоеватель Крёз, взойшедший на трон в 560 году до н. э., казался вершиной человеческого процветания и могущества в своей неприступной столице и с несметными сокровищами в Сардах. Его владения охватывали почти всю Малую Азию до реки Халис на востоке; по другую сторону этой реки начиналась Медийская монархия под властью его шурина Астиагеса, простиравшаяся на восток до какой-то границы, которую мы не можем определить, но включавшая в себя в юго-восточном направлении собственно Персис, или Фарсистан, и отделенная от киссиев и ассирийцев на западе линией горы Загрос - современной границей между Персией и Турцией. Вавилония с ее чудесным городом, расположенным между Евфратом и Тигром, была занята ассирийцами, или халдеями, при их царе Лабинкте: территория густонаселенная и плодородная, частично от природы, частично благодаря чудесам труда, до такой степени, что мы не можем доверять даже честному очевидцу, описывающему ее после упадка, - но тогда она находилась в самом цветущем состоянии. Халдейское владычество при Лабинкте доходило до границ Египта,

включая в качестве зависимых территорий Иудею и Пхенисию. В Египте царствовал туземный царь Амасис, могущественный и богатый, поддерживаемый на своем троне большим количеством греческих наемников и сам благосклонно относившийся к греческой торговле и поселениям. И с Лабинетом, и с Амасисом Кресс был в союзнических отношениях, а поскольку Астиагес был его шурином, то все четыре царя вполне могли считаться недостижимыми для бедствий. Однако не прошло и тридцати лет, как все их территории превратились в одну огромную империю под властью сына авантюриста, до сих пор не известного даже по имени.

Взлеты и падения восточных династий во все времена отличались одними и теми же общими чертами. Смелый и авантюрный принц во главе населения, одновременно бедного, воинственного и жадного, завоевывает власть, а его преемники, предаваясь сладострастию и лени, возможно, также деспотичному и вспыльчивому нраву, со временем становятся жертвами тех же качеств в чужаке, которые позволили их собственному отцу захватить трон. Кир, великий основатель Персидской империи, сначала подданный, а затем свергнутый с престола медийским Астиагесом, соответствует этому общему описанию, насколько, по крайней мере, мы можем претендовать на знание его истории. Ведь на самом деле даже о завоеваниях Кира после того, как он стал правителем Мидии, известно очень мало, а о фактах, предшествовавших его возвышению до власти, вообще нельзя сказать, что они известны: нам приходится выбирать между различными рассказами, противоречащими друг другу, из которых наиболее полный и подробный носит отпечаток романтики. Киропедия Ксенофонта памятна и интересна, если рассматривать ее с точки зрения греческого ума и как философский роман:[\[317\]](#) то, что ее так часто цитировали в качестве авторитета в вопросах истории, является лишь одним из многих доказательств того, как легко авторы удовлетворялись основными историческими свидетельствами. Рассказ Геродота об отношениях между Киrom и Астиагесом, согласующийся с Ксенофонтом лишь в том, что он делает Кира сыном Камбисеса и Манданки, а внуком Астиагеса, по трагичности и контрасту выходит даже за рамки истории о Ромуле и Реме. Астиагес, встревоженный сном, приговаривает новорожденного младенца своей дочери Манданки к обнажению: Гарпаг, которому отдан приказ, отдает ребенка одному из царских пастухов, который выставляет его в горах, где его чудесным образом высиживает сука.[\[318\]](#) Сохраненный таким образом и впоследствии воспитанный как ребенок пастуха, Кир проявляет большое превосходство как физическое, так и умственное, выбирается мальчиками деревни царем в игре и в этом качестве жестоко наказывает сына одного из придворных; за этот проступок он предстает перед Астиагесом, который признает его за своего внука, но волхвы уверяют его, что сон его закончился и что ему больше не грозит опасность от мальчика, - и поэтому разрешают ему жить. А вот на Гарпага Астиагес чрезвычайно разгневан за то, что тот не выполнил его приказ: он заставляет зарезать сына Гарпага и подать его на царский пир, чтобы съел его потерявший сознание отец. Отец, узнав об этом, скрывает свои чувства, но замышляет смертельную месть Астиагесу за эту тиестскую трапезу. Он уговаривает Кира, отосланного к отцу и матери в Персию, возглавить восстание персов против медяков, а Астиагес, чтобы восполнить греческую концепцию безумия как предвестника гибели, посылает против восставших армию под командованием самого Гарпага. Разумеется, войско терпит поражение, Астиагес после тщетного сопротивления свергается с престола, Кир становится царем вместо него, а Гарпаг оплачивает за нанесенное ему оскорбление самыми жестокими оскорблениями.

Таковы главы прекрасного повествования, которое довольно подробно изложено у Геродота. Она, вероятно, покажется читателю достаточно романтической, хотя историк намекает, что слышал три других рассказа, отличных от нее, и все они были более полны чудес, а также

имели более широкое распространение, чем его собственный, который он позаимствовал у некоторых необычайно трезвомыслящих персидских информаторов.[319] В чем три других рассказа отличались от нее, мы не слышим.

Галикарнасскому историку мы должны противопоставить врача соседнего города Книда - Ктесия, который противоречил Геродоту, не без сильных порицаний, по многим пунктам, и особенно по тому, который является основой раннего рассказа о Кире; он утверждал, что Кир ни в коем случае не был родственником Астиагеса.[320] Как бы мы ни возмущались Ктесиасом за пренебрежительные эпитеты, которые он позволил себе применить к историку, чей труд для нас неоценим, - мы все же должны признать, что как хирург, фактически обслуживавший царя Артаксеркса Мнемона и лечивший рану, нанесенную этому принцу в Кунаксе его братом Киром Младшим, [321] он имел лучшие возможности даже по сравнению с Геродотом для бесед с трезвомыслящими персами; И что расхождения между этими двумя утверждениями следует воспринимать как доказательство распространенности противоречивых, но одинаково достоверных историй. Сам Геродот фактически был вынужден выбрать одну из четырех. Столь редким и поздним растением является историческая достоверность.

То, что Кир был первым персидским завоевателем и что пространство, которое он захватил, охватывало не менее пятидесяти градусов долготы, от побережья Малой Азии до Оксуса и Инда, - факты совершенно неоспоримые; но о том, какими путями это было достигнуто, мы знаем очень мало. Коренные персы, которых он привел в столь огромную империю, представляли собой совокупность семи земледельческих и четырех кочевых племен, - все они были грубыми, выносливыми и храбрыми,[322] жили в гористой местности, одевались в шкуры, не знали ни вина, ни фруктов, ни самых обычных предметов роскоши, презирали саму идею купли-продажи. Их племена были очень неравны друг с другом по достоинству, вероятно, также по численности и силе: первыми по значению среди них были пасаргады, а первой фратрией, или кланом, среди пасаргадов были ахемениды, к которым принадлежал сам Кир. Было ли его родство с медийским царем, которого он сверг, фактом или политическим вымыслом, мы не можем точно определить. Но Ксенофонт, отмечая просторные пустынные города Ларисса и Меспила[323], которые он видел во время своего похода с десятью тысячами греков по восточному берегу Тигра, дает нам понять, что завоевание Меди персами, по его словам, было упорной и длительной борьбой. Однако, как бы то ни было, перевес персов наконец-то был полным: хотя медяне всегда оставались вторым народом в империи после персов, как их правильно называть; и у ранних греческих писателей великий враг на Востоке часто называется "медянином"[324], так же как и "персом". Экбатана всегда оставалась одним из столичных городов и обычной летней резиденцией персидских царей; Сузы на Чоаспесе, на Киссийской равнине дальше к югу и к востоку от Тигра, были их зимней резиденцией.

Огромное пространство страны между Индом на востоке, Оксусом и Каспийским морем на севере, Персидским заливом и Индийским океаном на юге, и линией горы Загрос на западе, похоже, было занято в эти времена большим разнообразием различных племен и народов, но все или большинство из них принадлежали к религии Зороастра и говорили на диалектах языка зендов.[Среди жителей он был известен под общим названием Иран, или Ария: это, по крайней мере, в его центральных частях, высокое, холодное плато, полностью лишенное леса и скудно снабженное водой; большая его часть, действительно, является соленой и песчаной пустыней, невосприимчивой к культуре. Там, где можно достать воду и применить ирригацию, некоторые его части чрезвычайно плодородны; и таким образом выросли разрозненные массы довольно плотного населения. Но непрерывное культивирование

непрактично, и в древние времена, как и в настоящее время, большая часть населения Ирана, похоже, состояла из бродячих или кочевых племен, с их палатками и скотом. Богатые пастбища и свежесть летнего климата в районе гор и долин вблизи Экбатаны восхваляются современными путешественниками, так же как они привлекали Великого Царя в древние времена, в жаркие месяцы. Более южная провинция, называемая собственно Персис (Фарсиستان), также частично состоит из горных земель, перемежающихся с долинами и равнинами, обильно поливаемыми и богатыми пастбищами, постепенно спускающимися к низменным местам на морском побережье, где жарко и сухо. Меды и персы уделяли большое внимание разведению лошадей. ^{326]} Несомненно, существовали существенные различия между разными частями населения этого обширного плато Ирана. Тем не менее, похоже, что наряду с общим языком и религией у них был и общий характер, который контрастировал с индийским населением к востоку от Инда, ассирийцами к западу от горы Загрос, массагетами и другими кочевниками Каспия и Аральского моря, - менее жестокими, беспокойными и кровожадными, чем последние, более свирепыми, презрительными и вымогательскими, и менее способными к устойчивому труду, чем двое первых. Можно не сомневаться, что в то время, о котором мы сейчас говорим, когда богатство и культивирование Ассирии достигли своего максимума, Иран также был гораздо лучше заселен, чем когда-либо с тех пор, как европейские наблюдатели смогли осмотреть его; особенно северо-восточная часть, Бактрия и Согдиана: так что вторжения кочевников из Туркестана и Тартарии, которые были столь разрушительны в различные промежутки времени после магометанского завоевания, были до этого периода успешно сдержаны.

Общая аналогия среди населения Ирана, вероятно, позволила персидскому завоевателю сравнительно легко распространить свою империю на восток, после завоевания Экбатаны, и стать полным наследником мединских царей. И если верить Ктесию, даже далекая провинция Бактрия прежде подчинялась этим царям: сначала она сопротивлялась Киру, но, узнав, что он стал зятем Астиагеса, а также хозяином своей особы, быстро признала его власть^[327].

По версии Геродота, война между Киром и Крёзом Лидийским началась вскоре после взятия Астиагеса и до завоевания Бактрии. ^[328] Кир был нападающим, желая отомстить за своего шурина, остановить рост персидского завоевателя и увеличить свои собственные владения: его более благоразумные советники тщетно убеждали его, что он мало что выиграет и много потеряет от войны с народом, который в равной степени вынослив и беден. Он представлен как раз в то время, когда оправлялся от болезни, вызванной смертью сына. Спросить совета у оракула, прежде чем принять окончательное решение, было шагом, который не пропустил бы ни один благочестивый царь; но в данном опасном вопросе Крёс сделал больше - он предпринял такую крайнюю меру предосторожности, что, если бы его благочестие не было поставлено под сомнение его чрезвычайной щедростью на храмы, он мог бы навлечь на себя подозрение в виновном скептицизме. [Прежде чем послать за советом по поводу самого проекта, он решил проверить достоверность некоторых из главных окрестных оракулов: Дельфи, Додоны, Бранхиды близ Милета, Амфиары в Фивах, Трофония в Лебадее и Аммона в Ливии. Его посланники отправились из Сард в тот же день и на сотый день после этого получили указание спросить у соответствующих оракулов, чем именно в этот момент занят Крёс. Это было суровое испытание: о том, как на него отреагировали четыре из шести оракулов, мы не имеем никаких сведений, и, скорее всего, их ответы были неудовлетворительными. Однако Амфиарай сохранил свой авторитет, а Аполлон в Дельфах, более всеведущий, чем Аполлон в Бранхидее, решил вопрос с такой безошибочной точностью, что это послужило сильным дополнительным аргументом против тех, кто был склонен насмехаться над гаданиями. Не успели посланники в названный день задать

дельфийской жрице вопрос: "Что сейчас делает Крёс?", как она воскликнула привычным гекзаметрическим стихом:[330] "Я знаю число песчинок и меру моря; я понимаю немых и слышу того, кто не говорит. До меня доходит запах жесткокожей черепахи, сваренной в меди с мясом ягненка, - медь сверху и медь снизу". Получив этот ответ, Крёс был потрясен. В нем с мельчайшими подробностями было описано то, что он действительно делал, и он счел дельфийский оракул и оракул Амфиарая единственными надежными оракулами на земле, подкрепив эти чувства самым щедрым жертвоприношением, чтобы завоевать расположение дельфийского бога. Три тысячи голов скота были принесены в жертву, а на огромной жертвенной куче были разложены самые великолепные пурпурные одежды и туники, а также кушетки и кадилницы из золота и серебра; кроме того, он послал в сами Дельфы богатейшие подарки из золота и серебра - горшки, статуи, чаши, кувшины и т. д, размеры и вес которых мы читаем с изумлением; тем более что Геродот сам видел их столетие спустя в Дельфах. 331] Не остался Крёс в стороне и от Амфиарая, чей ответ был заслуживающим доверия, хотя и менее триумфальным, чем ответ пифийской жрицы. Он послал Амфиару копье и щит из чистого золота, которые впоследствии Геродот видел в Фивах: это большое пожертвование может помочь читателю представить себе безмерность тех, что он послал в Дельфы.

Посланникам, доставившим эти дары, было поручено одновременно узнать, должен ли Крёз предпринять экспедицию против персов, и если да, то должен ли он убедить кого-либо из союзников помочь ему. Что касается второго вопроса, то ответ Аполлона и Амфиарая был решающим и рекомендовал ему обратиться к союзу самых могущественных греков. Что касается первого, самого важного вопроса, то их ответ был столь же замечателен по осмотрительности, как и по детективной проницательности: они сказали Крёзу, что если он вторгнется к персам, то ниспровергнет могущественную монархию. Слепота Крёза истолковала это заявление как безоговорочное обещание успеха. Он послал оракулу еще больше подарков и снова поинтересовался, долговечно ли его царство. "Когда мул станет царем мидийцев (ответила жрица), тогда ты должен бежать, не стыдясь"[332].

Убеденный таким ответом, Крёз отправился в Спарту под предводительством царей Анаксандрида и Аристо, чтобы преподнести подарки и просить их о союзе[333]. Его предложения были с радостью приняты, тем более что ранее он безвозмездно предоставил лакедемонянам немного золота для статуи Аполлона. Образовавшийся союз был в целом общим, от них пока не требовалось особых усилий, но вскоре они были предприняты. Но этот инцидент следует отметить как первое погружение ведущего греческого государства в азиатскую политику, причем без какого-либо великодушного эллинского сочувствия, которое впоследствии побудило Афины отправить своих граждан за Эгейское море. Крёс был повелителем и данником азиатских греков, и их контингенты, по-видимому, составляли часть его армии для задуманной экспедиции; эта армия состояла в основном не из местных лидийцев, а из иностранцев.

Река Халис в это время была границей между Мидийской и Лидийской империями, и Крёс, переправившись через нее на территорию сирийцев или ассирийцев Каппадокии, взял город Птерию и многие прилегающие к нему районы, нанеся ущерб и разрушения этим далеким подданным Экбатаны. Кир, не теряя времени, привел на их защиту армию, значительно превосходящую по численности армию Крёза, и в то же время попытался, хотя и безуспешно, склонить ионийцев к восстанию против него. Между двумя армиями произошла кровопролитная битва, но безрезультатная, и Крёс, видя, что он не может надеяться добиться большего с теми силами, которые у него были, решил вернуться в свою столицу, чтобы собрать большую армию для следующей кампании. Сразу же по прибытии в Сарды он

отправил посланников к вавилонскому царю Лабинкету, египетскому царю Амасису, лакедемонянам и другим союзникам, призывая их всех прислать в Сарды вспомогательные войска в течение пятого ближайшего месяца. Тем временем он отпустил все иностранные войска, которые последовали за ним в Каппадокию[334].

Если бы эти союзники появились, война, возможно, продолжалась бы с успехом; и со стороны лакедемонян, по крайней мере, не было никакого промедления; их корабли были готовы, а войска почти на борту, когда до них дошла неожиданная весть, что Крѣс уже разрушен. [335] Кир предвидел и опередил оборонительный план своего врага. Он без промедления двинул свою армию к Сардам, вынудив лидийского князя дать сражение с собственными подданными без помощи. Открытая и просторная равнина перед этим городом была очень удобна для лидийской конницы, которая в то время, как рассказывает Геродот, превосходила персидскую. Но Кир придумал хитрость, чтобы сделать эту конницу недоступной: он поставил перед своим строем верблюдов с багажом, запах и вид которых лидийские лошади не могли вынести. [336] Всадники Крѣза были вынуждены разделиться; тем не менее, они храбро сражались пешими и были загнаны в город только после кровопролитного боя.

Хотя Крѣз был заключен в стенах своей столицы, у него были все основания надеяться продержаться до прибытия союзников, которым он отправил настоятельных посланников с просьбой об ускорении: ведь Сарды считались неприступными - один штурм уже был отбит, и персы были бы сведены к медленному процессу блокады. Но на четырнадцатый день осады случай сделал для осаждающих то, чего они не смогли бы добиться ни умением, ни силой. Сарды располагались на одной из вершин северного склона Тмола; они были хорошо укреплены везде, кроме горы, а с этой стороны скала была настолько обрывистой и неприступной, что укрепления считались ненужными, а жители не верили в возможность штурма. Но персидский солдат Гирид, случайно увидев, как один из гарнизона спускается с этой обрывистой скалы, чтобы поднять скатившийся вниз шлем, воспользовался случаем, попытался взобраться наверх и обнаружил, что это не так уж и сложно. Другие последовали его примеру, таким образом, крепость была захвачена первой, и весь город был быстро взят штурмом[337].

Кир отдал особый приказ пощадить жизнь Крѣза, который, соответственно, был взят в плен. Но были сделаны приготовления к торжественному и ужасному зрелищу. Пленный царь должен был быть сожжен в цепях вместе с четырнадцатью лидийскими юношами на огромной куче дров, и нам даже рассказывают, что куча уже разгорелась и жертва была вне досягаемости человеческой помощи, когда Аполлон послал чудесный дождь, чтобы сохранить его. Что касается общего факта сверхъестественного вмешательства, в той или иной форме, Геродот и Ктесий согласны, хотя они по-разному описывают конкретные чудеса.[338] Несомненно, что через некоторое время Крѣс был отпущен на свободу и получил хорошее обращение от своего завоевателя и стал доверенным советником последнего, а также его сына Камбисеса: [339] Ктесий также сообщает нам, что значительный город и территория близ Экбатаны, называемая Баренк, были выделены ему, согласно практике, которую мы нередко встречаем у персидских царей.

Благоразумные советы и замечания об отношениях между персами и лидийцами, благодаря которым Крѣс, по словам Геродота, впервые заслужил такое благосклонное отношение, вряд ли стоит повторять; но возмущенный протест, направленный Крѣсом дельфийскому богу, слишком характерен, чтобы его обойти. Он добился от Кира разрешения положить на

священную мостовую дельфийского храма цепи, которыми он был сначала связан. Лидийским посланникам было велено, показав богу эти унижительные памятники, спросить, не в обычае ли у него обманывать своих благодетелей и не стыдно ли ему поощрять лидийского царя в столь гибельном предприятии? Бог, снисходя до оправдания устами жрицы, ответил: "Даже бог не может избежать своей судьбы. Крёс пострадал за грех своего пятого предка (Гигеса), который, вступив в сговор с женщиной, убил своего господина и незаконно завладел скипетром. Аполлон использовал все свое влияние на Меры (судьбы), чтобы добиться того, чтобы этот грех был искуплен детьми Крёза, а не самим Крёзом; но Меры не дали ничего, кроме отсрочки приговора на три года. Пусть знает Крёс, что Аполлон таким образом обеспечил ему царствование на три года дольше, чем ему было предназначено,[340] после того как тщетно пытался спасти его. Более того, он послал тот дождь, который в решающий момент погасил горящую кучу. Крёс также не имеет права жаловаться на пророчество, которым его побудили вступить в войну; ведь когда бог сказал ему, что он ниспровергнет *великую империю*, он обязан был еще раз поинтересоваться, какую империю имеет в виду бог; а если он не понял смысла и не решил поинтересоваться, то сам виноват в результате. Кроме того, Крёз проигнорировал данное ему предупреждение о приобретении Медийского царства мулом: Кир и был этим мулом, сыном медийской матери царской породы от персидского отца, одновременно другой расы и более низкого положения".

Это триумфальное оправдание потребовало даже от самого Крёза полного признания, что грех лежит на нем, а не на боге.[341] Это, безусловно, замечательным образом иллюстрирует теологические идеи того времени; и показывает нам, насколько в сознании Геродота факты веков, предшествовавших его собственному, не зафиксированные никакими современными авторитетами, имели тенденцию складываться в своего рода религиозную драму; нити исторической паутины были частично собраны вместе, частично оригинально сплетены, с целью изложения религиозных чувств и доктрин, сотканных в качестве образца. Пифийская жрица предсказывает Гигесу, что преступление, которое он совершил, убив своего господина, будет искуплено его пятым потомком, хотя, как рассказывает Геродот, никто не обратил внимания на это пророчество, пока оно наконец не исполнилось:[342] мы видим, что история первого мермнадского царя составлена после катастрофы последнего. В основных фактах истории Крёза было нечто глубоко поразительное для греческого ума: царь на вершине богатства и власти, в высшей степени благочестивый и благосклонный к богам, первый разрушитель эллинской свободы в Азии, сразу и внезапно низвергнутый в бездну гибели. Грех первого родителя во многом помог решить эту сложную проблему, а также возвысить авторитет оракула, когда он принял форму незамеченного пророчества. В трогательной истории (обсуждавшейся в предыдущей главе[343]) о Солоне и Крёзе лидийский царь наказан острым домашним несчастьем, потому что считал себя счастливейшим из людей, - боги не позволяют никому быть высокомерным, кроме себя;[344] а в повествовании Геродота предупреждение Солона повторяется Крёзу после того, как он стал пленником Кира. К этому же направлению мысли относится только что рассказанная история о взаимоотношениях Крёза с дельфийским оракулом. В ней дается удовлетворительное для религиозных чувств греков объяснение того, как и почему он был уничтожен, но ничто иное, как всемогущие и всевластные Меры, не может быть использовано для объяснения столь потрясающего результата.

Редко когда эти верховные богини, или гипербогини - поскольку сами боги должны им подчиняться, - предстают в столь явном свете и действии. Обычно их держат в тени или оставляют для понимания как невидимый камень преткновения в случаях крайней непостижимости; и трудно четко определить (как в случае некоторых сложных политических

конституций), где, по мнению греков, должна находиться суверенная власть в отношении управления миром. Но здесь суверенитет Мэрæ и подчиненное влияние богов изложены недвусмысленно. [345\]](#) Однако боги все же чрезвычайно могущественны, потому что Мэрæ выполняют их просьбы до определенного момента, не считая нужным быть полностью неумолимыми; но их выполнение не идет дальше, чем они сами выбирают. Даже из уважения к Аполлону они не стали бы изменять первоначальный приговор о наказании за грех Гигеса в лице его пятого потомка - приговор, который Аполлон сам официально предсказал вскоре после совершения греха; так что, если бы Меры прислушались к его ходатайству от имени Крёза, его собственная пророческая заслуга оказалась бы под угрозой. Их непреклонное решение предопределило гибель Крёза, и о величии этого события говорит тот факт, что даже сам Аполлон не может убедить их изменить его или предоставить отсрочку более чем на три года. Религиозный элемент здесь должен рассматриваться как придающий форму, а исторический - как дающий только материю, но не всю материю истории; и эти два элемента можно найти более или менее связанными на протяжении большей части истории Геродота, хотя, по мере того как мы спускаемся к более поздним временам, мы обнаружим исторический элемент в постоянно возрастающей пропорции. Его концепция истории чрезвычайно отличается от концепции Фукидида, который возлагает на себя истинную схему и цель историка, общую для него с философом, - излагать и толковать прошлое как рациональную помощь в предвидении будущего[\[347\]](#).

Уничтожение лидийской монархии и установление персов в Сардах - событие, чреватое последствиями для Эллады в целом, - произошло в 546 г. до н. э. [\[348\]](#) Ионические греки теперь сильно раскаивались в том, что отвергли предложения Кира восстать против Крёза, хотя в то время, когда эти предложения были сделаны, было бы крайне неосмотрительно их слушать, поскольку лидийская держава вполне могла считаться более сильной. Как только Сарды пали, они отправили посланников к завоевателю, умоляя зачислить их в число его данников на том же основании, которое они занимали при Крёзе. Ответом был суровый и гневный отказ, за исключением милезийцев, которым были предоставлены условия, о которых они просили: [\[349\]](#) почему это благоприятное исключение было распространено на них, мы не знаем. Остальные континентальные ионийцы и эолийцы (за исключением Милета, а также островных городов, которые персы не имели возможности атаковать), охваченные тревогой, начали приводить себя в состояние обороны: Похоже, что лидийский царь заставил их укрепления полностью или частично разобрать, так как нам говорят, что они теперь начали возводить стены; и фокейцы особенно посвятили этой цели подарок, который они получили от иберийца Аргантония, царя Тартесса. Помимо укрепления собственных городов, они сочли целесообразным отправить совместное посольство с просьбой о помощи из Спарты; несомненно, они не были разочарованы тем, что спартанцы уже снарядили армию для поддержки Крёза. Их депутаты отправились в Спарту, где фокейский Питирм, назначенный остальными глашатаем, облачившись в пурпурную мантию [\[350\]](#), чтобы привлечь наибольшее число слушателей, изложил свою настоятельную потребность в помощи против надвигающейся опасности. Лакедемоняне отказались от мольбы; тем не менее, они отправили в Фокею несколько уполномоченных для выяснения положения дел, которые, возможно, убежденные фокейцами, послали Лакринеса, одного из своих людей, к завоевателю в Сарды, чтобы предупредить его, чтобы он не накладывал руки ни на один город Эллады, так как лакедемоняне не позволят этого. "Кто эти лакедемоняне? (спросил Кир у стоявших рядом греков) - как много их, что они осмелились послать мне такое извещение?" Получив ответ, в котором говорилось, что у лакедемонян есть город и постоянный рынок в Спарте, он воскликнул: "Я никогда еще не боялся таких людей, как эти, у которых посреди города есть место, где они собираются, чтобы обманывать друг друга и клясться. Если я останусь в живых, у них будут свои проблемы, о которых они смогут говорить, не считая

ионийцев". Купля-продажа казалась персам презренной практикой, ибо они последовательно, на шаг дальше, проводили в жизнь принцип, по которому даже многие способные греки осуждали ссуду денег под проценты; и речь Кира была направлена на скрытое порицание греческих привычек в целом[351].

Эта пустая угроза Лакринеса, оскорбительная провокация врага, а не реальная помощь страждущим, была единственной выгодой, которую ионийские греки получили от Спарты. Им оставалось только защищаться, как могли, от завоевателя, который, однако, вскоре покинул Сарды, чтобы лично продолжить свои завоевания на Востоке, оставив перса Табала с гарнизоном в цитадели, но передав захваченные большие сокровища и власть над лидийским населением лидийцу Пактиясу. Поскольку он увлек с собой Крёза, то, вероятно, был уверен в верности тех лидийцев, которых рекомендовал свергнутый монарх. Но не успел он прибыть в свою столицу, как получил известие о том, что Пактий поднял восстание, вооружил лидийское население и использовал принадлежащие ему сокровища для найма новых войск. Услышав эту новость, Кир обратился к Крёсу, по словам Геродота, с гневными словами против лидийцев и даже намекнул, что будет вынужден продать их всех в рабство. На это Крёс, полный тревоги за свой народ, упорно утверждал, что виноват и заслуживает наказания только Пактий; в то же время он советовал Киру разоружить лидийцев и навязать им женоподобную одежду, а также привычку играть на арфе и заниматься торговлей. "Таким образом (сказал он) ты скоро увидишь, как они станут женщинами, а не мужчинами". [352] Это предложение, как говорят, было принято Киром и исполнено его полководцем Мазаресом. Разговор, о котором здесь рассказывается, и преднамеренный план по извращению лидийского характера, который, как предполагается, осуществлял Кир, - это, очевидно, гипотеза, придуманная кем-то из современников или предшественников Геродота, чтобы объяснить контраст между лидийцами, которых они видели перед собой после двух или трех поколений рабства, и старыми неодолимыми всадниками, о которых они слышали в славе в то время, когда Крёйс был владыкой от Халиса до Эгейского моря.

Вернемся к Пактиям - он начал восстание, спустился к морскому побережью и использовал сокровища Сардиса для сбора греческих наемников, с которыми он вложил деньги в город и блокировал правителя Табала. Но он не проявил мужества, достойного столь опасного предприятия; не успел он услышать, что медийский полководец Мазарес приближается во главе армии, посланной Киром против него, как распустил свои войска и бежал в Кимку за защитой в качестве просителя. Вскоре от Мазареса пришла угрожающая повестка с требованием немедленно выдать его, что повергло киммеев в глубокий ужас, ведь мысль о том, чтобы отдать на растерзание поданного, шокировала греческие чувства. Они послали за советом в священный храм Аполлона в Бранхиде близ Милета, и в ответе было сказано, что Пактия следует сдать. Однако такая сдача выглядела настолько позорной, что Аристоклик и некоторые другие киммерийские граждане объявили посланцев лжецами и потребовали, чтобы для консультации с богом была отправлена более надежная депутация. Сам Аристоклик в составе второй группы изложил оракулу свои недоумения и получил повторение того же ответа, после чего принялся грабить птичьи гнезда, которые в изобилии имелись в храме и вокруг него. Голос из внутренней прорицательской камеры быстро задержал его, воскликнув: "Нечестивейший из людей, как ты смеешь делать такие вещи? Ты хочешь похитить моих сторонников из самого храма?" Невозмутимый упреком, Аристоклик ответил: "Господин, так *ты* сам помогаешь поданным, а киммерийцам ты приказываешь отдать поданного?" "Да, я приказываю это[353] (ответил бог), чтобы преступление скорее навлекло на вас гибель и чтобы в будущем вы не обращались к оракулу с просьбой о выдаче поданных".

Находчивость Аристодика полностью свела на нет оракульный ответ и оставила киммерийцев в прежнем недоумении. Не желая выдавать Пактия и не решаясь защищать его от осаждающей армии, они отослали его в Митилен, куда последовали посланцы Мазареса и потребовали его; предложив столь значительную награду, что киммерийцы побоялись доверять им, и снова переправили подателя на Хиос, где он укрылся в храме Афонского Полиуха. Но и здесь за ним последовали преследователи, и хиосцев уговорили вытащить его из храма и выдать, получив в качестве выкупа территорию Атарнея (это район на континенте напротив острова Лесбос). Пактиас был схвачен и отправлен в плен к Киру, который отдал самые прямые приказы о его захвате: отсюда и необычная интенсивность преследования. Но, судя по всему, территория Атарнея считалась бесславно приобретенной хианами; даже их собственные граждане не использовали ни одного предмета из ее продукции для священных или жертвенных целей[354].

Далее Мазарес приступил к нападению и завоеванию греков на побережье; это предприятие, которое, поскольку он вскоре умер от болезни, было завершено его преемником Гарпагом. Города, подвергшиеся нападению, последовательно оказывали галантное, но неэффективное сопротивление: персидский полководец своей численностью загнал защитников в стены, против которых он насыпал земляные курганы, чтобы либо взять их штурмом, либо принудить к сдаче. Все они были покорены, один за другим: условия подчинения для всех были, несомненно, тяжелее тех, что навязал им Крёс, поскольку Кир уже отказался предоставить им эти условия, за исключением одного Милета, и поскольку с тех пор они нанесли дополнительные обиды, помогая восстанию Пактия. Жители Приенки были проданы в рабство: они первыми подверглись нападению Мазареса и, возможно, особенно активно участвовали в нападении Пактия на Сарды[355].

Среди этих несчастных городов, сменивших хозяина и перешедших в более суровое подчинение, два заслуживают особого внимания - Теос и Фокей. Граждане первого из них, как только курган вокруг их стен сделал дальнейшее сопротивление невозможным, высадились и эмигрировали, одни во Фракию, где основали Абдеру, другие - на Киммерийский Босфор, где основали Фанагорию; часть из них, однако, должно быть, осталась, чтобы воспользоваться шансом подчинения, поскольку в последующие времена город представляется по-прежнему населенным и по-прежнему эллинским[356].

Судьба Фокеи, в целом схожая, описывается нами с более яркими подробностями и становится тем более интересной, что населявшие ее предприимчивые мореплаватели были факелоносцами греческих географических открытий на западе. Я уже описывал их авантурные исследовательские плавания в прежние времена в глубь Адриатики и вдоль всего северного и западного побережья Средиземного моря вплоть до Тартесса (области вокруг Кадиса и прилегающей к нему), а также благоприятный прием, оказанный им старым Аргантоном, царем этой страны, который пригласил их эмигрировать в его царство, предложив им на выбор любое место, какое они пожелают. Его приглашение было отклонено, хотя, возможно, впоследствии фокейцы сожалели об отказе; тогда он проявил свою добрую волю к ним, преподнес большой подарок, чтобы покрыть расходы на строительство укреплений вокруг их города.[357] Стены, возведенные частично благодаря этой помощи, были обширными и хорошо построенными, но они не могли помешать Харпагу возвести против них свои земляные курганы, и в то же время он был достаточно вежлив, чтобы соблазнить их предложением умеренной капитуляции, требуя только, чтобы они проломили свои стены в одном месте, снес одну из башен, и освятили одно здание в глубине города в знак подчинения. Принять эти условия означало отдаться на усмотрение осаждающего, так как не было никакой уверенности, что они будут соблюдены; и фокейцы,

попросив один день на обдумывание ответа, потребовали, чтобы в течение этого дня Гарпаг полностью отвел свои войска от стен. Последний выполнил это требование, дав понять, что прекрасно понимает его смысл. Фокейцы решили, что неизбежное рабство, надвигающееся на их город, не должно быть разделено его жителями, и использовали свой день благодати для подготовки к коллективному изгнанию, погрузив на корабль жен и детей, а также мебель и движимое убранство своих храмов. Затем они отплыли на Хиос, оставив завоевателю опустевший город для оккупации персидским гарнизоном[358].

Судя по всему, на Хиосе беглецов приняли не очень любезно; по крайней мере, когда они сделали предложение купить у хиосцев соседние острова *Ænussæ* в качестве постоянного места жительства, последние были вынуждены отказаться, опасаясь торгового соперничества. Пришлось искать поселение дальше, а покровитель Аргантония, будучи уже мертвым, Тартесс больше не приглашал. Однако за двадцать лет до этого по указанию оракула из Фоккеи была основана колония Алалия на острове Корсика, и теперь все фокейцы решили отправиться туда. Приготовив корабли для этого далекого плавания, они сначала вернулись в Фокею, застали врасплох персидский гарнизон, оставленный Гарпагом в городе, и перебили его; затем они затопили в гавани большую глыбу железа и связали себя торжественной и единодушной клятвой никогда больше не видеть Фокею, пока это железо не поднимется на поверхность. Однако, несмотря на клятву, изгнание едва началось, когда более половины из них раскаялись в том, что связали себя такими обязательствами, и затосковали по дому[359]. Они нарушили клятву и вернулись в Фокею. Но поскольку Геродот не упоминает о каком-либо божественном суде, последовавшем за лжесвидетельством, мы можем предположить, что некий седоголовый гражданин, для которого перевозка на Корсику могла быть не более чем смертным приговором, убедил себя и подтвердил своим спутникам, что видел, как затонувшая железная глыба была поднята и некоторое время плавала на волнах. Харпага, должно быть, побудили простить предыдущую резню персидского гарнизона или, по крайней мере, поверить, что ее совершили те фокейцы, которые все еще продолжали оставаться в изгнании. Ему нужны были подданные, а не пустой военный пост, и раскаявшимся искателям родины было позволено причислить себя к рабам Великого Царя.

Тем временем меньшая, но более решительная половина фокейцев отправилась в Алалию на Корсике со своими женами и детьми на шестидесяти пентеконтерах, или вооруженных кораблях, и обосновалась там вместе с прежними поселенцами. Они оставались там в течение пяти лет,[360] за это время их беспорядочные пиратства стали настолько невыносимыми (даже в то время пиратство, совершенное против иностранного судна, кажется, было частым и практиковалось без особого позора), что и тирренские морские порты на средиземноморском побережье Италии, и карфагеняне объединились, чтобы положить им конец. Между ними существовали особые договоры для регулирования торговых отношений между Африкой и Италией, образцом которых может служить сохранившийся у Полибия древний договор между Римом и Карфагеном (заключенный в 509 году до н. э.).[Шестидесять карфагенских и столько же тосканских кораблей напали на шестидесять фокейских кораблей у Алалии и уничтожили сорок из них, но не без таких тяжелых потерь для себя, что победа, как говорят, была на стороне последних; Однако, несмотря на эту Кадмейскую победу (так называлась битва, в которой победители теряли больше, чем побежденные), они были вынуждены вернуть оставшиеся двадцать кораблей в Алалию и удалиться со своими женами и семьями, насколько хватало места, в Региум. Наконец, эти несчастные изгнанники обрели постоянный дом, основав новое поселение Элея, или Велия, в заливе Поликастро, на итальянском побережье (тогда называемом *Ænôtrian*) к югу от Посейдонии, или Пестума. Вероятно, здесь к ним присоединились другие

изгнанники из Ионии, в частности колофонский философ и поэт Ксенофанес, от которого пошла так называемая элеатская философская школа, отличавшаяся смелой последовательностью и диалектической остротой. Пленников-фокейцев, взятых в плен в морском бою тирренцами и карфагенянами, побивали камнями до смерти; но божественный суд настиг тирренский город Агиллу за эту жестокость, и даже во времена Геродота, спустя столетие, агиллейцы все еще искупали грех периодическими торжествами и агонами во исполнение наказания, наложенного на них дельфийским оракулом[362].

Такова была судьба фокейских изгнанников, в то время как их собратья на родине оставались подданными Гарпага, как и все остальные ионийские и эолийские греки, кроме Милета. Даже жители островов Лесбос и Хиос, хотя и не подвергались нападению с моря, так как у персов не было флота, сочли за лучшее отказаться от своей независимости и записать себя в персидские подданные, - оба они обладали участками материка, которые они не могли защитить иначе. Самос же сохранил свою независимость и даже достиг вскоре после этого периода, при деспотизме Поликратеса, более высокой степени могущества, чем когда-либо. Возможно, унижение других приморских греков скорее способствовало честолобию этого беспринципного принца, к которому я еще вернусь. Но мы можем легко представить себе, что общественные торжества, на которых присутствовали ионийские греки, вместо тех веселых и богато украшенных толп, которые гомеровский гимн описывает в предыдущем веке как собравшиеся на Делосе, представляли собой сцены заметного уныния: один из их мудрейших людей, Биас Приенский, зашел так далеко, что предложил на панихидном празднике коллективную эмиграцию всего населения ионийских городов на остров Сардинию. В Азии, по его мнению, для них сейчас нет ничего похожего на свободу, но на Сардинии может образоваться один великий пан-ионический город, который будет не только сам свободен, но и будет госпожой своих соседей. Это предложение не нашло поддержки; причина этого достаточно очевидна из только что приведенного рассказа о непобедимой привязанности к местным условиям со стороны фокейского большинства. Но Геродот дает ему самую безоговорочную оценку и сожалеет, что он не был принят.[363] Если бы это было так, последующая история Карфагена, Сицилии и даже Рима могла бы заметно измениться.

Покоренные Гарпагом ионийские и эолийские греки стали его помощниками в покорении юго-западных жителей Малой Азии - карийцев, кауниан, ликийцев и дорийских греков Книда и Галикарнаса. О судьбе последнего города Геродот ничего не рассказывает, хотя он был его родным местом. Жители Книда, расположенного на длинном выступающем языке земли, сначала пытались прорваться через узкий перешеек, соединявший их с континентом, но отказались от этой попытки, которую Геродот объясняет запретом оракула:[364] ни карийцы, ни кауниты не оказали серьезного сопротивления. Ликийцы только в своем главном городе Ксанфе отчаянно оборонялись. Тщетно пытались отразить нападавших в открытом поле и оказавшись заблокированными в своем городе, они подожгли его своими руками; в пламени сгорели их женщины, дети и слуги, а вооруженные граждане вышли и погибли все до одного в бою с врагом"[365] Такой акт храброго и даже свирепого отчаяния не свойственен грекам. Однако, рассказывая о вялой обороне и легкой покорности греков Книда, мы можем с удивлением вспомнить, что они были дорийцами и колонистами из Спарты. Так что недостаток стойкого мужества, часто вменяемый ионическим грекам по сравнению с дорийскими, следует вменить в вину азиатским грекам по сравнению с европейскими, или, скорее, той смеси туземного и эллинского населения, которую представляют все азиатские колонии, как и большинство других колоний, и которая в Галикарнасе была особенно примечательной; поскольку он, кажется, был наполовину карийским, наполовину дорийским, и даже управлялся линией карийских деспотов.

Таким образом, Гарпаг и персы без значительного сопротивления овладели западной и южной частями Малой Азии; вероятно, также, хотя у нас нет прямых сведений об этом, всей территорией в пределах Галиса, которая до этого находилась под властью Крёза. Дань с покоренных греков переводилась в Экбатаны, а не в Сарды. Пока Гарпаг занимался этими делами, сам Кир совершал еще более обширные завоевания в Верхней Азии и Ассирии, о которых я расскажу в следующей главе.

ГЛАВА XXXIII. РОСТ ПЕРСИДСКОЙ ИМПЕРИИ.

В предыдущей главе был дан рассказ, лучший из того, что мы можем почерпнуть у Геродота, о том, как азиатские греки стали подчиняться Персии. И если его рассказ скуден в отношении вопроса, который жизненно касался не только многих его братьев-греков, но даже его собственного родного города, мы вряд ли можем ожидать, что он расскажет нам много о других завоеваниях Кира. Похоже, он намеренно утаивает различные подробности, ставшие ему известными, и лишь в общих чертах сообщает, что, пока Гарпаг возился на побережье Эгейского моря, сам Кир напал и покорил все народы Верхней Азии, "не упустив ни одного из них". Он упоминает бактрийцев и саков,^[367] которые также названы Ктесиасом как покоренные частично силой, частично капитуляцией; но только два из подвигов Кира он считает достойными особого внимания: завоевание Вавилона и последняя экспедиция против массагетов. В краткой аннотации утраченного труда Ктесия, которой мы сейчас располагаем, нет упоминания о важном завоевании Вавилона; но его рассказ, насколько позволяет нам проследить аннотация, существенно отличается от рассказа Геродота и, должно быть, основан на совершенно других данных.

"Я упомяну (говорит Геродот)^[368] те завоевания, которые доставили Киру больше всего хлопот и наиболее памяты: после того как он покорил весь остальной континент, он напал на ассирийцев". Те, кто помнит описание Вавилона и его окрестностей, приведенное в предыдущей главе, не удивятся, узнав, что захват его доставил персидскому агрессору немало хлопот: их удивит лишь то, как он вообще мог быть взят, - или, более того, как враждебная армия вообще могла до него добраться. Геродот сообщает нам, что вавилонская царица Нитокрис - мать того самого Лабинкета, который был царем, когда Кир напал на это место, - опасалась вторжения мидян после взятия ими Ниневии и провела множество трудоемких работ у Евфратеса, чтобы помешать их приближению. Кроме того, существовала так называемая стена Мидии (вероятно, построенная ею самой, но, несомненно, возведенная до персидского завоевания) высотой в сто футов и толщиной в двадцать футов^[369] на всем пространстве в семьдесят пять миль, соединявшем Тигр с одним из каналов Евфрата. А сами каналы, как мы можем видеть на примере похода десяти тысяч греков после битвы при Кунаксе, представляли собой средства обороны, совершенно непреодолимые для грубой армии, подобной персидской. На востоке территория Вавилонии была защищена Тигром, который нельзя перейти вброд ниже древней Ниневии или современного Мосула.^[370] В дополнение к этим валам, как естественным, так и искусственным, для защиты территории, - густонаселенной, возделанной, плодородной и дающей жителям все основания сопротивляться даже вторжению врага, - нам говорят, что

вавилоняне были так тщательно подготовлены к вторжению Кира, что накопили в стенах города запасы провизии на многие годы.

Как ни странно, мы должны предположить, что вавилонский царь, после всех затрат и трудов, потраченных на обеспечение обороны территории, добровольно пренебрег ими, позволил захватчику без сопротивления опустошить плодородную Вавилонию и лишь собрал граждан, чтобы противостоять ему, когда тот пришел под стены города, - если утверждение Геродота верно.^[371] И мы можем проиллюстрировать это необъяснимое упущение тем, что, как мы знаем, произошло во время похода младшего Кира в Кунаксу против его брата Артаксеркса Мнемона. Последний, специально готовясь к этому вторжению, вырыл широкий и глубокий ров, тридцать футов шириной и восемь футов глубиной, от стены Медии до реки Евфратес, на расстоянии двенадцати парасангов, или сорока с лишним английских миль, оставив лишь проход шириной в двадцать футов рядом с рекой. Однако когда армия захватчиков подошла к этому важному проходу, они не нашли там ни одного человека, который мог бы его защитить, и все они без сопротивления прошли через узкий вход. Кир Младший, который до этого момента был уверен, что его брат будет сражаться, теперь предположил, что тот отказался от идеи защищать Вавилон:^[372] вместо этого через два дня Артаксеркс атаковал его на открытой равнине, где не было преимущества позиции ни с одной стороны; хотя захватчики были захвачены врасплох из-за их крайней уверенности, возникшей из-за недавнего беспрепятственного входа в искусственную канаву.

Этот анекдот тем ценнее в качестве иллюстрации, что все его обстоятельства переданы нам проникательным очевидцем. И оба инцидента, приведенные в сравнение, демонстрируют безрассудство, переменчивость и неспособность к расчету, присущие азиатскому уму того времени, - а также огромное владение руками, которым обладали эти цари, и их расточительное отношение к человеческому труду.^[373] По мере продвижения в этой истории мы увидим и другие свидетельства тех же качеств, которые необходимо иметь в виду, чтобы оценить как отношения греков с азиатами, так и сравнительное отсутствие подобных недостатков в греческом характере. Обширные стены и глубокие рвы - неоценимая помощь храброму и хорошо управляемому гарнизону; но они не могут полностью восполнить недостаток храбрости и ума.

Каким бы образом ни преодолевались трудности на подступах к Вавилону, факт, что они были преодолены Киром, несомненен. Впервые отправившись на завоевание, он собирался переправиться через реку Гиндес (один из притоков с востока, который впадает в Тигр недалеко от современного Багдада и вдоль которого пролегла дорога, пересекающая перевал горы Загрос от Вавилона до Экбатаны), когда один из священных белых коней, сопровождавших его, оскорбил реку^[374] настолько, что вошел в нее и попытался перейти ее сам. Гиндес возмутился этим оскорблением, и лошадь утонула, после чего Кир в гневе поклялся, что так разрушит силу реки, что в будущем женщины будут переходить ее, не омочив коленей. Поэтому он потратил все свое войско, в течение всего летнего сезона, на рытье трехсот шестидесяти искусственных каналов, чтобы распространить единство потока. Так, по словам Геродота, на один год было отложено падение великого Вавилона; но уже следующей весной Кир и его армия были перед стенами, разгромив и загнав туда вышедшее на бой население. Но стены представляли собой искусственные горы (высотой в триста футов, толщиной в семьдесят пять футов и площадью в пятнадцать миль с каждой стороны), внутри которых осажденные отражали нападение и даже блокаду, предварительно запасшись провизией на несколько лет вперед. Однако через середину этих стен протекала Евфратес, и эта река, которая с таким трудом была подготовлена, чтобы служить

вавилонянам для защиты, торговли и пропитания, теперь стала путем их гибели. Оставив часть своего войска в двух местах, где Евфратес входит в город и выходит из него, Кир с остальными отступил в более высокую часть его течения, где древняя вавилонская царица приготовила одно из больших боковых водохранилищ для отвода в случае необходимости излишков его воды. Неподалеку от этого места Кир приказал вырыть еще одно водохранилище и еще один канал для сообщения, с помощью которых он отводил воду Евфрата до такой степени, что она становилась не выше бедра человека. Выбранный период пришелся на великий вавилонский праздник, когда все население было занято развлечениями и весельем; и персидские войска, оставленные возле города, улучив удобный момент, вошли с двух сторон по руслу реки и захватили его врасплох, не встретив почти никакого сопротивления. Ни в какое другое время, кроме как во время праздника, они не смогли бы сделать этого, говорит Геродот, если бы река никогда не была так низка; ведь оба берега по всей длине города были снабжены набережными, сплошными стенами и воротами в конце каждой улицы, которая спускалась к реке под прямым углом: так что если бы население не было отстранено влиянием момента, они бы поймали нападавших в русло реки "как в ловушку" и одолели их со стен рядом с ней. На площади в пятнадцать миль в каждую сторону мы не удивляемся, когда слышим, что обе крайние точки уже были во власти осаждающих, прежде чем центральное население узнало об этом и пока оно было поглощено бессознательным празднеством[375].

Таков рассказ Геродота об обстоятельствах, в результате которых Вавилон - величайший город Западной Азии - оказался во власти персов. В какой степени сообщенные ему сведения были неверны или преувеличены, мы сейчас не можем решить; но то, как обращались с городом, заставляет нас предположить, что его приобретение не могло стоить завоевателю ни много времени, ни больших потерь. Кир становится царем Вавилона, а жители со всей своей территорией переходят в данничество к персам, образуя самую богатую сатрапию в империи; но мы не слышим, чтобы с жителями обращались как-то иначе, и можно с уверенностью сказать, что огромные стены и ворота остались нетронутыми. Это очень отличалось от того, как мидяне обращались с Ниневией, которая, похоже, была разрушена и долгое время совершенно необитаема, хотя и вновь занята в уменьшенном масштабе при Парфянской империи; и также очень отличалось от того, как обращались с самим Вавилоном двадцать лет спустя, когда Дарий вновь завоевал его после восстания.

Важность Вавилона, обозначающего одну из своеобразных форм цивилизации, принадлежащей древнему миру в состоянии полного развития, придает интерес даже полуаутентичным историям о его захвате; Но другие подвиги, приписываемые Киру, - его вторжение в Индию через пустыню Арахосию[376] и нападение на массагетов, кочевников, управляемых царицей Томирис и сильно напоминающих скифов, через таинственную реку, которую Геродот называет Араксекс, - слишком мало известны, чтобы на них вообще останавливаться. В последней он, как говорят, погиб, его армия была разбита в кровавой битве.[377] Он был похоронен в Пасаргаде, в своей родной провинции Персис, где его могилу чтили и охраняли до самого распада империи,[378] а его память пользовалась глубоким почитанием среди персов.

О его реальных подвигах мы знаем немного, кроме их результатов; но в том, что мы читаем о нем, кажется, хотя и в условиях постоянных боев, очень мало жестокости. Ксенофонт выбрал его жизнь в качестве предмета нравоучительного романа, который долгое время приводился в качестве подлинной истории и который даже сейчас служит авторитетом, выраженным или подразумеваемым, для спорных и даже неверных выводов. Его необычайная активность и завоевания не вызывают сомнений. Он оставил Персидскую империю[379],

простиравшуюся от Согдианы и рек Джаксартес и Инд на восток, до Геллеспонта и сирийского побережья на запад, и его преемники не сделали к ней никаких постоянных добавлений, кроме Египта. Феникия и Иудея были зависимы от Вавилона в то время, когда он завоевал его, а их князья и вельможи находились в вавилонском плену. Они, кажется, без труда уступили ему и стали его данниками[380]; восстановление пленников было уступлено им. Именно с Кира начались привычки персидских царей жить зимой в Сузах, а летом - в Экбатане; первобытная территория Персиды с двумя городами - Персеполем и Пасаргадой - была отведена под место погребения царей и религиозное святилище империи. Как и когда была завоевана Сузиана, нам неизвестно; она лежала к востоку от Тигра, между Вавилонией и Персидой, а ее жители, киссиане, насколько мы можем судить, были ассирийцами, а не арианами. Предполагается, что река Хоаспес, расположенная недалеко от Суз, была единственной водой, пригодной для питания Великого Царя, и, как говорят, ее носили с собой, куда бы он ни отправился[381].

В то время как завоевания Кира способствовали ассимиляции различных типов цивилизации в западной Азии - не путем возвышения худших, а путем деградации лучших, - на самих коренных персов они действовали как чрезвычайный стимул, вызывая в равной степени их гордость, амбиции, скупость и воинственные наклонности. Территория Персиды не только не платила дань Сузам или Экбатане, будучи единственным освобожденным от нее районом между Джаксартесом и Средиземноморьем, но и огромные дани, получаемые от остальной империи, в значительной степени распределялись между ее жителями. Империя для них означала: для великих людей - прибыльные сатрапии, или пахалики, с властью, совершенно неограниченной, по пышности уступающей только великому царю, и постоянные армии, которые они использовали по своему усмотрению, иногда друг против друга,[382]- для простых воинов, набранных с их полей или стад, постоянный грабеж, обильное содержание и безудержная свобода действий, либо в свите одного из сатрапов, либо в большом постоянном войске, которое двигалось из Суз в Экбатаны вместе с Великим царем. И если все население Персиды не мигрировало из своих жилищ, чтобы занять какое-нибудь из тех более привлекательных мест, которые предоставляла необъятная территория царского владения, - владения, простирающегося (говоря языком Кира Младшего, до битвы при Кунаксе)[383] от области невыносимой жары до области невыносимого холода, - только потому, что первые цари препятствовали такому движению, чтобы нация могла сохранить свою военную стойкость[384] и быть в состоянии обеспечить бесперебойное снабжение солдатами.

Самолюбие и высокомерие персов были не менее примечательны, чем их жадность к чувственным наслаждениям. Они до чрезмерности любили вино; их жены и наложницы были многочисленны; они охотно перенимали у чужеземных народов новые моды на роскошь и украшения. Даже к новинкам в религии они не были сильно противны; хотя они были учениками Зороастра, с волхвами в качестве жрецов и неперенными спутниками их жертвоприношений, поклонялись Солнцу, Луне, Земле, Огню и т. д., не признавая ни изображений, ни храмов, ни алтарей, - все же они переняли сладострастное поклонение богине Милитте от ассирийцев и арабов. Многочисленное мужское потомство было предметом гордости перса, а его воинственный характер и сознание силы проявлялись в воспитании этих юношей, которых с пяти лет до двадцати учили только трем вещам: ездить верхом, стрелять из лука и говорить правду.[385] Занимать деньги или даже покупать и продавать считалось у персов позорным, и в защиту этого они говорили, что как одно, так и другое налагает необходимость говорить неправду. Взимать дань с подданных, получать жалованье или подарки от царя и отдавать без раздумий все, что не требовалось немедленно, - таков был их способ обращения с деньгами. Индустриальные занятия

оставались за покоренными, которым повезло, если, выплачивая фиксированную контрибуцию и отправляя военный контингент, когда это требовалось, они могли купить неприкосновенность для своих остальных забот.[386] Они не могли таким образом купить безопасность для семейного очага, поскольку мы находим случаи, когда благородных греческих девиц отрывали от родителей для гарема сатрапа.[387]

Для людей такого характера, чьи представления о политическом обществе не шли дальше личного повиновения вождю, такой завоеватель, как Кир, вызывал сильнейшее волнение и энтузиазм, на которые они были способны. Он нашел их рабами и сделал хозяевами; он был первым и величайшим из национальных благодетелей[388], а также самым передовым из полководцев; они следовали за ним от одного завоевания к другому в течение тридцати лет его царствования, их любовь к империи росла вместе с самой империей. И этот импульс к расширению империи не ослабевал во время правления трех его следующих преемников - Камбисеса, Дария и Ксеркса, - пока, наконец, не был жестоко подавлен унижительными поражениями при Платее и Саламине; после этого персы стали довольствоваться защитой дома и второстепенной игрой. Но в то время, когда Камбизес, сын Кира, унаследовал скипетр своего отца, персидский дух был на высоте, и он недолго раздумывал над добычей, более богатой и менее опасной, чем массагеты, на противоположном конце империи. Феникия и Иудея уже были подчинены ему, и он решил вторгнуться в Египет, который в то время процветал под долгим и благополучным правлением Амасиса. Для того чтобы придать агрессии окраску, не требовалось особых притязаний, и различные истории, которые Геродот упоминает в качестве причин войны, интересны лишь тем, что в них прослеживается жилка египетского партийного чувства - утверждение, что вторжение было вызвано Амасисом по вине дочери Априса, и таким образом он был осужден за то, что сверг последнего. О том, каким образом она произвела этот эффект, распространялись самые противоречивые истории[389].

Камбизес созвал для этого нового предприятия все силы своей империи, среди которых были и фенийцы, и азиатские греки, и эолийские, и ионические,[390] и островные, и континентальные, - почти вся морская сила и мастерство Эгейского моря. Греческий дезертир из наемников в Египте по имени Фанес рассказал ему о трудностях похода и наилучшем способе их преодоления, особенно о трех днях пути по песчаной пустыне, совершенно без воды, которая лежит между Египтом и Иудеей. С помощью соседних аравийцев, с которыми он заключил договор и которые за эту услугу получили титул равных союзников, свободных от всякой дани, ему удалось преодолеть эту серьезную трудность и достичь Пелусия в восточном устье Нила, где против него были собраны ионийские и карийские войска на египетской службе, а также египетская армия[391].

К счастью для себя, египетский царь Амасис умер в период персидских приготовлений, за несколько месяцев до начала экспедиции, - после сорока четырех лет непрерывного процветания. Его смерть в этот критический момент, вероятно, стала главной причиной легкого завоевания, которое последовало за этим; его сын Псамменит унаследовал корону, но не сохранил ни способностей, ни влияния. Результат вторжения был предрешен, как обычно, угрожающим провидением - дождем, выпавшим на Фивы в Верхнем Египте; он был достигнут одной победой, хотя и храбро оспариваемой, при Пелусии, за которой после продолжительной осады последовал захват Мемфиса с личностью царя Псамменита. Камбизес послал митиленийский корабль к Мемфису с глашатаями, чтобы созвать город; но египтяне в пароксизме ярости выскочили из стен, разрушили корабль и разорвали команду на куски - дикий поступок, который навлек на них суровое возмездие после взятия. Псамменит, с которым поначалу обращались грубо и оскорбительно, в конце концов был

отпущен и даже получил возможность сохранить свое царское достоинство в качестве зависимого от Персии. Но вскоре его уличили или, по крайней мере, посчитали причастным к поднятию восстания против завоевателей, и он был предан смерти, а Египет перешел под власть сатрапа[392].

За пределами Египта еще оставались территории, которые Камбисес должен был завоевать, хотя Кирена и Барка, греческие колонии у берегов Ливии, сразу же оказались вне опасности, отправив ему дань и покорность в Мемфис. Он задумал три новых предприятия: одно - против Карфагена, по морю; два других - по суше, против эфиопов, далеко на юге по течению Нила, и против оракула и оазиса Зевса Аммона, среди ливийских пустынь. Он сам направил свои войска в Эфиопию, но был вынужден вернуть их, не дойдя до нее, так как они были на грани гибели от голода; а дивизия, которую он послал против храма Аммона, как говорят, была разбита песчаной бурей в пустыне. Экспедиция против Карфагена была отменена по причине, которая вполне заслуживает того, чтобы о ней вспомнить. Фенийцы, составлявшие самую эффективную часть его флота, отказались служить против своих родственников и колонистов, ссылаясь на святость взаимных клятв, а также на родственные и торговые узы.[393] Даже неистовый Камбисес был вынужден принять и, возможно, уважать этот почетный отказ, которому не подражали ионийские греки, когда Дарий и Ксеркс потребовали помощи своих кораблей против Афин, - мы должны добавить, однако, что тогда они были в гораздо более уязвимом и беспомощном положении, чем то, в котором фенийцы предстали перед Камбисесом.

Среди священных животных, столь многочисленных и столь различных в различных номах Египта, самым почитаемым был бык Апис. Однако египетская религия предъявляла такие особые требования к рождению, возрасту и знакам этого животного, что, когда он умирал, трудно было найти нового теленка, подходящего для того, чтобы сменить его. На поиски иногда уходило много времени, и когда, наконец, находился достойный преемник, радость в Мемфисе была необычайной и всеобщей. В тот момент, когда Камбисес вернулся в Мемфис из своей эфиопской экспедиции, полный унижения за ее результаты, случилось так, что только что был обнаружен новый Апис; и поскольку население города дало волю своей обычной праздничной пышности и восторгу, он истолковал это как намеренное оскорбление своих недавних несчастий. Тщетно жрецы и магистраты объясняли ему истинную причину этих народных манифестаций; он упорствовал в своей вере, наказывал одних смертью, других - розгами и велел убивать каждого, кого видели в праздничном наряде. Более того, чтобы довести свое возмущение чувствами египтян до крайнего предела, он послал за новооткрытым Аписом и вонзил свой кинжал в бок животного, которое вскоре после этого умерло от раны[394].

После этого зверского поступка, призванного стереть в памяти египетских жрецов бесчинства Хеопса и Хефрена и не имеющего аналогов за все двадцать четыре тысячи лет их предшествующей истории, Камбисес потерял всякую искру разума, которая еще оставалась в нем, и египтяне нашли в этом посещении новое доказательство мстительного вмешательства своих богов. Он не только совершил всевозможные изуверства над покоренным народом, среди которого остановился, а также над его храмами и гробницами, но и нанес удары по своим персидским друзьям и даже ближайшим кровным родственникам. Среди этих отвратительных злодеяний одно из величайших заслуживает особого внимания, поскольку впоследствии оно существенно повлияло на судьбу империи. Его младший брат Смердис сопровождал его в Египет, но был отослан обратно в Сузы, потому что царь ревновал к восхищению, которое вызывали его личная сила и качества. 395] Эта ревность переросла в тревогу и ненависть из-за сна, предвещавшего Смердису

владычество и завоевания; поэтому взбешенный Камбисес тайно послал в Сузы доверенного перса Прексаспа с прямым приказом избавиться от его брата. Прексаспес выполнил свое поручение, похоронив убитого принца своими руками[396] и скрыв это от всех, кроме нескольких вождей в царской резиденции.

Среди этих немногих вождей, однако, был один, медиец Патизейтес, принадлежавший к ордену волхвов, который видел в этом удобную ступеньку для своих личных амбиций и использовал ее как средство тайного вытеснения династии великого Кира. Пользуясь полным доверием Камбисеса, он, уезжая в Египет, получил от этого царевича полное управление дворцом и сокровищами с широкими полномочиями.[Кроме того, у него был брат, чрезвычайно похожий на покойного Смердиса; а так как открытое и опасное безумие Камбисеса способствовало отторжению от него умов персов, он решил провозгласить этого брата царем в своей комнате, как если бы это был младший сын Кира, наследовавший лишенному прав старшему. В одном важном вопросе ложный Смердис отличался от истинного. Он лишился ушей, которые сам Кир велел отрезать за обиду; но личное сходство, в конце концов, не имело большого значения, поскольку ему редко или никогда не позволяли показываться народу.[398] Камбисес, услышав о восстании в Сирии по возвращении из Египта, спешно садился на коня, чтобы отправиться на его подавление, когда несчастный случай, нанесенный ему мечом, оборвал его жизнь. Геродот рассказывает, что перед смертью он созвал вокруг себя персов, признался, что виновен в смерти своего брата, и уведомил их, что царствующий Смердис был всего лишь мединским претендентом, - убеждая их в то же время не поддаваться позору быть управляемым кем-либо, кроме перса и Ахеменида. Но если это правда, что он когда-либо озвучивал факты, никто ему не верил. Ибо Прексаспес, со своей стороны, был вынужден ради собственной безопасности отрицать, что он вложил свои руки в кровь сына Кира;[399] и таким образом своевременная смерть Камбисеса поставила лже-Смердиса без сопротивления во главе персов, которые все, или большая часть, верили, что ими правит подлинный сын Кира. Камбизес царствовал семь лет и пять месяцев.

Семь месяцев без сопротивления царствовал Смердис, поддерживаемый своим братом Патизейтесом; и если он проявлял недоверие к окружавшим его надменным персам, не приглашая их в свой дворец и не показываясь из него, то в то же время он старательно примирял с собой подвластные провинции, освобождая их от дани и военной службы на три года.[400] Такой отход от персидского принципа правления сам по себе был достаточен, чтобы вызвать отвращение к воинственным и хищным Ахеменидам в Сузах. Но, похоже, их подозрения относительно его подлинного характера так и не были полностью развеяны, и в восьмом месяце эти подозрения перешли в уверенность. Согласно персидскому обычаю, он забрал себе весь гарем своего предшественника, среди жен которого числилась Фæдимка, дочь знатного перса по имени Отанес. По просьбе отца Фæдыме взяла на себя опасную задачу - пощупать голову Смердиса, пока тот спал, и таким образом обнаружила отсутствие ушей.[Отанес, обладавший решающей информацией, не терял времени, чтобы договориться с пятью другими знатными ахеменидами об избавлении от царя, который был одновременно и медянином, и магом, и человеком без ушей;[402] Дарий, сын Гистаспека, сатрап Персиды, прибыл как раз вовремя, чтобы присоединиться к заговору в качестве седьмого. Как эти семь знатных людей убили Смердиса в его дворце в Сузах, - как впоследствии они обсуждали между собой, установить ли в Персии монархию, олигархию или демократию, - как, после того как было принято решение о первом из трех вариантов, было решено, что будущий царь, каким бы он ни был, должен брать себе жен только из семей семи заговорщиков, - как Дарий стал царем благодаря тому, что его конь первым из заговорщиков прокричал в определенном месте, Отанес, заранее отстранившись от участия в лотерее за трон, сохранил

за собой и своими потомками полную свободу и освобождение от правления будущего царя, который бы ни выпал в качестве приза, - все эти события Геродот пересказывает с обычной для него живостью, но с немалым добавлением эллинских идей и драматического орнамента.

Таким образом, диадема, привилегированный головной убор персидских царей,[403] перешла из рода Кира, но не отделилась от великой фратрии Ахеменидов, к которой принадлежали Дарий и его отец Гистаспес, а также Кир. Этот важный факт не вызывает сомнений, и, вероятно, действия, приписываемые семи заговорщикам, в основном верны, если не считать их рассуждений и намерений. Но в этом, как и в других случаях, мы должны остерегаться иллюзии, которую склонна создавать историческая манера Геродота. Он представляет нам с такой описательной силой личное повествование, - индивидуальные действия и речи, со всеми сопутствующими надеждами, страхами, сомнениями и страстями, - что наше внимание отвлекается от политического смысла происходящего, который мы вынуждены часто собирать из намеков в речах исполнителей, или из последствий, косвенно замеченных впоследствии. Когда мы соберем вместе все случайные замечания, которые он опускает, окажется, что смена скипетра Смердиса на Дария была гораздо более значительным политическим событием, чем можно было бы предположить из его прямого повествования. Смердис олицетворяет перевес медян над персами и сравнительную деградацию последних, которые с приходом Дария вновь оказываются на возвышении. Медины и маги в данном случае идентичны; ведь маги, хотя и были незаменимы в качестве жрецов для персов, по сути, являлись одним из семи мединских племен .[404] Таким образом, получается, что хотя Смердис правил как сын великого Кира, он все же управлял с помощью медяков и магов, лишив персов тех верховных привилегий и преобладания, к которым они привыкли. 405] Мы видим это по тому, что последовало сразу после убийства Смердиса и его брата во дворце. Семь заговорщиков, выставив окровавленные головы обеих жертв в качестве доказательства своего поступка, подстрекнули персов в Сузах к всеобщей резне магов, многие из которых были действительно убиты, а остальные спаслись лишь бегством, укрытием или наступлением ночи. И годовщина этого дня впоследствии отмечалась среди персов торжественностью и праздником, называемым Магофонией; ни одному магическому не разрешалось в этот день появляться на людях". 406 Потомки Семи сохранили привилегированное имя и звание,[407] вплоть до уничтожения монархии Александром Македонским.

Более того, похоже, что власть Дария не была легко признана по всей империи, и прежде чем она стала таковой, наступил период смятения. 408] Медяне фактически восстали и попытались силой удержаться против Дария, который, однако, нашел средства, чтобы подчинить их: хотя, созвав свои войска из различных провинций, он не получил от сатрапов всеобщего повиновения. Особенно могущественный Орэтеc, назначенный Киром сатрапом Лидии и Ионии, не только не послал войска на помощь Дарию против медяков,[409] но даже воспользовался расстроеным состоянием правительства, чтобы предать смерти своего личного врага Митробатеса, сатрапа Фригии, и присвоить эту сатрапию в дополнение к своей собственной. Ариандес, сатрап, назначенный Камбисеком в Египте, вел себя скорее как равный Дарию, чем как его подданный.[410] Подвластные провинции, которым Смердис предоставил освобождение от дани и военной службы на три года, были благодарны и привязаны к его памяти, и отныне были довольны новой династией; более того, восстание вавилонян, задуманное за год или два до его исполнения, возникло на почве чувств этого времени.[411] Но возобновление старого конфликта между двумя главными частями империи, медами и персами, несомненно, является самой важной чертой этой политической революции. Лже-Смердис со своим братом, оба из которых были медянами и магами,

возродили медийскую национальность до состояния превосходства над персидской, напомнив о том, какой она была при Астиагесе; в то время как Дарий, чистый перс, а не (как мул Кир) наполовину медянин и наполовину перс, вернул персидскую национальность в ее возвышенное состояние, хотя и не без необходимости подавить силой восстание медян.[412]

Уже отмечалось, что подчинение раскольников-медян было не единственным затруднением в первые годы Дария. Орэтэс, сатрап Фригии, Лидии и Ионии, управлявший, кажется, всем западным побережьем Малой Азии, - обладавший большой военной силой и доходами и окруженный телохранителем из тысячи туземцев-персов, - сохранял надменную независимость. Он тайно избавлялся от курьеров, посланных вызвать его в Сузы, и даже отомстил некоторым главным персам, которые в частном порядке нанесли ему обиду. Дарий, не сочтя благоразумным нападать на него открытой силой, предложил главным персам в Сузах опасную задачу - уничтожить его с помощью хитрости. Тридцать человек из них вызвались взяться за это, и Багей, сын Артонтаса, которому по жребию выпала эта задача, выполнил ее с помощью маневра, который мог бы послужить уроком для османского правительства в его затруднениях со сговорчивыми пашами. Отправившись в Сарды, снабженный множеством различных царских указов, официально изложенных и скрепленных печатью Дария, он предстал перед Орэтесом на аудиенции, рядом с которым находился государственный секретарь сатрапии, а вокруг стояли персидские стражники. Он представил свои постановления для чтения вслух секретарю, выбрав сначала те, которые касались не очень важных вопросов; но когда он увидел, что стражники слушают с глубоким благоговением, а имя и печать царя непреодолимо влекут их, он решился рассказать о настоящей цели своей опасной миссии. Секретарю был передан указ, который он зачитал вслух, а именно: "Персы, царь Дарий запрещает вам впредь служить стражами у Орэтека". Послушные стражники тут же отдали свои копья, когда Багей велел зачитать им последний приказ: "Царь Дарий приказывает персам в Сардах убить Орэтэса". Стражники выхватили мечи и убили его на месте, а его большие сокровища были перевезены в Сузы: Дарий стал бесспорным владыкой, а Багей, вероятно, сатрапом[413].

Другой преданный приверженец и еще одно, более запоминающееся коварство, повергли перед Дарием на землю могучие стены и ворота восставшего Вавилона. Жители этого города усердно занимались подготовкой к провозглашению и сохранению своей независимости как во время слабого провинциального правления лже-Смердиса, так и в период смятения и конфликта, который длился до того, как Дарий утвердился и стал послушным. Накопив большой запас провизии и других необходимых вещей для длительной осады, не обнаружив себя, они в конце концов открыто провозгласили свою независимость. И так сильна была их решимость сохранить ее, что они прибегли к действиям, которые, если Геродот правильно сообщает, являются одним из самых страшных преступлений, описанных в его истории. Чтобы провизии хватило надолго, они задушили всех женщин в городе, оставив только их матерей и по одной женщине в каждой семье для выпечки.[414] Мы не можем не предположить, что это было преувеличено из частичного во всеобщее уничтожение. Однако даже с такой поправкой оно иллюстрирует ту свирепую силу воли и преобладание сильной национальности в сочетании с антипатией к чужеземцам над всеми более мягкими симпатиями, которые, похоже, отличают семитские народы и которые так часто прослеживаются в еврейской истории Иосифа.

Дарий, собрав все имеющиеся в его распоряжении силы, осадил восставший город, но не смог произвести на него никакого впечатления ни силой, ни хитростью. Он попытался повторить процедуру, с помощью которой Кир взял его вначале; но осажденные на этот раз оказались начеку. Осада длилась уже двадцать месяцев без малейшего прогресса, и

вавилоняне насмеялись над осаждающими с высоты своих неприступных стен, когда однажды перед Дарием предстал знатный персидский вельможа Зопир, сын Мегабиза, который был одним из семи заговорщиков против Смердиса, в состоянии страшного увечья: у него были отрезаны нос и уши, а тело всячески искажено. Он намеренно так изувечил себя, "считая нетерпимым, чтобы ассирийцы высмеивали персов"[415], намереваясь, как он вскоре сообщил Дарию, пройти в город как дезертир, чтобы предать его, - для чего были согласованы меры. Вавилоняне, увидев перса самого высокого ранга в столь бедственном положении, охотно поверили его заверениям, что он был наказан по приказу царя и что он перешел к ним как единственное средство добиться для себя единственного возмездия. Они поручили ему командование отрядом, с которым он получил несколько преимуществ в различных вылазках, в соответствии с предыдущим соглашением с Дарием, пока, наконец, доверие вавилонян не стало беспредельным, они передали ему в руки заботу о главных воротах. В решающий момент эти ворота были распахнуты, и персы стали хозяевами города[416].

Так неприступный Вавилон был разрушен во второй раз,[417] и Дарий принял меры предосторожности, чтобы вывести его из строя для сопротивления в третий раз. Он приказал разрушить стены и ворота и распять три тысячи главных горожан; остальные жители были оставлены в разобранном городе, а пятьдесят тысяч женщин были обложены податью с соседних провинций, чтобы заменить женщин, задушенных во время первого восстания.[418] Зопир был назначен пожизненным сатрапом этой территории со всеми ее доходами, получая, кроме того, все дополнительные награды, которые Дарий мог дать, и щедрые заверения последнего, что он предпочел бы иметь Зопира без ран, чем владение Вавилоном. В одной из предыдущих глав я уже намекнул, что разрушение стен, о котором здесь говорится, не следует считать полным и непрерывным, да и не было никакой необходимости в том, чтобы оно было таким. Частичного разрушения было бы вполне достаточно, чтобы оставить город без защиты; а описание Геродотом состояния дел, в котором они находились во время его визита, доказывает, что часть стен еще сохранялась. Остается добавить одно обстоятельство, касающееся последующего состояния Вавилона под властью Персидской империи. Город с принадлежащей ему территорией составлял сатрапию, которая не только платила большую дань (тысячу эвбейских талантов серебра) и вносила гораздо большее количество провизии на содержание персидского двора, чем любая другая из двадцати сатрапий империи, но и предоставляла, кроме того, ежегодный набор из пятисот евнухов-юношей.[419] Можно предположить, что это было сделано отчасти в качестве наказания за прошлый бунт, поскольку подобное обязательство не было наложено ни на одну другую сатрапию.

Прочно утвердившись на троне, Дарий занимал его тридцать шесть лет, и его правление было организационным, отличным от правления двух его предшественников; это отличие персы хорошо понимали и отмечали, называя Кира отцом, Камбиса - хозяином, а Дария - торговцем, или плутом.[420] В устах персов этот последний эпитет должен быть истолкован как немаловажный комплимент, поскольку он намекает, что он был первым, кто ввел некоторый методический порядок в имперскую администрацию и финансы. При двух прежних царях не было определенного размера дани, взимаемой с подвластных провинций, которые снабжались так называемыми подарками, не имевшими никаких фиксированных ограничений, кроме тех, которые могли удовлетворить сатрапа в каждом районе. Но Дарий, сменивший Смердиса, который пользовался популярностью в провинциях благодаря большим финансовым льготам, и в дальнейшем столкнувшийся с завистью и недовольством персов, бывших равными ему по рангу, вероятно, счел целесообразным освободить провинции от бремени неопределенных поборов. Он разделил всю империю на двадцать

департаментов, обложив каждый из них фиксированным ежегодным налогом и фиксированным взносом на содержание двора. Это, несомненно, было большим улучшением, хотя ограничение суммы, которую мог потребовать великий царь в Сузах, нисколько не мешало сатрапу в его собственной провинции предъявлять неопределенные требования за ее пределами. Последний был маленьким царем, который действовал почти по своему усмотрению во внутреннем управлении своей провинцией, подчиняясь лишь необходимости посылать имперскую дань, ограждать от внешних врагов и обеспечивать достаточный военный контингент для зарубежных предприятий Великого царя. К каждому сатрапу был приставлен царский секретарь, или контролер, доходов[421], который, вероятно, управлял имперскими финансами в провинции и на которого двор Сузы мог смотреть как на наблюдателя за самим сатрапом. Не следует думать, что персидские власти в какой-либо провинции вмешивались в детали налогообложения или взносов, как они касались отдельных лиц. Установив общую сумму, подлежащую уплате сатрапией, сатрап или секретарь распределял ее между различными составляющими округами, городами или провинциями, оставляя местным властям в каждой из них задачу по начислению налога на отдельных жителей. Поэтому из необходимости, а также из-за лености нравов и политической некомпетентности персы были вынуждены уважать власти, которые они находили стоящими как в городе, так и в деревне, и оставлять в их руках большую долю подлинного влияния; часто отменяемого, правда, деспотичным вмешательством со стороны сатрапа, когда его побуждали какие-либо страсти, но никогда не вытесняемого полностью. В важных городах и станциях обычно стояли персидские гарнизоны, и от эксцессов военного сословия подданные, вероятно, были защищены слабо или вообще никак. Тем не менее, провинциальные правительства сохранялись, и часто даже мелкие цари, управлявшие отдельными районами в период их независимости до персидского завоевания, сохраняли свой титул и достоинство в качестве данников при дворе Сузы.[422] Таким образом, империя Великого Царя представляла собой совокупность разнородных элементов, не связанных между собой никакими узами, кроме общего страха и подчинения, - ни слаженной, ни самоподдерживающейся, ни пронизанной какой-либо общей системой или духом национальности. В основных политических чертах она напоминала современную турецкую и персидскую империи,[423] хотя и отличалась от них многими различиями, вызванными магометанством и христианством, и, очевидно, не доходила до той же крайности хищничества, коррупции и жестокости в деталях.

Дарий разделил Персидскую империю на двадцать сатрапий, каждая из которых включала определенную непрерывную территорию и один или несколько населявших ее народов, названия которых приводит Геродот. Размер дани, выплачиваемой каждой сатрапией, был определен: золотом, согласно эвбейскому таланту, платили индийцы самой восточной сатрапии, серебром, согласно вавилонскому, или более крупному таланту, - остальные девятнадцать. Геродот считает, что соотношение золота и серебра составляло 13 : 1. С девятнадцати сатрапий, плативших серебром, ежегодно взималось семь тысяч семьсот сорок вавилонских талантов, что равнялось примерно двум миллионам девятистам шестидесяти четырем тысячам фунтов стерлингов: с индийцев, которые платили только золотом, поступала сумма, равная (из расчета 1 : 13) четырем тысячам шестистам восьмидесяти эвбейским талантам серебра, или примерно одному миллиону двумстам девяноста тысячам фунтов стерлингов[424].

Чтобы объяснить, как получилось, что с одной сатрапии была взыскана сумма, равная двум пятым совокупного сбора с остальных девятнадцати, Геродот останавливается на огромном населении, обширной территории и обильной добыче золота среди тех, кого он называет индийцами - самыми восточными жителями земли, поскольку за их пределами не было

ничего, кроме непригодных для жизни песков, - простиравшихся, насколько мы можем судить, от Бактрии на юг вдоль Инда до его устья, но как далеко на восток, мы определить не можем. Дарий, как говорят, предпринял экспедицию против них и покорил их: более того, он утверждает, что построил и отправил корабли вниз по течению Инда, от города Каспатири и территории Пактиев, в его верхних районах, до самого устья: затем в Индийский океан, вокруг полуострова Аравия и вверх по Красному морю до Египта. Кораблями командовал Скилакс, грек из Карьянды на юго-западном побережье Малой Азии,^[425] который, если это утверждение верно, осуществил план морского предприятия не только на сто семьдесят лет раньше, но и гораздо масштабнее, чем знаменитое путешествие Неарха, адмирала Александра Македонского, - ведь тот прошел только от Инда до Персидского залива. Восточные части Персидской империи оставались настолько неизвестными и необследованными до македонского вторжения, что мы не можем критиковать эти отдельные утверждения Геродота. Ни один из персидских царей после Дария, похоже, не посещал их, а в том, регулярно ли взималась с них непомерная сумма, предусмотренная персидской рентой, можно не сомневаться. В то же время мы можем обоснованно полагать, что горы в северной части Персидской Индии - Кабул и Малый Тибет - в то время были чрезвычайно плодородны на золото, и что количество этого металла, которое сейчас кажется почти сказочным, могло быть часто получено. Похоже, что золото во всех частях земли, насколько известно до сих пор, добывается исключительно у поверхности; так что страна, некогда богатая этим металлом, вполне могла истощить все свои запасы и в более поздний период остаться вообще без золота.

Из девятнадцати сатрапий, плативших серебром, самой тяжелой была Вавилония, которая выплачивала тысячу талантов: следующим по размеру сбора был Египет, плативший семьсот талантов, помимо добычи рыбы из озера Мёрис. Остальные сатрапии различались по размеру, вплоть до ста семидесяти талантов, которые взимались с седьмой сатрапии (по перечислению Геродота), состоящей из саттагидов, гандариев, додиков и апарытов. Ионийцы, иолийцы, магнезийцы на Мæандре и на горе Сипил, карийцы, ликийцы, милийцы и памфилийцы, включая побережье Малой Азии к югу от Кане, а оттуда вокруг южного мыса до Фазелиса, считались одним подразделением и платили четыреста талантов. Но мы можем быть уверены, что на самом деле с народа брали гораздо больше, чем эта сумма, когда читаем, что одна только Магнесия впоследствии выплачивала Фемистоклу доход в размере пятидесяти талантов в год.^[427] Мисийцы и лидийцы были включены, вместе с некоторыми другими, в другой раздел, а эллиспонтские греки - в третий, вместе с фригийцами, вифинянами, пафлагонцами, мариандинами и сирийцами, платившими триста шестьдесят талантов - почти столько же, сколько платили сама Сирия, Феникия и Иудея с островом Кипр. Помимо этой регулярной дани и неопределенных сумм, взимаемых сверх нее,^[427] существовали некоторые зависимые народы, которые, хотя и были освобождены от дани, время от времени вносили суммы, называемые подарками; кроме того, взимались дополнительные взносы на содержание огромной свиты, которая всегда лично присутствовала при царе. Целая треть этого последнего бремени приходилась на одну только Вавилонию, благодаря ее обильному плодородию^[428]. Она выплачивалась продуктами, так как, по всей видимости, для царского потребления отправлялись особые продукты из всех частей империи.

Как бы несовершенно мы ни следили сейчас за географическим распределением подвластных народов, приведенным Геродотом, оно чрезвычайно ценно как единственная сохранившаяся достоверная статистика всей Персидской империи. Описанное им расположение сатрапий претерпело изменения в последующие времена; по крайней мере, оно не согласуется с различными утверждениями в "Анабасисе" Ксенофонта и у других

авторов, повествующих о персидских делах, относящихся к четвертому веку до н. э. Но ни у одного другого автора, кроме Геродота, мы не находим полного обзора и распределения империи. Это, действительно, новая тенденция, которая теперь проявляется в персе Дарии, по сравнению с его предшественниками: не просто завоевывать, вымогать и отдавать, но делать все это с чем-то вроде метода и системы,^[429] и определять обязательства сатрапов по отношению к Сузам. Другой замечательный пример той же тенденции можно найти в том факте, что Дарий был первым персидским царем, который чеканил деньги: его монета из золота и серебра, дарик, была самой ранней продукцией персидского монетного двора.^[430] Доходы, привозимые в Сузы в виде металлических денег различных видов, переплавлялись отдельно и в жидком состоянии заливались в кувшины или глиняные сосуды; когда металл остывал и затвердевал, кувшин разбивался, оставляя твердую массу, от которой отрезались части, как того требовал казион.^[431] И в дополнение к этим административным, финансовым и денежным мерам, первым создателем которых был Дарий, мы, вероятно, можем приписать ему первое введение той системы дорог, мест отдыха и постоянных курьеров, которая связывала Сузы и Экбатаны с отдаленными частями империи. Геродот подробно описывает царскую дорогу из Сард в Сузы, которая длилась девятью днями и пересекала реки Халис, Евфратес, Тигр, Большой и Малый Заб, Гиндес и Чоаспес. И по этому рассказу мы видим, что в его время она содержалась в отличном порядке, с удобством для путешественников^[432].

Дарий также первым завершил завоевание ионийских греков, овладев важным островом Самос. Этот остров сохранил свою независимость в то время, когда персидский полководец Гарпаг совершил завоевание Ионии. Он не уступил добровольно, когда покорились Хиос и Лесбос, и у персов не было флота, чтобы напасть на него; феники также еще не научились обходить Триопский мыс. Действительно, депрессия, охватившая другие города Ионии, скорее способствовала возвышению Самоса под энергичным и беспринципным деспотизмом Поликратеса. Этот честолюбивый саамиец, примерно через десять лет после завоевания Сард Киром (кажется, между 536 и 532 гг. до н. э.), с помощью своих братьев Пантагнота и Силосона и небольшой группы заговорщиков, силой или обманом захватил власть на своем родном острове.^[433] Сначала три брата делили верховную власть, но вскоре Поликратес предал смерти Пантагнота, изгнал Силосона и стал деспотом единолично. На этом посту его честолюбие, вероломство и удача были одинаково замечательны. Он захватил несколько соседних островов и даже несколько городов на материке; он вел успешную войну с Милетом и нанес значительное поражение лесбийским кораблям, пришедшим на помощь Милету; он собрал отряд из ста вооруженных кораблей, называемых пентеконтерами, и тысячи наемных лучников, - стремясь ни к чему иному, как к владычеству над Ионией и островами в Эгейском море. Одинаково страшный для друзей и врагов своим неизбирательным духом агрессии, он приобрел военно-морскую мощь, которая в то время, похоже, была самой большой в греческом мире.^[434] Он был в тесном союзе с Амасисом, царем Египта, который, однако, в конце концов порвал с ним. Учитывая его поведение по отношению к союзникам, такой разрыв вовсе не удивителен; но Геродот приписывает его тревоге, которую Амасис испытывал из-за непрерывной и сверхчеловеческой удачи Поликратеса, - степень удачи, которая, несомненно, должна была в конечном итоге повлечь за собой соответствующую интенсивность страданий от рук завистливых богов. Действительно, Геродот, глубоко проникнутый этой верой в вечно присутствующего врага, который не позволяет ни одному человеку быть очень счастливым или долго счастливым безнаказанно, облакает ее в форму эпистолярного предупреждения Амасиса Поликратесу, советуя ему причинить себе какую-нибудь своевременную беду или страдание, чтобы, если возможно, отвратить окончательный приговор, - вовремя пустить кровь, чтобы изобилие счастья не закончилось апоплексией.^[435] Повинуясь этому совету,

Поликратес бросил в море любимое кольцо, несравненное по цене и красоте; но, к несчастью, через несколько дней кольцо вновь появилось в брюхе прекрасной рыбы, которую рыбак послал ему в подарок. Теперь Амасис предвидел, что окончательная апоплексия неизбежна, и без промедления разорвал союз с Поликратесом - хорошо известная история, интересная как свидетельство древней веры, и не менее интересная как демонстрация силы этой веры порождать вымышленные детали из реальных персонажей, таких как я уже касался в истории Солона и Креза, а также в других местах.

Факты, упомянутые Геродотом, скорее заставляют нас поверить, что это был Поликратес, который с характерной для него верностью разорвал дружбу с Амасисом,^[436] сочтя подходящим для своей политики укрепление союза с Камбисесом, когда тот готовился к вторжению в Египет. В этом вторжении ионийские подданные Персии были призваны на службу, и Поликратес, считая, что это хорошая возможность избавиться от некоторых саамских недовольных, послал к персидскому царю просить от себя вспомогательных войск. Камбизес, ухватившись за перспективу помощи от первого морского владыки Эгейского моря, отправил сорок саамских трирем к Нилу, взяв на борт подозреваемых, а также передав персидскому царю тайную просьбу, чтобы им никогда не позволяли вернуться. Однако либо они так и не отправились в Египет, либо нашли способ сбежать; до Геродота дошли весьма противоречивые рассказы. Но они точно вернулись на Самос, напали на Поликрата у дома и были отброшены его превосходящими силами, не произведя никакого впечатления. После этого они отправились в Спарту просить помощи^[437].

Здесь мы можем отметить постепенно усиливающуюся тенденцию греческого мира признавать Спарту в качестве своего рода главы, защитника или судьи в случаях внешней опасности или внутренних разногласий. Самым ранним известным нам достоверным примером обращения к Спарте в этом качестве является случай Крёза против Кира, затем - случай ионийских греков против последнего, а случай с саамийцами, который мы видим сейчас, является третьим. Важные события, связанные с изгнанием Писистратидов из Афин и еще более официально подтвердившие главенство Спарты, происходят через пятнадцать лет после настоящего события; они уже были описаны в предыдущей главе и служат еще одним доказательством прогресса в том же направлении. Наблюдение за ростом этих новых политических привычек необходимо для правильного понимания греческой истории.

Прибыв в Спарту, саамские изгнанники, охваченные унынием и страданиями, начали подробно рассказывать о своем деле. Их долгие речи раздражали, а не успокаивали спартанцев, которые говорили или их заставляли говорить: "Мы забыли первую часть речи, а последняя часть для нас непонятна". На что саамийцы явились на следующий день просто с пустым кошельком, спасая: "В нашем кошельке нет еды". "Ваш кошелек лишний" (сказали спартанцы), *то есть* слов хватило бы и без него.^[438] Помощь, о которой они просили, была оказана.

Нам говорят, что и лакедемоняне, и коринфяне, которые присоединились к ним в задуманной экспедиции, имели отдельные причины для ссоры с саамитянами,^[439] которые послужили более сильным мотивом, чем простое желание помочь страдающим изгнанникам. Но скорее кажется, что последующие греки вообще истолковали вмешательство лакедемонян против Поликрата как пример постоянной спартанской ненависти к деспотам. Действительно, единственные известные нам факты, подтверждающие антидеспотические настроения лакедемонян, - это их действия против Поликрата и Гиппия; возможно, были и другие аналогичные случаи, но мы не можем указать их с уверенностью. Как бы то ни было, объединенный отряд лакедемонян и коринфян сопровождал изгнанников до Самоса и напал на Поликрата в городе. В течение сорока

дней они делали все возможное, чтобы захватить его, и одно время были близки к успеху, но в конце концов были вынуждены отступить без всякого успеха. "Город был бы взят, - говорит Геродот, - если бы все лакедемоняне действовали подобно Архиасу и Ликопу, которые, тесно прижавшись к отступающим саамитянам, были заперты в городских воротах и погибли". Историк слышал об этом подвиге из личной беседы с Архиасом, внуком упомянутого выше человека, жившего в демоне Питана в Спарте, - его отец носил имя Самий, и он уважал саамитян больше других греков, потому что они устроили двум храбрым воинам, убитым в их городе, почетные и публичные похороны.[440] Геродот редко указывает своих информаторов: если бы он делал это чаще, ценность и интерес его истории значительно бы возросли.

После отступления лакедемонских войск саамские изгнанники остались без средств к существованию, и в поисках какой-нибудь слабой и богатой общины для грабежа они остановились на острове Сифнос. Сифнийцы в те времена были самыми богатыми островитянами в Эгейском море благодаря продуктивности своих золотых и серебряных рудников, продукцию которых ежегодно распределяли между гражданами, оставляя десятину для Дельфийского храма. 441] Их сокровищница была одной из самых богато обставленных, которыми могло похвастаться это святое место, а сами они, вероятно, в те времена раннего процветания были причислены к самым блестящим ионийским гостям на Делийском празднике. Высадившись на Сифносе, саамийцы потребовали под видом ссуды десять талантов: получив отказ, они принялись разорять остров, нанеся жителям тяжелое поражение и вымогая у них в итоге сто талантов. Затем они купили у жителей Гермियोны, расположенной на Арголическом полуострове, соседний остров Гидреа, известный в современной греческой войне. Но, похоже, впоследствии их планы изменились, так как вместо того, чтобы занять его, они передали его под опеку триезенцев, а сами отправились в Крету, чтобы изгнать закинфских поселенцев в Кидонии. Это им удалось, и они были вынуждены обосноваться в этом месте. Но после того как они пробыли там пять лет, критяне получили морскую помощь от Эгины, благодаря чему место было отвоевано, а саамские захватчики окончательно проданы в рабство[442].

Таков был печальный конец врагов Поликратеса: тем временем сам деспот был могуществен и процветающ как никогда. Самос при нем стал "первым из всех городов, эллинских или варварских"[443], а великие работы, которыми восхищался Геродот на острове,[444] - акведук для города, пробитый через гору длиной в семь вёрст, мол для защиты гавани, длиной в два вёрста и глубиной в двадцать сажений, и огромный храм Герака - вероятно, были расширены и завершены, если не начаты, при нём. Аристотель приводит общественные работы Поликрата в качестве примера глубокой политики деспотов, направленной на то, чтобы как занять, так и обеднять своих подданных.[Самый ранний из всех греческих талассократов, или морских царей, - начальник величайшего флота в Эгейском море, а также многих островов, - он проявил свою любовь к письму в дружбе с Анакреоном, а свою набожность - в посвящении Делийскому Аполлону[446] соседнего острова Роней. Но в то время как он, затмевая всех своих современников, одерживал победы над Спартой и Коринфом и планировал дальнейшее возвышение, он был внезапно брошен в пучину гибели;[447] и притом, как бы недвусмысленно демонстрируя происки завистливых богов, не из-за мести одной из своих многочисленных жертв, а по беспричинной злобе незнакомца, которого он никогда не обижал и даже не видел. Персидский сатрап Орэтеc, живший на соседнем материке, воспыал к нему непримиримой ненавистью: никто не мог сказать, почему, ведь он не собирался нападать на остров; а ничтожные причины, предположительно выдвигаемые, лишь доказывали, что истинная причина, какой бы она ни была, неизвестна. Воспользовавшись известным честолюбием и корыстолюбием

Поликратеса, Орэтэс отправил на Самос гонца, притворившись, что его жизни угрожает Камбисес и что он хочет скрыться с богатыми сокровищами. Он предложил Поликратесу долю в этих сокровищах, достаточную для того, чтобы сделать его хозяином всей Греции, насколько это можно сделать с помощью денег, при условии, что саамский принц приедет, чтобы увезти его. Мæандрий, секретарь Поликратеса, был послан в Магнесию на Мæандре, чтобы навести справки; он увидел сатрапа с восемью большими сундуками, полными золота, - вернее, так казалось, но на самом деле они были полны камней, а сверху покрыты слоем золота[448], - привязанными и готовыми к отплытию. Користволюбие Поликратеса не устояло перед столь богатой приманкой: он переправился в Магнесию со значительной свитой и таким образом оказался во власти Орэтеса, несмотря на предостережения его пророков и муки его испуганной дочери, которой его приближающаяся судьба была открыта во сне. Сатрап убил его и распял тело, отпустив всех саамов, которые сопровождали его, с намеком, что они должны благодарить его за то, что он обеспечил им свободное правление, но оставив в плену чужеземцев и рабов.[449] Смерть самого Орэтеса, последовавшая вскоре после этого, уже была описана. Она рассматривается Геродотом как наказание за его вопиющий поступок в деле Поликратеса[450].

После отъезда последнего из Самоса, в расчете на скорое возвращение, Мейандрий был оставлен в Самосе в качестве его лейтенанта; неожиданная катастрофа Поликратеса привела его в изумление и замешательство. Владея крепостями, солдатами и сокровищами, которые составляли механизм его могущественного хозяина, он понимал, насколько рискованно пытаться использовать их по своему усмотрению. Отчасти из этих опасений, отчасти из искренней политической морали, которая с большей или меньшей силой преобладала в каждом греческом лоне, он решил сложить с себя власть и предоставить острову права. "Он хотел (говорит историк в примечательной фразе)[451] поступить как справедливейший из людей; но ему не позволили этого сделать". Первым делом он воздвиг в пригороде алтарь в честь Зевса Элевтерия и огородил участок земли, который существовал и во времена Геродота: затем он созвал собрание саамитян. "Вы знаете, - говорит он, - что вся власть Поликрата теперь в моих руках, и ничто не мешает мне продолжать править вами. Однако то, что я осуждаю в другом, я не буду делать сам, - а я всегда осуждал Поликратеса и ему подобных за то, что они стремятся властвовать над такими же людьми, как и они сами. Теперь, когда Поликратес подошел к концу своей судьбы, я сразу же отменяю повеление и провозглашаю среди вас равный закон, оставляя себе в качестве привилегий, во-первых, шесть талантов из сокровищ Поликратеса, - во-вторых, наследственное жречество Зевса Элевтерия для себя и моих потомков навечно. Для него я только что выделил священный участок, как для бога той свободы, которую я теперь передаю тебе".

Это разумное и щедрое предложение полностью оправдывает эпитет Геродота. Однако саамские слушатели восприняли его совсем иначе. Один из главных людей, Телесарх, воскликнул под аплодисменты остальных: "Ты правишь нами, ничтожество и негодяй! Ты недостойн править: не думай об этом, но дай нам отчет о деньгах, которыми ты распоряжаешься"[452].

Столь неожиданный ответ произвел полный переворот в сознании Меандрия. Ему не оставалось ничего другого, как сохранить власть любой ценой, что он и решил сделать. Удалившись в акрополь под предлогом подготовки своих денежных счетов к проверке, он послал за Телесархом и своими главными политическими врагами одного за другим,

намекая, что они открыты для проверки. Как только они прибыли, их заковали в цепи, а Мæандрий остался в акрополе со своими солдатами и сокровищами, как объявленный преемник Поликратеса. Таким образом, саамы после короткого часа безумного хвастовства вновь оказались в рабстве. "Казалось (говорит Геродот), что они не желали быть свободными"[453].

Мы не можем не сравнить их поведение в этом случае с поведением афинян двенадцатью годами позже, после изгнания Гиппия, о котором рассказывалось в предыдущей главе. Положение саамов было гораздо более благоприятным для спокойной и успешной работы свободного правительства; ведь у них было преимущество добровольной и искренней отставки фактического деспота. Однако жажда реакционного следствия не позволила им даже разумно оценить свои силы в обеспечении его исполнения: они сразу перешли от крайнего подчинения к властной и губительной опрометчивости. В то время как афиняне, находясь в гораздо менее благоприятных обстоятельствах, избежали роковой ошибки, пожертвовав перспективами будущего ради воспоминаний о прошлом; проявили стремление приобрести права и выполнить обязанности свободного сообщества; прислушивались к мудрым советам, поддерживали единодушие, и героическими усилиями преодолели силы, значительно превосходящие их. Если мы сравним размышления Геродота об одном случае и о другом,[454] мы будем поражены разницей, которую эти размышления подразумевают между афинянами и саамийцами, - разницей, частично объясняемой, несомненно, чистым эллинизмом первых, но также в значительной степени объясняется предварительными уроками солонийской конституции, которые были заменены, но не уничтожены во время деспотизма Пеисистратидов, последовавшего за этим.

События, последовавшие на Самосе, мало чем отличаются от череды преступлений и бедствий. Пленники, которых Мæандрий держал в акрополе, были убиты во время его опасной болезни его братом Ликаретом, который решил, что так ему будет легче завладеть скипетром. Но Мæандрий выздоровел и, должно быть, продолжал оставаться деспотом год или два: это была, однако, слабая деспотия, более или менее спорная на острове и сильно отличавшаяся от железной руки Поликратеса. В таком неприглядном состоянии саамы были удивлены появлением нового претендента на их скипетр и акрополь, и, что было гораздо более грозным, персидской армии, поддерживающей его.

Силосону, брату Поликратеса, принявшему первоначальное участие в заговоре и узурпации брата, сначала позволили разделить плоды этого заговора, но вскоре он был изгнан. В этом изгнании он оставался в течение всей жизни Поликратеса и до восшествия Дария на персидский престол, которое последовало примерно через год после смерти Поликратеса. Он оказался в Мемфисе, в Египте, в то время, когда там находился Камбисес со своей завоевательной армией и когда Дарий, тогда еще малоизвестный перс, служил среди его гвардейцев. Силосон прогуливался по агоре Мемфиса в алом плаще, который очень понравился Дарию, и он предложил купить его. Божественное вдохновение побудило Силосона ответить:[455] "Я не могу ни за какую цену продать его; но я отдаю его тебе даром, если он должен быть твоим". Дарий поблагодарил его и принял плащ, и несколько лет даритель обвинял себя в глупом добродушии. 456] Но события развивались, и наконец Силосон с удивлением узнал, что неизвестный перс, которому он подарил плащ в Мемфисе, стал царем во дворце в Сузах. Он отправился туда, объявил себя греком, а также благодетелем нового царя и был допущен в царское присутствие. Дарий забыл о его личности, но прекрасно помнил приключение с плащом, когда оно всплыло в его памяти, - и проявил готовность воздать по заслугам великому царю за прежние, пусть и небольшие, услуги, оказанные простому солдату в Мемфисе. Золото и серебро в изобилии предлагали

Силосону, но он отверг их, потребовав, чтобы остров Самос был завоеван и передан ему без резни и порабощения жителей. Его просьба была выполнена. Отанес, инициатор заговора против Смердиса, был отправлен с войском на побережье Ионии, перевез Силосона на Самос и неожиданно высадил его на острове[457].

Мæндрий был не в состоянии противостоять вторжению, да и самосцы в целом не были настроены поддерживать его. Он заключил с Отанесом договор, по которому согласился освободить место для Силосона, эвакуировать остров и сразу же впустить персов в город, сохранив, однако, на время, необходимое для высадки своего имущества и сокровищ, акрополь, где было отдельное место для высадки, и даже подземный ход и тайный портал для высадки, - вероятно, одно из предупреждений Поликратеса. Отанес охотно согласился на эти условия и сам со своими главными офицерами вошел в город, а армия расположилась вокруг; Силосону же казалось, что он вот-вот взойдет на место своего покойного брата без насилия и кровопролития. Но саамийцам была уготована судьба более печальная. У Мæндрия был брат по имени Харилай, буйный нравом и наполовину безумный, которого он был вынужден держать в заточении. Этот человек, выглянув из окна своей комнаты, увидел, что персидские офицеры спокойно сидят по всему городу и даже под воротами акрополя, без охраны, полагаясь на съезд: кажется, это были главные офицеры, чей ранг давал им привилегию передвигаться на своих сиденьях.[458] Это зрелище воспламенило его гнев и безумное честолюбие; он стал требовать свободы и допуска к своему брату, которого он поносил как труса не меньше, чем тирана. "Вот ты, ничтожный человек, держишь меня, своего родного брата, в темнице, хотя я не совершил ничего, достойного уз; в то время как ты не смеешь отомстить персам, которые изгоняют тебя как бездомного изгнанника и которых так легко было бы усыпить. Если ты боишься их, отдай мне свою стражу; я заставлю персов раскаться в том, что они пришли сюда, и немедленно отправлю тебя в целости и сохранности с острова"[459].

У Мейандрия, готового навсегда покинуть Самос, было мало личных мотивов заботиться о том, что станет с его жителями. Он, вероятно, так и не простил им разочарования в его благородных намерениях после смерти Поликратеса, и ему было неприятно передавать Силосону одиозный и запятнанный кровью скипетр, который, как он предвидел, станет единственным следствием безумного проекта его брата. Поэтому он уплыл со своими сокровищами, оставив акрополь своему брату Харилею; тот немедленно вооружил стражу, вышел из своей крепости и напал на ничего не подозревающих персов. Многие из великих офицеров были убиты без сопротивления, прежде чем удалось собрать армию; но в конце концов Отанес собрал свои войска и загнал нападавших обратно в акрополь. Немедленно приступив к осаде этой крепости, он, как и предвидел Меандрий, решил жестоко отомстить за вероломное убийство стольких своих друзей и соратников. Его войско, не менее разгневанное, чем он сам, получило приказ обрушиться на жителей Самии и истреблять их без разбора - мужчин и мальчиков, как на святой, так и на нечистой земле. Кровавый приказ был исполнен слишком точно, и Самос был передан Силосону, лишив его жителей мужского пола.[460] О Хариле и акрополе мы больше ничего не слышим, возможно, он и его охранники спаслись бегством по морю. Ликарет,[461] другой брат Мæндрия, должно быть, остался либо на службе у Силосона, либо у персов, поскольку через несколько лет после этого последний поручил ему важное командование.

Таким образом, Силосона окончательно поставили деспотом острова, населенного в основном, если не полностью, женщинами и детьми: мы можем, однако, предположить, что кровавое деяние описано историком как более масштабное, чем было на самом деле. Тем не менее, оно, по-видимому, тяжко легло на совесть Отанеса, которого через некоторое время

сон и мучительная болезнь побудили принять меры для повторного заселения острова.[462] Откуда прибыло новое население, нам не известно: но оптовые переводы жителей из одного места в другое были привычны для ума персидского царя или сатрапа.

Мæандрый, следуя примеру предыдущих саамских изгнанников при Поликратесе, отправился в Спарту и попросил помощи, чтобы вновь обосноваться на Самосе. Но лакедемоняне не захотели повторять неудачную попытку, и он не смог соблазнить царя Клеомена демонстрацией своих сокровищ и золотых пластин тонкой работы. Царь, однако, не без опасения, что такие соблазны могут привлечь некоторых спартанских вождей, уговорил эфоров отослать Мейандрия прочь[463].

Силосон, по-видимому, оставался на Самосе в качестве притока Персии, как и ионийские города на континенте: через несколько лет после этого на острове царствовал его сын Иакес.[464] Страбон утверждает, что именно суровое правление Силосона привело к обезлюдению острова. Но причина, только что пересказанная Геродотом, и совсем другая, и достаточно правдоподобная в самом ; а поскольку Страбон, похоже, в основном черпал свой рассказ из Геродота, можно предположить, что в этом вопросе он неверно запомнил его авторитет[465].

ГЛАВА XXXIV.

ДЕМОКЕДЫ. - ДАРИЙ ВТОРГАЕТСЯ В СКИФИЮ.

Дарий обрел полную власть во всей Персидской империи, усмирив непокорного сатрапа Орэтеса, а также восставших мидян и вавилонян. Кроме того, он завершил завоевание Ионии, присоединив к ней Самос; таким образом, его владения охватывали всю Малую Азию с прилегающими островами. Но этого было недостаточно для удовлетворения амбиций персидского царя, следующего за великим Киrom. Завоевательный порыв еще не утих среди персов, которые считали себя обязанными расширить границы империи, а их царь считал себя обязанным расширить границы империи. Хотя Дарий и не принадлежал к роду Кира, он постарался связать себя с ним узами брака; он женился на Атоссе и Артистонке, дочерях Кира, и на Пармис, дочери Смердиса, младшего сына Кира. Атосса была женой сначала своего брата Камбисеса, затем мага Смердиса, его преемника, и, наконец, Дария, которому она родила четверых детей. 466] Из этих детей старшим был Ксеркс, о котором будет сказано далее.

Атосса, мать единственного персидского царя, когда-либо ступавшего в Грецию, султана Валиди, жившая в Персии во время правления Ксеркса, была человеком с огромным влиянием в правление своего последнего мужа[467], а также в правление своего сына, и занимала немалое место даже в греческом воображении, как мы можем видеть и по Эсхилу, и по Геродоту. Если бы ее влияние возобладало, первые завоевательные порывы Дария были бы направлены не на скифские степи, а на Аттику и Пелопоннес; по крайней мере, так уверяет нас Геродот. Главная цель последнего в его истории - изложить споры Эллады с варварами или неэллинским миром; и с искусством, поистине эпическим, которое повсюду проявляется у внимательного читателя его девяти книг, он предваряет реальные опасности, которые были предотвращены при Марафоне и Платее, рассказом о первом замысле вторжения персов в Грецию, - как он возник и как от него отказались. Для этого, в соответствии со своим историческим стилем, в котором общие факты излагаются как

подчиненные и пояснительные аккомпанементы к приключениям конкретных людей, он дает нам интересную, но романтическую историю хирурга Кротониата Димокедеса.

Димокедес, сын жителя Кротона по имени Каллифон, еще в ранней юности обратил свое внимание на изучение и практику медицины и хирургии (для того возраста мы не можем сделать разницы между этими двумя предметами) и добился в них значительных успехов. Его юность почти совпадает с прибытием Пифагора в Кротон (550-520 гг.), где наука хирурга, а также искусство гимнастического тренера, похоже, развивались тогда активнее, чем в любой части Греции. Однако его отец Каллифон был человеком столь сурового нрава, что сын сбежал от него и решил поддерживать себя своими талантами в другом месте. Он отправился в Эгину и начал заниматься своей профессией; и так быстро он добился успеха даже в первый год, хотя и был очень плохо оснащен инструментами и аппаратурой[468], что жители острова заключили с ним договор о том, что он останется там на один год с жалованьем в один талант (около трехсот восьмидесяти трех фунтов стерлингов, эгинейский талант). Через год он получил приглашение приехать в Афины, находившиеся тогда под властью Писистратидов, с жалованьем в сто мин, или одну и две трети таланта; а в следующем году Поликрат Самосский соблазнил его предложением двух талантов. С этим деспотом он остался и сопровождал его в его последнем бедственном визите к сатрапу Орэтесу: после убийства Поликратеса, захваченного среди рабов и иноземных слуг, он был оставлен томиться вместе с остальными в заточении и забвении. Когда вскоре после этого был убит сам Орэтэс, Димокдес был причислен к его рабам и скоту и отправлен в Сузы.

Он недолго пробыл в этой столице, когда Дарий, спрыгнув с коня во время погони, сильно вывихнул ногу, и его несли домой с сильной болью. Египетские хирурги, считавшиеся первыми в своем деле,[469] которых он обычно нанимал, не принесли ему никакой пользы, а только усугубили его мучения; семь дней и ночей он не спал, и он, как и окружающие, начал отчаиваться. В конце концов кто-то из бывших в Сардах случайно вспомнил, что слышал о греческом хирурге среди рабов Орэтеса; немедленно были предприняты поиски, и несчастного раба привели в цепях и лохмотьях[470] в присутствии царственного страдальца. Когда его спросили, понимает ли он хирургию, он ответил, что не понимает; но Дарий, заподозрив, что это всего лишь уловка, приказал принести бич и колющее орудие, чтобы одолеть его. Теперь Димокедес, видя, что выхода нет, признал, что приобрел небольшой навык, и был призван сделать все возможное в этом деле. Ему посчастливилось добиться успеха: облегчить боль, обеспечить сон измученному пациенту и в конце концов вернуть ногу в нормальное состояние. Дарий, потерявший всякую надежду на подобное излечение, не знал границ своей благодарности. В качестве первой награды он подарил ему два комплекта цепей из чистого золота - в память о том состоянии, в котором Димокдес впервые предстал перед ним, - а затем отправил его в гарем к своим женам. Провожающие евнухи представили его как человека, вернувшего царя к жизни, а благодарные султанши подарили ему по блюдцу, полному золотых монет, называемых статерами;[471] всего их было так много, что раб Скитон, следовавший за ним, обогатился, просто подбирая упавшие на пол кусочки. Но и это было еще не все. Дарий подарил ему великолепный дом и мебель, сделал его сотрапезником своего стола и оказывал ему всяческие знаки внимания. Он собирался распать египетских хирургов, которые так безуспешно пытались его вылечить, но Димокдес имел счастье сохранить им жизнь, а также спасти несчастного товарища по заточению - элейского пророка, который следовал судьбе Поликратеса.

Но была одна услуга, которую Дарий ни в коем случае не хотел оказывать, и все же Димокедес скрепя сердце мечтал о свободе вернуться в Грецию. В конце концов случайность в сочетании с его собственным хирургическим мастерством позволила ему

избежать пышности второго заключения, как прежде избавила его от страданий первого. На груди Атоссы образовалась опухоль; сначала она никому ничего не говорила, но когда болезнь стала слишком страшной для сокрытия, она была вынуждена обратиться к Димокдешу. Тот пообещал вылечить ее, но потребовал от нее торжественной клятвы, что впредь она будет делать для него все, о чем он попросит, - обязуясь при этом не просить ничего непристойного.[472] Лечение прошло успешно, и Атосса должна была отплатить ему тем, что добьется его свободы. Он знал, что в этой услуге откажут даже ей, если она будет просить напрямую, но он научил ее хитрости, как под ложным предлогом получить согласие Дария. Она воспользовалась случаем, как рассказывает Геродот[473], чтобы в постели напомнить Дарию, что персы ожидают от него какого-то положительного дополнения к могуществу и великолепию империи; и когда Дарий в ответ сообщил ей, что собирается в ближайшее время выступить против скифов, она умоляла его отложить это и обратить свои силы сначала против Греции: "Я слышала (сказала она) о девах Спарты, Афин, Аргоса и Коринфа и хочу взять некоторых из них в рабыни, чтобы они служили мне - (мы можем представить себе улыбку триумфа, с которой сыновья тех, кто победил при Платее и Саламине, услышали бы эту часть истории, прочитанную Геродотом); - у тебя рядом есть лучший человек, который может дать сведения о Греции, - тот грек, который вылечил твою ногу". Эта просьба побудила Дария отправить в Грецию нескольких доверенных персов для получения информации вместе с Димокдешем. Отобрав пятнадцать из них, он приказал им осмотреть побережье и города Греции под руководством Димокдеша, но с непреложным приказом ни в коем случае не позволять ему сбежать или вернуться без него. Затем он послал за самим Димокдешем, объяснил ему, что ему нужно, и настоятельно потребовал, чтобы тот вернулся, как только дело будет завершено; далее он пожелал, чтобы тот взял с собой все большие пожертвования, которые он уже получил, в качестве подарков отцу и братьям, обещая, что по возвращении новые жертвования равной стоимости должны возместить потерю; наконец, он распорядился, чтобы корабль, "наполненный всякими хорошими вещами", сопровождал плавание. Димокдешес взялся за эту миссию со всей видимой искренностью. Чтобы лучше сыграть свою роль, он отказался взять с собой то, чем уже владел в Сузах, заявив, что хотел бы по возвращении снова найти свое имущество и мебель, и что одного только корабля с его содержимым будет достаточно и для путешествия, и для всех необходимых подарков.

Поэтому он и пятнадцать персидских посланников отправились в Сидон в Феникии, где были снаряжены две вооруженные триремы с большим кораблем в компании, и началось путешествие в Грецию. Они посетили и осмотрели все главные места в Греции, начав, вероятно, с азиатских и островных греков, переправившись на Эвбею, обогнув Аттику и Пелопоннес, затем перейдя в Коркиру и Италию. Они осматривали побережья и города, записывая[474] все достойное внимания, что видели: этот Перипл, если бы он сохранился, был бы неоценим как отчет о действительном состоянии греческого мира в 518 году до н. э. Как только они прибыли в Тарентум, Димокдешес - теперь он находился на небольшом расстоянии от своего дома, Кротона, - нашел возможность исполнить то, что задумал с самого начала. По его просьбе Аристофилидес, тарентумский царь, схватил пятнадцать персов и держал их как шпионов, одновременно снимая рули с их кораблей, а сам Димокдешес бежал в Кротон. Как только он прибыл туда, Аристофилидес отпустил персов и позволил им продолжить плавание: они отправились в Кротон, нашли Димокдеша на рыночной площади и наложили на него руки. Но его сограждане отпустили его, не без сопротивления некоторых, боявшихся спровоцировать великого царя, и несмотря на уговоры, энергичные и угрожающие, со стороны самих персов: кротоняне не только защитили восстановленного изгнанника, но даже лишили персов их кораблей. Последние, лишённые возможности двигаться дальше, как из-за этой потери, так и из-за отделения

Димокедеса, начали свое путешествие на родину, но, к несчастью, потерпели кораблекрушение у Иапигийского мыса и стали рабами в этом районе. Тарентский изгнанник по имени Гиллус выкупил их и доставил в Сузы - за эту услугу Дарий обещал ему любое вознаграждение по его выбору. Восстановление родного города - это все, о чем просил Гиллус; и то не силой, а при посредничестве азиатских греков Книда, которые находились в тесном союзе с тарентинцами. Этот великодушный гражданин - достойное отличие от Димокедеса, который не побрезговал направить поток персидских завоеваний против своей страны, чтобы добиться собственного освобождения, - к сожалению, не получил ожидаемого вознаграждения. Хотя Книдцы, по предписанию Дария, использовали все свое влияние в Тарентуме, чтобы добиться отмены приговора об изгнании, они не смогли добиться успеха, и о силе не могло быть и речи.^[475] Последние слова, сказанные Димокедесом на прощание своим персидским спутникам, увещевали их сообщить Дарию, что он (Димокедес) собирается жениться на дочери кротонийца Мило, одного из первых людей в Кротоне, а также величайшего борца своего времени. Репутация Мило была очень велика у Дария, вероятно, по рассказам самого Димокедеса: кроме того, гигантскую мускульную силу могли оценить люди, не любившие ни Гомера, ни Солона. И вот этот хитрый и тщеславный грек, отправляя пятнадцать своих персидских товарищей на позор, а возможно, и на смерть, вложил в их прощальные уши хвастливое послание, рассчитанное на то, чтобы создать себе в Сузах громкое имя. Именно с этой целью он заплатил Милону большую сумму в качестве цены за свою дочь^[476].

Так заканчивается история Димокедеса и "первых персов (по выражению Геродота), когда-либо пришедших из Азии в Грецию"^[477]. Это история, заслуживающая внимания, даже с учетом живости происшествий, вводящих нас в полное движение древнего мира, - происшествий, в которых я не вижу причин сомневаться, с разумной поправкой на драматическое усиление историка. Даже в столь ранний период греческий медицинский интеллект выделяется на фоне других, и Димокедес - первый из тех многих способных греческих хирургов, которые были схвачены, доставлены в Сузы^[478] и там содержались для великого царя, его двора и гарема.

Но с другой стороны, его история наводит на гораздо более серьезные размышления. Как и милезийцу Гистиену (о котором я расскажу далее), ему было безразлично, какой риск он навлечет на свою страну, чтобы спастись от великолепного заключения в Сузах. И влияние, которое он оказал на Грецию, привело к тому, что на нее обрушилась вся мощь Персидской империи в то время, когда Греция была не в состоянии ей противостоять. Если бы первая агрессивная экспедиция Дария с его личным командованием и свежим аппетитом к завоеваниям была направлена против Греции, а не против Скифии (между 516-514 гг. до н. э.), греческая независимость погибла бы почти наверняка. Ведь тогда Афины все еще находились под властью Писистратидов; какой она была при них, мы уже имели случай рассказать в одной из предыдущих глав. Тогда у нее не было мужества для энергичной самообороны, и, вероятно, сам Гиппий, далекий от сопротивления, счел бы выгодным принять персидское владычество как средство укрепления собственной власти, подобно ионийским деспотам: к тому же греческая привычка к сотрудничеству тогда только зарождалась. Но, к счастью, персидский захватчик коснулся берегов Греции только через двадцать с лишним лет, в 490 году до н. э.; и за этот драгоценный промежуток времени афинский характер претерпел памятную революцию, о которой мы уже рассказывали. Их энергия и организация были в равной степени улучшены, а сила сопротивления уменьшилась; кроме того, их поведение настолько спровоцировало персов, что сопротивление стало для них вопросом необходимости, а подчинение на приемлемых условиях - невозможностью. Когда мы перейдем к грандиозному персидскому вторжению в

Грецию, то увидим, что Афины были душой и жизнью всего противостояния. Далее мы увидим, что, несмотря на все усилия Афин, успех обороны не раз вызывал сомнения и мог бы привести к совершенно иному результату, если бы Ксеркс послушал лучших из своих советников. Но если бы Дарий во главе того же войска, которое он ввел в Скифию, или даже меньшего, высадился у Марафона в 514 году до н. э., а не послал Датиса в 490 году до н. э., он не нашел бы людей, подобных победителям Марафона, чтобы встретить его. Насколько мы можем судить по вероятности, он не встретил бы особого сопротивления, разве что со стороны отдельных спартанцев, которые, несмотря на все его усилия, удержали бы свою очень удобную для обороны территорию, как мисийцы и писидийцы в Малой Азии или как майноты в Лаконии в более поздние времена; но Эллада в целом стала бы персидской сатрапией. К счастью, Дарий, пока собирался вторгнуться в какую-нибудь страну, не решился на нападение на Скифию, в равной степени опасное и невыгодное. Его личный пыл был растрочен на эти непокоренные области, где он едва избежал катастрофической судьбы Кира, - ни он никогда не наносил второго визита к берегам Эгейского моря. Однако амурное влияние Атоссы, запущенное Димокедесом, вполне могло оказаться достаточно сильным, чтобы побудить Дария напасть на Грецию вместо Скифии, - выбор, в пользу которого сходились все остальные рекомендации; и тогда история свободной Греции, вероятно, остановилась бы на этом пункте, не развернув ни одной из последующих слав. Влияние греческого развития в течение двух веков между 500-300 гг. до н. э. на судьбы человечества было столь неизмеримо велико, что мы не можем обойти вниманием случайность, грозившую остановить это развитие в зародыше. Действительно, можно заметить, что история любого народа, рассматриваемая как последовательность причин и следствий, дающая применимые знания, требует от нас изучения не только реальных событий, но и неизбежных случайностей - событий, которые должны были произойти, но так и не произошли. Когда мы читаем в "Персах" Эсхила стенания Атоссы по поводу унижения, которому подвергся ее сын Ксеркс во время бегства из Греции, [479] нам нелегко убедить себя изменить картину и представить себе ту же Атоссу двадцатью годами ранее, насчитывающую в качестве своих рабынь в Сузах благороднейших девиц из Греции - Гераклидов и Алкмæонидов. Однако в действительности картина была бы обратной - желание Атоссы было бы исполнено, и в Персии раздавались бы стенания поработанных греческих дев, - если бы ум Дария не был занят проектом, не менее безумным, чем проект Камбисеса в отношении Эфиопии и Ливийской пустыни. Такова, по крайней мере, мораль истории о Димокдеше.

Сейчас мы расскажем о безумной экспедиции через Дунай в Скифию. Она была предпринята Дарием с целью отомстить за вторжение и опустошение скифов в Мидии и Верхней Азии примерно за столетие до этого. Жажда завоеваний придавала необычайную силу этому чувству уязвленного достоинства, которое в случае со скифами вряд ли можно было связать с какими-либо ожиданиями грабежа или прибыли. Несмотря на предостерегающие наставления своего брата Артабана, [480] Дарий созвал все силы своей империи, армию и флот, к фракийскому Босфору, - не менее семисот тысяч конных и пеших, и шестьсот кораблей, согласно Геродоту. На этих огромных цифрах мы не можем акцентировать внимание. Но известно, что имена всех народов, составлявших войско, были начертаны на двух столбах, воздвигнутых по приказу Дария на европейской стороне Босфора, и впоследствии увиденных самим Геродотом в Византии, - надписи были двуязычными, как ассирийскими, так и греческими буквами. Саамскому архитектору Мандроклесу было поручено перебросить лодочный мост через Босфор, примерно на полпути между Византией и устьем Эвксинского моря. Персидские цари так требовали, чтобы их приказы о военной службе исполнялись неукоснительно, и так нетерпимо относились к идее освобождения от службы, что когда отец перса по имени Умеобазус

попросил оставить дома одного из трех его сыновей, включенных в призыв, Дарий ответил, что все трое должны быть оставлены дома, - ответ, который ничего не подозревавший отец выслушал с восторгом. Их действительно всех оставили дома, ибо все они были преданы смерти.^[481] Подобный случай приписывается впоследствии Ксерксу;^[482] независимо от того, правда это или нет, оба рассказа иллюстрируют гневное неудовольствие, с которым персидские цари, как известно, принимали подобные прошения об освобождении.

Морские силы Дария, по-видимому, состояли исключительно из подвластных греков, азиатских и островных; ведь феникийский флот не появлялся в Эгейском море до последующего восстания ионийцев. В это время все или большинство азиатских греческих городов находились под властью деспотов, которые опирались на поддержку персидского правительства и явились со своими контингентами для участия в скифской экспедиции.^[483] Из ионических греков были замечены: Стратис, деспот Хиоса; Иакес, сын Силосона, деспот Самоса; Лаодамас, из Фокеи; Гистиэй, из Милета. Из эолийских городов - Аристагор из Кима; из эллиспонтских греков - Дафнис из Абида, Гиппокл из Лампсака, Херофант из Парима, Метродорус из Проконнеса, Аристагор из Кизика и Мильтиадес из фракийского Херсонеса. Все они упомянуты, и, вероятно, их было больше. Этот большой флот, собранный у Босфора, был отправлен вперед в Эвксинский залив к устью Дуная с приказом плыть вверх по реке два дня пути, выше того места, где ее русло начинает разделяться, и перебросить через него мост из лодок; Дарий же, щедро вознаградив архитектора Мандроклеса, перешел по мосту через Босфор и начал свой поход по Фракии, принимая на своем пути покорность различных фракийских племен и покоряя другие, особенно гетов к северу от горы Хем, которые были вынуждены еще больше увеличить численность его огромной армии.^[484] Прибыв к Дунаю, он нашел мост законченным и подготовленным к переправе ионийцами: здесь, как и во многих других случаях, мы можем отметить, что все операции, требующие разведки, выполняются для персов либо греками, либо фениями, - чаще всего ионийцами. Он пересек эту величайшую из всех земных рек^[485] - так представляли себе Дунай в V веке до н. э. - и направил свой марш в Скифию.

До этого момента наше повествование идет гладко и понятно: мы знаем, что Дарий отправил свою армию в Скифию и что он вернулся с позором и тяжелыми потерями. Но что касается всего, что произошло между его переходом и возвращением через Дунай, мы не находим ничего, приближающегося к достоверному изложению, - ничего, даже что мы могли бы представить как вероятную основу правды, на которой работала бы преувеличенная фантазия. Все - необъяснимая тайна. Ктесий, правда, говорит, что Дарий пятнадцать дней шел по скифской территории, - что затем он обменялся луками со скифским царем и обнаружил, что скифский лук самый большой, - и что, уstraшенный этим открытием, он бежал назад к мосту, по которому перешел Дунай, и переправился через реку с потерей десятой части своего войска,^[486] будучи вынужден разрушить мост, прежде чем все прошли. Продолжительность похода - единственное, что здесь четко указано; о направлении ничего не сказано. Но рассказ Ктесия, каким бы неполным он ни был, вызывает гораздо меньше недоумения, чем рассказ Геродота, который проводит огромное войско Дария как бы через сказочную страну, - не обращая внимания на расстояние, большие промежуточные реки, отсутствие всякой культуры и запасов, разрушение страны - насколько она могла быть разрушена отступающими скифами, и т. д. Он говорит нам, что персидская армия состояла в основном из пеших, что не было ни дорог, ни сельского хозяйства; тем не менее, его рассказ переносит его примерно на двенадцать градусов долготы от Дуная до страны к востоку от Танаиса, через реки Тирас (Днестр), Гипанис (Бог), Бoryстенес (Днепр), Гипакирис.^{487]} Как эти реки могли быть пройдены перед лицом врагов столь огромным войском, нам остается только догадываться, поскольку это было не зимнее время, чтобы превратить их в лед:

историк даже не упоминает, что они были перейдены ни в наступлении, ни в отступлении. Не менее примечательно и то, что о греческом поселении Ольвия, или Бористенес, и земледельческих скифах и миксах-геленах между Гипанисом и Бористенесом, через страну которых, казалось бы, должен был проходить поход Дария, Геродот ничего не говорит; Хотя мы должны были бы ожидать, что у него было больше возможностей узнать об этой части похода, чем о любой другой, и хотя персы вряд ли могли не разграбить и не реквизировать эту, единственную продуктивную часть Скифии.

Рассказ Геродота о походе персов к северу от Истера, кажется, действительно лишен всех условий реальности. Это скорее образное описание, иллюстрирующее отчаянный и неосуществимый характер скифской войны и объединяющее в одну картину, в соответствии с тем широким размахом воображения, который допустим в эпической обработке, скифов со всеми их варварскими соседями от Карпатских гор до реки Волги. Агатиры, невры, андрофаги, меланхлены, будины, гелоны, сарматы и тавры - все они граничат с обширной четырехугольной областью в четыре тысячи стадий с каждой стороны, называемой Скифией, как ее представляет себе Геродот[488], - приходят в состояние размышления и действия в связи с приближением персов. И Геродот использует эту возможность, чтобы сообщить ценные сведения о привычках и нравах каждого из них. Цари этих народов обсуждают, оправдано ли вторжение Дария и благоразумно ли им помогать скифам. Последний вопрос решается утвердительно сарматами, будинами и гелонами, которые живут к востоку от Танаиса,[489] а остальные - отрицательно. Скифы, убрав с дороги на север свои повозки с женами и детьми, отступают и увлекают за собой Дария от Дуная через всю Скифию и Сарматия к северо-восточной оконечности территории будинов,[490] в нескольких днях пути на восток от Танаиса. Кроме того, они разрушают колодцы и губят траву, насколько это возможно, так что во время всего этого долгого похода, говорит Геродот, персы "не нашли ничего, что можно было бы повредить, поскольку страна была бесплодной"; поэтому нелегко понять, что они могли найти для жизни. Именно на территории будинов, в этой самой восточной точке на границе пустыни, персы совершают единственные положительные действия, которые приписываются им на протяжении всей экспедиции. Они сжигают деревянную стену, которую раньше занимали, а теперь покинули гелоны, и строят или начинают строить восемь больших крепостей у реки Оарус. Для какой цели могли предназначаться эти крепости, Геродот не сообщает, но говорит, что незаконченную работу можно было увидеть даже в его время[491].

Проведя таким образом всю Скифию и другие вышеупомянутые территории в северо-восточном направлении, Дарий и его армия затем возвращаются на огромное расстояние в северо-западном направлении, через территории меланхленов, андрофагов и невров, все из которых в ужасе бегут в северную пустыню, будучи вынужденными против своей воли участвовать в последствиях войны. Агафирсы императивно требуют от скифов воздержаться от втягивания персов на их территорию под страхом того, что они сами будут считаться врагами:[492] скифы в результате уважают границы Агафирсов и направляют свое отступление таким образом, чтобы втянуть персов снова на юг в Скифию. На протяжении всего этого долгого похода взад и вперед происходят отдельные стычки и конные бои, но скифы упорно отказываются от общего сражения. И хотя Дарий бросает им официальный вызов через глашатая с насмешками о трусости, скифский царь Иданфирс не только отказывается от сражения, но объясняет и защищает свою политику, а также бросает персу вызов прийти и разрушить гробницы их отцов, - тогда, добавляет он, будет видно, трусы скифы или нет.[493] Трудности Дария к этому времени становятся серьезными, когда Иданфирс посылает ему угрожающие подарки в виде птицы, мыши, лягушки и пяти стрел: персы вынуждены начать быстрое отступление к Дунаю, оставив, чтобы сдержать и ослабить

преследование скифов, наименее боеспособную и больную часть своего войска в лагере, вместе с ослами, которых они привели с собой, - животными, неизвестными скифам и вызывающими большую тревогу своим блеянием.[494] Однако, несмотря на некоторую задержку, вызванную этим, а также тревожной поспешностью Дария достичь Дуная, скифы, гораздо более быстрые в своих передвижениях, прибывают к реке раньше него и начинают переговоры с ионийцами, оставленными на страже моста, убеждая их разрушить его и оставить персидского царя на произвол судьбы - неизбежной гибели со всем его войском. 495]

Здесь мы вновь попадаем в мир реальности, на северный берег Дуная, туда, где мы его прежде покинули. Все, о чем сообщается в промежутке между этими событиями, при проверке историческими фактами может быть воспринято не иначе как недоуменный сон. Оно приобретает ценность только тогда, когда мы рассматриваем его как иллюстративный вымысел, включающий, несомненно, некоторые неизвестные факты, но созданный главным образом для того, чтобы показать в действии тех неприступных кочевников, которые составляли северо-восточный варварский мир грека, и чьи нравы глубоко поразили Геродота. "Скифы[496] (говорит он) в отношении одного из величайших человеческих дел разработали план, более умный, чем любой из известных мне. В других отношениях я ими не восхищаюсь; но они придумали такую великую вещь, что ни один захватчик их страны никогда не сможет выбраться из нее или обнаружить и догнать их, если только они сами этого не решат. Ибо когда у людей нет ни стен, ни основанных городов, а все они - домоседы и конокрады, - живут не от плуга, а от скота, и жилища их - повозки, - как они могут быть иначе, чем неприступными и непрактичными для вмешательства?" Длительная и безрезультатная погоня, приписываемая Дарию, который не может ни догнать дичь, ни применить оружие, и даже едва ли спасается бегством, в деталях отражает это грозное свойство скифских кочевников. В том, что Дарий действительно отправился в эту страну, сомневаться не приходится. Ничто другое не вызывает сомнений, кроме его позорного отступления из нее к Дунаю; ибо из множества различных предположений,[497] с помощью которых критики пытались сократить гигантский набросок Геродота до похода с определенными пределами и направлением, ни одно не опирается на какие-либо позитивные основания и не несет в себе ни малейшей убежденности. Мы можем проследить всепроникающую идею в сознании историка, но не можем выяснить, каковы были его существенные данные.

Приключения, происходившие при переправе через эту реку, как на марше, так и на марше домой, где речь идет об ионийцах, гораздо больше вписываются в рамки истории. Здесь Геродот располагал лучшими средствами получения информации, и у него было меньше доминирующих идей для иллюстрации. То, что произошло между Дарием и ионийцами во время его первого перехода, очень любопытно: я отложил это до настоящего момента, потому что это особенно связано с происшествиями, случившимися после его возвращения.

Достигнув Дуная из Фракии, он нашел лодочный мост готовым, и когда вся армия переправилась, он приказал ионийцам разрушить его, а также следовать за ним в его сухопутном походе в Скифию;[498] на кораблях не осталось ничего, кроме гребцов и моряков, необходимых для плавания на родину. Его приказ был уже на грани исполнения, когда, к счастью для него, митиленейский полководец Коэс решил поставить под сомнение его благоразумие, предварительно спросив, угодно ли персидскому царю прислушиваться к советам. Он настаивал на том, что поход, которым они шли, может оказаться опасным, а отступление, возможно, неизбежным, поскольку скифы, хотя и будут разбиты, если вступят в бой, могут не допустить, чтобы к ним приблизились или даже

обнаружили их. В качестве меры предосторожности от всех непредвиденных обстоятельств было разумно оставить мост на месте и наблюдать за теми, кто его построил. Дарий не обиделся на этот совет, но был благодарен за него и пожелал, чтобы Коес после возвращения попросил у него подходящую награду, о чем мы узнаем в дальнейшем. Затем он изменил свое решение, взял шнур и завязал на нем шестьдесят узлов. "Возьмите этот шнур (сказал он ионийцам) и каждый день после моего продвижения от Дуная в Скифию развязывайте на нем один из узлов. Оставайтесь здесь и охраняйте мост, пока не развяжете все узлы; если же к тому времени я не вернусь, то отплывайте домой"[499] После таких распоряжений он начал свой поход в глубь страны.

Этот анекдот интересен не только тем, что раскрывает простые способы нумерации и счета времени, практиковавшиеся в то время, но и тем, что иллюстрирует распространенные географические представления. Дарий намеревался вернуться не через Дунай, а обогнуть Мейотис и вернуться в Персию по восточной стороне Эвксинского моря. Никакого другого объяснения его приказам дать нельзя. Сначала, уверенный в успехе, он приказывает немедленно разрушить мост: он победит скифов, пройдет по их стране и вернется в Медию с восточной стороны Эвксинского моря. Когда ему напоминают, что, возможно, он не сможет найти скифов и будет вынужден отступить, он все равно продолжает убеждать, что это должно произойти в течение шестидесяти дней, если вообще произойдет; и что, если он будет отсутствовать более шестидесяти дней, такая задержка будет убедительным доказательством того, что он пойдет другой дорогой возвращения вместо того, чтобы переправляться через Дунай. Читатель, взглянувший на карту Эвксинского моря и прилегающих к нему территорий, может быть поражен столь экстравагантной концепцией. Но он должен помнить, что до Геродота, а тем более до современников Дария, не существовало карты такой же или почти такой же точности. Идея проникновения в Медию с севера из Скифии и Сарматии через Кавказ знакома Геродоту по его очерку о ранних походах скифов и киммерийцев: Более того, он рассказывает, что после похода Дария в Спарту прибыли посланцы скифов, предлагавшие наступательный союз против Персии и предлагавшие со своей стороны пройти через Фазис в Медию с севера,[500] а спартанцам предлагалось высадиться на берегах Малой Азии и продвигаться через всю страну, чтобы встретить их с запада. Когда мы вспомним, что македонцы и их предводитель Александр Македонский, добравшись до реки Джаксартес на севере Согдианы и на востоке Аральского моря, полагали, что достигли Танаиса, и назвали реку этим именем[501], мы не будем удивляться ошибочной оценке расстояния, заложенной в плане, задуманном Дарием.

Ионийцы простояли на страже моста более шестидесяти дней, не слыша ничего о персидском войске, когда их удивило появление не этого войска, а скифов, которые сообщили им, что Дарий в полном отступлении и в величайшем бедствии и что его безопасность со всем войском зависит от этого моста. Они пытались убедить ионийцев, поскольку шестидесять дней, отведенные им по приказу, истекли, сломать мост и уйти; уверяя их, что в этом случае гибель персов неизбежна - разумеется, сами ионийцы тогда будут свободны. Поначалу последние благосклонно отнеслись к этому предложению, которое горячо поддержал афинянин Мильтиадес, деспот, или правитель, фракийского Херсонеса.[502] Если бы он одержал верх, победитель Марафона - а именно таким мы его впоследствии и увидим - нанес бы тем самым Персии куда более существенный удар, чем даже это знаменитое действие, и навлек бы на Дария катастрофическую судьбу его предшественника Кира. Но ионийские князья, хотя и склонились сначала к его предложению, были быстро обращены в свою веру представлениями Гистиея Милетского, который напомнил им, что сохранение его собственной власти над милезийцами и власти каждого деспота в его городе обеспечивается только поддержкой персов, а чувства

населения повсюду против них: следовательно, гибель Дария была бы и их гибелью. Этот аргумент оказался убедительным. Было решено оставить мост и поддерживать его, но притвориться, что подчинился скифам, и убедить их уйти, намереваясь разрушить его. Северная часть моста была разрушена на длину выстрела из лука, и скифы ушли, полагая, что им удалось лишить своих врагов средства переправы через реку. [503] Похоже, что они пропустили след отступающего войска, которое после тяжелейших лишений и страданий смогло в безопасности достичь Дуная. Прибыв в ночной темноте, Дарий сначала с ужасом обнаружил, что мост больше не соединяет северный берег: египетскому глашатаю, обладавшему стенорической силой голоса, было приказано как можно громче называть имя Гистиея Милезийского. Ответ был получен быстро, мост был восстановлен, и персидская армия перешла через него, прежде чем скифы вернулись на место [504].

Нет сомнений, что ионийцы упустили благоприятную возможность освободиться от персидского владычества, подобной которой больше не представится. Их деспотов, которые приняли это решение, особенно милезийца Гистиея, побудило сохранить мост не благородное нежелание предать оказанное им доверие, а эгоистическая забота о сохранении своего собственного непопулярного господства. И мы можем заметить, что реальный характер этого побудительного мотива, а также сопутствующие ему размышления можно считать основанными на очень веских доказательствах, поскольку теперь мы находимся в пределах личных знаний миллийского историка Гекатея, который принимал активное участие в ионическом восстании несколько лет спустя и, возможно, лично участвовал в этой экспедиции. Он с благоразумием и трезвостью оценивает шансы этого злополучного восстания и с самого начала не верит в его успех, а Гистий Милетский предстает по этому же поводу как его подстрекатель, чтобы добиться своего освобождения из почетного заключения в Сузах, рядом с личностью Дария. Эгоизм этого деспота, лишив своих соотечественников того реального и благоприятного шанса на освобождение, который открыло бы перед ними разрушение моста, через несколько лет после этого подтолкнул их к опасному восстанию против всей и непоколебимой силы персидского царя и империи.

Освободившись от опасностей скифской войны, Дарий двинулся на юг от Дуная через Фракию к Геллеспонт, где переправился из Сеста в Азию. Однако он оставил в Европе значительную армию под командованием Мегабаза, чтобы завершить завоевание Фракии. Перинф на Пропонтиде оказал храброе сопротивление, [505] но в конце концов был покорен, и, похоже, все фракийские племена и все греческие колонии между Геллеспонт и Стримон были вынуждены покориться, отдав землю и воду и обложив себя данью. [506] Недалеко от нижнего Стримона находился эдонский город Миркин, который Дарий приказал отдать Гистиею Милетскому, ибо и этот милезиец, и Коэс Митиленский, по желанию персидского царя, сами назначили себе награду за верность ему во время перехода через Дунай. [507] Коэс просил назначить его деспотом Митилены, что и было сделано персидской властью; Гистий же просил предоставить ему территорию близ Миркина для основания колонии. Как только персидские завоевания простирались так далеко, место, о котором идет речь, было представлено Гистиею, который активно приступил к реализации своего нового плана. В дальнейшем мы увидим, что территория возле Миркину была названа местом расположения Амфиполя. Она представляла большой соблазн для поселенцев, так как была плодородной, хорошо покрытой лесом, удобной для морской торговли и находилась рядом с ушастью и аргентинскими горами. [508] Похоже, однако, что персидское господство во Фракии было нарушено вторжением скифов, которые, мстя за агрессию Дария, захватили страну вплоть до фракийского Херсонеса и даже, как говорят, отправили посланников в Спарту с предложением одновременного вторжения в Персию с разных сторон, со стороны спартанцев и скифов. Афинянин Мильтиадес, который был деспотом, или правителем,

Херсонеса, был вынужден покинуть его на некоторое время, и Геродот приписывает его отставку вторжению этих кочевников. Но нам позволено заподозрить, что историк неверно представляет себе истинную причину такой отставки. Мильтиадес не мог оставаться в Херсонесе после того, как навлек на себя смертельную вражду Дария, увещевая ионийцев разрушить мост через Дунай[509].

Завоевания Мегабаза не остановились на западном берегу Стримона. Он переправил свое оружие через реку, покорил пеонийцев и обложил данью македонцев под командованием Аминта. Значительное число пеонийцев было перевезено в Азию по прямому приказу Дария; его воображение было поражено, когда он увидел в Сардах прекрасную пеонийскую женщину, которая несла на голове сосуд, вела лошадь к воде и пряла лен, и все это в одно и то же время. Эту женщину, как нам рассказывают, привезли два ее брата, Пигрис и Мантиес, с явной целью привлечь внимание великого царя. Они надеялись таким образом стать деспотами своих соотечественников, и мы можем предположить, что их план удался, поскольку та часть пеонийцев, которую Мегабазу удалось покорить, была переправлена в Азию и поселена в некоторых деревнях Фригии. Такие насильственные переселения жителей были в гении персидского правительства[510].

С пеонийского озера Прасий в качестве посланников в Македонию были отправлены семь видных персов, которым Аминтас с готовностью дал знак покорности, пригласив их на великолепный пир. Возбужденные вином, они потребовали встречи с женщинами царской семьи, которые, будучи введены, грубо обошлись с чужеземцами. В конце концов сын Аминта, Александр, возмущен оскорблением и потребовал за него жестокой мести. Отстранив женщин под предлогом, что они вернутся после купания, он привел вместо них юношей в женских нарядах, вооруженных кинжалами: персы, продолжая повторять свои ласки, все были преданы смерти. Их свита и великолепные повозки и снаряжение, которые они привезли с собой, исчезли в то же время, не дойдя до персидской армии. А когда в Македонию был послан Бубарес, еще один выдающийся перс, для проведения исследований, Александру удалось замять дело крупными взятками и выдать за него замуж свою сестру Гигею[511].

Тем временем Мегабаз переправился в Азию, захватив с собой пеонийцев с реки Стримон. Находясь в тех краях, он встревожился успехами Гистиея с его новым городом Миркином и сообщил о своих опасениях Дарию; тот убедил его послать за Гистиеем, сохранив его при себе и доставив в Сузы в качестве советника и друга, со всеми знаками почета, но с тайным намерением никогда не позволять ему возвращаться в Малую Азию. Опасения персидского полководца, вероятно, были небезосновательны, но это задержание Гистиея в Сузах стало впоследствии важным событием[512].

Отправляясь в свою столицу, Дарий назначил своего брата Артафернеса сатрапом Сард, а Отанеса - генералом сил на побережье вместо Мегабазуса. Новый полководец очень сурово расправился с различными городами у Пропонтиды, сославшись на то, что они уклонились от выполнения своих обязанностей во время последней скифской экспедиции и даже помешали армии Дария при отступлении. Он взял Византию и Халкедон, а также Антандр в Троаде и Лампонию; с помощью флота с Лесбоса он добился нового завоевания - островов Лемнос и Имброс, которые в то время были заняты пеласгами и, похоже, совсем не имели греческих жителей.

Эти пеласги были жестокими и пиратскими, если судить по характеру легенд о них; лемнийские злодеяния приводились в качестве пословичного выражения для обозначения жестокости.[513] Они отличались также древним поклонением Гефесту, наряду с

мистическими обрядами в честь Кабейри и даже человеческими жертвоприношениями своей Великой Богине. В двух своих городах - Гефесии на востоке острова и Мирине на западе - они храбро противостояли Отанесу и покорились только после долгих и тяжелых испытаний. Ликарет, брат того Мæандрия, которого мы уже упоминали как деспота Самоса, был назначен правителем Лемноса; но вскоре он умер.^[514] Вероятно, пеласгическое население островов было сильно ослаблено во время этой борьбы, и мы даже слышали, что их царь Гермон добровольно эмигрировал из страха перед Дарием.^[515]

Таким образом, Лемнос и Имброс стали персидскими владениями, находящимися в подчинении принца в качестве данников. Через несколько лет после этого их судьба снова изменилась - они перешли в руки Афин, пеласгические жители были изгнаны, а на их место прибыли новые афинские поселенцы. Они были завоеваны Мильтиадесом из фракийского Херсонеса; от Елеуса на юге полуострова до Лемноса было менее одного дня плавания при северном ветре. Гефестийцы оставили свой город и эвакуировались с острова без особого сопротивления; жители же Мирины выдержали осаду^[516] и были изгнаны не без труда: оба они нашли пристанище во Фракии, на полуострове Афон и вблизи него. Оба эти острова, а также остров Скирос (который был захвачен только после вторжения Ксеркса), оставались связаны с Афинами особым тесным образом. По Анталкидскому миру (387 г. до н. э.), который гарантировал всеобщую автономию каждому греческому городу, большому и малому, они были особо сохранены и рассматривались как единое целое с Афинами.^[517] Имуущество на их земле принадлежало людям, которые, не теряя своего афинского гражданства, становились лемнийскими клерухами и как таковые были причислены к военной силе государства; в то время как отсутствие на Лемносе или Имбросе, кажется, принималось как оправдание для задержки в судах, чтобы избежать наказания за контузию или отъезд из страны.^[518] Вполне вероятно, что значительное число бедных афинских граждан получили участки земли на этих островах, хотя у нас нет прямых сведений об этом факте, и мы даже вынуждены гадать о точном времени, когда Мильтиадес совершил завоевание. Геродот, по своему обыкновению, связывает завоевание с древним оракулом и представляет его как возмездие за древнее легендарное преступление, совершенное некими пеласгами, которые за много веков до этого были изгнаны афинянами из Аттики и удалились на Лемнос. Насытившись этой легендой, он ничего не говорит нам о ближайших причинах и обстоятельствах завоевания, которое, вероятно, было совершено усилиями Афин совместно с Мильтиадесом из Херсонеса, отважившимся в период, когда персы были заняты подавлением ионического восстания, между 502-494 гг. до н. э., - поскольку вряд ли можно предположить, что Мильтиадес решился бы напасть на персидские владения в то время, когда у сатрапов были свободны руки. Приобретению, вероятно, способствовало то, что пеласгическое население островов было ослаблено как прежним сопротивлением персидским отанесам, так и несколькими годами, проведенными под властью персидского сатрапа.

Упомянув о завоевании Лемноса афинянами и Мильтиадесом, я немного предвосхитил ход событий, поскольку это завоевание, хотя и совпадает по времени с восстанием ионийцев (о котором будет рассказано в следующей главе), и косвенно вызвано им, поскольку занимало внимание персов, - лежит в стороне от действий восставших ионийцев. Когда Мильтиадес был изгнан персами из Херсонеса после подавления ионийского восстания, его слава, полученная благодаря покорению Лемноса,^[519] способствовала как нейтрализации вражды, которую он вызвал в качестве правителя Херсонеса, так и избранию его одним из десяти генералов на год марафонской битвы.

ГЛАВА XXXV. ИОНИЧЕСКИЙ БУНТ.

До сих пор история азиатских греков текла отдельным потоком, отличным от истории европейских греков. Настоящая глава знаменует собой период их слияния.

В то время, когда Дарий покинул Сарды, возвращаясь в Сузы, взяв с собой миллийца Гистиея, он оставил сатрапом Сард своего брата Артафернеса, которому было поручено верховное управление западной частью Малой Азии. Греческие города на побережье, входившие в его сатрапию, управлялись в основном местными деспотами; особенно Милет, в отсутствие Гистиея, управлялся его зятем Аристагором. Теперь этот город находился на пике могущества и процветания - во всех отношениях ведущий город Ионии. Возвращение Дария в Сузы можно отнести, по-видимому, к 512 году до н. э., и с этого времени вышеописанное положение вещей продолжалось, не нарушаясь, в течение восьми или десяти лет, - "передышка от страданий", по знаменательному выражению историка[520].

Примерно в 506 году до н. э. изгнанный афинский деспот Гиппий, после того как он был отброшен от Спарты из-за единодушного отказа лакедемонских союзников принять участие в его деле, явился из Сигея как проситель к Артафернесу в Сардах. Теперь он, несомненно, считал выгодным союз, который он заключил для своей дочери с лампсакским деспотом Жантидесом, чья благосклонность к Дарию была бы ему на руку. Он обратился к сатрапу с настоятельной просьбой восстановить Афины под властью персов, и Артафернес был готов, если представится возможность, помочь ему в этом. Он так основательно решил активно поддерживать дело Гиппия, что когда афиняне отправили посланников в Сарды, чтобы изложить дело города против изгнанного претендента, он ответил им не просто отказом, а угрозой, требуя принять Гиппия обратно, если они надеются на безопасность.[521] Такой ответ был равносителен объявлению войны, и так он был истолкован в Афинах. Из этого можно сделать вывод, что он уже тогда обдумывал экспедицию против Аттики вместе с Гиппием; но, к счастью для афинян, вмешались другие проекты и необходимости, отложившие на несколько лет осуществление задуманного.

Первым из этих новых проектов было завоевание острова Наксос. Здесь, как и в случае с Гиппием, зачинщиками выступили накийские изгнанники - богатая олигархия, изгнанная народным восстанием. Этот остров, как и все остальные Киклады, был еще независим от персов.[522] Он был богат, процветающ, имел многочисленное население, как свободных, так и рабов, и защищался как вооруженными кораблями, так и восьмьютысячной тяжеловооруженной пехотой. Изгнанники обратились за помощью к Аристагору, который решил, что сможет превратить их в орудие своего господства на острове, если только сумеет склонить Артафернеса принять участие в проекте вместе с ним, - его собственные силы были недостаточны. Поэтому он отправился в Сарды и изложил сатрапу свой проект, намекнув, что как только изгнанники высадутся на берег с мощной поддержкой, Наксос будет уменьшен без особого труда: соседние острова - Парос, Андрос, Тенос и другие Киклады - не смогут долго продержаться после завоевания Наксоса, равно как и большой и ценный остров Эвбея. Он сам обещал, если ему будет предоставлен флот из ста кораблей, совершить все эти завоевания для Великого Царя и, кроме того, взять на себя расходы по вооружению. Артафернес горячо согласился, осыпал его похвалами и пообещал ему весной следующего года двести кораблей вместо ста. Посланный в Сузы гонец, вернувшись с готовым согласием Дария, немедленно снарядил большое войско под командованием перса

Мегабатеса, которое должно было поступить в распоряжение Аристагора, - состоящее как из персов, так и из всех притоков у побережья[523].

С этим отрядом Аристагор и накийские изгнанники отплыли из Милета, выдав себя тем, что направляются в Геллеспонт. Достигнув Хиоса, они ждали в западной гавани Каукаса попутного ветра, чтобы переправиться на Наксос. На острове не возникло никаких подозрений относительно истинной цели корабля, не было сделано никаких приготовлений к сопротивлению, и успех Аристагора был бы полным, если бы не неприятный инцидент, закончившийся спором. Мегабатес с заботой, которую мы с удивлением замечаем в персидском полководце, лично объехал свой флот, чтобы убедиться, что каждый корабль находится под надлежащим наблюдением, и обнаружил корабль из Минда (азиатского дорийского города близ Галикарнаса), оставленный без единого человека на борту. Разгневанный таким пренебрежением, он призвал к себе Скилакса, командира корабля, и приказал заковать его в цепи, а голову высунуть наружу через одно из отверстий для весел в борту корабля. Скилакс был гостем и другом Аристагора, который, узнав об этом наказании, ходатайствовал перед Мегабатесом о его освобождении, но, получив отказ, взялся сам освободить пленника. Он даже отнесся с пренебрежением к протестам Мегабатеса, напомнив ему, что, согласно указаниям Артафернеса, тот был лишь вторым, а он сам (Аристагор) - первым. Гордость Мегабатеса не могла вынести такого обращения: как только наступила ночь, он послал на Наксос частное сообщение о приближении флота, предупредив жителей острова, чтобы они были начеку. Полученное таким образом предупреждение накийцы использовали с максимальной пользой. Они перевозили свое имущество, складывали запасы и готовились к осаде, так что когда флот, вероятно задержанный спором между его предводителями, наконец прибыл, он встретил упорное сопротивление, оставался на берегу острова в течение четырех месяцев, ведя безуспешную осаду, и был вынужден удалиться, не добившись ничего, кроме возведения форта в качестве жилья для накийских изгнанников. После больших затрат, понесенных не только персами, но и самим Аристагором, неудачное вооружение было возвращено на берег Ионии[524].

Неудача этой экспедиции грозила Аристагору полным разорением. Он разгневал Мегабатеса, обманул Артафернеса и взял на себя обязательство, которое не знал, как выполнить, - возместить последнему расходы на флот. Он начал обдумывать план восстания из Персии, но тут случилось так, что почти в тот же момент прибыл гонец от его тестя Гистиея, задержавшегося при дворе в Сузах, тайно подстрекавший его к этому решению. Не зная, кому доверить это опасное послание, Гистией приказал обрить голову верного раба, начертав на ней необходимые слова, а затем отправил его, как только у него отросли волосы, в Милет с устным предупреждением Аристагору, что его голова будет вновь обрита и осмотрена.[525] Гистией пытался спровоцировать это опасное восстание, просто чтобы добиться своего освобождения из Суз и в расчете на то, что Дарий пошлет его на побережье для восстановления порядка. Его послание, пришедшее в столь критический момент, укрепило непоколебимую решимость Аристагора, который созвал своих главных сторонников в Милете и изложил им грозный проект восстания. Все они одобрили его, за одним примечательным исключением - историком Гекатеем из Милета, который выступил против него как совершенно губительного и утверждал, что власть Дария была слишком велика, чтобы оставить им хоть какую-то перспективу на успех. Когда прямое сопротивление оказалось бесплодным, он стал настаивать на необходимости немедленно захватить большие сокровища в соседнем храме Аполлона в Бранхиде для продолжения восстания. Только таким образом, по его словам, милезийцы, слишком слабые, чтобы вести борьбу только своими силами, могли надеяться стать хозяевами на море, а если *они* не захватят эти сокровища, то победоносный враг, несомненно, сделает это. Ни к одной из этих

рекомендаций, свидетельствующих о проницательности и дальновидности автора, никто не прислушался. Вероятно, захват сокровищ, - хотя они и были весьма полезны для предстоящей борьбы, и хотя в конце концов они попали в руки врага, как и предполагал Гекатей, - был бы невыносим для благочестивых чувств народа и, таким образом, принес бы больше вреда, чем пользы:[526] возможно, Гекатей сам настаивал на этом с косвенной целью затормозить весь проект. Мы можем заметить, что он, похоже, ставил вопрос так, как будто Милет должен был один участвовать в восстании; он не предполагал, как, впрочем, никто из благоразумных людей не мог тогда предполагать, что ионические города в целом последуют его примеру.

Аристагор и его друзья решили немедленно восстать, и первым их шагом было заручиться поддержкой народа во всей Азиатской Греции, свергнув деспотов во всех различных городах, которые были не только орудием, но и опорой персидского господства, о чем хорошо сказал Гистий у моста через Дунай. Появилась благоприятная возможность нанести этот удар сразу и в значительных масштабах. Флот, недавно занятый у Наксоса, еще не разошелся, но все еще собирался в Миусе, и многие из деспотов присутствовали во главе своих кораблей. Из Милета был отправлен Иатрагор, который сразу же схватил всех, кого мог, и подстрекнул солдат к восстанию. Это решительное действие стало первым манифестом против Дария. Иатрагор добился успеха: флот отправился вместе с ним, и многие деспоты попали в его руки, среди них Гистий (второе лицо по имени) из Термеры, Олиат из Миласы (оба карийцы),[527] Коэс из Митилени и Аристагор (также второе лицо по имени) из Кима. В то же время сам милезиец Аристагор, официально провозгласив восстание против Дария и пригласив милезианцев следовать за ним, сложил с себя полномочия и намеревался передать управление страной в руки народа. В большинстве городов Азиатской Греции, островных и континентальных, произошла подобная революция; деспоты были изгнаны, и чувства граждан были таким образом горячо заинтересованы в восстании. Те из этих деспотов, которые попали в руки Аристагора, были переданы в руки своих бывших подданных, которые по большей части спокойно отстранили их от власти, и в дальнейшем мы увидим их активными помощниками персов. Единственным исключением из этого правила является Коэс, которого митиленейцы забили камнями до смерти[528].

Благодаря этим первым успешным шагам ионийское восстание приняло обширный и грозный характер; возможно, гораздо более значительный, чем предполагал благоразумный Гекатей. Морские силы персов в Эгейском море были сразу же отняты у них и перешли к их противникам, которые, таким образом, стали полными хозяевами моря; и так бы и осталось, если бы против них не выступили вторые морские силы из Феникии, к чему раньше никто не прибегал, а в то время, возможно, и не надеялся.

Призвав все восставшие города назвать своих военачальников и привести себя в состояние обороны, Аристагор пересек Эгейское море, чтобы получить помощь от Спарты, находившейся тогда под властью царя Клеомена; к нему он обратился, "держа в руке медные скрижали, на которых была выгравирована схема всей земли, со всем морем и всеми реками". Вероятно, это была первая карта или план, которую когда-либо видели в Спарте, и впечатление, которое она произвела, было настолько глубоким, что ее помнили даже во времена Геродота.[529] Выразив настоятельную просьбу к спартанцам выступить на помощь своим ионическим братьям, ведущим сейчас отчаянную борьбу за свободу, он продолжил описывать богатство и изобилие (золото, серебро, медь, одеяния, скот и рабы), а также неэффективное оружие и войну азиатов. Последние, по его словам, могли быть сразу же подавлены, а первые присвоены с помощью военной подготовки, как у спартанцев, - чье длинное копье, медный шлем и нагрудник, обширный щит позволяли им презирать лук,

короткое копье, легкую плетеную мишень, тюрбан и шаровары персов.[530] Затем он начертил на своем медной плане путь из Эфеса в Сузы, указав на промежуточные государства, все они приносили более или менее богатую добычу; но особенно он превозносил огромные сокровища в Сузах: "Вместо того чтобы воевать со своими соседями, - заключил он, - аргейцами, аркадянами и мессенцами, от которых ты получаешь тяжелые удары и малую награду, почему бы тебе не сделаться владыкой всей Азии,[531] приз не менее легкий, чем выгодный?" На эти соблазнительные подстрекательства Клеоменес ответил, что придет за ответом на третий день. Когда этот день настал, он задал ему простой вопрос: далеко ли от Суз до моря? На что Аристагор ответил, скорее откровенно, чем ловко, что это три месяца пути; и он уже собирался рассказать об удобстве дороги, когда его прервал Клеоменес: "Уходи из Спарты до захода солнца, милезийский чужестранец; ты не друг лакедемонянам, если хочешь провести их в трех месяцах пути от моря". Несмотря на этот императивный приказ, Аристагор прибег к последнему средству: он взял в руки ветвь прошения и снова отправился в дом Клеоменеса, у которого сидела его дочь Горго, девочка восьми лет. Он попросил Клеомена отослать ребенка, но тот отказался, и ему было предложено продолжать; тогда он стал предлагать спартанскому царю взятку за выполнение просьбы, постоянно поднимая цену от десяти талантов до пятидесяти. В конце концов девочка вдруг заявила: "Отец, чужестранец совертит тебя, если ты сейчас же не уйдешь". Это восклицание так поразило Клеомена, что он прервал беседу, и Аристагор тут же покинул Спарту[532].

Несомненно, Геродот слышал рассказ об этой беседе от лакедемонских информаторов. Но мы можем позволить себе усомниться в том, что в действительности были сделаны какие-либо подобные предложения или высказаны какие-либо подобные надежды, которые он вкладывает в уста Аристагора, - предложения и надежды, которые вполне могли возникнуть в 450-440 гг. до н. э., после целого поколения побед над персами, но не имеющие никакого отношения к 502 году до н. э. Вплоть до битвы при Марафоне имя медяков наводило ужас на греков, а афиняне высоко и справедливо превозносились как первые, кто осмелился посмотреть им в лицо.[533] Говорить о легком походе к сокровищам Суз и империи всей Азии во время ионийского восстания считалось бы доказательством безумия. Возможно, Аристагор и утверждал, что спартанцы более чем достойны персов в полевых условиях, но даже это в 502 году до н. э. считалось бы, скорее, сангвинической надеждой просителя, чем оценкой трезвого наблюдателя.

Милезийский вождь обратился к Спарте как к главенствующей силе Эллады, которая, как мы видим, все больше и больше признается и переходит в привычные чувства греков. За пятьдесят лет до этого спартанцам льстило то обстоятельство, что Крёйс выделил их из всех других греков, чтобы пригласить в союзники: теперь они приняли такой приоритет как нечто само собой разумеющееся[534].

Отвергнутый в Спарте, Аристагор отправился в Афины, ставшие второй силой в Греции. И здесь он нашел более легкую задачу, не только потому, что это была метрополия, или мать-городок, азиатской Ионии, но и потому, что она уже вызвала явную враждебность персидского сатрапа и могла рассчитывать на нападение, как только проект придет в соответствие с его удобством, подстрекаемая Гиппием: тогда как спартанцы не только не имели родства с Ионией, помимо общего эллинизма, но и не были во враждебных отношениях с Персией, и, вмешиваясь в азиатскую войну, спровоцировали бы нового врага. Обещания и заверения Аристагора были приняты афинянами с большой благосклонностью: они, помимо симпатий, были сильно заинтересованы в поддержке ионийского восстания как косвенной защиты для себя, и для них отвлечение ионийского флота от персов стало

заметным и важным облегчением. Афиняне сразу же решили послать флот из двадцати кораблей под командованием Мелантия в помощь восставшим ионийцам - корабли, которые Геродот называет "началом бед между греками и варварами", как до этого назывались корабли, на которых Парис пересек Эгейское море в Илиаде Гомера. Далее Геродот замечает, что, по-видимому, легче обмануть многих людей вместе, чем одного, - ведь Аристагор, потерпев неудачу с Клеоменесом, навязал таким образом тридцать тысяч афинских граждан.^[535] Но на это замечание напрашиваются два комментария. Во-первых, обстоятельства Афин и Спарты в отношении ионийской ссоры были не одинаковы - это замечание Геродот сделал незадолго до этого: у афинян был материальный интерес в ссоре, политический, а также сочувствие, а у спартанцев - никакого. Во-вторых, конечный результат их вмешательства, как это было во времена Геродота, хотя и был куплен тяжелыми промежуточными лишениями, был чрезвычайно выгодным и прославляющим не только Афины, но и Грецию^[536].

Когда Аристагор вернулся, он, по-видимому, застал персов занятыми осадой Милета. Двадцать афинских кораблей вскоре пересекли Эгейское море и обнаружили там пять эретрийских кораблей, которые также пришли на помощь ионийцам; эретрийцы щедро воспользовались случаем, чтобы отплатить за помощь, ранее оказанную им милезийцами в их древней войне с Халкисом. По прибытии этих союзников Аристагор организовал экспедицию из Эфеса в Сарды под командованием своего брата Харопина и других. Корабли были оставлены в Корексусе,^[537] горном и морском порту в пяти милях от Эфеса, а войска под руководством эфесских проводников двинулись сначала вдоль реки Кайстер, затем через горный хребет Тмолус в Сарды. У Артафернеса не было достаточно войск, чтобы удержать сильную цитадель, так что нападавшие овладели городом без сопротивления. Но он тут же отозвал свои силы под Милет,^[538] созвал персов и лидийцев со всех соседних областей и стал более чем подходящим противником для Харопина, который, к тому же, был вынужден эвакуировать Сарды из-за случайного пожара. Большинство домов в этом городе были построены в значительной степени из тростника или соломы, и все они имели соломенные крыши; поэтому случалось, что искра, коснувшаяся одного из них, воспламеняла весь город. Вынужденные покинуть свои жилища, жители города собрались на рыночной площади, а поскольку к ним ежечасно прибывали подкрепления, положение ионийцев и ате нийцев стало шатким: они покинули город, заняли позицию на горе Тмолус и, когда наступила ночь, стали пробиваться к морскому побережью. Войска Артафернеса преследовали их, настигли у Эфеса и нанесли им полное поражение. Эритрейский полководец Эуалкидес, человек выдающийся и прославленный победитель на торжественных играх, погиб в этом бою вместе со значительной частью войска. После этого неудачного начала афиняне сели на свои корабли и отплыли домой, несмотря на настойчивые попытки Аристагора убедить их остаться. Они больше не принимали участия в борьбе;^[539] это отступление было одновременно столь внезапным и полным, что они, вероятно, должны были испытать вопиющее дезертирство со стороны своих азиатских союзников, подобное тому, которое принесло столько опасностей спартанскому полководцу Деркиллидасу в 396 г. до н. э. Если бы это было не так, они, кажется, заслуживают порицания скорее за то, что слишком быстро отказались от своей помощи, чем за то, что изначально ее предоставили^[540].

Однако сожжение такого важного места, как Сарды, включая храмы местной богини Кибобы, которые погибли вместе с остальными зданиями, произвело мощный эффект на обе стороны - ободрило восставших, а также разозлило персов. Аристагор разослал корабли вдоль побережья, на север до Византии и на юг до Кипра. Греческие города вблизи Геллеспонта и Пропонтиды были побуждены, силой или по склонности, принять участие в войне с ним:

карийцы горячо приняли его дело; даже кауниты, которые раньше не заявляли о себе, присоединились к нему, как только узнали о взятии Сардиса; греки на Кипре, за исключением города Амата, сразу же отреклись от власти Дария и приготовились к напряженному поединку. Онесилий из Саламиса, самого значительного города острова, обнаружив, что население готово, а его брат, деспот Горгус, не желает, выставил последнего за ворота, взял на себя командование объединенными силами Саламиса и других восставших городов и осадил Амата. Эти города Кипра находились тогда и, похоже, всегда оставались под властью деспотов, которые, однако, в отличие от деспотов в Ионии в целом, вместе со своими подданными приняли участие в восстании против Персии[541].

Теперь восстание приняло более серьезный характер, чем когда-либо, и персы были вынуждены приложить все усилия, чтобы усмирить его. Из-за большого количества различных народов, входящих в состав империи, они могли использовать антипатии одних против других; и старое враждебное чувство фенийцев против греков теперь оказалось чрезвычайно полезным. После года, потраченного на сбор сил, [542] феникийский флот был использован для перевозки на Кипр персидского полководца Артебия с киликийской и египетской армией, [543] а силы Артафернеса в Сардах были настолько усилены, что позволили ему действовать сразу против всего побережья Малой Азии, от Пропонтиды до Триопского мыса. С другой стороны, общая опасность на время привела ионийцев в состояние союза, чуждое их обычным привычкам, и теперь мы в первый и последний раз слышим о достаточно эффективной пан-ионийской власти[544].

Узнав о прибытии Артебия с феникийским флотом, Онесил и его кипрские сторонники обратились за помощью к ионийскому флоту, который прибыл вскоре после высадки персидских войск на острове. Онесил предложил ионийцам выбор: сражаться с феникианцами на море или с персами на суше. Их естественное решение было в пользу морского боя, и они вступили в бой с таким мужеством и единодушием, которое обеспечило им блестящую победу; особенно отличились саамийцы.[545] Но бой на суше, который велся в то же время, принял другой оборот. Онесил и саламиняне вывели на поле боя, по примеру восточных, а не греческих, колесниц с косами, предназначенных для прорыва вражеских рядов; с другой стороны персидский полководец Артибий был посажен на коня, обученного подниматься на задние ноги и наносить удары передними по пешему противнику. В гуще схватки Онесил и его щитоносец Кариан вступили в личное противостояние с этим полководцем и его конем; и по предварительному сговору, когда конь взвился на дыбы и занес передние ноги над щитом Онесила, Кариан косой отрубил ноги от тела, а Онесил собственной рукой убил Артибия. Но личная храбрость киприотов оказалась бесполезной из-за предательства в их собственных рядах. Стескенор, деспот Куриума, дезертировал в разгар битвы, и даже косые колесницы Саламины последовали его примеру. Храбрый Онесил, ослабленный таким образом, погиб при полном разгроме своей армии вместе с Аристокипрсом, деспотом Соли, на северном побережье острова: этот последний был сыном того Филокипруса, который был увековечен более чем за шестьдесят лет до этого в поэмах Солон. Теперь у восставших не осталось никаких надежд, и победоносный ионийский флот вернулся домой. Саламин вернулся под власть своего прежнего деспота Горгуса, а остальные города Кипра были последовательно осаждены и взяты: впрочем, не без решительной обороны, поскольку один только Соли продержался пять месяцев[546].

Тем временем основные силы Дария, собранные в Сардах, - Даурисес, Гимеас и другие полководцы, женившиеся на дочерях великого царя, - распределили свои силы по разным частям западного побережья. Даурисес атаковал города у Геллеспонта,[547] Абидус, Перкот, Лампсакус и Пэсус, которые не оказали особого сопротивления. Затем ему было приказано

двигаться на юг, в Карию, в то время как Гимеас, который с другим подразделением взял Киос на Пропонтисе, спустился к Геллеспонту и завершил покорение Троицы, а также эолийских греков в районе Иды. Артафернес и Отанес напали на ионийские и эолийские города на побережье: первый взял Клазомены, второй - Кимку[548]. Оставалась Кария, которая вместе с Милетом, расположенным по соседству, оказала решительное сопротивление Дауриску. Предупрежденные о его приближении, карийцы собрались в месте, называемом Белые Столбы, недалеко от слияния рек Мæандер и Марсиас. Пиксодар, один из их вождей, посоветовал отчаянный способ сражаться с рекой у себя за спиной, чтобы отрезать все шансы на бегство; но большинство вождей решили выбрать противоположную политику[549] - пропустить персов через реку, надеясь загнать их обратно в нее и таким образом сделать их поражение полным. Победа, однако, после острой схватки была объявлена в пользу Дауриска, главным образом из-за его превосходства в численности: две тысячи персов и не менее десяти тысяч карийцев, как говорят, погибли в битве. Беглецы-карийцы, воссоединившись после бегства в роще благородных платанов, освященных Зевсу Стратию, близ Лабранды,[550] размышляли, покориться ли им теперь персам или навсегда эмигрировать, когда появление милезийского подкрепления вернуло им мужество. Произошло второе сражение, и во второй раз они потерпели поражение, причем потери в этот раз понесли в основном милезийцы. 551] Победоносные персы приступили к штурму карийских городов, но Ираклидес из Миласы устроил для них засаду с таким мастерством и удачей, что их армия была почти уничтожена, а Даурискес с другими персидскими полководцами погиб. Эта успешная попытка, последовавшая за двумя тяжелыми поражениями, делает честь постоянству карийцев, за которыми греческие пословицы обычно закрепляют дурную репутацию. Она спасла на время карийские города, которые персам удалось разрушить только после взятия Милета[552].

Таким образом, на суше восставшие повсеместно терпели поражение, хотя на море ионийцы все еще оставались хозяевами. Но неунывающий Аристагор начал отчаиваться в успехе и подумывать о подлом дезертирстве соратников и соотечественников, которых он сам предал опасности. Собрав своих главных советников, он рассказал им о бесперспективном положении дел и о необходимости найти убежище на случай, если их изгонят из Милета. Он поставил перед ними вопрос, что лучше подходит для этой цели: остров Сардиния или Миркинус во Фракии, недалеко от Стримона (который Гистизей начал укреплять некоторое время назад, как я уже упоминал в предыдущей главе). Среди тех, с кем они советовались, был историк Гекатей, который не одобрил ни одну, ни другую схему, но предложил возвести укрепленный пост на соседнем острове Лерос; милезийскую колонию, где можно было бы временно укрыться, если окажется невозможным удержать Милет, но которая позволяла бы легко вернуться в этот город, как только представится возможность. 553] Такое мнение, несомненно, основывалось на предположении, что они смогут сохранить превосходство на море. И важно отметить такую уверенность в этом превосходстве в сознании проницательного, не склонного к сангвиническим надеждам человека, как Гекатей, - даже при обстоятельствах, весьма неблагоприятных на суше. Эмиграция в Миркинус, предложенная Аристагором, вообще не давала надежды на убежище, поскольку персы, если бы они восстановили свою власть в Малой Азии, не преминули бы распространить ее и на Стримон. Тем не менее, совет закончился принятием этой схемы, поскольку, вероятно, никто из ионийцев не смог бы выдержать неизмеримые расстояния Сардинии в качестве нового дома. Аристагор отплыл в Миркин, взяв с собой всех, кто решил составить ему компанию; но вскоре после высадки он погиб вместе почти со всей своей компанией при осаде соседнего фракийского города. 554] Хотя в начале восстания он заявил, что отказывается от своей верховной власти, ему все же удалось в значительной степени сохранить ее; отплыв в Миркин, он передал ее Пифагору, гражданину, пользовавшемуся большим уважением.

Однако милезийцы, с радостью избавившись от вождя, который не принес им ничего, кроме бед,[555] почти не повиновались его преемнику и сделали свое правительство с этого периода популярным как в действительности, так и на деле. Дезертирство Аристагора с гражданами, которых он увлек за собой, должно быть, серьезно омрачило дух тех, кто остался: тем не менее, похоже, что дело ионийских бунтовщиков было вполне успешно проведено и без него.

Вскоре после его отъезда другой деспот - Гистий Милетский, его тесть и вместе с ним подстрекатель восстания, - явился к воротам Милета, чтобы его впустили. Начавшееся восстание позволило ему, как он и рассчитывал, получить разрешение на отъезд от Дария. Этот принц пришел в яростное негодование после нападения и сожжения Сардиса и всеобщего восстания в Ионии, возглавляемого (так до него дошли новости) милійцем Аристагором, но осуществленного при активном содействии афинян. "Афиняне (воскликнул Дарий), кто *они*?" Получив ответ, он попросил свой лук, наложил стрелу на тетиву и выстрелил как можно выше к небу, сказав: "Даруй мне, Зевс, отомстить афинянам". В то же время он попросил слугу, чтобы тот трижды в день за ужином напоминал ему: "Господин, помни об афинянах"; что же касается ионийцев, то он был уверен, что час их возмездия наступит быстро и легко[556].

Этот гомеровский инцидент заслуживает внимания как иллюстрация эпической трактовки Геродота. Его тема - вторжение Персии в Грецию: он дошел до первого извержения в лоне Дария той страсти, которая побудила персидские войска к Марафону и Саламину, - и он отмечает начало нового этапа и действием, и словом, одинаково значимыми. Его можно сравнить с возлиянием и молитвой, обращенными Ахиллом в "Илиаде" к Зевсу в тот момент, когда он посылает Патрокла и мирмидонов на помощь отчаявшимся грекам.

Сначала Дарий был склонен приписать движение в Ионии тайному подстрекательству Гистиея, которого он вызвал к себе и допросил. Но тот нашел способ удовлетворить его и даже убедить, что никакой беды не случилось бы, если бы он, Гистий, находился в Милете, а не был задержан в Сузах. "Пришлите меня на место, - уверял он, - и я обязуюсь не только подавить восстание и отдать в ваши руки возглавляющего его предателя, но и не снимать с себя эту тунику, прежде чем не присоединю к вашей империи великий остров Сардинию". Экспедиция в Сардинию, хотя она так и не была осуществлена, по-видимому, была одной из любимых фантазий ионийских греков того времени.[557] С помощью таких хвастовства и заверений он получил свободу и отправился в Сарды, обещая вернуться, как только выполнит их.[558]

Но, добравшись до Сард, он обнаружил, что сатрап Артафернес осведомлен лучше, чем великий царь в Сузах. И хотя Гистий, отвечая на вопрос о причинах, вызвавших вспышку, проявил лишь невежество и удивление, Артафернес уловил его уловки и сказал: "Я скажу тебе, Гистий, как обстоят дела: это ты зашил этот башмак, а Аристагор его надел".[559] Такое заявление не сулило никакой безопасности подозреваемому милезийцу, который его услышал; поэтому, как только наступила ночь, он обратился в бегство, спустился на побережье и оттуда перешел на Хиос. Здесь он был схвачен по противоположному обвинению, как доверенное лицо Дария и враг Ионии: однако его отпустили, объявив, что он не просто беглец, спасающийся из персидской тюрьмы, но и главный автор ионийского восстания. И далее он добавил, чтобы повысить свою популярность, что Дарий задумал перевести ионийское население в Феникию, а феникийское - в Ионию, - чтобы предотвратить этот перевод, он, Гистий, и подстрекал к восстанию. Это обвинение, хотя и

было не более чем чистой выдумкой, обеспечило ему благосклонность хианцев, которые вернули его в Милет. Но перед отъездом он отомстил Артафернесу, отправив в Сарды несколько подложных писем, в которых обвинял многих знатных персов в совместном с ним заговоре: эти письма попали в руки самого сатрапа, который был полон подозрений и предал смерти нескольких участников, к большому беспокойству всех окружающих[560].

Прибыв в Милет, Гистизей обнаружил, что Аристагора уже нет, а горожане совсем не рады возвращению своего старого деспота. Тем не менее он попытался ночью прорваться в город, но был отбит и даже ранен в бедро. Он вернулся на Хиос, но хиосцы отказали ему в помощи любого из своих кораблей; затем он перешел на Лесбос, у жителей которого он получил восемь трирем и использовал их для оккупации Византии, грабя и задерживая ионийские торговые корабли, когда они входили или выходили из Эвксинского моря.[561] Немногочисленные оставшиеся пиратства этого никчемного предателя, до самой смерти причинявшего зло своим соотечественникам, едва ли заслуживают нашего внимания на фоне последней борьбы и страданий покоренных ионийцев, к которым мы сейчас спешим.

Огромные силы персов, как военные, так и морские, постепенно концентрировались у Милета, против которого Артафернес решил направить свои основные усилия. В качестве подкрепления к ним была подтянута не только вся малоазийская армия, но и киликийские и египетские войска, только что завоевавшие Кипр, и даже сами покоренные киприоты; на побережье действовал весь феникийский флот, насчитывавший не менее шестисот кораблей.[562] Чтобы встретить такое сухопутное войско в полевых условиях, намного превосходящее силы ионийцев, объединенный пан-ионический совет постановил, что милезийцы должны быть оставлены защищать свои собственные укрепления, в то время как все силы городов-конфедератов должны быть собраны на кораблях. На море у них пока не было причин отчаиваться: они одержали победу над финикийцами у Кипра и не потерпели ни одного поражения. Объединенный ионический флот, включая эолийских лесбиян, насчитывавший в общей сложности триста пятьдесят три корабля, был собран в Ладке - маленьком островке близ Милета, но теперь присоединенном к побережью благодаря постепенному увеличению суши в заливе у устья Месандра. Восемьдесят милезских кораблей составляли правое крыло, сто хианских - центральное, шестьдесят саамских - левое; в то время как пространство между милезийцами и хианами занимали двенадцать кораблей из Приэнки, три из Миуса и семнадцать из Теоса, пространство между хианами и саамами заполняли восемь кораблей из Эритреи, три из Фокеи и семьдесят с Лесбоса[563].

Общее вооружение, составленное таким образом, едва ли уступало по численности тому, которое пятнадцать лет спустя одержало победу в битве при Саламине против гораздо более многочисленного персидского флота, чем нынешний. Более того, мужество ионийцев на кораблях не уступало мужеству их современников на другом берегу Эгейского моря, а в отношении разногласий между союзниками мы в дальнейшем найдем обстоятельства, предшествовавшие битве при Саламине, еще более угрожающими, чем перед предстоящей битвой при Ладе. Шансы на успех, таким образом, были по меньшей мере равны между этими двумя сражениями; и действительно, предвидения персов и финикийцев по этому случаю были полны сомнений, так что они считали необходимым приступить к разработке явных средств для разъединения ионийцев, - к счастью для греков, Ксеркс при Саламине не смог донести до них мысль о благоразумии стремиться к той же цели. Теперь в персидском лагере находились все те различные деспоты, которых Аристагор в начале восстания изгнал из своих городов. По наущению Артафернеса каждый из них разослал тайные сообщения своим гражданам в союзном флоте, пытаясь отделить их по отдельности от общей массы, обещая мягкое обращение в случае подчинения и угрожая крайним наказанием со стороны

персов, если они будут упорствовать в вооруженных действиях. Хотя эти сообщения были отправлены каждому без ведома остальных, ответ всех был единодушным отрицательным.^[564] И конфедераты в Ладе казались более едиными по сердцу и духу, чем афиняне, спартанцы и коринфяне, которые впоследствии окажутся в Саламине.

Но была одна большая разница, которая перевесила чашу весов, - превосходная энергия и способности афинских лидеров в Саламине в сочетании с тем фактом, что они *были* афинянами, то есть командовали самым большим и важным контингентом во всем флоте.

В Ладе, к сожалению, все было совсем иначе: у каждого отдельного контингента был свой командир, а об общем командире мы вообще не слышали. Не было и вождей из крупных городов - милезийцев, хианцев, саамитян или лесбийцев - таких, как Фемистоклес, компетентных и готовых выступить в качестве самозванных лидеров и узурпировать на время, с общего согласия и для общей пользы, привилегию, не предназначенную для них. Единственным человеком, обладавшим достаточной энергией и решительностью, чтобы сделать это, был фокейский Дионисий - к сожалению, капитан самого малочисленного контингента флота, а потому пользовавшийся наименьшим уважением. Ведь Фокея, некогда смелая исследовательница западных вод, после завоевания персами Ионии настолько уменьшилась, что теперь могла выставить не более трех кораблей, а ее древний морской дух сохранился только в груди ее капитана. Когда Дионисий увидел ионийцев, собравшихся в Ладе, готовых, жаждущих, полных разговоров и взаимной поддержки, но не обученных и не думающих ни о дисциплине, ни о морской практике, ни о сотрудничестве в час битвы, - он увидел, какому риску они подвергаются из-за отсутствия этих мер предосторожности, и горячо возразил им: "Наша судьба висит на острие бритвы, люди Ионии: либо быть свободными, либо рабами, - и рабами, пойманными после побега. Настройтесь сразу же на работу и выполнение долга, и тогда вначале у вас действительно будут трудности, а потом - уверенная победа и свобода. Но если вы будете упорствовать в этой беспечности и беспорядке, у вас не останется надежды избежать мести короля за ваш бунт. Убедись и посвяти себя мне; и я ручаюсь, что при равном соотношении сил богов твои враги либо не будут сражаться, либо будут жестоко избиты"^[565].

Мудрость этого совета была настолько очевидна, что ионийцы, покинув свои удобные палатки на берегу Ладка и поднявшись на корабли, подчинились постоянным морским работам и маневрам, навязанным им Дионисием. Гребцы и гоплиты на палубе выполняли свои отдельные функции, и даже когда они не были заняты, корабли стояли на якоре, а экипажи находились на борту, а не на берегу, так что работа продолжалась весь день под жарким летним солнцем. Такой труд, новый для ионийских экипажей, продолжался семь дней подряд, после чего они единодушно подняли решительный мятеж и отказались: "Кого из богов мы оскорбили, чтобы навлечь на себя такое возмездие? Безумцы, как мы, чтобы отдать себя в руки этого фокейского хвастуна, который предоставил нам всего три корабля!"^[566] Он теперь завладел нами и губит нас без всякого средства: многие из нас уже больны, многие другие болеют; лучше бы нам решиться на персидское рабство или на другие беды, чем продолжать эти страдания. Пойдемте, мы больше не будем повиноваться этому человеку". И они тут же отказались исполнять его приказ, вернувшись в свои палатки на берегу, наслаждаясь тенью, отдыхом и бездеятельными разговорами, как и прежде.

Я не стал лишать эту поучительную сцену той драматической живости, с которой она передана у Геродота, - тем более что она имеет всю видимость реальности, а историк Гекатей, вероятно, присутствовал на острове Ладек и мог описать то, что видел и слышал на самом деле. Когда мы увидим, какие терпимые лишения налагали эти морские маневры и труды на ионийцев, хотя они не были непривычны к обычной корабельной работе, - и когда

мы станем свидетелями их совершенной неспособности подчиниться такой дисциплине, даже когда крайняя опасность смотрела им в лицо, - мы сможем оценить суровый и непрестанный труд, которым афинский моряк впоследствии приобрел то совершенство морской дисциплины, которое отличало его в начале Пелопоннесской войны. По мере того как мы будем продолжать эту историю, выяснится, что полное развитие афинской демократии произвело революцию в греческом военном флоте, в основном за счет того, что граждане-моряки стали проходить строгую непрерывную подготовку, которая была превзойдена только лакедемонским учением на суше, - и таким образом стал возможен вид морского маневрирования, который был неизвестен даже во время битвы при Саламине. Я покажу это более подробно позже, а сейчас я кратко сравню это с неспособностью ионийцев в Ладе, чтобы понять, насколько болезненным было такое обучение. Читателя греческой истории обычно учат ассоциировать с афинской демократией только идеи буйства и анархии; но афинский флот, дитя и чемпион этой демократии, как выясняется, демонстрирует неутомимый труд и послушание, которых больше нигде в Греции не наблюдалось и которые даже первые уроки, как в рассматриваемом нами случае, оказываются для других настолько утомительными, что перевешивают перспективу крайней и неминуемой опасности. То же нетерпение к постоянному труду и дисциплине, которое ионийцы проявили к своей собственной гибели перед битвой при Ладе, будет характерно для них через пятьдесят лет после этого, когда они станут союзниками Афин, как я буду иметь случай показать, когда перейду к описанию Афинской империи.

Закончив таким резким и мятежным образом, разумные предложения вождя фокейцев принесли больше вреда, чем пользы. Возможно, его манера поведения была непродуманно грубой, но мы удивлены тем, что ни у кого из предводителей больших контингентов не хватило здравого смысла воспользоваться первой готовностью ионийцев и использовать свое влияние, чтобы обеспечить продолжение начатой хорошей практики. В ионическом восстании не нашлось ни одного такого руководителя. С того дня, как ионийцы отбросили Дионисия, их лагерь превратился в сцену раздора и недоверия. Некоторые из них стали настолько безрассудными и неуправляемыми, что лучшая часть отчаялась вести сколько-нибудь упорядоченное сражение; в частности, саамийцы теперь раскаивались в том, что отклонили тайные предложения, сделанные им изгнанным деспотом, [567] Якесом, сыном Силосона. Они отправились в частном порядке, чтобы возобновить переговоры, получили новое обещание о тех же поблажках и согласились дезертировать, когда представится случай. В день сражения, когда оба флота были готовы к бою, шестьдесят саамских кораблей уплыли, кроме одиннадцати, капитаны которых презрели такое вероломство. Другие ионийцы последовали их примеру; однако среди взаимных упреков, которые слышал Геродот, ему трудно определить, кто больше виноват, хотя он называет лесбийцев в числе самых первых дезертиров. [568] Сто кораблей с Хиоса, составлявшие центр флота - на каждом корабле было сорок отборных воинов в полном вооружении - представляли собой блестящее исключение среди остальных; они сражались с величайшей верностью и решимостью, нанеся врагу и сами понеся большие потери. Дионисий, фокейский вождь, также повел себя достойно, как и его предшественник, захватив на трех своих кораблях такое же количество финикийцев. Но эти примеры храбрости не компенсировали вероломства и трусости остальных, и поражение ионийцев при Ладке было полным и безвозвратным. Для верных хианцев потери были ужасны как во время битвы, так и после нее. И хотя некоторые из их кораблей благополучно добрались до Хиоса, другие были так повреждены, что вынуждены были пристать к берегу недалеко от мыса Микале, где экипажи покинули их с намерением отправиться на север, через эфесскую территорию, на континент напротив их собственного острова. Мы с изумлением узнали, что в этот критический момент эфесские женщины были заняты торжественным празднованием Фесмофории - праздника, который

отмечался ночью, под открытым небом, в какой-нибудь необитаемой части территории и без присутствия мужчин. Поскольку хианские беглецы проникли на эфесскую территорию ночью, и их приход не был ни известен, ни ожидаем, - было принято считать, что это воры или пираты, пришедшие захватить женщин, и в этом заблуждении они были атакованы эфесцами и убиты.[569] Из этого случая следует, что эфесцы не принимали никакого участия в ионическом восстании, и они не упоминаются среди различных контингентов. Ничего не говорится ни о Колофоне, ни о Лебеде, ни об Эрæ[570].

Фокейский царевич Дионисий, понимая, что поражение при Ладе стало гибелью ионийского дела, а его родной город вновь обречен на персидское подчинение, не считал благоразумным даже вернуться домой. Сразу же после битвы он отплыл не в Фокею, а к феникийскому побережью, в этот момент лишенному защитных крейсеров. Он захватил несколько феникийских судов, из которых извлек немалую выгоду: затем, отправившись в Сицилию, он занялся каперством против карфагенян и тирренцев, воздерживаясь от посягательств на греков. [571] Такое занятие, похоже, было вполне допустимым. Значительная часть саамов также переселилась в Сицилию, возмущенная вероломством своих адмиралов в битве и еще более возмущенная приближающейся реставрацией их деспота Эакеса. О том, как эти саамские эмигранты обосновались в сицилийском городе Занкле,[572] я расскажу в рамках хода сицилийских событий, о которых речь пойдет ниже.

Победа при Ладе позволила персам напасть на Милет как по морю, так и по суше; они вели осаду с величайшей энергией, подрывая стены и используя различные орудия нападения: в этом отношении их ресурсы, по-видимому, увеличились со времен Гарпага. Вскоре город был взят штурмом, и его постигла жалкая участь. Взрослые мужчины были в основном убиты, а те, кто остался в живых, вместе с женщинами и детьми, были отправлены в Сузы, чтобы дожидаться приказа Дария, который назначил им место жительства в Ампе, недалеко от устья Тигра. Храм в Бранхиде был сожжен и разграблен, как и предсказывал Гекатей в начале восстания: содержащиеся в нем большие сокровища, должно быть, пошли на покрытие расходов персидской армии. Говорят, что территория Милезии была полностью очищена от прежних жителей: персы сохранили за собой город с прилегающей к нему равниной, а горные районы передали карийцам Педаса. Некоторые из милезийцев нашли место среди саамских эмигрантов в Сицилии.[573] Однако несомненно, что в Милет впоследствии были приняты новые греческие жители, так как впоследствии он появляется как греческий город, хотя и с уменьшившейся силой и значением.

Взятие Милета на шестом году от начала восстания[574] повлекло за собой быстрое подчинение соседних городов в Карию.[575] В течение следующего лета - феникийский флот зимовал в Милете - персидские войска по морю и суше вновь завоевали всех азиатских греков, как островных, так и континентальных. Хиос, Лесбос и Тенедос, города в Херсонесе, Селимбрия и Перинф во Фракии, Проконнес и Артак в Пропонтиде - все эти города были взяты или разграблены персидским и феникийским флотом.[576] Жители Византии и Халкедона большей частью бежали, даже не дожидаясь его прибытия, в Месембрию, а афинянин Мильтиадес спасся от персидского плена только благодаря быстрому бегству из своей обители в Херсонесе в Афины. Его преследователи так близко подошли к нему, что один из его кораблей с сыном Метииохом на борту попал в их руки. Так как Мильтиадес энергично настаивал на разрушении моста через Дунай по случаю скифской экспедиции, финикийцы особенно стремились завладеть его персоной, как наиболее приемлемой из всех греческих пленников для персидского царя; который, однако, когда Метииоха, сына Мильтиадеса, привезли в Сузы, не только не причинил ему вреда, но отнесся к нему с большой добротой и дал ему персидскую жену с удобным содержанием[577].

Гораздо иначе поступали персидские полководцы с отвоеванными городами на побережье и вблизи него. Угрозы, прозвучавшие перед битвой при Ладе, были реализованы в полной мере. Самые красивые греческие юноши и девы были отобраны, чтобы быть распределенными среди персидских грандов в качестве евнухов или обительниц гаремов; города с их сооружениями, как священными, так и мирскими, стали жертвой огня; а в случае с островами Геродот даже рассказывает, что от берега до берега была сформирована линия персов, которая охватила каждую территорию с севера на юг и изгнала оттуда жителей.^[578] То, что многое в этом жестком обращении вполне обосновано, не подлежит сомнению. Но масштабы обезлюдения и разрушения должны быть преувеличены, так как эти острова и города впоследствии, как представляется, были заняты греческим населением и даже находились в сносном, хотя и сокращенном, состоянии. Самос стал исключением из общего ряда и был полностью пощажен персами в качестве награды его капитанам за пример дезертирства в битве при Ладке; в то же время деспот острова Эакес был восстановлен в своем правлении^[579].

На фоне страданий, перенесенных столькими невинными людьми всех возрастов и обоих полов, судьба Гистиея вызывает лишь слабое сочувствие. Узнав во время своих пиратских походов в Византии о капитуляции Милета, он счел целесообразным отплыть со своими лесбийскими кораблями на Хиос, куда его не пустили. Но хиосцы, ослабленные недавней битвой, были не в состоянии сопротивляться, поэтому он разбил их войска и опустошил остров. Во время нынешнего распада азиатских греков, несомненно, было много тех, кто, подобно фокейцу Дионисию, не хотел возвращаться домой, в поработанный город, но не имел определенного плана нового места жительства: из этих изгнанников значительное число поступило под временное командование Гистиея и сопровождало его в разграблении Фасоса.^[580] Осаждая этот город, он узнал, что феникийский флот покинул Милет, чтобы напасть на остальные ионические города; он оставил свои планы на Фасосе незаконченными, чтобы отправиться защищать Лесбос. Но на этом острове не хватало провизии, и он был вынужден перебраться на континент, чтобы собрать урожай кукурузы в окрестностях Атарнея и на плодородной равнине Мисии у реки Кайкус. Здесь он столкнулся со значительным персидским войском под командованием Гарпага, был избит, вынужден бежать и взят в плен. Когда его доставили в Сарды, сатрап Артафернес сразу же распял его: отчасти, несомненно, из искренней ненависти, а отчасти из убеждения, что, если его отправят пленником в Сузы, он может снова стать опасным, поскольку Дарий и сейчас пощадил бы его жизнь, руководствуясь неизгладимым чувством благодарности за поддержание моста через Дунай. Голову Гистиея забальзамировали и отправили в Сузы, где Дарий приказал похоронить ее с почестями, осудив эту поспешную казнь человека, который когда-то был его хранителем^[581].

Не приходится удивляться, что пленение Милета вызвало у афинян сильнейшее чувство, смешанное с сочувствием и тревогой. В следующем году (так, по крайней мере, нас заставляют думать, хотя дата не может быть определена точно) оно было выбрано в качестве темы для трагедии "Взятие Милета" драматического поэта Фриниха; когда пьеса была исполнена, она так больно ударила по чувствам афинских зрителей, что они разрыдались в театре, а поэт был приговорен к выплате штрафа в тысячу драхм, как "напомнивший им об их собственных несчастьях".^[582] Пьеса была запрещена к последующему исполнению и до нас не дошла. Некоторые критики полагают, что Геродот не совсем верно определил истинный мотив, побудивший афинян наложить этот штраф.^[583] Ведь несомненно, что сюжетами для трагедий обычно служили части героических легенд, а не вопросы недавней истории; так что афиняне могли жаловаться на Фриниха по двойному поводу - за нарушение установленных канонов приличия и за слишком глубокое задевание их чувств. Тем не менее,

я не вижу причин сомневаться в том, что причина, указанная Геродотом, в основном верна; но очень возможно, что Фриних в возрасте, когда трагическая поэзия еще не достигла своего полного развития, мог коснуться этой очень нежной темы грубой и оскорбительной рукой перед людьми, которые имели все основания опасаться такой же жестокой судьбы для себя. Эсхил в своей "Персее", рассказывая о победах при Саламине и Платее, естественно, не мог не ощутить прилив афинского сочувствия. Но заинтересовать публику успехами персов и страданиями греков было задачей, с которой не справились бы гораздо более великие поэты, чем Фриних, - и за которую не взялся бы ни один благоразумный поэт. Разграбление Магдебурга графом Тилли во время Тридцатилетней войны вряд ли могло стать предметом драматического представления в каком-либо протестантском городе Германии.

ГЛАВА XXXVI. ОТ ВОССТАНИЯ ИОАННИТОВ ДО БИТВЫ ПРИ МАРАФОНЕ.

В предыдущей главе я указал точку слияния европейского и азиатского потоков греческой истории - начало решительного персидского намерения завоевать Аттику; оно проявилось сначала в форме угрозы сатрапа Артафернеса, когда он приказал афинянам вернуть Гиппия как единственное условие безопасности, а затем превратилось в страсть в груди Дария в результате сожжения Сардиса. Таким образом, с этого времени дела Греции и Персии оказались в непосредственной связи друг с другом и могли быть воплощены, в гораздо большей степени, чем раньше, в одно непрерывное повествование.

Завоевание Ионии было полностью завершено, и Артафернес приступил к организации будущего управления ею с такой степенью благоразумия и предусмотрительности, которая не часто проявлялась в персидских делах. Созвав депутатов от всех городов, он заставил их заключить постоянный договор для полюбовного разрешения споров, чтобы предотвратить применение силы одним из них против других. Кроме того, он заставил измерить территорию каждого города парасангами (каждый парасанг равнялся тридцати стадиям, или примерно трем милям с половиной) и установил начисление дани в соответствии с этим измерением, не отступая, однако, существенно от тех сумм, которые выплачивались до восстания^[584].

К сожалению, Геродот необычайно краток в своих упоминаниях об этой процедуре, которую было бы очень интересно осмыслить в полном объеме. Однако мы можем считать несомненным, что население и территория многих ионийских городов, если не всех, были существенно изменены в результате предшествующего восстания, а еще больше - в результате жестокостей, которыми сопровождалось подавление восстания. Что касается Милета, то Геродот рассказывает, что персы сохранили за собой город с прилегающей равниной, а горную часть милезской территории отдали карийцам из Педаса. ^{585]} Такое решение, естественно, потребовало бы нового измерения и оценки дани; возможно, подобные передачи земель происходили и в других местах. Я уже отмечал, что утверждениям Геродота о полном обезлюдении и разрушении городов нельзя верить в полной мере; ведь все эти города впоследствии были заселены, и все они были эллинскими. Но нет сомнений в том, что они частично правдивы, и что бедствия тех дней, о которых говорится в труде Гекатея, а также у современных информаторов, с которыми, вероятно, общался Геродот, должны были быть чрезвычайными. Во многие из них, вероятно, были приняты новые

жители, чтобы восполнить понесенные потери; и такое вливание свежей крови усилило бы необходимость организации, введенной Артафернесом, чтобы четко определить обязательства городов перед персидским правительством и друг перед другом. Геродот считает, что это соглашение было чрезвычайно выгодным для ионийцев, и так, несомненно, и должно было показаться, поскольку оно появилось сразу после стольких предыдущих страданий. Далее он добавляет, что установленная тогда дань оставалась неизменной до его собственных дней, - утверждение, требующее комментариев, которые я оставляю до тех пор, пока не придет время описать состояние азиатских греков после отпора Ксеркса из самой Греции.

Между тем, намерения Дария по завоеванию Греции теперь проявились в полной мере: Мардоний, наделенный верховным командованием, во главе большого войска был отправлен с этой целью весной следующего года. Достигнув в ходе похода Киликии, он сам сел на корабль и отправился морем в Ионию, а его армия двинулась через Малую Азию к Геллеспонту. Его действия в Ионии удивляют нас и, похоже, показались удивительными как самому Геродоту, так и его читателям. Мардоний сместил деспотов в различных греческих городах[586] и оставил жителей каждого управлять собой, подчиняясь персидскому владычеству и дани. Это был полный отказ от прежней политики Персии, и его следует приписать новому убеждению, несомненно мудрому и обоснованному, которое недавно возникло среди персидских лидеров, что в целом их непопулярность усугублялась, а сила увеличивалась, если они использовали этих деспотов в качестве орудия. Явления позднего ионийского восстания были хорошо рассчитаны, чтобы преподать такой урок; но на протяжении всей этой истории мы не часто видим, чтобы персы извлекали пользу из этого опыта.

Мардоний не стал долго задерживаться в Ионии, а перешел со своим флотом к Геллеспонту, куда уже прибыл сухопутный отряд. Он переправил его в Европу и начал свой поход по Фракии, которая уже была уменьшена Мегабазом и, похоже, не участвовала в восстании ионийцев. Остров Тасус сдался флоту без сопротивления, а сухопутные войска были переправлены через Стримон в греческий город Аканф, расположенный на западном побережье Стримонского залива. Отсюда его сухопутный отряд отправился в Македонию и покорил значительную часть ее жителей, возможно, некоторых из тех, что не входили в состав владений Аминта, поскольку этот князь ранее подчинился Мегабазу. Тем временем он послал свой флот удвоить мыс горы Афон и снова соединиться с сухопутными войсками у залива Термы, намереваясь завоевать как можно большую часть Греции и даже продолжить поход до Афин и Эретрии;[587] так что экспедиция, которую впоследствии совершил Ксеркс, была бы опробована по крайней мере Мардонием, двенадцатью или тринадцатью годами ранее, если бы ужасная буря не вывела флот из строя. Море вблизи Афона и тогда, и сейчас было полно опасностей для мореплавателей. Один из ураганов, столь частых в его окрестностях, настиг персидский флот, уничтожил триста кораблей, утопил или выбросил на берег не менее двадцати тысяч человек: из тех, кто достиг берега, многие умерли от холода или были пожраны дикими зверями на этом негостеприимном языке земли. Это бедствие полностью остановило дальнейшее продвижение Мардония, который также понес значительные потери со своей сухопутной армией и сам был ранен во время ночного нападения на него фракийцев из племени бригов. Хотя он был достаточно силен, чтобы отразить это нападение и отомстить за него, а также покорить бригов, он все же был не в состоянии продвигаться дальше. И сухопутные войска, и флот были отведены к Геллеспонту, а оттуда - в Азию, со всем позором неудачи. Мардоний также не был вновь использован Дарием, хотя мы не можем утверждать, что вина за это лежит на нем. 588] Мы еще услышим о нем при Ксерксе.

Неудача Мардония, похоже, вдохновила тасийцев, так недавно покоренных, на идею восстания. По крайней мере, они вызвали подозрение Дария, начав активно готовиться к обороне, строить военные корабли и укреплять свои фортификационные сооружения. В это время тасийцы жили в большом достатке, главным образом за счет золотых и серебряных рудников, как на острове, так и на противоположной материковой территории. Их рудники в Скапте-Хиле, во Фракии, приносили им ежегодный доход в восемьдесят талантов; а в целом их избыточный доход - после покрытия всех расходов правительства, так что жители не облагались налогами - составлял двести талантов (сорок шесть тысяч фунтов, если в аттических талантах; больше, если в эвбейских или эгинейских). С такими большими средствами они вскоре смогли сделать приготовления, которые привлекли внимание их соседей, многие из которых, несомненно, завидовали их процветанию и, возможно, были склонны оспаривать с ними владение прибыльными рудниками Скаптека Хилка. Как и в других случаях, так и в этом: зависть подвластных соседей часто становилась причиной откровений для превосходящей силы: о действиях тасийцев стало известно, и они были вынуждены разрушить свои укрепления, а также сдать все свои корабли персам при Абдере[589].

Хотя Дарий был недоволен Мардонием, он с еще большим рвением принялся за завоевание Греции, а Гиппий поддерживал его гнев против афинян.[590] В приморские города империи были разосланы приказы снарядить военные корабли и конные транспорты для новой попытки. О его намерениях, вероятно, уже знали в самой Греции, поскольку его армия недавно выступила в поход на Македонию; однако он счел целесообразным послать глашатаев в большинство греческих городов, чтобы потребовать от каждого формального знака покорности - землей и водой, и таким образом выяснить, какое сопротивление может встретить его намеченная экспедиция. Полученные ответы были в значительной степени благоприятными. Многие из континентальных греков прислали свою покорность, а также все те жители островов, к которым было обращено ходатайство. К первым, вероятно, следует отнести фиванцев и фессалийцев, хотя Геродот их не называет. В число последних не входят Наксос, Эвбея и некоторые из мелких островов, но зато явно включена Эгина, в то время первая морская держава Греции[591].

Ничто так ясно не указывает на неминуемую опасность, в которой теперь находились свободы Греции, и на ужас, внушаемый персами после повторного завоевания Ионии, как это унижение со стороны эгинетян, чья торговля с азиатскими островами и континентом, несомненно, произвела на них сильное впечатление в связи с печальными последствиями безуспешного сопротивления великому царю. Но в данном случае их поведение было продиктовано не только антипатией к Афинам, но и страхом, так что Греция оказалась под угрозой вторжения персидской руки в качестве союзника и арбитра в ее внутренние споры: случай, который, если бы он произошел сейчас в споре между Эгиной и Афинами, привел бы к определенному порабощению Греции, - хотя, когда он произошел почти столетие спустя, к концу Пелопоннесской войны, и в результате продолжительной борьбы между Лакедемоном и Афинами, Греция стала достаточно сильной в своих собственных силах, чтобы выдержать его без потери существенной независимости. Война между Фивами и Эгиной, с одной стороны, и Афинами - с другой, - начавшаяся за несколько лет до этого и выросшая из связи между Афинами и Платеей, - так и не была закончена. Игинетяне приняли участие в этой войне из бескорыстных чувств, либо из дружбы к Фивам, либо из вражды к Афинам, без какой-либо прямой причины для ссоры,[592] и они начали войну даже без формального уведомления. Хотя с момента ее начала прошло не менее четырнадцати лет (примерно с 506 по 492 год до н. э.), состояние враждебности все еще сохранялось; и мы вполне можем предположить, что Гиппий, великий подстрекатель персов к нападению на Грецию, не

преминул бы внушить всем врагам Афин благоразумие поддержать или, по крайней мере, не противиться усилиям персов по восстановлению его в этом городе. Отчасти именно под влиянием этого чувства, сочетавшегося с искренней тревогой, Фивы и Эгина проявили покорность по отношению к глашатаям Дария.

Некоторые из этих глашатаев отправились в Афины и в Спарту с одной и той же целью - потребовать землю и воду. Прием, оказанный им в обоих местах, был крайне злобным. Афиняне бросали глашатая в яму, называемую баратрумом,^[593] в которую иногда сбрасывали государственных преступников: спартанцы бросали пришедшего к ним глашатая в колодец, желая, чтобы несчастный вестник отнес оттуда царю землю и воду. Неприкосновенность глашатаев была настолько древней и неоспоримой в Греции, начиная с гомеровских времен, что ничто, кроме самого яростного возбуждения, не могло подтолкнуть греческую общину к такому бесчинству. Но лакедемонянам, привыкшим считать себя первыми среди всех греческих государств, и к которым всегда обращались как к начальникам, это требование показалось столь грубым оскорблением, что на время изгнало из их сознания всякое воспоминание об установленных обязательствах. Однако впоследствии они раскаялись в этом поступке как в высшей степени преступном и рассматривали его как причину несчастий, обрушившихся на них через тридцать или сорок лет: как они пытались в то время искупить свою вину, я расскажу далее^[594].

Но если, с одной стороны, уязвленное достоинство спартанцев подтолкнуло их к совершению этого преступления, то, с другой стороны, оно принесло большую пользу общим свободам Греции, пробудив их от апатии по отношению к грядущему захватчику и поставив их по отношению к нему в такое же состояние необъяснимой вражды, как Афины и Эретрию. Мы сразу же видим, как теснее становятся узы между Афинами и Спартой. Афиняне впервые подают жалобу в Спарту на эгинетян за то, что те подарили Дарию землю и воду, обвиняя их в том, что они сделали это из враждебных Афинам побуждений, чтобы совместно с персами вторгнуться в Аттику. Это они представляли "как измену Элладе" и призывали Спарту как главу Греции вмешаться. Вследствие их обращения спартанский царь Клеоменес отправился в Эгину, чтобы принять меры против авторов позднейших действий "для общей пользы Эллады"^[595].

Рассматриваемый нами случай имеет огромное значение для греческой истории. Это первое прямое и позитивное историческое проявление Эллады как совокупного организма, во главе которого стоит Спарта, и обязательств определенного рода со стороны ее членов, пренебрежение или нарушение которых представляет собой разновидность измены. Я уже указывал на несколько более ранних случаев, показывающих, как греческий политический разум, начиная с полного разделения государств, постепенно готовился к этой идее постоянного союза с взаимными обязательствами и властью принуждения, возложенной на постоянного вождя, - идее, которая никогда полностью не осуществлялась на практике, но теперь отчетливо проявилась и частично действовала. Во-первых, огромная приобретенная мощь и территория Спарты, ее военная подготовка, ее нерушимые политические традиции вызывают неосознанное почтение к ней, какого не испытывало ни одно другое государство: во-вторых, в ходе борьбы с Афинами, после изгнания Гиппия, она вызывает и ведет на войну группу самообязанных пелопоннесских союзников, соблюдая определенные формальности, придающие союзу внушительное постоянство и торжественность: в-третьих, ее положение становится признанным в качестве первой власти или президента Греции, как иностранцами, приглашающими к союзу (Крѐз), так и греками, ищущими помощи, например, платейцами против Фив или ионийцами против Персии. Но Спарта до сих пор не была готова взять на себя исполнение этой обязанности генерального протектора. Она

отказала ионийцам и саамскому Месандрию, а также платейцам, несмотря на их мольбы, основанные на общем эллинском происхождении: экспедиция, которую она предприняла против Поликрата Самосского, была основана на частных мотивах неудовольствия, даже в оценке самих лакедемонян: более того, даже если бы все эти просьбы были удовлетворены, могло показаться, что она скорее повинуется великодушной симпатии, чем выполняет долг, возложенный на нее как на начальника. Но в рассматриваемом нами случае, когда Афины противостоят Эгине, последнее соображение заметно выделяется. Афины не входят в группу спартанских союзников и не претендуют на сострадание Спарты, как беззащитные перед могущественным греческим соседом. Она жалуется на общеэллинские обязательства, которые были нарушены эгинетянами в ущерб и опасность для нее, и призывает Спарту принудить нарушителей к соблюдению этих обязательств. Впервые в греческой истории прозвучал такой призыв; впервые в греческой истории на него был дан эффективный ответ. Мы можем обоснованно сомневаться, был ли бы дан такой ответ, - учитывая медлительность, невыразительность и домовитость спартанцев, их общую невосприимчивость к далеким опасностям,[596] - если бы приключение персидского глашатая не заставило их гордость зашкалить, ввергнуть их в непростительную вражду с великим царем и бросить их в одну лодку с Афинами за то, что они отбились от врага, угрожавшего общим свободам Эллады.

Итак, с этого времени мы можем считать, что существует признанный политический союз Греции против персов,[597] или, по крайней мере, нечто близкое к политическому союзу, насколько это позволяют греческие нравы, - со Спартой во главе в настоящее время. К такому главенству Спарты греческая история постепенно склонялась; но теперь следует отметить окончательное событие, которое поставило ее вне споров и на время смирило ее древнего и единственного соперника - Аргос.

Примерно за три или четыре года до прибытия этих персидских глашатаев в Грецию и почти в то время, когда Милет был осажден персидскими генералами, между Спартой и Аргосом вспыхнула война[598] - на каком основании, Геродот не сообщает. Хлеоменес, ободренный обещанием оракула взять Аргос, повел лакедемонские войска к берегам Эрасина, пограничной реки аргейской территории. Но жертвоприношения, без которых нельзя было переправиться через реку, были столь неблагоприятны, что он изменил свой курс, захватил несколько судов у Эгины и Сикиона[599] и повел свои войска морем в Науплию, морской порт, принадлежащий Аргосу, и на территорию Тирина. Аргейцы, выступив против него, сошлись в битве у Сакпей, недалеко от Тирина: Клеоменес, благодаря простоте своих врагов, которой трудно верить Геродоту, смог напасть на них неподготовленными и одержал решающую победу. Аргейцы, как утверждается, так боялись, что их перехитрят, когда их армия занимала пост против врага, что они слушали команды, провозглашаемые вслух лакедемонским глашатаем, и выполняли со своей армией те же приказы, которые им отдавали. Об этом стало известно Клеоменесу, который в частном порядке уведомил своих солдат, что когда глашатай объявляет приказ идти на обед, они не должны повиноваться, а немедленно встать к оружию. Надо полагать, что лагерь аргейцев находился достаточно близко к лагерю лакедемонян, чтобы они могли слышать голос глашатая, но не в пределах видимости из-за особенностей местности. Поэтому, как только аргейцы услышали, что глашатай во вражеском лагере объявил, что пора идти на обед,[600] они сами отправились на обед; в таком беспорядочном состоянии они были легко повержены спартанцами. Многие из них погибли на поле боя, а беглецы укрылись в густой роще, посвященной их одноименному герою Аргусу. Клеоменес преследовал их и заключил там; но, решив, что безопаснее применить обман, а не силу, он выяснил у дезертиров имена главных аргейцев, запертых в этой роще, и затем пригласил их последовательно выйти через глашатая, притворившись, что получил за них выкуп и что они освобождены. Как только каждый

выходил, его предавали смерти; судьба этих несчастных была скрыта от их товарищей в роще густой листвой, пока кто-то, взобравшись на вершину дерева, не обнаружил и не возвестил о происходящем уничтожении, - после того как погибло около пятидесяти жертв. Не в силах больше выманить аргейцев из их освященного убежища, которое, как они тщетно надеялись, защитит их, Клеоменес поджег рощу и сжег ее дотла, так что находившиеся в ней люди, похоже, были уничтожены либо огнем, либо мечом.[601] После начала пожара он впервые заинтересовался, кому принадлежала роща, и узнал, что она принадлежала герою Аргусу.

Не менее шести тысяч горожан, цвет и сила Аргоса, погибли в этой катастрофической битве и при отступлении. Город был полностью разрушен, и Клеоменес мог бы легко взять его, если бы решил немедленно отправиться в поход и атаковать его энергично. Если верить более поздним историкам, которых копировали Павсаний, Полиэн и Плутарх, он действительно отправился в поход и атаковал город, но был отбит доблестью аргейских женщин, которые в условиях нехватки воинов, вызванной недавним поражением, взяли оружие вместе с рабами во главе с поэтессой Телесилой и галантно защищали стены.[602] Это, вероятно, миф, порожденный желанием воплотить в деталях изречение оракула, сказанное немного раньше, о том, что "женщина побеждает мужчину".[603] Не желая отрицать, что аргейские женщины могли бы совершить столь патриотический поступок, если бы Клеоменес действительно пошел на штурм их города, мы вынуждены, в силу четкого утверждения Геродота, заявить, что он никогда не нападал на него. Сразу же после сожжения священной рощи Аргоса он отправил основную часть своей армии в Спарту, оставив лишь тысячу отборных воинов, с которыми он отправился на жертвоприношение в Хераум, или великий храм Хры, расположенный между Аргосом и Микенем. Присутствовавший при этом жрец запретил ему входить, сказав, что ни одному чужеземцу не позволено приносить жертву в храме. Но Клеоменес уже однажды пробрался в святилище Афины на афинском акрополе, несмотря на запрет жрицы, и теперь поступил еще более жестоко по отношению к аргейскому жрецу: он приказал своим помощникам оттащить его от алтаря и подвергнуть бичеванию. Принеся жертву, Клеоменес вернулся с оставшимися силами в Спарту[604].

Но войско, которое он отправил домой, вернулось с полным убеждением, что Аргос можно было легко взять, и только царь был виноват в том, что упустил такую возможность. Как только он сам вернулся, его враги - возможно, его коллега Демарат - привлекли его к суду перед эфорами, обвинив в подкупе, от которого он защищался следующим образом: Он вторгся на вражескую территорию, веря в заверения оракула, что возьмет Аргос; но как только он сжег священную рощу героя Аргуса, не зная, кому она принадлежит, он сразу же понял, что это все, что бог подразумевал под *взятием Аргоса*, а значит, божественное обещание было полностью выполнено. Поэтому он не считал себя вправе начинать новую атаку, пока не убедится, что боги одобряют ее и даруют ему успех. Именно с этой целью он принес жертву в Герауме. Но хотя жертвоприношение было благоприятным, он заметил, что пламя, зажженное на алтаре, вырывается из груди статуи Геры, а не из ее головы. Если бы пламя вспыхнуло от ее головы, он бы сразу понял, что боги намерены взять город штурмом;[605] но вспышка от ее лона ясно указывала на то, что вершина успеха ему недоступна и что он уже пожинал все славы, которые они ему предназначали. Мы видим, что Геродот, хотя и воздерживается от критики этой истории, подозревает, что она является выдумкой. Но не таковы спартанские эфоры: им эта история показалась не менее правдивой, чем триумфальная защита, обеспечившая Клеомену почетное оправдание[606].

Хотя этот спартанский царь упустил возможность захватить Аргос, уже одержанные им победы нанесли ему такой удар, от которого он не мог оправиться в течение целого

поколения, и на некоторое время вывели его из состояния, когда он мог оспаривать первенство в Греции с Лакедемоном. Я уже упоминал, что и в легенде, и в ранней истории Аргос выступает как первая сила в Греции, с легендарными претензиями на главенство и явно выше Лакедемона; который постепенно узурпирует у нее сначала реальность превосходящей силы, затем признание главенства, - и теперь, в период, которого мы достигли, берет на себя и права, и обязанности председательствующего государства над телом союзников, которые связаны и с ней, и друг с другом. Однако ее право на эту честь никогда не признавалось в Аргосе, и весьма вероятно, что только что описанная война в той или иной мере стала следствием растущей президентской власти, которую обстоятельства были склонны передать в ее руки. И полная временная дестабилизация Аргоса была необходимым условием для спокойного овладения этой властью Спартой. Произошедшее за два-три года до вышеописанного приключения герольдов, оно устранило единственного соперника, который в то время хотел и мог соперничать со Спартой, - соперника, который вполне мог предотвратить любой эффективный союз под руководством другого вождя, хотя она уже не могла обеспечить себе панэллинского превосходства, - соперника, который поддержал бы Эгину в ее подчинении персам и тем самым нанес бы неизлечимый ущерб оборонительным силам Греции. Корабли, которые Клеоменес получил от эгинетян и сикионцев против их воли для высадки своих войск в Науплии, навлекли на оба города вражду Аргоса, которую сикионцы уладили выплатой денег, а эгинетяне отказались сделать это.^[607] Таким образом, обстоятельства клеоменской войны привели не только к ослаблению Аргоса, но и к отчуждению его от естественных союзников и сторонников, а также к расчистке почвы для неоспоримого спартанского первенства.

Возвращаясь к жалобе, поданной Афинами спартанцам на предательское подчинение Эгины Дарию, мы видим, что царь Клеоменес немедленно отправился на этот остров с целью расследования и наказания. Он собирался схватить и увести в плен нескольких ведущих эгинетян, когда Крий и некоторые другие из них оказали ему угрожающее сопротивление, заявив, что он прибыл без какого-либо официального ордера из Спарты и под влиянием афинских взяток, и что для того, чтобы передать власть, оба спартанских царя должны собраться вместе. Эгинеты не по своей воле решились на столь опасный шаг. Демарат, коллега Клеомена по младшей или проклидовой линии царей, предложил им этот шаг и обещал провести их через него в целостности и сохранности.^[608] Разлад между двумя царями-соправителями был не новым явлением в Спарте, но в случае Демарата и Клеомена он разразился несколько лет назад по случаю похода на Аттику; и Демарат, ненавидя своего коллегу больше, чем когда-либо, вступил в нынешнюю интригу с эгинетянами с намеренной целью сорвать его вмешательство. Ему это удалось, и Клеоменес был вынужден вернуться в Спарту, не без недвусмысленных угроз в адрес Криуса и других эгинетян, которые дали ему отпор^[609], и не без твердой решимости сместить Демарата.

Похоже, что к законности рождения Демарата всегда относились с подозрением. Его предполагаемый отец Аристо не имел потомства от двух последовательных жен: наконец, он увлекся женой своего друга Агета - женщиной необыкновенной красоты - и заключил с ним соглашение, по которому каждый торжественно обязывался отдать все принадлежащее ему, о чем другой мог попросить. То, что Агет просил у Аристо, было немедленно отдано: взамен тот потребовал жену Агета, который был поражен этой просьбой и возмущен тем, что его обманом заставили принести самую мучительную жертву из всех других: тем не менее, клятва была непреложной, и он был вынужден подчиниться. Рождение Демарата произошло так скоро после этой смены мужей, что, когда об этом впервые стало известно Аристо, сидя на скамье вместе с эфорами, он сосчитал на пальцах количество месяцев, прошедших с момента его женитьбы, и воскликнул с клятвой: "Этот ребенок не может быть моим". Однако

вскоре он отказался от своего мнения и признал ребенка, который вырос без каких-либо публичных сомнений в его рождении и сменил отца на троне. Но первоначальные слова Аристо так и не были забыты, и в частном порядке все еще лелеялись подозрения, что Демарат действительно был сыном первого мужа своей матери[610].

Этими подозрениями Клеоменес решил воспользоваться, чтобы, возбудив Леотихида, следующего наследника в линии царей Проклидов, публично опровергнуть законность Демарата; он предложил ему все свое влияние как следующему по порядку претенденту на корону и потребовал взамен обещания, что тот поддержит интервенцию против Эгины. Леотихид был движим не только честолюбием, но и личной враждой к Демарату, который разочаровал его в своей невесте: он горячо включился в этот план, обвинил Демарата в том, что он не настоящий Гераклид, и привел доказательства, подтверждающие первоначальные сомнения, высказанные Аристо. Таким образом, в Спарте разгорелся серьезный спор, и Клеоменес, поддерживая притязания Леотихида, рекомендовал решить вопрос о законности Демарата, обратившись к дельфийскому оракулу. Благодаря влиянию Кобона, могущественного уроженца Дельф, он добился от пифийской жрицы ответа, в котором говорилось, что Демарат не является сыном Аристо.[611] Таким образом, Леотихид стал царем из рода Проклидов, а Демарат перешел на частную должность и был избран на последующем торжестве Гимнопедии на официальную должность. Новый царь, не в силах сдержать вспышку торжествующей злобы, послал к нему в публичный театр сопровождающего, чтобы спросить, как он чувствует себя в качестве офицера после того, как однажды был царем. Уязвленный этим оскорблением, Демарат ответил, что он сам испытал их обоих и что Леотихидес со временем тоже может испытать их обоих: вопрос, добавил он, принесет свои плоды - великое зло или великое благо для Спарты. Сказав это, он закрыл лицо и удалился из театра домой, принес торжественную прощальную жертву на алтарь Зевса Геркея и торжественно попросил свою мать объявить ему, кто его настоящий отец, после чего сразу же отправился из Спарты в Элиду под предлогом того, что едет посоветоваться с дельфийским оракулом[612].

Демарат был хорошо известен как вспыльчивый и честолюбивый человек, известный, помимо прочего, как единственный лакедемонский царь до времен Геродота, одержавший победу на колеснице в Олимпии; Клеоменес и Леотихидес стали опасаться, что он может причинить им вред в изгнании. По закону Спарты, ни одному Гераклиду не разрешалось под страхом смерти обосновываться за пределами страны: так считали лакедемоняне, и Демарат не преминул доставить им неприятности, поскольку они объявили его незаконнорожденным.[613] Поэтому они отправились за ним в погоню и захватили его на острове Закинф. Но закинфяне не согласились выдать его, и он беспрепятственно прошел в Азию, где предстал перед Дарием и был принят с обильными милостями и подарками.[614] В дальнейшем мы увидим его спутником Ксеркса, дающим этому монарху советы, которые, если бы они были приняты, стали бы гибелью греческой независимости; для которой, однако, он был бы еще опаснее, если бы остался дома в качестве царя Спарты.

Тем временем Клеоменес, найдя в Леотихиде единомышленника, отправился с ним в Эгину, желая отомстить за нанесенную ему обиду. По требованию и в присутствии двух царей эгинетяне не осмелились оказать никакого сопротивления. Клеоменес выбрал десять граждан, отличавшихся богатством, положением и влиянием, среди которых были Криус и еще один человек по имени Касамб, два самых влиятельных человека на острове. Отведя их в Афины, он отдал их в качестве заложников в руки афинян[615].

Именно в таком положении оказались дела Афин и Греции в целом, когда персидское войско высадилось у Марафона, за ходом которого мы сейчас будем следить. И события, о которых

мы только что рассказали, имели существенное значение, если рассматривать их косвенное отношение к успеху этого войска. Спарта по приглашению Афин впервые получила формальное панэллинское первенство, ее древний соперник Аргос был слишком разбит, чтобы оспаривать его, и два ее царя, в этот момент единодушные, использовали свое председательское вмешательство для принуждения Эгины и передачи эгинетских заложников в руки Афин. Эгинетяне не желали покупать победу над соседом и соперником ценой подчинения Персии, и только вмешательство спартанцев удержало их от нападения на Афины совместно с персидскими захватчиками; таким образом, руки последних остались свободными, а их мужество не ослабело для предстоящего испытания.

Тем временем огромное персидское войско, собранное в результате подготовки, которая велась в течение последних двух лет во всех частях империи, собралось на алейской равнине Киликии, недалеко от моря. Сюда был доставлен флот из шестисот вооруженных трирем, а также множество транспортов с людьми и лошадьми: войска были посажены на корабли и отплыли вдоль побережья на Самос в Ионии. Ионические и эолийские греки составляли важную часть этого войска, а афинский изгнанник Гиппий находился на борту в качестве проводника и помощника при нападении на Аттику. Полководцами были Датис, медиец,[616] и Артафернес, сын сатрапа Сард, названного так, и племянник Дария. Мы можем отметить, что Датис - первый человек из рода медян, который упоминается как назначенный на высокий пост после воцарения Дария, которому предшествовала и ознаменовалась, как я уже отмечал в предыдущей главе, вспышка враждебности между медянами и персами. Их инструкции в целом сводились к тому, чтобы подчинить и обложить данью всех греков, которые еще не отдали землю и воду. Но особенно Дарий приказал им завоевать Эретрию и Афины и привести их жителей в качестве рабов к себе.[Эти приказы имели буквальный смысл, и, вероятно, ни генералы, ни солдаты этого огромного войска не сомневались, что они будут буквально исполнены, и что еще до конца года жен, или, скорее, вдов, таких людей, как Фемистоклес и Аристеидес, можно будет увидеть среди скорбной вереницы афинских пленников на дороге из Сард в Сузы, и таким образом исполнится желание, высказанное царицей Атоссой по просьбе Димокдеша.

Недавняя страшная буря у горы Афон удержала персов от того, чтобы последовать примеру Мардония и взять курс на Геллеспонт и Фракию. Было решено нанести прямой удар через Эгейское море[618] (способ нападения, которого умные греки, такие как Фемистокл, больше всего боялись, даже после отражения Ксеркса), от Самоса до Эвбеи, атакуя промежуточные острова на пути. Среди этих островов был и Наксос, который за десять лет до этого выдержал долгую осаду и галантно отбил персидский Мегабатес с милезийцем Аристагором. Одной из главных целей Датиса было стереть это пятно с персидского оружия и отомстить наксийцам.[619] Переправившись с Самоса на Наксос, он высадил свою армию на острове, который оказался более легкой добычей, чем он ожидал. Испуганные жители, покинув город, бежали с семьями на самые высокие вершины гор; персы же, захватив в рабство немногих, кто медлил с бегством, сожгли необороняемый город с его святыми и мирскими постройками.

Разница в настроениях греков по отношению к персам была огромной, так как в результате завоевания Ионии и появления в Эгейском море большого феникийского флота, наводившего ужас, греки вновь стали на персов. Сила Наксоса сейчас была такой же, как и до восстания ионийцев, и можно было предположить, что успешное сопротивление, оказанное тогда, укрепит мужество его жителей. Однако теперь персидское вооружение внушало такой страх, что восемь тысяч наксосских гоплитов оставили свой город и своих

богов, не нанеся ни одного удара[620], и не думали ни о чем, кроме личной безопасности для себя и своих семей. Печальное предзнаменование для Афин и Эретрии!

С Наксоса Датис отправил свой флот вокруг других Кикладских островов, требуя от каждого заложников за верность и контингент для пополнения своей армии. Со священным островом Делос, однако, он обошелся ласково и почтительно. Делийцы бежали еще до его подхода к Теносу, но Датис послал глашатая, чтобы пригласить их вернуться, пообещал сохранить их лица и имущество в неприкосновенности и объявил, что получил прямой приказ от Великого Царя почитать остров, на котором родились Аполлон и Артемида. Его действия соответствовали этим словам; флоту не было позволено коснуться острова, и он сам, высадившись с несколькими сопровождающими, принес великолепную жертву на алтаре. Большая часть его войска состояла из ионийских греков, и столь выраженное уважение к острову Делос, вероятно, объясняется желанием удовлетворить их религиозные чувства; ведь в дни их ранней свободы этот остров был местом их торжественных периодических празднеств, как я уже не раз отмечал.

Продвигаясь без сопротивления вдоль островов и требуя от каждого подкреплений и заложников, Датис в конце концов достиг самой южной части Эвбеи - города Карыста и его территории.[621] Карыстийцы, хотя сначала и отказывались давать заложников или предоставлять подкрепления своим друзьям и соседям, были быстро вынуждены подчиниться агрессивным разрушениям захватчиков. Это был первый опыт сопротивления, с которым столкнулся Датис, и то, как быстро он его преодолел, дало ему многообещающее предзнаменование успеха в Эретрии, куда он вскоре прибыл.

Назначение вооружения не было секретом для жителей этого обреченного города, среди которых царило смятение, усугубленное кишечными разногласиями. Они обратились в Афины за помощью, которая была легко и просто предоставлена им с помощью тех четырех тысяч клерухов, или горожан, которых афиняне посадили шестнадцать лет назад на соседней территории Халкиса. Однако, несмотря на это подкрепление, многие из них отчаялись защитить город и думали лишь о том, чтобы укрыться на неприступных вершинах острова, как это уже сделали до них более многочисленные и сильные наксийцы; другая же часть, вероломно искавшая собственной выгоды от общественного бедствия, выжидала удобного случая, чтобы предать город персам.[622] Хотя было принято общественное решение защищать город, однако в нем так явно не было той твердости духа, которая только и могла спасти его, что один из ведущих эретрийцев по имени Эсхинес не постеснялся предупредить четыре тысячи афинских союзников о грядущей измене и призвать их спастись, пока еще не поздно. Они последовали его совету и перешли в Аттику через Ороп, а персы высадили свои войска и даже коней, ожидая, что эретрийцы выйдут и сразятся в Тамине и других местах на этой территории. Поскольку эретрийцы не вышли, они приступили к осаде города и в течение нескольких дней оказывали мужественное сопротивление, так что потери с обеих сторон были значительными. В конце концов двое из главных граждан, Евфорб и Филагр, вместе с другими предали Эретрию осаждающим; ее храмы были сожжены, а жители уведены в рабство.[623] Невозможно верить преувеличенному утверждению Платона, которое он применяет к персам в Эретрии, как ранее Геродот применял его к персам на Хиосе и Самосе, - что они очистили территорию от жителей, объединившись и образовав линию по всей ее ширине.[624] Очевидно, это идея, иллюстрирующая возможные последствия многочисленных и разрушительных завоеваний, которая была вплетена в ткань исторических высказываний, как и многие другие иллюстративные идеи в трудах греческих авторов. В том, что значительная часть жителей была уведена в плен, сомневаться не приходится. Но предатели, предавшие город, были

поощрены и вознаграждены персами,^[625] и мы ясно видим, что либо некоторые из жителей должны были остаться, либо появились новые поселенцы, когда мы видим, что эретрийцы считаются десять лет спустя среди противников Ксеркса.

Таким образом, Датис практически без сопротивления выполнил одну из двух поставленных Дарием задач, и его армия была воодушевлена надеждой на скорое выполнение другой. Остановившись на несколько дней в Эретрии и разместив на соседнем островке Эгилия недавно захваченных пленников, он вновь направил свою армию в Аттику и высадился в памятной бухте Марафон на восточном побережье - месте, указанном деспотом Гиппием, который теперь высадился вместе с персами, спустя двадцать лет после своего изгнания от власти. Сорок семь лет прошло с тех пор, как он в молодости совершил этот же переход из Эретрии в Марафон вместе со своим отцом Писистратом по случаю второй реставрации последнего. В тот раз силы, сопровождавшие отца, неизмеримо уступали тем, что теперь сопровождали сына; однако их оказалось вполне достаточно, чтобы с триумфом довести его до Афин при слабом сопротивлении граждан, одинаково непостоянных и разобщенных. И поход Гиппия из Марафона в Афины был бы теперь таким же легким, каким он, несомненно, представлялся ему самому, как в его бодрствующих надеждах, так и во сне, о котором упоминает Геродот, - если бы афиняне, которых он нашел, не были людьми, радикально отличающимися от тех, кого он покинул.

На это великое обновление афинского характера в условиях демократических институтов, существовавших со времен лишения Гиппия власти, я уже обращал внимание в предыдущей главе. Изменения, внесенные Клейстенесом в конституцию, просуществовали уже восемнадцать или девятнадцать лет, без каких-либо попыток отменить их насилием. Десять племен, каждое из которых имело свои владения, стали частью устоявшихся привычек страны, а граждане привыкли принимать подлинные и самостоятельные решения в своих собраниях, как политических, так и судебных; даже сенат Ареопага, обновляемый девятью ежегодно избираемыми архонтами, которые переходили в него после года пребывания в должности, также стал отождествляться в своих чувствах с конституцией Клейстенеса. Отдельные граждане, несомненно, оставались тайными приверженцами и, возможно, корреспондентами Гиппия; но масса граждан, во всех сферах жизни, могла смотреть на его возвращение только с ужасом и отвращением. О том, с какой энергией демократические афиняне могли защищать свою страну и институты, уже говорилось в одной из предыдущих глав; к сожалению, мы располагаем лишь небольшими сведениями об афинской истории в течение десятилетия, предшествовавшего 490 году до н. э., и не можем подробно проследить за работой правительства. Однако новая форма, которую приняла афинская политика, частично проявляется, когда мы наблюдаем за тремя лидерами, занимающими видное место в эту важную эпоху, - Мильтиадесом, Фемистоклом и Аристеидесом.

Первый из них вернулся в Афины за три или четыре года до прихода Датиса после шести или семи лет отсутствия в Херсонесе Фракийском, куда он был первоначально отправлен Гиппием около 517-516 гг. до н. э., чтобы унаследовать имущество и верховенство своего дяди-кистика Мильтиадеса. Будучи деспотом Херсонеса и одним из подданных Персии, он был в числе ионийцев, сопровождавших Дария на Дунае в его скифской экспедиции, и был автором той памятной рекомендации, которой Гистией и другие деспоты не сочли нужным следовать, - разрушить мост и оставить персидского царя погибать. Впоследствии он не смог постоянно оставаться в Херсонесе по причинам, которые уже были отмечены ранее; однако, похоже, он занимал его в период восстания ионийцев.^[626] Какое участие он принимал в этом восстании, мы не знаем. Но он воспользовался периодом, когда персидские сатрапы были заняты его подавлением, и лишился возможности владеть морем, чтобы совместно с

афинскими войсками изгнать персидский гарнизон и пеласгов с островов Лемнос и Имброс. Угасание ионийского восстания грозило ему разорением, поэтому, когда летом после взятия Милета феникийский флот появился в Геллеспонте, он был вынужден быстро бежать в Афины со своими ближайшими друзьями и имуществом и с небольшой эскадрой из пяти кораблей. Один из этих кораблей, которым командовал его сын Метιοх, был фактически захвачен между Херсонесом и Имбросом; а фенийцы больше всего хотели захватить его самого,[627] поскольку он был лично одиозен для Дария из-за его настойчивой рекомендации разрушить мост через Дунай. По прибытии в Афины, после побега от феникийского флота, он предстал перед судебным народным собранием за якобы неправильное управление Херсонесом, или за то, что Геродот называет "его деспотизмом", который он там осуществлял.[Не исключено, что у афинских граждан, поселившихся на этом полуострове, были веские основания жаловаться на него, тем более что он перенес с собой принципы управления, распространенные в Афинах при Пеисистратидах, и имел в своем подчинении фракийских наемников. Однако афинский народ с честью оправдал его, вероятно, отчасти благодаря репутации, которую он приобрел как завоеватель Лемноса;[629] и он был одним из десяти ежегодно избираемых генералов республики в год этой персидской экспедиции, выбранной в начале аттического года, вскоре после летнего солнцестояния, в то время, когда Датис и Гиппиас уже отплыли и о их приближении было известно.

Характер Мильтиадеса отличается большой храбростью и решительностью - качества, крайне полезные для его страны во время нынешнего кризиса, и тем более полезные, что он находился под сильнейшим побуждением к их проявлению из-за личной враждебности Дария к нему; но он не принадлежит к демократии Клейстенеса, как его младшие современники Фемистоклес и Аристеидес. Два последних представляют собой образцы нового для Афин класса людей после изгнания Гиппия и резко контрастируют с Пейсистратом, Ликургом и Мегаклесом, политическими лидерами предшествующего поколения. Фемистоклес и Аристеидес, разные по характеру, сходятся в том, что они были политиками демократического толка, добивавшимися власти с помощью народа и через народ, посвящавшими свое время исполнению государственных обязанностей и частым обсуждениям на политических и судебных собраниях народа, - проявляя ту совокупную силу действия, понимания и убедительной речи, которая постепенно приучила граждан смотреть на них как на советников, так и на лидеров, - но всегда подвергаясь критике и обвинениям со стороны недружественных соперников, и осуществляя это соперничество по отношению друг к другу с постоянно возрастающим ожесточением. Вместо Аттики, разобщенной и раздробленной на вооруженные группировки, как это было сорок лет назад, - диакриты под властью одного человека, а парали и педии под властью других, - мы имеем теперь Аттику единую и неделимую; она превратилась в тело упорядоченных слушателей в Пниксе, назначенных и подотчетных магистратам и открытых для обращения Фемистоклеса, Аристида или любого другого гражданина, который может привлечь их внимание.

Ни Фемистокл, ни Аристеидес не могли похвастаться родословной богов и героев, как закид Мильтиадес:[630] оба они были среднего рода и положения. Аристеидес, сын Лисимаха, с обеих сторон был чистых афинских кровей. Но жена Неокласа, отца Фемистокласа, была иностранкой из Фракии или Кари: такой союз тем более удивителен, что Фемистоклас, должно быть, родился во времена династии Писистратидов, когда статус афинского гражданина еще не приобрел политической ценности. Между этими двумя выдающимися людьми существовал заметный контраст - те черты, которые наиболее ярко проявлялись в одном из них, были сравнительно слабо выражены в другом. В описании Фемистокла, которое мы имеем возможность найти в кратком изложении Фукидида, наиболее ярко выделяется такое обстоятельство, как огромная сила его спонтанного изобретения и

понимания, без какой-либо предварительной помощи со стороны обучения или постепенной практики. Мощь природы без посторонней помощи[631] никогда не проявлялась так поразительно, как в нем: он предвидел осложнения настоящего и предугадывал шансы таинственного будущего с одинаковой проницательностью и быстротой: казалось, правильное решение мелькало в его голове ехемпоре, даже в самых сложных обстоятельствах, без малейшей необходимости в предварительном обдумывании. Он также не отличался смелостью и находчивостью в действиях. Когда он занимался какими-либо совместными делами, его превосходная компетентность выделяла его как лидера, за которым должны были следовать другие, и ни одно дело, каким бы чужим оно ни было для его опыта, никогда не заставляло его врасплох и не проходило для него безрезультатно. Такова замечательная картина, которую рисует Фукидид о своем соотечественнике, чья смерть почти совпала по времени с его собственным рождением: необучаемая готовность и универсальность Фемистокла, вероятно, составляли в его сознании контраст с более тщательной дисциплиной и тщательным предварительным изучением, с которыми государственные деятели его времени - и особенно Перикл, величайший из них - подходили к рассмотрению и обсуждению государственных дел. Фемистоклес не получал никаких наставлений от философов, софистов и риторов, которые были наставниками хорошо воспитанной молодежи во времена Фукидида, и которых так жестоко высмеивает современник последнего Аристофан, считая такое обучение хуже, чем ничто, и превознося в сравнении с ним неграмотную храбрость и гимнастические достижения победителей при Марафоне.[632] В мыслях Фукидида нет никаких свидетельств такого неоправданного презрения к его собственному возрасту. Хотя в его сознании молчаливо присутствуют те же условия контраста, он, похоже, относится к огромным способностям Фемистокла как к предмету тем большего удивления, что они возникли без предварительной обработки, которая пошла на создание Периклеса.

Общая характеристика Плутарха,[633] хотя многие из его анекдотов ничтожны и апокрифичны, вполне соответствует краткому очерку, только что приведенному из Фукидида. Фемистокл обладал беспредельной страстью не только к славе, так как лавры Мильтиада, приобретенные в Марафоне, лишали его покоя, но и к всевозможным демонстрациям. Он жаждал соперничать с людьми богаче себя в показухе - одном из главных, хотя и не единственном источнике популярности в Афинах, - и не был щепетилен в добывании средств для этого. Помимо того, что он усердно посещал экклесию и дикастерию, он знал большинство граждан по имени и всегда был готов дать им совет в их личных делах. Более того, он обладал всеми тактическими навыками опытного партийного деятеля, примиряя политических друзей и побеждая политических врагов; и хотя в начале своей жизни он искренне стремился поддержать и возвеличить свою страну и в самых критических случаях был для нее неоценим, в целом его нравственность была столь же безрассудной, как и его ум - выдающимся. Его можно найти грубо коррумпированным в осуществлении власти и использующим извращенные средства, иногда, правда, для целей, сами по себе благородных и патриотических, но иногда и просто для собственного обогащения. Он закончил славную жизнь годами глубокого позора, лишившись всякого эллинского уважения и братства, - богач, изгнанник, предатель и пенсионер великого царя, обязанный отменить свое собственное освободительное дело, совершенное при Саламине.

К сожалению, мы не располагаем описанием Аристеидеса, сделанным рукой Фукидида; однако его характер настолько прост и последователен, что мы можем смело принять краткий, но безоговорочный отзыв Геродота и Платона, дополненный биографиями Плутарха и Корнелия Непоса,[634] как бы мало ни доверяли деталям последних. Аристеидес уступал Фемистоклу в находчивости, быстроте, гибкости и умении справляться с трудностями, но

несравненно превосходил его, как и других соперников и современников, в честности, как общественной, так и личной; был недоступен денежным соблазнам, как и другим соблазнительным влияниям, и заслуживал, как и пользовался, высочайшим личным доверием. Его описывают как своеобразного друга Клейстенеса, первого основателя демократии,[635] - как проводящего прямой и единоличный курс в политической жизни, не заботясь о партийных связях и не заботясь ни о примирении друзей, ни об оскорблении врагов, - как непоколебимого в разоблачении коррупции, кем бы она ни совершалась или поддерживалась, - как заслужившего для себя высокую фамилию Справедливого, не только своими судебными решениями в качестве архонта, но и справедливостью в частных арбитражах и даже откровенностью в политических спорах, - и проявляя на протяжении долгой государственной жизни, полной заманчивых возможностей, честность без изъятия и вне всяких подозрений, признанную в равной степени его горьким современником поэтом Тимокреоном[636] и афинскими союзниками, на которых он впервые возложил дань. Мало кто из ведущих людей Греции не имел заслуженного или незаслуженного пятна на своей репутации в отношении денежной честности; но тот, кто становился известным как обладатель этого жизненно важного качества, приобретал с его помощью более прочную связь с общественным уважением, чем могли дать даже выдающиеся таланты. Фукидид отнес выдающуюся честность к первым из многих превосходных качеств, которыми обладал Периклес:[637] а Никиас, равный ему в этом отношении, хотя и неизмеримо уступавший во всех других, обязан ей еще большей долей того преувеличенного доверия, которое афинский народ так долго продолжал питать к нему. Способности Аристеидеса, хотя и казались адекватными каждому случаю, в котором он принимал участие, и уступали лишь в сравнении с таким выдающимся человеком, как Фемистокл, были отодвинуты в тень этой неподкупной честностью, которая, однако, обеспечила ему, наряду с общим почитанием, немалую долю частной вражды со стороны тех, кого он разоблачал, и даже некоторую зависть со стороны тех, кто слышал, как это провозглашалось с оскорбительной демонстративностью.

Нам рассказывают, что один деревенский и неграмотный гражданин подал свой голос за остракизм и выразил свою неприязнь к Аристеидесу[638] на том простом основании, что ему надоело слышать, как его всегда называют Справедливым. Чистота самого благородного человека не потерпит, чтобы о ней говорили так хвастливо, словно он единственный благородный человек в стране: чем меньше ее навязывают, тем глубже и сердечнее она ощущается: И только что приведенная история, правдивая или ложная, иллюстрирует эту естественную реакцию чувств, вызванную нелепыми энкомистами или, возможно, коварными врагами под маской энкомистов, которые трубили об Аристеидесе как о справедливом человеке в Аттике, чтобы ранить законное достоинство всех остальных. Однако ни неосмотрительные друзья, ни коварные враги не смогли лишить его неизменного уважения соотечественников, которым он пользовался, с перерывами на недовольство, до конца своей жизни. Хотя он был подвергнут остракизму в течение части периода между битвами при Марафоне и Саламине - в то время, когда соперничество между ним и Фемистоклесом было настолько сильным, что оба не могли оставаться в Афинах без опасности, - все же опасности Афин во время вторжения Ксеркса вернули его обратно до истечения десяти лет изгнания. Его состояние, изначально весьма скромное, еще больше уменьшилось в течение жизни, так что он умер очень бедным, и государство было вынуждено оказывать помощь его детям.

Таковы были характеры Фемистокла и Аристеиды, двух первых лидеров, выдвинутых афинской демократией. За полвека до этого Фемистокл был бы активным партизаном во фракции паралиев или педиев, а Аристеидес, вероятно, остался бы незамеченным

гражданином. В данный период афинской истории характеры солдата, магистрата и оратора тесно сливались в одном гражданине, претендующем на выдающееся положение, хотя в течение полутора веков они все больше и больше разделялись. Аристеидес и Мильтиадес были избраны в число десяти полководцев, каждый от своего племени, в год экспедиции Датиса через Эгейское море, и, вероятно, даже после того, как стало известно, что экспедиция отправилась в путь. Более того, из отрывка Плутарха мы можем предположить, что Фемистокл также был генералом своего племени по тому же случаю, [639] хотя это сомнительно; но несомненно, что он сражался при Марафоне. Десять полководцев совместно командовали войском, каждый из них по очереди осуществлял его в течение дня: кроме десяти, в военном совете одиннадцатым считался третий архонт, или полемарх. Полемархом в этом году был Каллимах из Афидны. [640] Таковы были начальники военных сил и в значительной степени управляющие внешними делами в то время, когда четыре тысячи афинских клерухов, или поселенцев, высаженных в Эвбее, - бежавших из Эретрии, теперь захваченной персами, - сообщили своим соотечественникам дома, что падение этого города не за горами. Было очевидно, что из Эретрии персы немедленно двинутся на Афины, и через несколько дней после этого Гиппий высадил их у Марафона, где афинская армия вышла им навстречу.

О настроениях, царивших теперь в Афинах, мы не имеем подробностей, но, несомненно, тревога едва ли уступала той, что была в Эретрии: высказывались разные мнения о том, какие шаги следует предпринять, не обошлось и без подозрений в измене. Курьер Фидиппидес был немедленно отправлен в Спарту с просьбой о помощи; его активность была столь велика, что он преодолел этот путь в сто пятьдесят миль пешком за сорок восемь часов [641]. Он сообщил эфорам, что Эретрия уже поработана, и попросил их помощи, чтобы предотвратить ту же участь Афин, древнейшего города Греции. Спартанские власти с готовностью обещали свою помощь, но, к сожалению, сейчас был девятый день луны: древний закон или обычай запрещал им выступать в поход, по крайней мере в этом месяце, в течение последней четверти перед полнолунием; но после полнолуния они обязывались выступать в поход без промедления. Пять дней промедления в этот критический момент могли привести к полному разорению подвергающегося опасности города; однако указанная причина, похоже, не была притворством со стороны спартанцев. Это было просто слепое упорство древней привычки, которая, как мы увидим, ослабевает, но никогда не исчезает, по мере продвижения в их истории. [642] Действительно, их задержка в походе для спасения Аттики от Мардония, одиннадцать лет спустя, при неминуемой опасности отторжения Афин и разрушения эллинского дела, свидетельствует о той же эгоистической тупости. Но причина, приведенная сейчас, конечно, очень походила на притворство, так что афиняне не могли быть уверены, что спартанские войска выступят даже при наступлении полнолуния.

В этом отношении ответ Фидиппидеса был недобрым, так как усиливал ту неопределенность и нерешительность, которая уже царила среди десяти генералов, относительно того, как следует встретить захватчиков. Отчасти, возможно, полагаясь на ожидаемую спартанскую помощь, пять из десяти полководцев решительно воспротивились немедленному вступлению в бой с персами; Мильтиадес же с оставшимися четвертьмя настойчиво призывал не терять ни минуты, чтобы вызвать врага на бой, не оставляя времени робким и вероломным установить переписку с Гиппием и предпринять какой-нибудь активный шаг, чтобы парализовать все совместные действия со стороны граждан. Этот важнейший спор, от которого зависела судьба Афин, Геродот представляет как произошедший в Марафоне, после того как армия выступила в поход и заняла там пост в виду персов; Корнелий Непос описывает его как возникший еще до выхода армии из города, - по вопросу, разумно ли

вообще встретить врага в поле или ограничиться обороной города и священной скалы. Как бы ни был неточен этот автор, его утверждение здесь кажется более вероятным, чем утверждение Геродота. Ведь десять полководцев вряд ли отправились бы из Афин в Марафон, не решив предварительно сражаться: более того, вопрос о том, сражаться ли в поле или сопротивляться за стенами, которые уже были возведены в Эретрии, кажется естественным, на котором пять недоверчивых полководцев заняли бы свою позицию. И, вероятно, сам Мильтиадес, если бы он был лишен возможности действовать немедленно, предпочел бы удержать Афины и предотвратить любое вероломное движение, чем бездействовать на холмах, наблюдая за персами у Марафона, имея шанс, что отряд из их многочисленного флота поплывет в Фалекрум и таким образом отвлечет двойным нападением и город, и лагерь.

Как бы то ни было, но равное разделение мнений среди десяти генералов, проявившееся в Марафоне или в Афинах, несомненно, - так что Мильтиадесу пришлось ожидать решающего голоса полемарха Каллимаха. Ему он настойчиво объяснял опасность промедления и возможность возникновения предательской интриги, способной возбудить раздор и усилить тревогу граждан. Ничто не могло предотвратить начало такой измены со всеми ее ужасными последствиями в виде порабощения персов и Гиппия, кроме смелого, решительного и немедленного нападения, успех которого он (Мильтиадес) был готов гарантировать. К счастью для Афин, полемарх принял мнение Мильтиадеса, и готовившиеся мятежные движения проявились только после выигранной битвы. Аристид и Фемистокл горячо поддержали Мильтиада в этом предложении, а все остальные генералы согласились передать Мильтиаду свои полномочия, чтобы сделать его, насколько это было возможно, единственным предводителем армии. Говорят, что последний ждал дня своей очередной очереди, прежде чем вступить в битву.^[643] Однако, учитывая его стремление к немедленным и решительным действиям, мы не можем предположить, что он допустил бы какую-либо серьезную отсрочку после такого punctilio.

Пока армия собиралась на священной для Ираклия земле близ Марафона, а персы со своим флотом занимали равнину и берег под ней, и готовилась к немедленным действиям, к ней присоединились все силы маленького городка Платеи, состоявшие примерно из тысячи гоплитов, которые прошли из своего города прямо к этому месту, вдоль южного хребта Китерона и пройдя через Декелею. Нам не сообщают, что они были приглашены, и очень вероятно, что афиняне никогда не думали о том, чтобы призвать на помощь этого неважного соседа, в пользу которого они приняли на себя длительную вражду с Фивами и Беотийской лигой.^[644] Их приход по такому важному случаю, похоже, был спонтанным усилием благодарности, которое не должно быть менее похвальным, поскольку их интересы действительно были связаны с интересами Афин, - ведь если бы последние были завоеваны, ничто не могло бы спасти Платею от покорения фиванцами, - и все же многие греческие города пренебрегли бы и великодушным порывом, и рациональным расчетом, боясь спровоцировать нового и страшного врага. Если мы вспомним все обстоятельства этого дела, - что требует определенных усилий, поскольку наши авторитеты принадлежат последующим поколениям, после того как Греция перестала бояться персов, - мы поймем, что этот добровольный поход всего войска Платеев к Марафону - одно из самых впечатляющих происшествий греческой истории. На Афины в целом он произвел неизгладимое впечатление, запомнившееся впоследствии в публичных молитвах афинского глашатая^[645] и оплаченное предоставлением платейцам полных гражданских прав - казалось бы, без политических прав - афинских граждан. На афинян, собравшихся тогда в Марафоне, это произвело, должно быть, невыразимо сильное и ободряющее впечатление,

как доказательство того, что они не были полностью изолированы от Греции, и как неожиданный противодействующий стимул в обстоятельствах, столь полных опасностей.

Из двух противоборствующих армий при Марафоне нам говорят, что афиняне насчитывали десять тысяч гоплитов, включая или помимо одной тысячи, прибывших из Платеи.^[646] Это утверждение само по себе неправдоподобно, хотя оно и не исходит от Геродота, который является нашим единственным действительно ценным авторитетом в этом деле и который не упоминает о численном составе. Действительно, названное число кажется меньшим, чем мы могли бы ожидать, учитывая, что не менее четырех тысяч клерухов, или оседлых граждан, только что пришли из Эвбеи. Разумеется, достаточное количество горожан должно было остаться для защиты города. О численности персов мы не можем сказать ничего определенного, кроме того, что они значительно превосходили греков. От Геродота мы узнаем, что их вооружение первоначально состояло из шестисот военных кораблей, но нам не сообщают, сколько было отдельных транспортов; кроме того, подкрепления поступали по мере того, как они пересекали Эгейское море с островов, последовательно завоевываемых. Общая численность экипажей всех кораблей должна была составлять от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч человек; но какая часть из них была боевой и сколько из них действительно сражались при Марафоне, мы не можем определить.^[647] Там была определенная часть конницы, и некоторые транспорты были специально подготовлены для перевозки лошадей: более того, Геродот говорит нам, что Гиппиас выбрал равнину Марафона для высадки, потому что это было самое удобное место в Аттике для передвижения конницы, - хотя необычно, что в битве конница не упоминается.

Марафон, расположенный у залива на восточном побережье Аттики и в направлении на восток от Афин, отделен от города высоким хребтом горы Пентеликус, с которой он сообщался двумя дорогами, одной на север, другой на юг от этой горы. Из этих двух дорог северная, одновременно самая короткая и самая трудная, имеет длину двадцать две мили: южная - более длинная, но более легкая и единственно пригодная для колесниц - имеет длину двадцать шесть миль, или около шести с половиной часов вычислительного марша. Она проходила между горами Пентеликус и Гиметтус, через древние владения Гаргетт и Паллен, и была той самой дорогой, по которой Пейсистрат и Гиппиас, высадившись в Марафоне за сорок семь лет до этого, отправились в Афины. Марафонская бухта, защищенная с севера выступающим мысом, обеспечивает и глубокую воду, и удобный для высадки берег; в то время как "равнина (говорит внимательный современный наблюдатель^[648]) простирается на идеальном уровне вдоль этой прекрасной бухты, и составляет в длину около шести миль, а в ширину никогда не бывает меньше полутора миль. Два болота ограничивают край равнины: южное не очень велико и почти пересыхает по окончании сильных жаров; северное же, занимающее в целом более квадратной мили, имеет несколько участков, непроходимых в любое время года. Однако оба они оставляют между собой и морем широкий, твердый, песчаный пляж. Непрерывная плоская равнина едва ли разбавлена хоть одним деревом; амфитеатр скалистых холмов и изрезанных гор отделяет ее от остальной Аттики, через нижние хребты которой проложены крутые и трудные тропы, соединяющие ее с внутренними районами."

Позиция, занятая Мильтиадесом перед битвой, которую все последующие афиняне узнавали по священной роще Гераклеи близ Марафона, вероятно, находилась на каком-то участке возвышенности над этой равниной, и Корнелий Непос рассказывает, что он защитил ее от

атак персидской конницы срубленными деревьями, преграждавшими подход. Персы заняли позицию на равнине, а их флот расположился вдоль берега, и Гиппий сам командовал им для битвы.[649] Коренные персы и сакцы, лучшие войска во всей армии, были размещены в центре, который они считали почетным , [650] и который занимал сам персидский царь, когда присутствовал на битве. Правое крыло так считалось у греков, и командовал им полемарх Каллимах; гоплиты располагались в порядке своих племен справа налево, а крайними слева стояли платейцы. Мильтиадесу было необходимо выставить фронт, равный или почти равный фронту более многочисленного персидского войска, чтобы уберечь себя от флангового удара; с этой целью он расположил центральные племена, включая леонтийцев и антиохийцев, мелкими рядами, занимая большую ширину местности; в то время как каждое из крыльев располагалось в более сильном и глубоком порядке, чтобы сделать атаку эффективной с обеих сторон. Вся его армия состояла из гоплитов, с некоторым количеством рабов в качестве безоружных или легковооруженных сопровождающих, но без лучников и конницы. Персы также не могли похвастаться наличием этой последней силы, поскольку их лошадей нужно было переправлять через Эгейское море. Но возвышенное положение Мильтиадеса позволило им оценить численность его войска, а полное отсутствие конницы у врагов не могло не подтвердить уверенности, которую внушала их генералам долгая карьера непрерывных побед.

Наконец, жертвы в греческом лагере стали благоприятствовать сражению, и Мильтиадес, которому было выгодно сразу же сблизиться, приказал своей армии наступать бегущим шагом через промежуток в одну милю, разделявший две армии. Это стремительное движение вперед, сопровождавшееся боевым кличем, или *раэап*, который всегда сопровождал атаку греческого солдата, поразило персидскую армию, которая расценила его как акт отчаянной храбрости, не более чем безумие, в теле, не только маленьком, но и лишенном конницы и лучников, - но в то же время почувствовала, что их сознательное превосходство тонет внутри них. Это , похоже, надолго запомнилось и грекам как особенность битвы при Марафоне, а Геродот говорит нам, что афиняне были первыми греками, которые когда-либо атаковали бегом.[651] Это, несомненно, принесло пользу, сделав персидскую конницу и лучников сравнительно безобидными, но мы можем разумно предположить, что это также привело в беспорядок ряды афинян, и когда они достигли персидского фронта, они были запыхавшимися и неустойчивыми в той линии представленных копий и щитов, которые составляли их силу. На двух флангах, где колонны были глубокими, этот беспорядок не произвел никакого пагубного эффекта: персы, после некоторого сопротивления, были побеждены и отброшены назад. Но в центре, где строй был неглубоким и где, кроме того, были размещены местные персы и другие отборные войска армии, запыхавшиеся и беспорядочные афинские гоплиты оказались в гораздо более затруднительном положении. Племена леонтов и антиохов, среди которых были Фемистоклес и Аристеидес, были фактически разбиты, отброшены назад и преследовались персами и сакцами.[652] Мильтиадес , похоже, предвидел возможность такой проверки, когда был вынужден так существенно уменьшить глубину своего центра: ведь его крылья, разгромив противостоящих им врагов, были удержаны от преследования, пока центр не был освобожден, а персы и сакцы обращены в бегство вместе с остальными. Преследование стало общим, и персы были загнаны на свои корабли, стоявшие в ряд вдоль берега: некоторые из них попали в непроходимое болото и там погибли.[653] Афиняне попытались поджечь корабли, но оборона здесь была энергичной и успешной - несколько передовых афинских воинов были убиты, а из многочисленного флота уничтожено только семь кораблей.[654] Эта часть сражения закончилась к выгоде персов. Они отбросили афинян от берега моря и благополучно переправились, оставив мало пленных, но богатую добычу в виде палаток и снаряжения, которые были высажены и не могли быть унесены.

Геродот оценивает число павших на стороне персов в этом памятном сражении в шесть тысяч четыреста человек: число погибших афинян точно известно, поскольку все они были собраны для последних торжественных похорон, - их было сто девяносто два. Сколько было раненых, мы не знаем. Среди убитых были храбрый Каллимах, полемарх, и Стесил, один из десяти генералов, а также Кинегейр, сын Эвфориона, который, держась за штангу одного из судов, отрубил себе руку топором[655] и умер от этой раны. Он был братом поэта Эсхила, который сам присутствовал при этом сражении; в его воображении эта битва у кораблей, должно быть, ярко напомнила пятнадцатую книгу "Илиады". Оба афинских полководца погибли во время штурма кораблей, очевидно, самой жаркой части боя. Данные о потерях персов, приведенные Геродотом, кажутся умеренными и разумными,[656] но он не называет ни одного выдающегося человека, который бы пал.

Но персы, хотя и потерпели поражение и были вынуждены оставить Марафонскую позицию, еще не были склонны полностью отказаться от своих шансов в борьбе с Аттикой. Было замечено, что их флот направляется к мысу Суниум, часть которого была отправлена за эретрийскими пленниками и запасами, оставленными на острове Эгилия. В то же время на какой-то высокой точке Аттики,[657] возможно, на вершине горы Пентеликус, как с большой долей правдоподобия предполагает полковник Лик, был замечен щит, видимый издали по его полированной поверхности. Афиняне, несомненно, видели его так же, как и персы; и Мильтиадес не преминул дать ему правильное толкование, взятое в сочетании с курсом уходящего флота. Щит был сигналом, выставленным партизанами в стране, чтобы пригласить персов подойти к Афинам по морю, пока марафонская армия отсутствовала. Мильтиадес разгадал заговор и, не теряя ни минуты, вернулся в Афины. В день битвы афинское войско с максимальной быстротой отступило от марафонского храма Геракла к храму того же бога в Киносирхе, недалеко от Афин, и достигло его еще до прибытия персидского флота.[658] Датис вскоре вышел из порта Фалерума, но партизаны Гиппия были встревожены быстрым возвращением марафонской армии, и поэтому он не нашел тех средств и возможностей, которые он ожидал для новой высадки в непосредственной близости от Афин. Однако, судя по всему, он опоздал не слишком сильно: марафонская армия только-только завершила свой вынужденный обратный марш. Чуть меньше быстроты со стороны Мильтиадеса, чтобы расшифровать предательский сигнал и отдать мгновенный приказ к выступлению, чуть меньше энергии со стороны афинских граждан, чтобы добавить к утомительному маршу еще и не менее утомительный бой, - и персы с партизанами Гиппия могли бы оказаться в Афинах. Как бы то ни было, Датис, обнаружив в Фалеруме не дружеское движение, которое могло бы его ободрить, а, напротив, неожиданное присутствие солдат, которые уже победили его при Марафоне, не стал больше пытаться высадиться в Аттике и после короткой задержки отплыл к Кикладам.

Так Афины были спасены, по крайней мере на это время, от опасности, не менее страшной, чем неминуемая. Ничто не могло спасти ее, кроме решительной и мгновенной атаки, к которой так настойчиво призывал Мильтиадес. Беглый шаг на Марафонском поле мог вызвать некоторый беспорядок в рядах гоплитов; но крайняя поспешность в ведении боя была единственным средством предотвратить разобщение и рассеянность в умах граждан. Каким бы несовершенным ни был рассказ Геродота об этом интереснейшем кризисе, мы ясно видим, что партизаны Гиппия действительно организовали заговор, и что он провалился только потому, что пришел слишком поздно. Яркий щит, поднятый на горе Пентеликус, извещающий персов о том, что в Афинах для них все готово, должен был попасться им на глаза еще до того, как произошли какие-либо действия в Марафоне, и пока афинская армия была там задержана; таким образом, Датис мог отправить часть своего флота в обход Фалерума, сохранив остальное для сражения с врагом перед ним. Если бы

марафонцам стало известно, что персидский отряд высадился в Фалеруме,^[659] где была хорошая равнина для действий конницы до строительства Фалерийской стены, как это было видно на примере поражения спартанца Анхимолия от фессалийской конницы в 510 г. до н.э. Если бы к ним присоединились робкие или вероломные афиняне и, возможно, даже овладели городом, их умы были бы настолько отвлечены двойной опасностью и страхом за отсутствующих жен и детей, что они были бы неспособны к единодушному выполнению военных приказов, а генералы и солдаты стали бы неизлечимо разделены во мнениях, возможно, даже недоверчивы друг к другу. Солдат-гражданин Греции в целом, и особенно Афин, обладал в высокой степени как личной храбростью, так и привязанностью к порядку и дисциплине; но его храбрость не носила того ровного, невозмутимого, беспристрастного характера, который был присущ батальонам Веллингтона или Наполеона, - она была непостоянной, возвышалась или понижалась от случайных событий, и часто была более чувствительна к опасностям, отсутствующим и невидимым, чем к врагам, находящимся непосредственно перед ним. Отсюда преимущество, столь неопишное в рассматриваемом нами случае и так хорошо оцененное Мильтиадесом, - иметь одну неразделенную афинскую армию, с одной вражеской армией, и только с одной, чтобы встретиться в поле. Когда мы перейдем к битве при Саламине, десять лет спустя, станет ясно, что греки того времени пользовались тем же преимуществом: хотя мудрейшие советники Ксеркса внушали ему благоразумие разделить свои большие силы и послать отряды для нападения на отдельные греческие государства - что непременно привело бы к разрыву объединенного греческого войска и не оставило бы центральной или взаимодействующей силы для защиты Греции в целом. К счастью для греков, детская дерзость Ксеркса заставила его презреть все подобные советы, как подразумевающие сознательную слабость. Но не таковы были Датис и Гиппиас. Понимая, как благоразумно отвлечь внимание афинян двойным нападением, они, пока основная армия находилась у Марафона, разработали план сбора партизан Гиппия с отрядом для их помощи в окрестностях Афин - и сигнал был подан этими партизанами, как только были приняты меры. Но стремительность Мильтиадеса так ускорила битву, что этот сигнал поступил слишком поздно и был подан только "когда персы уже были на своих кораблях"^[660] после марафонского поражения. Но даже тогда он мог бы оказаться опасным, если бы движения Мильтиадеса после победы не были столь же стремительными, как и до нее: если бы персы двинулись на Афины до Марафонской битвы, триумф афинян вполне мог бы смениться гибельным рабством. Заслуга Мильтиада в том, что он с самого начала понял, что происходит, и преодолел нерешительность своих коллег благодаря собственной энергии. Все шансы сложились в его пользу, ведь неожиданное соединение платейцев в самом лагере Марафона должно было поднять мужество его армии на высочайший уровень: и он не только избежал всех удручающих и отвлекающих случайностей, но ему посчастливилось найти это дополнительное ободрение непосредственно перед битвой, из источника, на который он не мог рассчитывать.

Я уже отмечал, что наиболее известный нам этап греческой истории, на котором жили великие авторы, от которых мы черпаем информацию, был связан с презрением к персам на поле боя. И требуется определенное усилие воображения, чтобы вернуть прежние чувства после того, как обстоятельства полностью изменились: возможно, даже поэт Эсхил, когда он сочинял свою трагедию "Персы", чтобы отпраздновать позорное бегство захватчика Ксеркса, мог забыть те эмоции, с которыми он и его брат Кинегейрус, должно быть, вышли из Афин за пятнадцать лет до этого, накануне Марафонской битвы. Поэтому следует еще раз упомянуть, что до того момента, когда Датис высадился в Марафонской бухте, поток персидских успехов еще ни разу не прерывался, и что особенно в течение десяти лет, предшествовавших этому, жестокое и грубое уничтожение восстания ионийцев усилило до предела тревогу греков. К этому следует добавить успехи самого Датиса и бедствия Эретрии,

пришедшие со всей свежестью новизны как очевидный смертный приговор Афинам. О том, что афинянам требовалось огромное мужество, чтобы противостоять таким захватчикам, свидетельствует разделение мнений среди десяти полководцев. Если собрать все обстоятельства воедино, то это не имеет аналогов в греческой истории, превосходя даже битву при Фермопилах, как станет ясно, когда я перейду к описанию этого памятного события. А восхитительное поведение пяти несогласных генералов, когда против них было принято решение полемарха, искренне содействовавших успеху политики, которую они осуждали, свидетельствует о том, насколько сильно в афинском сознании укоренились чувства конституционной демократии и то полное согласие с решением большинства, на которое оно опирается. Марафонская битва была отнюдь не решающим поражением, но это было поражение, причем первое, которое персы когда-либо получали от греков в полевых условиях. Если битва при Саламине, состоявшаяся десять лет спустя, могла рассматриваться Фемистоклом как спасение Греции, то тем более это относится к Марафонской битве,^[661] которая впервые дала разумное доказательство, даже пронизательным и решительным грекам, что персам можно дать эффективный отпор и сохранить независимость европейской Греции от них, - убеждение, имеющее неисчислимую ценность в отношении грозных испытаний, которым суждено было последовать. На самих афинян, впервые столкнувшихся на поле боя с грозным видом персидской армии, победа произвела еще более волнующий и глубокий эффект.^[662] Она придала им решимости гораздо большие жертвы, которые они с радостью понесли десять лет спустя, во время вторжения Ксеркса, не поколебавшись в своей панэллинской верности; и она укрепила их дома, подняв общий дух и патриотическое братство в груди каждого отдельного гражданина. Это был подвиг не только афинян, но и всех афинян без исключения, - хвастовство ораторов, повторяемое до тех пор, пока оно не превратилось почти в банальность, хотя народ, кажется, никогда не уставал от упоминаний об их единоличной победе над сонмом из сорока шести народов.^[663] Она была куплена без капли кровопролития, ибо даже неизвестные предатели, поднявшие сигнальный щит на горе Пентеликус, позаботились о том, чтобы не выдать себя явным сочувствием триумфу: наконец, это была окончательная гарантия их демократии, исключающая всякую возможность восстановления Гиппия в будущем. О Фемистоклесе^[664] говорят, что трофеи Мильтиада лишили его сна, и это приводят в доказательство его честлюбивого нрава; но, не предполагая ни ревности, ни личной любви к славе, быстрый переход от крайней опасности к беспримерному триумфу вполне мог лишить покоя даже самого трезвомыслящего афинянина.

Кто именно поднял предательский сигнальный щит, чтобы привлечь персов к Афинам, так и не удалось выяснить: вполне вероятно, что в полном ликовании от успеха не было проведено никакого расследования. Разумеется, общественное мнение не могло быть удовлетворено без выделения некоторых лиц в качестве авторов такого предательства; и сведения, полученные Геродотом (вероятно, около 450-440 гг. до н. э., через сорок или пятьдесят лет после марафонской победы), приписывают это деяние Алкмæонидам; он не упоминает и других авторов, хотя и отвергает обвинения в их адрес на вполне достаточных основаниях. Они были религиозно запятнанной расой со времен килонского святотатства и поэтому были удобными людьми для того, чтобы заклеить их одиозным анонимным преступлением; а партийная вражда, если и не была первоначальной, то, по крайней мере, активно распространяла и подтверждала подобные слухи. В то время, когда Геродот знал Афины, политическая вражда между Периклесом, сыном Ксантиппа, и Кимоном, сыном Мильтиадеса, была в самом разгаре: Периклес принадлежал по материнской линии к роду Алкмæонидов, и мы знаем, что эта родословная была подчинена политическим маневрам против него его врагов.^[665] Более того, вражда между Кимоном и Периклесом была унаследована обоими от их отцов; мы найдем Ксантиппа, вскоре после Марафонской битвы,

выдающимся обвинителем Мильтиадеса. Хотя Ксантипп не был Алкмæонидом, его брак с Агаристкой косвенно связывал его самого и его сына Периклеса непосредственно с этой расой. И мы можем проследить в этой постоянной политической вражде вероятное происхождение ложных сообщений об измене Алкмæонидов по тому великому поводу, который основал славу Мильтиадеса; в то, что эти сообщения были ложными, можно поверить по внутренней вероятности дела, подкрепленной суждением Геродота.

Когда афинская армия совершила внезапный обратный марш из Марафона в Афины, Аристеидес со своим племенем остался охранять поле и добычу; но быстрое отступление Датиса из Аттики оставило афинянам полную свободу вернуться на место и исполнить последний долг перед мертвыми. На этом месте был воздвигнут гроб[666] - такого отличия Афины не удостоивались никогда, кроме как в этом случае, - в честь ста девяноста двух убитых афинских граждан. Их имена были начертаны на десяти столбах, воздвигнутых на этом месте, по одному для каждого племени: был также второй тумулус для убитых платейцев, третий для рабов и отдельный погребальный памятник самому Мильтиадесу. Через шестьсот лет после битвы Павсаний видел гробницу и все еще мог прочитать на столбах имена увековеченных воинов;[667] и даже сейчас в полумиле от берега моря находится заметная гробница, которую полковник Лик считает той же самой.[668] Жители Марафонского дема почитали этих убитых воинов как героев, наряду со своим эпонимом и Гераклесом.

Столь великолепная победа, по мнению афинян, не была достигнута без заметной сверхъестественной помощи. Бог Пан встретил курьера Фидиппидеса на его поспешном пути из Афин в Спарту и сказал ему, что ему очень обидно, что афиняне до сих пор не поклонялись ему;[669] несмотря на это, он обещал им действенную помощь при Марафоне. Обещание было добросовестно выполнено, и афиняне отплатили ему храмом с ежегодным поклонением и жертвоприношениями. Более того, героя Тесея видели энергично помогающим в битве; а неизвестный воин в деревенской одежде, вооруженный только лемехом, наносил разрушения в рядах персов: после битвы его не могли найти, и афиняне, спросив в Дельфах, кто он, получили указание поклониться герою Эхетлу.[670] Даже во времена Павсания это памятное поле боя каждую ночь оглашалось шумом сражающихся и фырканием лошадей. "Опасно, - замечает этот благочестивый автор, - отправляться туда с целью посмотреть, что там происходит; но если человек окажется там случайно, ничего не слыша о происходящем, боги не будут на него сердиться". Боги, похоже, не могли помиловать любознательного смертного, который намеренно лезет в их тайны. Среди украшений, которыми были украшены Афины во времена свободной демократии, слава Марафона, конечно же, занимала видное место. Битва была изображена на одной из частей портика, называемого Ροικιλê, где среди нескольких фигур богов и героев - Афины, Геракла, Тесея, Эхетла и местного покровителя Марафона - были видны почтенные и выдающиеся полемарх Каллимах и полководец Мильтиадес, а платейцы отличались своими кожаными беотийскими касками.[671] А шестое число месяца Боэдро мион, годовщина битвы, отмечалась ежегодной церемонией, вплоть до времен Плутарха[672].

Две тысячи спартанцев, отправившись из своего города сразу после полнолуния, достигли границы Аттики на третий день своего похода, - удивительное усилие, если учесть, что общее расстояние от Спарты до Афин составляло около ста и пятидесяти миль. Однако они прибыли к месту сражения только после того, как персы ушли; любопытство привело их на Марафонское поле, чтобы посмотреть на мертвые тела персов, после чего они вернулись домой, осыпая победителей заслуженными похвалами.

Датис и Артафернес вернулись через Эгейское море с эретрийскими пленниками в Азию; на короткое время они остановились на острове Миконос, где обнаружили позолоченное изображение Аполлона, унесенное в качестве добычи на феникийском корабле. Датис сам отправился вернуть его в Делос, попросив делизийцев перевезти его в Делиум, или храм Аполлона, на восточном побережье Беотии: делизийцы, однако, предпочли оставить статую у себя, пока она не была отвоевана у них через двадцать лет фиванцами. Достигнув Азии, персидские генералы привели своих пленников ко двору в Сузах и в присутствии Дария. Хотя он и был сильно разгневан на них, но когда увидел их в своей власти, его гнев утих, и он не проявил желаний убить или причинить им вред. Они были посажены в местечке под названием Ардерикка, в Киссии, одном из мест отдыха на пути из Сард в Сузы и примерно в двадцати шести милях от этого места: Геродот, похоже, сам видел их потомков во время своего путешествия между двумя столицами и имел удовольствие поговорить с ними по-гречески, что, как мы можем предположить, произвело на него определенное впечатление, в месте, удаленном почти на три месяца пути от побережья Ионии[673].

Счастливым был бы Мильтиадес, если бы разделил почетную смерть полемарха Каллимаха, - "animam exhalasset opimam", - пытавшегося поджечь корабли побежденных персов при Марафоне. Краткое продолжение его истории находится в меланхолическом контрасте с марафонским героизмом.

Его репутация была велика до битвы, а после нее восхищение и доверие соотечественников не знало границ: похоже, оно достигло такого уровня, что ему вскружили голову, и он потерял и патриотизм, и благоразумие. Он предложил своим соотечественникам взять на себя расходы по оснащению семидесяти кораблей достаточной вооруженной силой и предоставить ее полностью на его усмотрение, не сообщая им, куда он намерен отправиться, а лишь заверив их, что, если они последуют за ним, он приведет их в страну, где много золота, и таким образом обогатит их. Такого обещания из уст недавнего победителя Марафона было достаточно, и вооружение было предоставлено, причем никто, кроме Мильтиадеса, не знал о его назначении. Он немедленно отплыл на остров Парос, осадил город и послал глашатая, чтобы потребовать от жителей пожертвования в размере ста талантов под страхом полного уничтожения. Предлогом для нападения послужило то, что парийцы предоставили Датису трирему для персидского флота при Марафоне; настоящим же мотивом, как уверяет Геродот,[674] была мстительная вражда к парийскому гражданину Лисагору, который натравил на него персидского полководца Гидарнеса. Парийцы сначала развлекали его уловками, пока не получили небольшую отсрочку для ремонта дефектных участков своей стены, после чего бросили ему вызов; и Мильтиадес тщетно продолжал военные действия против них в течение двадцати шести дней: он опустошил остров, но его нападения не произвели никакого впечатления на город.[675] Отчаявшись в успехе своих военных операций, он вступил в переговоры - так, по крайней мере, рассказывали сами парийцы - с парийской женщиной по имени Тимо, жрицей или прислужницей в храме Деметра, недалеко от городских ворот. Эта женщина, пообещав открыть ему тайну, благодаря которой Парос окажется в его власти, побудила его ночью посетить храм, в который не допускались мужчины. Он перепрыгнул через внешнюю ограду и подошел к святилищу, но, приблизившись, был охвачен паническим ужасом и убежал, почти лишившись чувств: перепрыгнув через ту же ограду, чтобы вернуться, он сильно растянул или ушиб бедро и стал полным инвалидом. В таком меланхолическом состоянии он был помещен на корабль; осада была снята, и все вооружение вернулось в Афины.

По возвращении Мильтиадеса возмущались и армия, и остальные афиняне;[676] и Ксантипп, отец великого Перикла, стал выразителем этого чувства. Он поставил Мильтиада перед

народным судом как виновного в обмане народа и заслуживающего смертной казни. Сам обвиняемый, искалеченный ранением бедра, которое даже начало проявлять признаки гангрены, был не в состоянии стоять или сказать хоть слово в свою защиту: он лежал на кушетке перед собравшимися судьями, а его друзья приводили все возможные доводы в его пользу. Защиты, судя по всему, не было; все, что они могли сделать, - это апеллировать к его предыдущим заслугам: они много и настойчиво напоминали народу о неограниченном подвиге Марафона, пришедшем в дополнение к его предыдущему завоеванию Лемноса. Собравшиеся дикасты, или присяжные, продемонстрировали свое понимание этих мощных призывов, отклонив предложение его обвинителя приговорить его к смерти; но они назначили ему наказание в пятьдесят талантов "за его беззаконие".

Корнелий Непос утверждает, что эти пятьдесят талантов представляли собой расходы, понесенные государством на оснащение вооружения; но мы можем с большей вероятностью полагать, основываясь на практике афинского дикастерия в уголовных делах, что пятьдесят талантов были незначительным штрафом, фактически предложенным самими защитниками Мильтиадеса в качестве замены смертной казни. В тех уголовных делах в Афинах, где наказание не было заранее определено условиями закона, если обвиняемый признавался виновным, было принято выносить на рассмотрение присяжных, последовательно и отдельно, вопрос о размере наказания: сначала обвинитель называл наказание, которое он считал подходящим; затем обвиняемый должен был назвать размер наказания для себя, и присяжные были вынуждены выбирать между этими двумя, - третья градация наказания не допускалась к рассмотрению.^[677] Конечно, при таких обстоятельствах обвиняемый был заинтересован в том, чтобы даже в своем собственном деле назвать какое-то реальное и серьезное наказание, - что-то, что присяжные могли бы счесть не совсем неадекватным только что доказанному преступлению; ведь если он предлагал какое-то незначительное наказание, он вынуждал их предпочесть более суровый приговор, рекомендованный его оппонентом. Так, в случае с Мильтиадесом его друзья, желая склонить присяжных к отказу от смертной казни, предложили штраф в пятьдесят талантов в качестве самооценки подсудимого; возможно, в качестве аргумента они заявили, что такой суммы хватит на покрытие расходов на экспедицию. Штраф был наложен, но Мильтиадес не дожидаясь его уплаты; его раненая конечность затекла, и он умер, оставив штраф на выплату своему сыну Кимону.

Согласно Корнелию Непосу, Диодору и Плутарху, после уплаты штрафа он был заключен в тюрьму и там умер.^[678] Но Геродот не упоминает об этом заключении, и этот факт кажется мне маловероятным: вряд ли он мог не заметить его, если бы это стало ему известно. Немедленное заключение в тюрьму человека, оштрафованного дикастерием, до уплаты штрафа не было естественным и обычным ходом афинской процедуры, хотя в отдельных случаях такое отягчение добавлялось. Обычно давалось определенное время для уплаты,^[679] прежде чем прибегали к абсолютной казни, но приговоренный становился бесправным и лишался всех политических прав с самого момента своего осуждения как государственного должника до уплаты штрафа. В случае с Мильтиадесом плачевное состояние его раненого бедра делало побег невозможным, так что не было особых причин отступать от обычной практики и заключать его в тюрьму немедленно: более того, если бы его не заключили в тюрьму немедленно, его бы вообще не заключили в тюрьму, поскольку он не мог прожить много дней после суда.^[680] Унести страдающего полководца в его диване, неспособного подняться даже для того, чтобы выступить за свою жизнь, из присутствия дикастов в тюрьму было бы не только излишней суровостью, но и вряд ли не могло не запечатлеться в симпатиях и памяти всех зрителей; так что Геродот наверняка бы услышал и упомянул об этом, если бы это действительно произошло. Поэтому я склонен считать, что

Мильтиадес умер дома: все сходятся в том, что он умер от смертельной телесной травмы, которая уже вывела его из строя в момент суда, и что его сын Кимон заплатил пятьдесят талантов после его смерти. Если *он* мог их заплатить, то, вероятно, и его отец мог их заплатить. И это дополнительная причина верить, что никакого заключения не было, - ведь ничто, кроме неуплаты, не могло отправить его в тюрьму; а спасти страдающего Мильтиадеса от отправки туда было бы первым и самым сильным желанием всех сочувствующих друзей.

Так завершилась жизнь покорителя Марафона. Последний акт ее производит впечатление столь скорбное и даже шокирующее, - его спуск с вершины славы к поражению, подлому вмешательству в жизнь служительницы храма, смертельному телесному повреждению, незащитному бесчестью и смерти под приговором большого штрафа, столь резкий и неподготовленный, - что читатели, древние и современные, не успокоились, не найдя виноватого в этом: Мы должны исключить Геродота, наш подлинный авторитет, который описывает эту операцию, не опуская ни единого намека на обвинение кого-либо. Говорить плохо о народе, как давно заметил Макиавель,^[681] - это занятие, которому каждый человек во все времена, даже при демократическом правительстве, предается безнаказанно, не провоцируя противника на ответ; и в данном случае тяжелая судьба Мильтиадеса была вменена в вину порокам афинян и их демократии - она была приведена в доказательство, отчасти их непостоянства, отчасти их неблагодарности. Но как бы ни служили такие обвинения для смягчения душевной грусти, вызванной рядом болезненных фактов, они не будут признаны оправданными, если мы применим к этим фактам разумную критику.

То, что в данном случае называют непостоянством афинян, есть не что иное, как быстрая и решительная перемена в их оценке Мильтиадеса; беспредельное восхищение сразу же перешло в крайний гнев. Порицать их за непостоянство - значит злоупотреблять терминами; такая перемена в их мнении была неизбежным результатом его поведения. Его поведение в экспедиции на Парос было столь же предосудительным, сколь и достойным в Марафоне, и одно сменяло другое: что еще могло последовать, кроме полного переворота в чувствах афинян? Он использовал свое огромное превосходство над их умами, чтобы побудить их следовать за ним, не зная куда, в уверенности в неизвестной добыче: он подверг их жизни и растратил их имущество, чтобы нанести частную обиду: в дополнение к стыду за беспринципный проект, приходит конструктивный стыд за то, что он не удался. Несомненно, такое поведение человека, которым восхищались до крайности, должно было вызвать бурное и болезненное отвращение в чувствах его соотечественников. Мысль о том, что ты осыпал похвалами и доверием человека, который тут же обратил их на недостойные цели, - одна из величайших мук человеческой груди; и мы вполне можем понять, что интенсивность последующего недовольства усугубилась бы этим реакционным чувством, не обвиняя афинян в непостоянстве. Если офицер, чье поведение заслуживало самых высоких похвал, вдруг предает свое доверие, проявляет трусость или вероломство в новом и важном деле, доверенном ему, должны ли мы считать генерала, которым командует, непостоянным, потому что его мнение, как и его поведение, претерпевает мгновенный переворот, который будет тем более резким, чем выше его прежнее уважение? Вопрос, который необходимо решить, заключается в том, есть ли достаточные основания для такого изменения; и в случае с Мильтиадесом на этот вопрос следует ответить утвердительно.

Что касается обвинения афинян в неблагодарности, то этот последний пункт - достаточность оснований - молчаливо признается. Признается, что Мильтиадес заслужил наказание за свое поведение в связи с парижской экспедицией, но, тем не менее, утверждается, что благодарность за его предыдущие заслуги при Марафоне должна была освободить его от

наказания. Но чувства, на которых, в конце концов, зиждется это оправдание, не выдерживают того, чтобы быть выведенными и изложенными в виде убедительной или оправдывающей причины. Ибо неужели кто-то станет утверждать, что человек, оказавший большие услуги обществу, должен получить взамен лицензию на безнаказанные проступки в будущем? Неужели генерал, заслуживший аплодисменты выдающимся мастерством и важными победами, должен быть вознагражден тем, что ему будет позволено впоследствии предавать свое доверие и подвергать свою страну опасности без порицания и наказания? Это то, что никто не собирается оправдывать сознательно; но человек должен быть готов оправдать это, когда он обвиняет афинян в неблагодарности по отношению к Мильтиадесу. Ибо если имеется в виду, что благодарность за прежние заслуги должна рассматриваться не как полная расплата за последующее преступление, а как смягчающее обстоятельство при назначении наказания, то ответ таков: именно так она и была учтена при обращении афинян с Мильтиадесом.^[682] Его друзьям не на чем было настаивать против крайнего наказания, предложенного его обвинителем, кроме этих прежних заслуг, которые оказали достаточное влияние на дикастов, чтобы побудить их назначить более мягкое наказание вместо более сурового. Теперь вся сумма назначенного наказания состояла из штрафа, который, конечно же, не был выше его разумных возможностей заплатить или убедить друзей заплатить за него, поскольку его сын Кимон действительно заплатил его. И у тех, кто обвиняет афинян в неблагодарности, - если только они не готовы придерживаться доктрины, что прежние заслуги должны считаться полным оправданием будущих преступлений, - не остается другого основания, кроме как сказать, что штраф был слишком велик; что вместо пятидесяти талантов он должен был составлять не более сорока, тридцати, двадцати или десяти талантов. Правы ли они в этом, я не берусь судить. Если сумма была названа от имени обвиняемой стороны, то дикастерий не имел права ее уменьшать; но именно в таких узких пределах находится вопрос, если перенести его из области чувств в область разума. Следует помнить, что смерть Мильтиадеса наступила не из-за суда над ним и не из-за штрафа, а из-за раны в бедре.

Обвинение в неблагодарности, выдвигаемое против афинских народных присяжных, сводится к следующему: при рассмотрении дела человека, обвиняемого в настоящем преступлении или вине, они были склонны слишком строго и исключительно ограничиваться конкретным предметом обвинения, либо забывая, либо слишком мало учитывая прошлые заслуги, которые он мог оказать. Тот, кто воображает, что такова была привычка афинских дикастов, должно быть, мало изучал ораторов. Их реальный недостаток был прямо противоположным: они были слишком склонны отклоняться от стоящего перед ними конкретного вопроса и поддаваться влиянию апелляций к прежним заслугам и кондуктам.^[683] То, к чему обычно стремится обвиняемый в Афинах, - это произвести в умах дикастов впечатление, благоприятное для его общего характера и поведения. Конечно, он отвечает на конкретное утверждение своего обвинителя так хорошо, как только может, но он никогда не отказывается также напомнить им, как хорошо он выполнял свои общие обязанности гражданина, - сколько раз он служил в военных походах, - сколько триерархий и литургий он совершил, и совершил с великолепной эффективностью. На самом деле, притязания обвиняемого на оправдание слишком сильно зависят от его предыдущих заслуг и слишком мало от невиновности или оправдательных обстоятельств в отношении конкретного обвинения. Когда мы перейдем ко времени ораторов, я буду готов показать, что такая неспособность ограничиться специальным вопросом была одним из самых серьезных недостатков собравшихся дикастов в Афинах. Этого естественно ожидать от собрания частных непрофессиональных граждан, собравшихся по случаю, и это в большей или меньшей степени относится к системе суда присяжных повсюду; но это прямая

противоположность той неблагодарности или привычной нечувствительности к предыдущим заслугам, за которую их так часто осуждали.

Судьба Мильтиадеса, таким образом, отнюдь не иллюстрирует ни непостоянство, ни неблагодарность его соотечественников, а свидетельствует об их справедливой оценке заслуг. Она также иллюстрирует другую мораль, имеющую немаловажное значение для правильного понимания греческих дел; она преподносит нам болезненный урок, как совершенно безумное воздействие обильной порции славы на темперамент предприимчивого и честолюбивого грека. Несомненно, что быстрый переход, в течение примерно одной недели, от афинского ужаса перед битвой к афинскому ликованию после нее, должен был произвести такие демонстрации по отношению к Мильтиадесу, каких не было ни к одному другому человеку за всю историю содружества. Такое безмерное восхищение лишило его здравого смысла, и его разум предан был безрассудным порывам дерзости, антипатии и хищности, - тому расстроенному состоянию, за которым (согласно греческой морали) постоянно следила карающая Немезида, и которое в его случае она посетила судом, поражающим своей быстротой, а также ужасным по своей величине. Если бы Мильтиадес был тем же человеком до Марафонской битвы, каким он стал после нее, битва, возможно, обернулась бы поражением, а не победой. Десмостенес, действительно, [684] рассказывая о богатстве и роскоши политических лидеров своего времени и о щедрых наградах, которыми их одаривал народ, указывает на дом Мильтиадеса как на ничуть не более роскошный, чем дом обычного человека. Но хотя Мильтиадес мог продолжать жить в скромном заведении, он получал от своих соотечественников такие знаки восхищения и почтения, каких не оказывали ни одному гражданину ни до, ни после него; а ведь восхищение и почтение составляют драгоценную суть народной награды. Ни один человек, кроме Мильтиадеса, не осмеливался возвысить свой голос в афинском собрании и сказать: "Дайте мне флот кораблей: не спрашивайте, что я собираюсь с ними делать, но только следуйте за мной, и я вас обогащу". Здесь мы можем прочесть о безмерном доверии, которое афиняне оказывали своему победоносному полководцу, и о полной неспособности ведущего грека переносить его без душевного разложения; в то же время из этого мы можем сделать печальный вывод, что одним из результатов успеха было превращение успешного лидера в одного из самых опасных людей в обществе. Вскоре нам придется наблюдать ту же тенденцию в случае спартанца Павсания и даже в случае афинянина Фемистокласа. К счастью, безрассудные устремления Мильтиадеса не приняли более пагубного для Афин оборота, чем сравнительно малозначительное предприятие против Пароса. Ведь если бы он, вместо того чтобы направить свой удар против парийского врага, стремился приобрести господство и удовлетворить антипатию против врагов на родине, мир и безопасность его страны могли бы оказаться под серьезной угрозой.

Среди деспотов, получивших власть в Греции, значительная часть начинала с популярного поведения, оказывая добрые услуги своим согражданам: заслужив сначала общественную благодарность, они злоупотребляли ею в целях собственного честолюбия. В греческой общине опасность чрезмерной благодарности победоносному воину была гораздо выше, чем недостаток этого чувства: поэтому человек, возвысившийся таким образом, занимал такое положение, что общине потом было трудно от него отделаться. Среди писателей и читателей существует почти всеобщая склонность вставать на сторону отдельного человека, особенно выдающегося, против толпы; соответственно, тех, кто в подобных обстоятельствах подозревает возможное злоупотребление возвышенным положением, осуждают, как будто они питают недостойную ревность к высшим способностям. Но правда в том, что крупнейшие аналогии греческого характера оправдывали это подозрение и требовали от общества принять меры предосторожности против развращающего воздействия

собственного энтузиазма. Нет ни одной черты, которая в большей степени пронизывала бы впечатлительный греческий характер, чем способность опьяняться и деморализоваться успехом: не было ни одного недостатка, от которого были бы свободны столь немногие выдающиеся греки: вряд ли существовала какая-либо опасность, от которой греческим правительствам было бы одновременно так необходимо и так трудно обезопаситься, - особенно в демократиях, где проявления энтузиазма всегда были самыми громкими. Таково реальное объяснение тех обвинений, которые выдвигались против греческих демократий, что они стали ненавидеть и плохо обращаться с прежними благодетелями; и история Мильтиадеда иллюстрирует это не только болезненно, но и остроумно.

Я уже отмечал, что непостоянство, которое так часто вменяется в вину афинской демократии в отношениях с ним, - это не более чем разумное изменение мнения на лучших основаниях. Нельзя также утверждать, что непостоянство в любом случае было атрибутом афинской демократии. Хорошо известно, что чувства, или мнения, или способы суждения, которые однажды получили поддержку среди большого количества людей, более прочны и неизменны, чем те, которые принадлежат только одному или немногим; настолько, что суждения и действия многих позволяют более четко понимать прошлое и более точно предсказывать будущее. Если мы и должны приписать толпе какой-либо атрибут, то это будет скорее неоправданное упорство, чем неоправданное непостоянство; и в ходе этой истории не будет ничего, что доказывало бы, что афинский народ менял свои мнения по недостаточным основаниям чаще, чем это делали бы безответственные один или несколько человек.

Но в деятельности афинской демократии было два обстоятельства, которые придавали ей видимость большего непостоянства, не имея под собой реальной основы: Во-первых, проявления и изменения мнений были открытыми, нескрываемыми и шумными: люди высказывали свое мнение, каким бы оно ни было, с полной откровенностью; если их мнение действительно менялось, они не стыдились и не стеснялись заявить об этом. Во-вторых, - и это очень важно для работы демократии в целом, - *нынешнее* впечатление, каким бы оно ни было, не только не скрывалось в своих проявлениях, но и имело тенденцию к преувеличению своей интенсивности. Это объяснялось их привычкой рассматривать государственные дела в многочисленных собраниях, известным эффектом которых является разжигание чувств в груди каждого человека в результате простого контакта с кругом сочувствующих соседей. Какими бы ни были чувства - страх, честолюбие, скупость, гнев, сострадание, благочестие, патриотическая преданность и т. д. [685] - и будь они обоснованными или необоснованными, они постоянно под большим или меньшим влиянием такой усиливающей причины. Это недостаток, который, конечно, в определенной степени присущ любому осуществлению власти многочисленными органами, даже если это представительные органы, - особенно когда характер народа, вместо того чтобы быть сравнительно спокойным и медлительным, как у англичан, быстр, впечатлителен и вспыльчив, как у греков или итальянцев; но он гораздо сильнее действовал на самодействующий *Dêmos*, собравшийся в Пниксе. В сущности, это была конституционная болезнь демократии, которую народ сам прекрасно понимал, - как я покажу далее из тех мер, которые он пытался принять против нее, - но которую никакие меры никогда не могли полностью искоренить. Частота публичных собраний не только не усугубляла зло, но, напротив, имела тенденцию к его облегчению. Люди привыкали выслушивать и взвешивать множество различных мнений в качестве предварительного условия для вынесения окончательного решения; у них появлялся личный интерес и уважение к многочисленному классу инакомыслящих ораторов, и они даже приобретали определенное практическое сознание своей собственной ответственности за ошибки. Более того, распространение привычки к публичным выступлениям с помощью

софистов и риториков, которых так принято презирать, имело ту же тенденцию - разрушать единство чувств среди слушателей, умножать отдельные суждения и нейтрализовать заразительность простого сочувственного импульса. Это были важные выводы, которым еще больше способствовали превосходный вкус и интеллект афинского народа: но все равно оставалась присущая ему болезнь - чрезмерная и обманчивая интенсивность нынешних чувств. Именно это придавало неоценимое значение возвышению Перикла, как его изображает Фукидид: его власть над народом была настолько прочной, что он всегда мог эффективно выступать против чрезмерного увлечения царящим тоном чувств. "Когда Периклес (говорит историк) видел, что народ пребывает в состоянии необоснованной и наглой уверенности, он говорил так, чтобы повергнуть его в тревогу; когда же он снова приходил в необоснованный ужас, он боролся с ним и возвращал его к уверенности"[686] Мы найдем Деместенека, с гораздо меньшим превосходством, занятого той же почетной задачей: афинский народ часто нуждался в таком исправлении, но, к сожалению, не всегда находил государственных деятелей, одновременно дружественных и властных, для его осуществления.

Итак, эти два признака принадлежали афинской демократии: во-первых, их настроения всякого рода проявлялись громко и открыто; во-вторых, их настроения стремились к большому настоящему накалу. Поэтому, конечно, когда они менялись, смена настроения выделялась и заставляла всех обратить на себя внимание, являясь переходом от одного сильного настроения прошлого к другому сильному настроению настоящего.[687] И именно потому, что такие перемены, когда они происходили, так явно бросались в глаза, афинский народ навлекал на себя обвинение в непостоянстве: ведь, повторяю, совсем не так, что перемены настроений у них происходили чаще по легкомысленным или недостаточным причинам, чем перемены настроений у других правительств.

ГЛАВА XXXVII.

ИОНИЙСКИЕ ФИЛОСОФЫ. - ПИФАГОРЕЙЦЫ. - КРОТОН И СИБАРИС.

История могущественных греческих городов в Италии и Сицилии в период между воцарением Писистрата и Марафонской битвой по большей части нам неизвестна. Фаларис, деспот Агригентума в Сицилии, сделал себе незавидное имя в этот неясный период. Его правление, по-видимому, совпадает по времени с ранней частью правления Пейсистрата (около 560-540 гг. до н. э.), и те немногие и туманные высказывания, которые мы находим о нем,[688] лишь показывают нам, что это был период вымогательства и жестокости, даже выходящий за рамки обычных полномочий греческих деспотов. Реальность полого медного быка, который Фаларис имел обыкновение нагревать, чтобы закрыть в нем свои жертвы и сжечь их, представляется более достоверной, чем можно было бы предположить, исходя из характера этой истории: Ибо не только Пиндар, но и само орудие этой пытки, медный бык[689], который был увезен карфагенянами из Агригентума в качестве трофея при захвате города, был возвращен римлянами после покорения Карфагена на прежнее место жительства. Фаларис, как говорят, получил верховное командование, взяв на себя задачу построить большой храм Зевсу Полиею на скале цитадели; под этим предлогом он смог собрать и вооружить несколько рабочих и преданных партизан, которых он использовал на празднике Фесмофория, чтобы свергнуть власти. После этого он обезоружил граждан с

помощью хитрости и совершил жестокости, которые вызвали к нему такое отвращение, что внезапное восстание народа во главе с Телемахом (предком последующего деспота Тиро) свергло и убило его. После его падения его сторонники были жестоко отомщены^[691].

В промежутке между 540-500 гг. до н. э. среди италийских греков произошли события большой важности, особенно в Кротоне и Сибарисе, - события, к несчастью, очень несовершенно переданные. Между этими двумя периодами приходится и война между Сибарисом и Кротонем, и карьера и возвышение Пифагора. В связи с этим именем необходимо сказать несколько слов о других греческих философах шестого века до нашей эры.

В одной из предыдущих глав я отметил и охарактеризовал тех выдающихся людей, которых называют "Семь мудрецов Греции", чья известность приходится на первую половину этого века, - людей, отмеченных не столько научным гением, сколько практической проныцательностью и дальновидностью в оценке мирских дел, и пользовавшихся большим политическим уважением со стороны своих сограждан. Однако один из них, милезиец Талес, заслуживает нашего внимания не только по этой причине, но и как самое раннее известное имя в длинной череде греческих ученых-исследователей. Его жизнь, почти современная жизни Солона, относится, по-видимому, к периоду около 640-550 гг. до н. э.: истории, упоминаемые Геродотом - возможно, частично заимствованные из милийского Гекатея, - достаточны, чтобы показать, что его репутация мудрости, а также науки продолжала быть очень большой даже через столетие после его смерти среди его сограждан. Он знаменует собой важную эпоху в развитии греческого разума, поскольку первым отошел по букве и духу от гесиодовской "Теогонии", введя концепцию субстанций с их превращениями и последовательностями вместо той вереницы лиц и квазичеловеческих атрибутов, которые оживляли старый легендарный мир. Он является отцом так называемой ионической философии, которая, как считается, длится от его времени до времени Сократеса; и писатели, как древние, так и современные, пытаются проследить череду философов, каждый из которых является учеником предыдущего, между этими двумя крайними эпохами. Но название это, по правде говоря, неопределенное и даже неверное, поскольку ничего, что могло бы претендовать на название школы, или секты, или преемственности, - как у пифагорейцев, о которых мы сейчас расскажем, - выделить нельзя. Действительно, существует некая общая аналогия в философской линии Талеса, Гиппона, Анаксимена и Диогена Аполлонийского, благодаря которой все они отличаются от Ксенофана Элейского и его преемников, элеатских диалектиков Парменида и Зенона; но есть и существенные различия между их соответствующими доктринами - ни одна из них не придерживается одного и того же. А если мы обратимся к Анаксимандру, следующему по времени после Фалеса, а также к Гераклиту, то обнаружим, что они в значительной степени отходят даже от того характера, который объединяет всех остальных, хотя и тот, и другой обычно зачисляются в список ионийских философов.

О старой легендарной и политеистической концепции природы, которую частично отбросил Талес, можно сказать, что это такое состояние человеческого разума, при котором проблемы, предлагающие себя решить, и механизмы для их решения находятся в справедливом соотношении одна к другой. Если проблемы обширны, неопределенны, запутаны и проистекают скорее из надежд, страхов, любви, ненависти, удивления и т. д. людей, чем из какого-либо подлинного стремления к знанию, - то и полученная вера поставляет невидимых агентов в неограниченном количестве, с любой силой и склонностью. Таким образом, средства объяснения множатся и разнообразятся так же легко, как и явления, которые нужно объяснить. И хотя никакие будущие события или состояния не могут

быть предсказаны на достоверных основаниях, так, чтобы выдержать тщательную последующую проверку, - тем не менее, нет особых трудностей в составлении правдоподобного отчета о прошлом, о любых и всех вещах одинаково; особенно потому, что в такой период факты, требующие объяснения, не собираются и не хранятся с осторожностью. И хотя ни одно событие или состояние, которое еще не произошло, не может быть предсказано, нет особых трудностей в составлении правдоподобного отчета обо всем, что произошло в прошлом. Космогония и предшествующие эпохи мира были задуманы как своего рода личная история, с браками, родами, ссорами и другими приключениями этих невидимых агентов; среди которых один или несколько предполагались как нерожденные и самосуществующие, - последнее предположение является трудностью, общей для всех систем космогонии, и от которой не освобождает даже эта гибкая и обширная гипотеза.

Когда Талес отделил греческую философию от старого способа объяснения, он в то же время не отделил ее от старых проблем и вопросов, предложенных для исследования. Он сохранил их и передал своим преемникам в том же туманном и обширном виде, в каком они были задуманы вначале; так они и остались, хотя и с некоторыми изменениями и модификациями, вместе со многими новыми вопросами, столь же неразрешимыми, по существу присутствующими у греков на протяжении всей их истории, как законные проблемы для философского исследования. Но эти проблемы, приспособленные только к старой эластичной системе политеистического объяснения и вездесущего личного агентства, стали совершенно несоизмеримы с любыми безличными гипотезами, такими как гипотезы Талеса и философов после него, - будь то предполагаемые физические законы или правдоподобные моральные и метафизические догмы, открытые для аргументированной атаки и, конечно, требующие такой же защиты. Рассматривать видимый мир как единое целое и выяснять, когда и как он возник, а также все его прошлые изменения, - обсуждать первое происхождение людей, животных, растений, солнца, звезд и т. д., - выявить некую всеобъемлющую причину, по которой движение или изменения вообще происходят во вселенной, - исследовать судьбы человеческой расы и установить некие систематические отношения между ними и богами, - все это были темы, допускающие различные концепции и изложенные с красноречивой правдоподобностью, но не сводимые ни к какому решению, ни опирающемуся на научные доказательства, ни требующему неуклонного соблюдения при свободном рассмотрении.^[692]

В то время, когда возможности научного исследования были скудны и беспомощны, предлагаемые проблемы были таковы, что лежали вне пределов досягаемости науки в ее самом большом объеме. Постепенно, правда, к списку *quæsitæ* добавлялись предметы более специальные и ограниченные, к которым можно было применить опыт или выводы из опыта, и они изучались с большой пользой и поучительно: но старые проблемы с новыми, такими же непостижимыми, никогда не устранились и всегда занимали видное место в философском мире. Именно эта диспропорция между вопросами, подлежащими решению, и средствами решения породила ту характерную особенность греческой философии - антагонистическую силу скептицизма, переходящего в некоторых умах в широкое отрицание достижимости общей истины, - которую она питала от начала и до конца; Начавшись еще при Ксенофоне, продолжая проявляться семь веков спустя в Энесиде и Сексте Эмпирике, и включая в промежуток между этими двумя крайностями некоторых из самых могущественных интеллектуалов Греции. Сейчас не время рассматривать этих скептиков, которые носят непопулярное имя и не часто были оценены по достоинству; тем более что часто люди, сами по сути скептики, такие как Сократес и Платон, с негодованием осуждали исповедуемый скептицизм. Но очень важно обратить внимание на них в первую весну греческой

философии при Талесе, потому что тогда сложились обстоятельства, которые так скоро развили их впоследствии.

Хотя слава Талеса в древности была велика и всеобъемлюща, о нем почти ничего не известно: наверняка он ничего не оставил в письменном виде. Ему приписывают обширные путешествия по Египту и Азии, и в целом эти путешествия, несомненно, правдивы, поскольку никаких других способов получения знаний тогда не было. В то время, когда брат Лесбии Алкей служил в вавилонской армии, мы можем легко представить себе, что любознательный милезиец отправился в этот удивительный город, где стоял храм-обсерватория халдейского жречества; не исключено, что он мог видеть еще более великий город Нинус, или Ниневию, до его захвата и разрушения мидянами. Насколько велика была его репутация при жизни, свидетельствует восхищение, выраженное его младшим современником, Ксенофаном; а Гераклит, представитель следующего поколения, суровый судья всех других философов, отзывался о нем с таким же уважением. К нему греческие исследователи четвертого века до н. э. отнесли первые зачатки геометрии, астрономии и физиологии в ее широком и действительно подходящем смысле, научного изучения природы: ведь греческое слово, обозначающее природу (φύσις), впервые вошло в обиход примерно в это время (как я уже отмечал в предыдущей главе),^[693] с производными от него *физикой* и *физиологией*, в отличие от *теологии* старых поэтов. Мало что можно сказать о тех элементарных положениях геометрии, которые указаны как открытые или впервые продемонстрированные Талесом, и тем более о солнечном затмении, в отношении которого, согласно Геродоту, он заранее определил год наступления.^[694] Но основная доктрина его физиологии - используя это слово в его более широком греческом смысле - четко засвидетельствована. Он лишил Океана и Тетис, первородных родителей богов в гомеровской теогонии, их индивидуальности, и представил воду, или жидкую субстанцию, как единый первоначальный элемент, из которого все произошло и в который все возвращается.^[695] Доктрина одного вечного элемента, остающегося неизменным по своей сути, но неопределенно изменчивого в своих проявлениях для чувств, была таким образом впервые представлена на обсуждение греческой публики. У нас нет возможности узнать причины, по которым Талес поддерживал это мнение, и даже Аристотель не смог сделать больше, чем предположить, какими они могли быть; но одно из утверждений, выдвинутых в его защиту, - что земля покоится на воде,^[696] - мы можем смело отнести к самому милезийцу, поскольку оно вряд ли было выдвинуто в более позднем возрасте. Более того, Талес, как сообщается, считал, что все вокруг живое и полно богов, и особенно магнит - живое существо. Таким образом, боги, насколько мы можем претендовать на то, чтобы следовать столь слабо передаваемым мнениям, представляются как активные силы, и причины изменчивых проявлений, прикрепленные к первобытной субстанции:^[697] вселенная уподобляется организованному телу или системе.

Что касается Гиппона, который воспроизвел теорию Талеса в более обобщенной форме, заменив вместо воды влагу или нечто общее с воздухом и водой,^[698] то мы не знаем, принадлежал ли он к шестому или пятому веку до н. э. Но Анаксимандр, Ксенофан и Ферекидес относятся ко второй половине шестого века. Анаксимандр, сын Праксиадеса, был родом из Милета, Ксенофан - из Колофона; первый был одним из самых ранних излагателей доктрины в прозе,^[699] в то время как второй излагал свои мнения старым стихотворным языком. Анаксимандр, похоже, взялся за философскую проблему, существенно изменив гипотезу своего предшественника Талеса. Вместо первобытного флюида последнего он предположил первобытный принцип, не имеющий никаких фактических определяющих качеств, но включающий в себя все качества потенциально и проявляющий их в бесконечном разнообразии благодаря своей постоянно меняющейся

природе, - принцип, который сам по себе был ничем, но обладающий способностью порождать любые проявления, как бы они ни противоречили друг другу,[700] - первобытное нечто, суть которого в том, чтобы быть вечно порождающим различные явления, - своего рода математическая точка, которая сама по себе ничего не значит, но энергично порождает линии в любой степени, в какой только можно пожелать. Таким образом, Анаксимандр попытался дать исчерпывающее объяснение изменениям вообще, или порождению, или уничтожению, - как случилось, что одна разумная вещь возникла, а другая перестала существовать, - в соответствии с неясными проблемами, которые эти ранние исследователи имели привычку ставить перед собой.[701] Он избегал того, чего особенно боялись первые философы, - утверждения, что порождение может происходить из Ничто; однако первобытное Нечто, которое он предполагал, отличалось от Ничто только тем, что обладало этой самой способностью порождения.

В своей теории он перешел из области физики в область метафизики. Он впервые ввел в греческую философию это важное слово, обозначающее начало или принцип,[702] и впервые открыл метафизическую дискуссию, которая велась различными способами на протяжении всего периода греческой философии, о едином и многом - постоянном и переменном - о том, что существует вечно, в отличие от того, что приходит и уходит в постоянно меняющихся проявлениях. Его физиология, или объяснение природы, таким образом, вела разум по пути, отличному от того, который предлагала гипотеза Талеса, построенная на физических соображениях и, следовательно, рассчитанная на то, чтобы предлагать и стимулировать наблюдения за физическими явлениями с целью их проверки или опровержения, - в то время как гипотеза Анаксимандра допускала только диалектическое обсуждение, или рассуждения, выраженные общим языком; Иногда, правда, рассуждения ссылались на опыт в целях иллюстрации, но редко опирались на него и никогда не искали в нем необходимой опоры. Физическое объяснение природы, однако, однажды введенное Талесом, хотя и покинутое Анаксимандром, было подхвачено Анаксименом и другими после него и воспроизведено со многими расхождениями в доктрине, но всегда более или менее запутанное и озадаченное метафизическими дополнениями, поскольку эти два отдела никогда не были четко разделены во всей греческой философии. Об этих последующих физических философах я расскажу позже, а сейчас ограничусь мыслителями шестого века до н. э., среди которых Анаксимандр выделяется не как последователь Талеса, а как автор новой гипотезы, направленной в другую сторону.

Однако не только как автор этой гипотезы Анаксимандр расширил греческий ум и пробудил силы мысли: мы находим его также упоминания о выдающихся достижениях в астрономии и геометрии. Считается, что он первым установил в Греции солнечные часы, построил сферу и объяснил косоугольность эклиптики;[703] насколько такое предполагаемое авторство действительно принадлежит ему, мы не можем точно сказать, но есть один шаг огромной важности, который, как утверждается, был сделан им. Он первым составил трактат по географии суши и моря в пределах своей компетенции и построил на его основе карту, представляющую собой латунную табличку. Такая новинка, удивительная даже для грубых и невежественных людей, должна была стимулировать пытливые умы, и с нее можно отсчитывать начало греческой рациональной географии - не менее ценный вклад этого народа в копилку человеческих знаний.

Ксенофанес из Колофона, несколько моложе Анаксимандра и почти современник Пифагора (кажется, около 570-480 гг. до н. э.), переселился из Колофона[704] в Занкл и Катану на Сицилии и Элею в Италии, вскоре после того, как Иония перешла под власть персов (540-530

гг. до н. э.).) Он был основателем так называемой элеатской школы философов - настоящей школы, поскольку Парменидес, Зенон и Мелисс продолжали и развивали в значительной степени учения, начатые Ксенофаном, несомненно, с собственными дополнениями и изменениями, но особенно с диалектической силой, которая относится к эпохе Периклеса и неизвестна в шестом веке до нашей эры. Он был автором более чем одной поэмы значительной длины, одна из которых посвящена основанию Колофона, а другая - Элеи; кроме того, он написал поэму о природе, в которой изложил свои философские доктрины.[705] Его манера, по-видимому, была противоречивой и полной язвительности по отношению к противникам; но наиболее примечательно то, как открыто он выступал против народной религии и осуждал как отвратительные описания богов, данные Гомером и Гесиодом.[706]

Говорят, что он оспаривал доктрины Фалеса и Пифагора: это достаточно вероятно; но, похоже, он взял свое начало с философии Анаксимандра, - не приняв ее, однако, а перевернув, - и изложил мнение, которое мы можем назвать противоположным ей. В концепции Анаксимандра природа состояла из Нечто, не обладающего никаким другим атрибутом, кроме неограниченной силы порождать и отменять феноменальные изменения: согласно этой доктрине, Нечто или субстрат существовали только в этих изменениях и для них, и нельзя было сказать, что они вообще существуют в каком-либо другом смысле: постоянное таким образом сливалось и терялось в переменном, единое - во множестве. Ксенофанес утверждал прямо противоположное: он представлял природу как единое неизменное и неделимое целое, сферическое, одушевленное, наделенное разумом и пронизанное Богом или даже тождественное ему: он отрицал объективную реальность всех изменений, порождений или разрушений, которые он, похоже, считал лишь изменениями или модификациями в воспринимающем, причем, возможно, разными в одном воспринимающем и в другом. То, что существует, утверждал он, не может быть порождено или когда-либо уничтожено: не существует ни реального порождения, ни реального уничтожения чего-либо; но то, что люди принимали за таковое, было изменением их собственных чувств и идей. Таким образом, он признавал постоянное без переменного,[707] одно без многих. И его отношение к принятому религиозному вероучению было в гармонии с такой физической или метафизической гипотезой; поскольку, хотя он считал всю природу Богом, без частей и изменений, он в то же время объявлял популярных богов сущностями субъективной фантазии, воображаемыми людьми по их собственному образцу: если быки или львы стали религиозными, добавлял он, они бы таким же образом обеспечили себе богов по их соответствующим формам и характерам.[708] Эта гипотеза, которая, казалось, полностью отбрасывала изучение чувственного мира как источник знаний, была кратко и, как должно быть, неясно и грубо изложена Ксенофаном; по крайней мере, мы можем сделать такой вывод из пренебрежительного эпитета, примененного к нему Аристотелем.[709] Но его преемники, Парменидес и Зенон, в следующем столетии значительно расширили ее, подкрепили необычайной остротой диалектики и даже добавили вторую часть, в которой явления чувств, хотя и рассматриваемые только как видимость, но не участвующие в реальности Единого, были объяснены новой физической гипотезой; так что окажется, что они оказали большое влияние на умозрения как Платона, так и Аристотеля. Кроме того, мы обнаруживаем в Ксенофанесе жилки скептицизма и скорбного отчаяния относительно достижимости определенного знания,[710] которые вполне можно было предположить по характеру его философии, и которым очень сочувствовал силлогграф Тимон третьего века до н. э., который, кажется, говорил о Ксенофанесе лучше, чем о большинстве других философов.

Космогония Ферекидеса из Сира, современника Анаксимандра и одного из учителей Пифагора, судя по сохранившимся фрагментам, представляет собой сочетание старых легендарных фантазий с орфическим мистицизмом[711] и, вероятно, не оказала большого влияния на последующий ход греческой философии. Из того, что было сказано о Талесе, Анаксимандре и Ксенофоне, видно, что шестой век до н. э. стал свидетелем открытия нескольких из тех путей интеллектуальных спекуляций, по которым шли более поздние философы или, по крайней мере, от которых они ответвлялись. До 500 года до н. э. было затронуто множество интересных вопросов, о которых Солон, умерший около 558 года до н. э., никогда не слышал, так же как он, возможно, никогда не видел карты Анаксимандра. Но ни один из этих двух выдающихся людей - ни Анаксимандр, ни Ксенофан - не был более чем умозрительным исследователем. Третье выдающееся имя этого столетия, о котором я сейчас расскажу, - Пифагор - соединил в своем характере разрозненные элементы, которые требуют более подробного развития.

Пифагор был основателем братства, первоначально объединенного религиозным влиянием и соблюдавшего обряды, приближавшиеся к монашеским, - работавшего в направлении одновременно религиозном, политическом и научном и некоторое время пользовавшегося реальным политическим влиянием, - но затем изгнанного из правительства и государственных дел в сектантское уединение с научными занятиями, не без того, однако, чтобы еще произвести на свет некоторых выдающихся государственных деятелей. Среди множества ложных и апокрифических сведений, распространявшихся в древности об этом знаменитом человеке, мы находим несколько важных фактов, подтвержденных и заслуживающих доверия. Он был уроженцем Самоса, сыном богатого купца по имени Мнесарх, или, по мнению некоторых из его более поздних и горячих поклонников, Аполлона; родился, насколько мы можем судить, около 50-й Олимпиады или 580 года до н. э. На многочисленных чудесах, рассказываемых о его юности, нет необходимости останавливаться. К ним можно отнести его обширные путешествия, которые, как говорят, продолжались почти тридцать лет, чтобы посетить аравийцев, сирийцев, феников, халдеев, индийцев и галльских друидов. Но есть основания полагать, что он действительно посетил Египет[713] - возможно, также Феникию и Вавилон, затем Халдею и независимую страну. В то время, когда он видел Египет, между 560-540 гг. до н. э., примерно на столетие раньше Геродота, он находился под властью Амасиса, последнего из своих собственных царей, со своим особым местным характером, еще не испорченным иностранным завоеванием, и лишь слегка измененным в результате приема в течение предыдущего столетия греческих наемных войск и торговцев. Зрелище египетских обычаев, беседы жрецов, посвящение в различные мистерии или тайные обряды и истории, недоступные широкой публике, вполне естественно могли произвести впечатление на ум Пифагора и придать ему ту склонность к мистическим наблюдениям, аскетизму, особенностям питания и одежды, - которая проявилась по той же причине среди нескольких его современников, но не была обычным явлением в примитивной греческой религии. Кроме посещения Египта, Пифагор, как говорят, пользовался учением Талеса, Анаксимандра и Ферекидеса из Сирова.[714] В городах Ионии он, кроме того, имел возможность общаться со многими греческими мореплавателями, побывавшими в чужих странах, особенно в Италии и Сицилии. Его ум, по-видимому, подвергся воздействию и побуждению со стороны этого комбинированного стимула, - частично к образной и религиозной жилке умозрения, с жизнью мистического наблюдения, - частично к активным упражнениям, как ума, так и тела, которые гений эллинского сообщества так естественно склонен предлагать.

О личных доктринах или мнениях Пифагора, которого мы должны отличать от Филолая и последующих пифагорейцев, у нас мало определенных знаний, хотя, несомненно, первые

зародыши их геометрии, арифметики, астрономии и т.д. должны были исходить от него. Но то, что он верил в метемпсихоз или переселение душ умерших людей в других людей, а также в животных, мы знаем не только по другим свидетельствам, но и по свидетельству его современника, философа Ксенофана из Элеи. Пифагор, увидев, как бьют собаку, и услышав ее вой, попросил нападающего остановиться, сказав: "Это душа моего друга, которого я узнал по его голосу". Это - вместе с общим свидетельством Гераклита о том, что Пифагор был человеком обширных исследований и приобретенных знаний, но искусным в озорстве и лишенным здравого смысла - все, что мы знаем о нем от современников. Геродот через два поколения после него, представляя пифагорейцев как особый религиозный орден, намекает, что и Орфей, и Пифагор получили учение о метемпсихозе из Египта, но выдавали его за свое собственное, не признавая[715].

Пифагор сочетает в себе характер софиста (человека с большой наблюдательностью и умным, восходящим, изобретательным умом, - первоначальный смысл слова софист, до полемики платоновской школы, и единственный смысл, известный Геродоту[716]) с характером вдохновенного учителя, пророка и чудотворца, - приближающегося к богам, а иногда даже отождествляемого с ними, - и использующего все эти дары для основания нового особого ордена братьев, связанных между собой религиозными обрядами и соблюдениями, свойственными только им. В своем выдающемся призвании, аналогичном призванию Эпименида, Орфея или Мелампа, он предстает как открыватель образа жизни, призванного поднять его учеников над уровнем человечества и рекомендовать им благосклонность богов; Пифагорейская жизнь, как и орфическая,[717] была задумана как исключительная привилегия братства, - доступ к ней возможен только через испытание и церемонии посвящения, которые были приспособлены для избранных энтузиастов, а не для беспорядочной толпы, - и требовала полной душевной преданности мастеру. [В этих возвышенных притязаниях агригентинский Эмпедокл, похоже, во многом копировал его, хотя и с некоторыми отличиями, примерно полвека спустя.[719] Хотя Аристотель говорит нам, что кротониаты отождествляли Пифагора с гиперборейским Аполлоном, сатирик Тимон называет его "жонглером торжественных речей, занимающимся ловлей людей"[720] Это один и тот же персонаж, рассмотренный с разных точек зрения верующего и неверующего. Однако нет никаких оснований считать Пифагора самозванцем, поскольку, как показывает опыт, если в определенные эпохи человеку нетрудно убедить других в том, что он вдохновлен, то ему еще менее трудно самому проникнуться той же верой.

Рассматривая общий тип Пифагора, как его представляли свидетели его собственной эпохи, - Ксенофан, Гераклит, Геродот, Платон, Аристотель, Исократ,[721] - мы находим в нем главным образом религиозного миссионера и школьного учителя, с небольшим количеством политического деятеля. Его эффективность в последнем качестве, изначально подчиненная, впервые становится заметной в тех светлых фантазиях, которые поздние пифагорейцы передали Аристоксену и Дикеарху. Первобытный Пифагор был вдохновлен богами на открытие нового образа жизни[722] - пифагорейской жизни - и обещал божественную благосклонность избранным и послушным немногим в качестве вознаграждения за строгое ритуальное послушание, аскетичный самоконтроль и трудоемкую тренировку, как телесную, так и умственную. Говорить с уверенностью о деталях его обучения, этического или научного, и о доктринах, которые он провозглашал, невозможно; ведь ни он сам, ни кто-либо из его учеников до Филолая - которого отделяло от него примерно одно промежуточное поколение - не оставили никаких письменных свидетельств.[723] Числа и линии, изучаемые отчасти в их собственных взаимоотношениях, отчасти под влиянием различных символизирующих фантазий, представлялись ему первичными составными элементами вселенной и своего рода магическим ключом к явлениям, как физическим, так и моральным. И эти

математические тенденции в его учении, расширенные пифагорейцами, его преемниками, и частично совпадающие также, как уже говорилось, с исследованиями Анаксимандра и Фалеса, получали все большее развитие, чтобы стать одним из самых славных и выгодных проявлений греческого интеллекта. Живя, как Пифагор, в то время, когда запас опыта был скуден, право гипотез безгранично, а процесс дедукции не имел правил или проверяющих испытаний, - он, таким образом, был достаточно удачлив, чтобы попасть в ту колею геометрии и арифметики, в которой, исходя из немногих, простых и очевидных данных опыта, можно преодолеть огромное поле дедуктивного и проверяемого исследования. В то же время мы должны отметить, что в его сознании этот путь, который сейчас кажется таким прямым и четко определенным, был затуманен странными причудами, которые нелегко понять, и от которых он был лишь частично очищен его преемниками. О его духовном воспитании сказано немало, хотя и не на очень хорошем основании. Мы слышим о его поминальной дисциплине, монашеской самокритике, использовании музыки для успокоения беспорядочных страстей,^[724] долгом послушничестве в безмолвии, знании физиогномики, позволявшем ему даже без суда выявлять недостойных субъектов, особой диете и строгой заботе о трезвости, а также о телесной бодрости. Говорят, что он также прививал воздержание от животной пищи, и это чувство так естественно связано с доктриной метемпсихоза, что мы вполне можем считать, что он придерживался его, как и Эмпедокл, который был после него.^[725] Несомненно, что в пифагорейской жизни были особые соблюдения и, вероятно, определенная мера самоотречения; но, с другой стороны, кажется столь же несомненным, что члены ордена не могли быть все подвержены одной и той же диете, или обучению, или занятиям. Ведь среди них был Милон Кротониат,^[726] сильнейший человек и непревзойденный борец своей эпохи, который, вероятно, не мог обходиться без животной пищи и обильного питания (даже если отбросить рассказы о его прожорливом аппетите), и вряд ли он мог обратить свое внимание на умозрительные исследования. Вероятно, Пифагор не принуждал всех к одинаковой телесной или умственной дисциплине, или, по крайней мере, знал, когда нужно давать послабления. Орден, как он впервые возник при нем, состоял из людей, различных по темпераменту и способностям, но связанных общими религиозными обрядами и надеждами, общим почитанием мастера и взаимной привязанностью, а также гордостью за успехи друг друга; таким образом, его следует отличать от пифагорейцев четвертого века до н. э., которые не общались с борцами и состояли только из аскетичных, ученых людей, обычно затворников, хотя в некоторых случаях поднимались до политической известности.

Последовательность этих пифагорейцев, никогда не бывшая очень многочисленной, продолжалась, по-видимому, примерно до 300 года до н. э., а затем почти угасла; ее вытеснили другие философские схемы, более подходящие для культурных греков эпохи после Сократа. Но во времена Цицерона, спустя два столетия после этого, тенденция к ориентализации, которая в то время начала распространяться по греческому и римскому миру и постепенно становилась все сильнее и сильнее, привела к тому, что пифагорейская философия вновь возродилась. Она возродилась тоже, почти без научных тенденций, но с более чем примитивным религиозным и образным фанатизмом, - Аполлоний Тианский, представляющий собой живую копию Пифагора. И таким образом, в то время как научные элементы, разработанные учениками Пифагора, отделились от всех особенностей секты и перешли в общий ученый мир, - первоначальная жилка мистических и аскетических фантазий, принадлежащих мастеру, без какой-либо практической эффективности тела и ума, которая отличала его первых последователей, была заново взята в языческий мир, вместе с изуродованными доктринами Платона. Неопифагоризм, постепенно переходящий в неоплатонизм, превзошел другие более позитивные и мужественные системы языческой философии, став современником и соперником христианства. Значительная часть ложных

утверждений о Пифагоре исходит от этих неопифагорейцев, которых отсутствие памятников не останавливало от иллюстрации, с широкой свободой фантазии, идеального характера мастера.

То, что такой любознательный человек, как Пифагор, в то время, когда почти не было книг для изучения, посещал чужие страны и общался со всеми греческими философами, которые были в пределах его досягаемости, мы должны предполагать, даже если никто не подтвердит этого; и наши свидетели мало что дают нам за пределами этого общего предположения. Какие доктрины он заимствовал и у кого, мы не можем узнать. Но, по сути, вся его жизнь и деятельность несут на себе печать оригинального ума, а не заимствователя, - ума, впечатленного как эллинскими, так и неэллинскими привычками и религией, но способного сочетать их в свойственной ему манере; и, прежде всего, наделенного теми религиозными талантами и личным превосходством над другими, которые говорят о гораздо большем, чем внутренние достоинства его идей. Нам сообщают, что после долгих путешествий и поисков он вернулся на Самос в возрасте около сорока лет: он застал свой родной остров под деспотией Поликратеса, что сделало его неподходящим местом ни для свободных настроений, ни для ярких личностей. Не имея возможности привлечь слушателей, основать какую-либо школу или братство на родном острове, он решил эмигрировать. Можно предположить, что в этот период (около 535-530 гг. до н. э.) на его решение не могло не повлиять недавнее покорение Ионии персами. Торговля между азиатскими и италийскими греками, и даже близость между Милетом и Книдом, с одной стороны, и Сибарисом и Тарентом - с другой, была велика и продолжительна, так что было больше, чем один мотив, чтобы определить его на побережье Италии; в этом направлении также эмигрировал его современник Ксенофанес, основатель элеатской философской школы, кажется, примерно в то же время, - из Колофона в Занклок, Катану и Элею.[\[727\]](#)

Кротон и Сибарис были в это время в самом расцвете сил, одними из первых и самых процветающих городов с эллинским названием. В первый из них Пифагор и направил свой путь. Здесь верховная власть была возложена на совет из тысячи человек, собранный из наследников и представителей главных владельцев при его первом основании: каким образом были заполнены исполнительные должности, мы не имеем сведений. Помимо огромных владений и многочисленного населения, значительная часть которого не имела права голоса, Кротон в это время отличался двумя достоинствами: общим совершенством телесных качеств граждан, о чем отчасти свидетельствует количество завоевателей, участвовавших в Олимпийских играх, и превосходством врачей, или хирургов. [728\]](#) Эти два момента, по сути, были тесно связаны друг с другом. Ведь терапия того времени состояла не столько из активных средств, сколько из тщательной диеты и режима; тренер, который диктовал жизнь атлета во время его долгой и утомительной подготовки к олимпийским соревнованиям, и профессиональный руководитель юношей, посещавших общественные гимназии, придерживались тех же общих взглядов и действовали на той же основе знаний, что и врач, который прописывал состояние положительного плохого здоровья. [\[729\]](#)

Медицинского образования, как его правильно называть, особенно анатомии, тогда почти не было. Врач приобретал свои знания, наблюдая за больными и здоровыми людьми и внимательно следя за тем, как на человеческое тело действуют окружающие агенты и обстоятельства: и эти же знания были не менее необходимы для тренера; так что то же самое место, где содержались лучшие люди в последнем классе, могло также отличаться и в первом. Не исключено, что эта известность Кротона могла быть одной из причин, побудивших Пифагора отправиться туда; ведь среди предписаний, приписываемых ему, важное место занимают точные правила относительно диеты и телесной регуляции. Медицинская или хирургическая известность Димокедеса (зятя пифагорейца Мило), на

которого мы уже упоминали в предыдущей главе, связана с пребыванием Пифагора в Кротоне; а медики Магна-Греции поддерживали свой авторитет в качестве соперников школ Асклепиадов в Косе и Книде на протяжении всего пятого и четвертого веков до нашей эры.

Биографы Пифагора рассказывают, что его приезд, проповеди и поведение произвели почти электрический эффект на умы людей и привели к обширным реформам, как общественным, так и частным. Политическое недовольство было подавлено, недержание исчезло, роскошь была дискредитирована, а женщины поспешили поменять свои золотые украшения на самые простые наряды. Не менее двух тысяч человек были обращены в веру во время его первой проповеди; и так эффективны были его беседы с молодежью, что Верховный совет тысячи пригласил его в свое собрание, просил его совета и даже предложил сделать его своим *prytanis*, или президентом, а его жену и дочь поставить во главе религиозных процессий женщин.[730] Его влияние не ограничивалось Кротоном. Другие города Италии и Сицилии - Сибарис, Метапонтум, Регий, Катана, Гимера и т. д. - ощутили на себе благотворное влияние его увещаний, которые избавили некоторых из них даже от рабства. Такими рассказами полны биографы Пифагора.[731] И мы видим, что даже ученики Аристотеля, около 300 года до н. э., - Аристоксен, Дикеарх, Ираклидес Понтийский и др, едва ли менее обвинены в них, чем неопифагорейцы три или четыре века спустя: они, несомненно, слышали их от своих современников-пифагорейцев,[732] последних членов упадочной секты, среди которых атрибуты первобытного основателя считались богоподобными, но у которых не было ни памятников, ни исторических суждений, ни средств для формирования истинного представления о Кротоном, каким он был в 530 году до н. э.[733].

Проследить эти истории до истинного основания невозможно: Но мы можем обоснованно полагать, что успех Пифагора, как человека, облагодетельствованного богами и обладателя божественных тайн, был очень велик, - что он снискал себе как почитание толпы, так и особую привязанность и послушание многих преданных приверженцев, в основном принадлежащих к богатым и влиятельным классам, - что избранное тело этих приверженцев, числом в триста человек, связало себя своего рода клятвой как Пифагору, так и друг другу, и приняло особую диету, ритуал и обряды, в знак союза, хотя и без чего-либо похожего на общность имущества, которую некоторые приписывают им. Такая группа людей, занимающих высокое положение в городе по богатству и должности и связанных между собой этими интимными узами, почти бессознательно склонялась к смешению политических амбиций с религиозными и научными занятиями. Политические клубы с присяжными членами, в той или иной форме, были постоянным явлением в греческих городах,[734] а пифагорейский орден при своем первом образовании был самым эффективным из всех клубов; поскольку он представлял интимную привязанность между своими членами, а также чувство надменной исключительности по отношению к общественности без них, такое, что никакое другое братство не могло параллельно.[735] Преданная привязанность пифагорейцев друг к другу выражена не менее ярко, чем их презрение ко всем остальным. На самом деле эти два признака ордена кажутся наиболее достоверными и постоянными из всех: более того, мы можем быть уверены, что особые наблюдения ордена выдавались за образцовые добродетели в глазах его членов и возвышали честолюбие до долга, заставляя их искренне верить, что они - единственные, кто пригоден для управления. Поэтому нет ничего удивительного в том, что пифагорейцы постепенно завоевали себе большую власть в правительстве Кротона. А поскольку подобные клубы, не менее влиятельные, образовались в Метапонтуме и других местах, пифагорейский орден раскинул свои сети и диктовал ход дел на значительной части Магна-Греции. Такое

возвышение пифагорейцев, должно быть, обеспечило самому мастеру некоторое реальное и еще более предполагаемое влияние на правление в Кротоне и других местах, каким тогда не обладал ни один из его современников во всей Греции.^[736] Но его влияние, вероятно, осуществлялось на заднем плане, через посредство почитавшего его братства: ведь вряд ли греческим нравам соответствует, чтобы незнакомец с его характером лично и открыто руководил политическими делами какого-либо греческого города.

Мы также не должны верить, что Пифагор изначально прибыл в Кротон с явной целью создать для себя возвышенное политическое положение, и уж тем более он прибыл с целью реализовать великую предначертанную политическую идею и превратить Кротон в образцовый город чистого доризма, как предполагают некоторые выдающиеся современные авторы. Такие планы действительно могли приписывать ему пифагорейцы платоновской эпохи, когда в умах спекулянтов витали масштабные идеи политического оздоровления, - люди, склонные отказываться от авторства своих собственных мнений и предпочитающие считать их традициями, переданными от основателя, не оставившего никаких памятников; но нужны более веские доказательства, чем их, чтобы заставить нас поверить, что какой-либо реальный грек, родившийся в 580 году до н. э., действительно задумывал подобные планы. Мы не можем понять замысел Пифагора как идущий дальше формирования частного, избранного ордена братьев, охватывающего его религиозные фантазии, этический тон и зародыши научной идеи, - и демонстрирующего приверженность тем соблюдениям, которые Геродот и Платон называют пифагорейскими оргиями и образом жизни. И его частный орден стал политически влиятельным, потому что он был достаточно искусен или удачлив, чтобы завербовать достаточное количество богатых кротониатов, обладающих индивидуальным влиянием, которое они значительно усилили, объединившись таким образом в тесный союз. Пифагорейские оргии или религиозные церемонии не противоречили общественной активности, как телесной, так и умственной: вероятно, богатые мужчины ордена могли стать еще более активными, будучи укрепленными против соблазнов праздной жизни. Характер ордена в его первом виде, отличающийся от того, к которому он был приведен впоследствии, был действительно религиозным и исключительным, но также активным и властным; он не презирал ни одного из тех телесных достижений, которые повышали эффективность греческого гражданина и которые так особенно гармонировали с существующими тенденциями Кротона.^{[Нибур и О. Мюллер даже предположили, что избранные триста пифагорейцев составляли своего рода меньший сенат в этом городе, [738] - гипотеза маловероятная; мы скорее можем представить их как могущественный частный клуб, осуществляющий власть внутри сената и управляющий через посредство установленных властей. Мы также не можем принять с большой долей вероятности утверждение Варро, [739] который, уподобляя Пифагора Платону, говорит нам, что тот ограничивал свои наставления по вопросам управления избранными учениками, прошедшими полное обучение и достигшими совершенства мудрости и добродетели. Кажется более вероятным, что политическими пифагорейцами были те, кто был наиболее подготовлен к действиям и наименее - к спекуляциям. И мы можем с полным основанием предположить в генерале ордена то умение учитывать склонности отдельных людей, которое два века назад так ярко проявилось у иезуитов; с которыми, в различных отношениях, пифагорейцы имеют значительное сходство. Все, что мы можем сказать об их политических принципах, это то, что они были исключительными и аристократическими, противными контролю и вмешательству народа; это обстоятельство ни в коем случае не было невыгодным для них, поскольку они совпадали в этом отношении с существующим правительством города, - если бы их собственное поведение не навлекало дополнительную дурную славу на старую аристократию и не поднимало обостренную демократическую оппозицию, доведенную до самых прискорбных пределов насилия.]}

Все апокрифические сведения, которыми мы располагаем об этом памятном клубе, получены от его горячих поклонников; но даже их высказываний достаточно, чтобы объяснить, как он стал причиной смертельной и широкой вражды. Чужак, пришедший обучать новым религиозным догмам и обрядам, с примесью науки и некоторых новых этических идей и фраз, хотя и приобрел бы несколько ревностных приверженцев, также вызвал бы к себе определенную антипатию. Крайняя строгость в соблюдении предписаний в сочетании с искусством искусно затрагивать источники религиозного ужаса в других людях, действительно, могла бы многое сделать как для укрепления, так и для возвышения его самого. Но когда обнаружилось, что наука, философия и даже мистические откровения религии, какими бы они ни были, остались в рамках частных разговоров и практики учеников и были таким образом отброшены на задний план, в то время как все, что было видно и ощутимо без них, было политическим преобладанием амбициозного братства, - нам не нужно удивляться, что пифагоризм во всех его частях стал одиозным для значительной части общества. Более того, мы видим, что орден не только представляет собой преданную и исключительную политическую партию, но и демонстрирует показное самодовольство во всем своем личном поведении,[740] отказывая в дружбе всем, кроме братьев, и особенно отвратительно относясь к своим собственным друзьям и родственникам. Насколько мы знаем греческую философию, это единственный случай, когда ею явно злоупотребляли в политических и партийных целях: ранние дни пифагорейского ордена отличаются таким извращением, которое, к счастью для прогресса философии, никогда не проявлялось в Греции в дальнейшем.[741] Однако даже в Афинах, как мы увидим далее, Сократес, хотя и стоял в стороне от всех партийных интриг, был во многом непопулярен из-за предполагаемой политической связи с Критием и Алкивиадом,[742] которым, действительно, оратор Эсхинес отчетливо приписывает свое осуждение, говоря примерно через шестьдесят лет после этого события. Если бы Сократес был известен как основатель группы, тесно сплотившейся ради честолюбивых целей, результат был бы крайне пагубным для философии и, вероятно, гораздо скорее пагубным для него самого.

Именно эта причина привела к полному и насильственному разрушению пифагорейского ордена. Их возвышение вызвало столь широкое недовольство, что их враги решились применить против них крайнюю силу. Килон и Нинон, первый из которых, как говорят, добивался принятия в орден, но был отвергнут из-за своего скверного характера, возглавили явную оппозицию пифагорейцам; одиоз, который понесли последние, распространился и на Сенат тысячи, через посредство которого осуществлялось их возвышение. Были выдвинуты предложения сделать правительство более демократичным и учредить новый сенат, выбранный по жребию из всего народа, перед которым магистраты должны были пройти испытание на подотчетность после вступления в должность; был выбран удобный случай, когда сенат тысячи человек нанес серьезный ущерб, отказавшись разделить между людьми недавно завоеванную территорию Сибариса.[743] Несмотря на сопротивление пифагорейцев, это изменение правительства было осуществлено. Нинон и Килон, их главные враги, воспользовались этим, чтобы еще больше разозлить народ против ордена, пока не спровоцировали против него настоящее народное насилие. На пифагорейцев напали, когда они собрались в своем доме для собраний возле храма Аполлона, или, как говорили некоторые, в доме Милона: здание подожгли, и многие члены погибли;[744] никто, кроме более молодых и энергичных, не спасся. Подобные волнения и столь же жестокое подавление ордена с уничтожением нескольких ведущих граждан, как говорят, имели место в других городах Магна-Греции - Тарентуме, Метапонтуме, Каулонии. Нам рассказывают, что эти города некоторое время находились в состоянии сильного смятения и волнения, от которого их спасло только дружеское посредничество пелопоннесских ахейцев, первоначальных основателей Сибариса и Кротона, - при содействии, правда, посредников

из других частей Греции. В конце концов, города были умиротворены, и им удалось заключить дружественный конгресс с общими религиозными праздниками в храме, специально для этого основанном и посвященном Зевсу Гомариусу[745].

Так погиб первоначальный пифагорейский орден. Относительно самого Пифагора существуют противоречивые сведения: одни утверждают, что он был сожжен в храме вместе со своими учениками;[746] другие - что он умер незадолго до этого; третьи снова утверждают, что он был жив в то время, но отсутствовал, и что он умер вскоре после этого в изгнании, после сорока дней добровольного воздержания от пищи. Его гробницу все еще показывали в Метапонтуме во времена Цицерона.[747] Как активное братство, Пифаго reans никогда не возрождалось; но рассеянные члены собирались вместе как секта, для общих религиозных обрядов и совместных занятий наукой. После некоторого перерыва они были вновь приняты в городах Магна-Греции,[748] из которых они были первоначально изгнаны, но к которым секта всегда считалась особенно принадлежащей, - хотя отдельные ее члены встречаются, кроме того, в Фивах и других городах Греции. Действительно, некоторые из этих поздних пифагорейцев иногда даже приобретали большое политическое влияние, как мы видим на примере тарентинца Архита, современника Платона.

Уже говорилось, что период, когда Пифагор прибыл в Кротон, можно отнести к 540-530 гг. до н. э.; говорят, что его приезд пришелся на время глубокой депрессии в умах кротонян. Они недавно потерпели поражение от объединенных локрийцев и регийцев, значительно уступавших им в численности, при реке Сагре, и унижение, которое они испытали, как говорят, сделало их послушными обучению саамского миссионера.[749] Как рождение пифагорейского ордена связано с поражением кротониатов при Сагре, так и его исчезновение также связано с их победой над сибаритами при реке Трайс, или Трионто, примерно двадцать лет спустя после этого.

Об истории этих двух великих ахейских городов мы, к сожалению, знаем очень мало. Хотя оба они были могущественны, но до периода 510 г. до н. э. Сибарис, похоже, был самым большим: о его владычестве, а также о его широко известной роскоши я рассказывал в предыдущей главе.[750] Именно в это время между ними разразилась война, которая закончилась разрушением Сибариса. Несомненно, что сибариты были агрессорами в этой войне; но какие причины предшествовали ей в их собственном городе, или какие провокации они получили, мы знаем очень смутно. По нашим сведениям, незадолго до этого в Сибарисе произошла политическая революция, в ходе которой народный лидер по имени Телис возглавил восстание против олигархического правительства и побудил народ изгнать пятьсот ведущих богачей, а также конфисковать их имущество. Он приобрел суверенитет и стал деспотом Сибариса;[751] и, судя по всему, он или его правление в Сибарисе вызывали отвращение в Кротоне, так как кротонианец Филипп, человек с великолепной мускулатурой и победитель Олимпийских игр, был сослан за то, что обручил себя с дочерью Телиса.[752] Согласно рассказу поздних пифагорейцев, изгнанники, которых Телис изгнал из Сибариса, нашли убежище в Кротоне и обратились к алтарям за защитой. Вполне возможно, что отчасти они были пифагорейцами из Сибариса. Тело могущественных изгнанников, укрытое в столь близком городе, естественно, внушало тревогу, и Телис потребовал выдать их, угрожая войной в случае отказа. Это требование привело Кротон в смятение, поскольку военная мощь Сибариса явно превосходила его. Сдача изгнанников долго обсуждалась, и кротониаты почти приняли решение, пока убеждения самого Пифагора, как говорят, не заставили их рискнуть любой опасностью, чем подвергнуться бесчестью предательства сторонников.

Когда требование сибаритов было отклонено, Телис выступил в поход против Кротона во главе войска, насчитывавшего триста тысяч человек. [753] Он выступил в поход вопреки сильнейшим религиозным предостережениям против этого предприятия, так как жертвы, принесенные от его имени иамидским пророком Каллиасом из Элиды, были решительно неблагоприятны, а сам пророк в ужасе бежал в Кротон. [754] У реки Траис, или Трионто, его встретили войска Кротона, состоявшие, как нам сообщили, из ста тысяч человек, под командованием великого атлета и пифагорейца Милона, который был одет, как нам сказали, в костюм и вооружен булавой Геракла. Однако их еще больше усилил ценный союзник, спартанец Доризей, младший брат царя Клеоменеса, который в то время плыл по Тарентумскому заливу с группой колонистов, намереваясь основать поселение в Сицилии. Произошло кровопролитное сражение, в котором сибариты потерпели полное поражение с огромным количеством жертв, а победители, свирепые и не дающие покоя, продолжили преследование с такой силой, что взяли город, рассеяли его жителей и сокрушили всю его мощь [755] в течение семидесяти дней. Сибариты бежали большей частью в Лаос и Скидрос, [756] их поселения расположились на побережье Средиземного моря, по ту сторону Калабрийского полуострова. Кротониаты так стремились сделать Сибарис непригодным для жизни, что повернули русло реки Кратис так, чтобы захлестнуть и уничтожить его: сухое русло, по которому первоначально протекала река, все еще было видно во времена Геродота, [757] который был среди поселенцев в основанном впоследствии городе Фурии, расположенном почти рядом с ним.

Однако, судя по всему, Кротониаты долгое время держали Сибарис в запустении, отказываясь даже распределять территорию между своими гражданами: именно из этих обстоятельств, как уже было замечено, и возникло волнение против пифагорейского ордена. Возможно, они боялись названия и воспоминаний о городе, в котором никогда не было ни одного крупного или постоянного поселения, пока Афины не основали Фурии примерно через шестьдесят пять лет после этого. Тем не менее, имя сибаритов не исчезло. Сохранив свои позиции на Лаосе, Скидросе и в других местах, они впоследствии стали привилегированными старожилами среди колонистов Фурий; однако они плохо вели себя в этом качестве и в большинстве случаев были либо убиты, либо изгнаны. Однако даже после этого имя Сибариса все еще сохранялось в уменьшенном масштабе на некоторой части территории. Геродот рассказывает о том, что ему говорили сибариты, а последующие упоминания о них мы находим даже у Феокрита.

Завоевание и разрушение первоначального Сибариса - возможно, в 510 году до н. э. величайшего из всех греческих городов - похоже, вызвало сильное сочувствие в эллинском мире. Особенно в Милете, с которым он поддерживал тесный союз, горе было настолько сильным, что все милезийцы обрили головы в знак траура. [758] Это событие произошло как раз во время изгнания Гиппия из Афин и должно было произвести ощутимый переворот в отношениях греческих городов на италийском побережье с деревенским населением внутренних районов. Кротониаты могли разрушить Сибарис и рассеять его жителей, но они не могли преуспеть в его широком господстве над зависимой территорией; и исчезновение этой великой совокупной силы, простиравшейся по полуострову от моря до моря, уменьшило средства сопротивления осканским движениям из внутренних районов. С этого времени города Магна-Греции, как и Ионии, приходят в упадок, а Афины, напротив, становятся все более заметными и могущественными. При вторжении в Грецию Ксеркса, через тридцать лет после завоевания Сибариса, Спарта и Афины посылают просить помощи у Сицилии и Коркиры, но не у Магна-Греции.

К большому сожалению, мы не располагаем более полной информацией об этих важных изменениях в греко-итальянских городах, но мы можем отметить, что даже Геродот, который сам был гражданином Фурий и жил на этом месте не более восьмидесяти лет спустя после взятия Сибариса, очевидно, не нашел никаких письменных памятников, с которыми можно было бы ознакомиться, а из устных разговоров смог получить лишь скудные и противоречивые сведения. Например, такое существенное обстоятельство, как помощь, оказанная спартанцем Дорием и его колонистами, хотя и утверждалось сибаритами, столь же решительно отрицалось кротониатами, которые утверждали, что завоевание было совершено ими самими и без посторонней помощи. Можно не сомневаться, что утвердительные показания сибаритов, которые показали Геродоту храм и участок, возведенные спартанским принцем в подтверждение его участия в победе на берегу сухого, пустынного канала, из которого вышли кратисы, и в честь кратианского Афонка[759], сами по себе являются достаточным для дела доказательством в сочетании с положительными утверждениями сибаритов. Но они привели еще один косвенный аргумент в его подтверждение, который заслуживает внимания. Дорией напал на Сибарис, когда проезжал вдоль побережья Италии, чтобы основать колонию в Сицилии по прямому поручению и с поддержкой оракула; задержавшись на некоторое время в Сибарисе, он продолжил свой путь на юг - западную часть Сицилии, где он и почти все его спутники погибли в битве с карфагенянами и эгестейцами, - хотя оракул обещал ему, что он должен приобрести и навсегда занять соседнюю территорию у горы Эрикс. Теперь сибариты извлекли из этой роковой катастрофы Дориея и его экспедиции, в сочетании с благоприятным обещанием оракула, уверенное доказательство правильности их собственного утверждения, что он сражался в Сибарисе. Ведь если бы он отправился прямо на территорию, указанную оракулом, утверждали они, не отклоняясь ни на какую другую цель, то пророчество, на котором основывались его надежды, несомненно, сбылось бы, и он добился бы успеха; но гибельное разочарование, постигшее его на самом деле, сразу же объясняется и подтверждает истинность пророчества, если вспомнить, что он отклонился в сторону, чтобы помочь кротониатам против Сибариса, и тем самым свел на нет предписанные ему условия. На этом аргументе, по словам Геродота, особенно настаивали сибариты его времени.[760] И хотя мы отмечаем их благочестивую и буквальную веру в сообщения вдохновенного пророка, мы должны в то же время заметить, как прекрасно эта вера заменяла исторические предпосылки, - как скуден был их запас таких законных свидетельств, и как мало они еще научились ценить их ценность.

Следует отметить, что Геродот в своем кратком упоминании о роковой войне между Сибарисом и Кротонем не делает ни малейшего намека на Пифагора или его братство. Наименьшее, что мы можем заключить из такого молчания, это то, что роль, которую они сыграли в войне, и их общее превосходство в Magna Græcia, в действительности были менее заметными и главенствующими, чем об этом пишут пифагорейские историки. Однако даже с учетом этого отсутствие у Геродота каких-либо упоминаний о волнениях, сопровождавших низвержение пифагорейцев, является удивительным обстоятельством. Я также не могу обойти вниманием недоуменное заявление Полибия, которое, как кажется, показывает, что он тоже, должно быть, представлял историю Сибариса не так, как ее обычно представляют. Он рассказывает нам, что после долгих страданий в Магна-Греции от бед, последовавших за изгнанием пифагорейцев, города при посредничестве ахейцев пришли к соглашению и даже создали нечто вроде постоянной лиги с общим храмом и жертвоприношениями. Три города, которые он называет первыми: Кротон, Сибарис и Каулония.[761] Но согласно последовательности событий и только что описанной роковой войне между Кротонем и Сибарисом, последний город должен был в то время лежать в руинах; он был мало заселен, если вообще заселен. Из этого заявления Полибия я не могу не сделать вывод, что он

следовал различным авторитетам в отношении ранней истории Магна-Греции в начале пятого века до нашей эры.

Действительно, ранняя история этих городов дает нам не более чем несколько отдельных фактов и имен. Что касается их законодателей, Залеука и Харондаса, то о них ничего не известно, кроме их существования, - и даже этот факт некоторые античные критики оспаривали. О Залеуке, которого хронологи относят к 664 году до н. э., я уже говорил; дата его правления - 664 год до н. э., я уже говорил; дату Харондаса установить невозможно, но можно предположить, что это было в период между 600-500 гг. до н. э. Он был гражданином среднего положения, родившимся в халкидской колонии Катана на Сицилии,^[762] и составил законы не только для своего города, но и для других халкидских городов на Сицилии и в Италии - Леонтины, Наксоса, Занкла и Регия. Законы и торжественная преамбула, приписываемые ему Диодором и Стобеусом, относятся к более позднему времени,^[763] и мы вынуждены довольствоваться краткими намеками Аристотеля, который говорит нам, что законы Харондаса доходили до большой мелочности в различиях и деталях, особенно в градации штрафов за преступления в зависимости от имущества виновного, на которого налагается штраф^[764], но в его законах не было ничего строго оригинального и особенного, кроме того, что он первым ввел торжественное обвинение против лжесвидетелей перед правосудием. Лжесвидетель, по греческим представлениям, рассматривался как совершивший преступление наполовину религиозное, наполовину гражданское; и предъявляемое ему обвинение, известное под особым названием, носило оба характера, приближаясь в некоторых отношениях к процедуре против убийцы. Такая отдельная форма обвинения против лжесвидетельства с соответствующим названием,^[765] которую мы обнаружим в Афинах на протяжении всех самых известных дней аттического права, была впервые принята Харондасом.

ССЫЛКИ

[1] Herodot. i, 196; Skylax, с. 19-27; Appian. Иллирик. с. 2, 4, 8.

География стран, занятых в древности иллирийцами, македонцами, пеонцами, фракийцами и т. д., а ныне населенных разнообразными расами, среди которых турки и албанцы сохраняют первобытное варварство без смягчения, все еще очень плохо изучена; хотя исследования полковника Лика, Буэ, Гризебаха и других (особенно ценные путешествия последнего) в последнее время пролили на нее много света. Насколько расширились наши знания в этом направлении, можно увидеть, сравнив карту, приложенную к "Географии" Маннерта или к диссертации О. Но крайний недостаток карт, даже в том виде, в каком они существуют в настоящее время, был решительно отмечен самим Буэ (см. его "Критику карт Турции" в четвертом томе его "Путешествия"), - Полем Йозефом Шафариком, ученым историком славянской расы, в предисловии, приложенном им к книге д-ра Йозефа Мюллера "Топография Турции". Топографический очерк Албании Иосифа Мюллера, - и Гризебахом, который в своих съемках, сделанных с вершин гор Перистерии и Любатрин, обнаружил, что карта на каждом шагу расходится с теми ориентирами, которые представлялись его глазу. Только после Буэ и Гризебаха была полностью отвергнута идея, заимствованная первоначально у Страбона, о прямой линии гор (εὐθεία γραμμή, Strabo, lib. vii, Fragm. 3), проходящей от Адриатики до Эвксинского моря и отсылающей другие боковые цепи в направлении почти на юг. Горы Турции в Европе, если их исследовать с помощью

геологической науки, которую привнесли в эту задачу М. Викеснелъ (соратник Буэ) и д-р Грисбах, оказываются принадлежащими к совершенно разным системам и свидетельствуют об условиях формирования, часто совершенно независимых друг от друга.

Тринадцатая глава "Путешествий" Гризебаха представляет собой лучший отчет о цепи Скардус и Пинд: он первым ясно доказал, что Любатрин, который непосредственно нависает над равниной Коссово на южной границе Сербии и Боснии, является северо-восточной оконечностью цепи гор, простирающейся на юг до границ Этолии в направлении, не очень широком от северного к югу, - с единственным перерывом (впервые показанным полковником Ликом) Клиссурой Девола, - полный разрыв, где река Девол, поднимающаяся с восточной стороны, пересекает цепь и соединяется с Апуссом, или Бератино, на западе, - (примечательно, что как на карте Буэ, так и на карте, приложенной к Др. Джозефа Мюллера "Топографическое описание Албании", река Девол соединяется с Генуссом, или Скоуми, значительно севернее Апусса, хотя карта полковника Лика дает правильное направление). В номенклатуре Гризебаха Скардус простирается от Любатрина, как его северо-восточной оконечности, на юго-запад и на юг до Клиссуры в Деволе: к югу от этого пункта начинается Пинд, в продолжении, однако, той же оси.

В отношении мест проживания древних иллирийцев и македонцев Гризебах сделал еще одно важное наблюдение (т. ii, с. 121). Между северо-восточной оконечностью горы Любатрин и Клиссурой Девола в могучей и непрерывной цепи Скардуса (высотой более семи тысяч футов) есть только два прохода, пригодных для перехода армии: один у северной оконечности цепи, через который переправился сам Гризебах, от Калкандела до Присдрена, очень высокий, не менее пяти тысяч футов над уровнем моря; другой, значительно южнее, и ниже, и легче, почти на широте Лихнида, или Охриды. Именно через этот последний перевал проходила римская Виа Эгнатия, а также современная дорога из Скутари и Дураццо в Битолию. За исключением этих двух частичных понижений, длинный горный хребет остается неизменным по высоте, допуская, правда, тропы, по которым может пройти небольшая компания путешественников или албанских разбойников из Дибрена (есть такая тропа, соединяющая Стругу с Уескиубом, о которой упоминает доктор Йозеф Мюллер, стр. 70, и некоторые другие - Буэ, т. iv, стр. 546), но нигде не допуская прохода армии.

Поэтому, чтобы напасть на македонцев, иллирийская армия должна была пройти через один или другой из этих перевалов, или же обойти северо-восточный перевал Катшаник, за оконечностью Любатрина. И мы увидим, что на самом деле военные действия, зафиксированные между двумя народами, обычно происходят в одном или другом из этих направлений. Военные действия Брасида (Thucyd. iv, 124), Филиппа, сына Аминта, царя Македонии (Diodor. xvi, 8), Александра Великого в первый год его правления (Arrian, i, 5), все приводят нас к перевалу около Лихнида (сравните Livy, xxxii, 9; Plutarch, Flaminin. c. 4); в то время как иллирийские дарданы и аутиаты граничат с Пеонией, к северу от Пелагонии, и угрожают Македонии с северо-востока от горной цепи Скарда. Аутариатæ недалеко ушли от пеонийских агриан, которые жили у истоков Стримона, и как Аутариатæ, так и Дардани угрожали возвращению Александра с Дуная в Македонию после его успешной кампании против гетов, расположенных ниже по течению этой великой реки (Arrian, i, 5). Не имея возможности определить точную линию похода Александра по этому случаю, мы можем предположить, что эти два иллирийских племени должны были напасть на него из Верхней Мизии и с восточной стороны Аксия. Это, а также тот факт, что дарданы были непосредственными соседями пеонийцев, показывает нам, что их местонахождение не могло быть далеко от Верхней Мёзии (Livy, xlv, 29): fauces Pelagoniæ (Livy, xxxi, 34) - это проход, через который они вошли в Македонию с севера. Птолемей даже помещает

дарданов в Скопий (Уескиуб) (iii, 9); его сведения об этих странах, кажется, лучше, чем у Страбона.

[2] Hekataei Fragm. ed. Klausen, Fr. 66-70; Thucyd. i, 26.

Скилакс помещает Энхелеи к северу от Эпидамна и Таулантии. Можно отметить, что Гекатей, по-видимому, сообщил много сведений об Адриатике: он заметил город Адрия на оконечности залива, а также плодородие и изобилие территории вокруг него (Fr. 58: ср. Skymnus Chius, 384).

[3] Livy, xliii, 9-18. Маннерт (Geograph. der Griech. und Römer, part vii, ch. 9, p. 386, seq.) собирает эти сведения и показывает, как мало можно выяснить о местонахождении этих иллирийских племен.

[4] Strabo, iv, p. 206.

[5] Strabo, vii, p. 315; Arrian, i, 5, 4-11. В области, называемой Верхней Албанией, территория настолько труднодоступна, а средства жителей настолько ограничены, что большинство проживающих там племен даже сейчас считаются свободными и не платят дани турецкому правительству: паши не могут вымогать ее без больших затрат и трудностей, чем сумма, которую можно получить в качестве компенсации. То же самое происходило в Эпире, или Нижней Албании, до времен Али Пачи: в Средней Албании страна не представляет таких трудностей, и подобные исключения не допускаются (Boué, Voyage en Turquie, vol. iii, p. 192). Эти свободные албанские племена находятся в таком же положении по отношению к султану, как мисийцы и писидийцы в Малой Азии по отношению к персидскому царю в древние времена (Ксенофонт, Anab. iii, 2, 23).

[6] Diodor. xv, 13; Polyb. ii, 4.

[7] См. описание в Thucydidês (iv, 124-128); особенно увещевание, которое он вкладывает в уста Брасидаса, -αὐτοκράτωρ μάχη, противопоставленное упорядоченному строю греков.

"Illyriorum velocitas ad excursiones et impetus subitos".

(Livy, xxxi, 35.)

[8] См. Pouqueville, Voyage en Grèce, vol. i, chs. 23 and 24; Grisebach, Reise durch Rumelien und nach Brussa, vol. ii, pp. 138-139; Boué, La Turquie en Europe, Géographie Générale, vol. i, pp. 60-65.

[9] Skymnus Chius, v, 418-425.

[10] Фукидид упоминает ὕφαντὰ τε καὶ λεῖα, καὶ ἡ ἄλλη κατασκευὴ, которые греческие поселения на фракийском побережье отправили царю Сеутесу (ii, 98): подобно ὕφασμαθ' ἱερὰ, и χεριαρᾶν τεκτόνων δαίδαλα, подносимых в качестве даров дельфийскому богу (Eurip. Ion. 1141; Pindar, Pyth. v, 46).

[11] Strabo, vii, p. 317; Appian, Illyric. 17; Aristot. Mirab. Ausc. c. 138. О чрезвычайной важности торговли солью как связующего звена см. постановления римлян, когда они разделили Македонию на четыре провинции с явным намерением прервать всякую связь между одной и другой. Между ними были запрещены все *коммерции* и *связи*: Четвертая область, столицей которой была Пелагония (и которая включала всю первобытную или Верхнюю Македонию к востоку от хребта Пинд и Скарда), была полностью внутренней, и ей было прямо запрещено брать соль из третьей области, или страны между Аксием и Пенеем; с другой стороны,

иллирийские дарданы, расположенные к северу от Верхней Македонии, получили прямое разрешение брать свою соль из этой третьей или приморской области Македонии: Соль должна была доставляться из Термического залива по дороге Аксий в Стоби в Пеонии и продаваться там по установленной цене.

Внутренняя или четвертая область Македонии, включавшая современную Битолию и Касторийское озеро, могла легко получать свою соль из Адриатики по столь известному впоследствии римско-эгнатскому пути; но сообщение дарданов с Адриатикой проходило через страну с величайшими трудностями, и им, вероятно, было очень удобно получать свои запасы из Термского залива по дороге вдоль Вардара (Аксий) (Livy, xlv, 29). Сравните маршрут Грizeбаха из Салоники в Скутари в его "Путешествии по Румелии", т. II.

[12] О скоте в Иллирии, Аристотель, De Mirab. Ausc. с. 128. В Полибии есть замечательный отрывок, где он рассматривает ввоз рабов как необходимость для Греции (iv, 37). Покупка фракийских рабов в обмен на соль отмечена Менандром. -Θρᾶξ εὐγενὴς εἶ, πρὸς ἄλᾱς ἥγορασμένους: см. Proverb. Зеноб. ii, 12, и Диогениан, i, 100.

Такая же торговля велась в древности с народами на Кавказе и вблизи него, из морского порта Диоскуриас на восточной оконечности Эвксинского моря (Strabo, xi, p. 506). Эти племена так мало изменились, что черкесы и сейчас ведут практически ту же торговлю. Заявление доктора Кларка возвращает нас в древний мир: "Черкесы часто продают своих детей чужеземцам, особенно персам и туркам, а их князья поставляют турецким сералам самых красивых пленниц обоих полов, которых они берут на войне. В торговле с черноморскими казаками (к северу от реки Кубань) черкесы привозят значительное количество древесины и вкусный горный мед, зашитый в козьи шкуры, с шерстью снаружи. Эти товары они обменивают на соль, которая водится в соседних озерах и отличается превосходным качеством. Соль для черкесов дороже любого другого богатства, и она является самым приемлемым подарком, который можно им преподнести. Они ткнут коврики очень большой красоты, которые находят сбыт как в Турции, так и в России. Они также изобретательны в искусстве обработки серебра и других металлов, а также в изготовлении ружей, пистолетов и сабель. Некоторые из них, которые они предлагали нам на продажу, как мы подозревали, были приобретены в Турции в обмен на рабов. Их луки и стрелы сделаны с неподражаемым мастерством, а стрелы с железным наконечником и другими изысканными элементами, по мнению казаков и русских, наносят неизлечимые раны". (Clarke's Travels, vol. i, ch. xvi, p. 378).

[13] Theophrast. Hist. Plant. iv, 5, 2; ix, 7, 4: Pliny. H. N. xiii, 2; xxi, 19: Strabo, vii, p. 326. Монеты Эпидамна и Аполлонии находят не только в Македонии, но и во Фракии и в Италии: торговля этих двух городов, вероятно, простиралась от моря до моря, еще до строительства Эгнатского пути; надпись 2056 в корпусе Боэция провозглашает благодарность Одекса (Барны) на Эвксинском море гражданину Эпидамна (Barth, Corinthiorum Mercatur. Hist. p. 49; Aristot. Mirab. Auscult. с. 104).

[14] Herodot. v, 61; viii, 137: Strabo, vii, p. 326. Скилакс помещает λίθοι Кадмуса и Гармонии среди иллирийских Маний, к северу от Энхелея (Diodor. xix, 53; Pausan. ix, 5, 3).

[15] Herodot. v, 22.

[16] Aristot. Polit. vii, 2, 6. То, что македонцы были в основном деревенскими жителями, следует из Thucyd. ii, 100, iv, 124, хотя это не исключает *некоторых* городов.

[17] Boué, Voyage en Turquie, vol. i, p. 199: "Un bon nombre de cols dirigés du nord au sud, comme pour inviter les habitans de passer d'une de ces provinces dans l'autre."

[18] Об общем физическом характере региона к востоку и западу от Скарда, продолженного Пиндом, см. вышеупомянутую ценную хартию путешествий Гризебаха (Reisen, vol. ii. ch. xiii, pp. 125-130; с. xiv, p. 175; с. xvi, pp. 214-216; с. xvii, pp. 244-245).

Что касается равнин, входящих в древнюю Пелагонию, см. также дневник младшего Пукевиля, когда он двигался из Травника в Боснии в Янину. В двухдневном марше от Прелепе (Прилипа) через Битолию до Флорины он замечает: "На этом пути мы встречаем роскошные равнины, покрытые лунными цветами, обширные прерии, покрытые трефой, плато, покрытые пастухами, на которых растут невероятные трупы из овощей, шевров и белых грибов. Le blé, le maïs, et les autres grains sont toujours à très basx, à cause de la difficulté des débouchés, d'où l'on exporte une grande quantité de laines, de cotons, de peaux d'agneaux, de buffles, et de chevaux, qui passent par le moyen des caravanes en Hongrie." (Pouqueville, Voyage dans la Grèce, tom. ii, ch. 62, p. 495.)

Опять же, М. Буэ замечает по поводу этой же равнины в своей "Критике турецких карт", "Путешествие", т. iv, с. 483: "La plaine immense de Prilip, de Bitolia, et de Florina, n'est pas représentée (sur les cartes) de manière à ce qu'on ait une idée de son étendue, et surtout de sa largeur..... La plaine de Sarigoul est changée en vallée" и т.д. Бассейн Халиакмона, как он отмечает, представлен на картах столь же несовершенно: сравните также его "Путешествие", i, стр. 211, 299, 300.

Я обращаю внимание на большую долю плодородных равнин и долин в древней Македонии, потому что она часто представляется (и даже О. Мюллером в его "Диссертации о древних македонцах", приложенной к "Истории дорийцев") как холодную и суровую землю, в соответствии с утверждением Ливия (xlv, 29), который говорит о четвертой области Македонии, распределенной римлянами: "Frigida hæc omnis, duraque cultu, et aspera plaga est: cultorum quoque ingenia terræ similia habet: ferociores eos et accolæ barbari faciunt, nunc bello exercentes, nunc in pace miscentes ritus suos."

Это, вероятно, относится к горцам, включенным в этот регион, но слишком обобщенно.

[19] Polyb. xxviii, 8, 9. Это самое четкое свидетельство, которым мы располагаем, и оно, как мне кажется, противоречит мнению Маннерта (Geogr. der Gr. und Röm. vol. vii, p. 492) и О. Мюллера (On the Macedonians, sects. 28-36), что коренные македонцы были иллирийского происхождения.

[20] Македонская военная структура, кажется, была очень похожа на фессалийскую, - всадники хорошо одеты и вооружены, и поддерживают хороший порядок (Thucyd. ii, 101): об их пехоте, до времени Филиппа, сына Аминта, мы мало что слышим.

"Macedoniam, quæ tantis barbarorum gentibus attingitur, ut semper Macedonicis imperatoribus iidem fines imperii fuerint qui gladiatorum atque pilorum." (Cicero, in Pison. c. xvi.)

[21] Strabo, lib. vii, Fragm. 20, ed. Tafel.

[22] Я следую Геродоту в изложении первоначальной серии обитателей Термического залива до македонских завоеваний. Фукидид вводит пеонийцев между боттиевцами и мигдонийцами: он говорит, что пеонийцы владели "узкой полосой земли на стороне Аксия, вплоть до Пеллы и моря" (ii, 96.) Если бы это было так, то почти не осталось бы места для боттиев, которых, тем не менее, Фукидид признает на побережье; ведь все пространство

между устьями двух рек, Аксия и Халиакмона, незначительно; Кроме того, я не могу не подозревать, что Фукидида заставили поверить, обнаружив в "Илиаде", что пеонийские союзники Трои пришли с Аксиуса, что в устье этой реки *должны были быть* старые пеонийские поселения, и что он выдвинул этот вывод, как если бы это был достоверный факт. Этот случай аналогичен тому, что он говорит о беотийцах в своем предисловии (на которое уже обратил внимание О. Мюллер); он утверждает, что эмиграция беотийцев в Беотию произошла после Троянской войны, но сохраняет историческую достоверность гомеровского каталога, добавляя, что в Беотии *до этого* была их *часть*, из которой и был сформирован контингент, отправившийся в Трою (ἄποβασιμός, Thucyd. i, 12).

Поэтому в данном случае, когда приходится выбирать между Геродотом и Фукидидом, я предпочитаю первого. О. Мюллер (О македонцах, раздел 11) вычеркнул бы из утверждения Фукидида только то, что положительно противоречит Геродоту, а остальное оставил бы; он считает, что пеонийцы спустились *очень близко* к устью реки, но *не совсем*. Признаюсь, это меня не удовлетворяет; тем более что отрывок из Ливия, которым он подкрепляет свою точку зрения, при ближайшем рассмотрении оказывается относящимся к Пелонии, расположенной высоко по течению Аксия, а не к предполагаемой части Пелонии вблизи устья (Livy, xlv, 29).

Опять же, я хотел бы отметить, что первоначальное место жительства пирийцев между Пенеем и Халиакмоном опирается главным образом на авторитет Фукидида: Геродот знает пирийцев в их местах между горой Пангеей и морем, но он не дает никаких намеков на то, что они раньше жили к югу от Халиакмона; область между Халиакмоном и Пенеем он представляет как Нижнюю Македонию, или Македонию, доходящую до границ Фессалии (vii, 127-173). Я делаю это замечание в связи с сектами. 7-17 "Диссертации" О. Мюллера, где концепция Геродота представляется неверно воспринятой, и на ней основаны некоторые ошибочные выводы. В то, что этот трактат был оригиналом Пиерия, есть достаточно оснований верить (сравните Страбона, vii, Frag. 22, с примечанием Тафеля, и ix, p. 410; Ливий, xlv, 9); но Геродот отмечает его только как Македонию.

[23] Skylax, c. 67. Завоевания Филиппа расширили границу за Стримомом до Неста (Страбон, lib. vii, Fragm. 33, ed. Tafel).

[24] См. этот контраст, отмеченный Грисбахом, особенно в отношении широкой, но бесплодной области, называемой равниной Мустафы, расположенной на небольшом расстоянии от левого берега Аксия (Grisebach, Reisen, v, ii, p. 225; Boué, Voyage, vol. i, p. 168).

Описание берегов Аксиуса (Вардара) и Стримона см. в Boué, Voyage en Turquie, vol. i, pp. 196-199. "La plaine ovale de Seres est un des diamans de la couronne de Byzance" и т. д. Он отмечает, насколько неверно изображено русло Стримона на картах (т. iv, с. 482).

[25] Выражение Страбона или его Эпитоматора -τὴν Παιονίαν μέχρι Πελαγονίας καὶ Πιερίας ἐκτετάσθαι, - кажется довольно точным, хотя Тафель находит в нем затруднение. См. его заметку о ватиканских фрагментах седьмой книги Страбона, фр. 37. Фрагмент 40 выражен гораздо свободнее. Сравните Herodot. v, 13-16, vii, 124; Thucyd. ii, 96; Diodor. xx, 19.

[26] Herodot. viii, 137-138.

[27] Herodot. v, 22. Argeadæ, Strabo, lib. vii, Fragm. 20, ed. Tafel, который, возможно, был ошибочно заменен на Ægeadæ (Юстин, vii, 1).

[28] Thucyd. iii, 7; Herodot. vi, 34-37: сравните историю Залмоксиса у фракийцев (iv, 94).

[29] Strabo, vii, p. 326.

[30] Herodot. viii, 139. Фукидид соглашается с числом царей, но не называет их имен (ii, 100).

О расхождении в списках ранних македонских царей см. в "Fasti Hellenici" г-на Клинтона, т. ii, с. 221.

[31] Это можно понять, как мне кажется, из Herodot. vii, 73 и viii, 138. Предполагаемое переселение бригов в Азию и изменение их имени на фригов - это утверждение, которое я не рискну повторять как достоверное.

[32] Herodot. vii, 123. Геродот признает боттизев между Аксием и Халиакмоном, а также боттизев в Олинфе, которых македонцы изгнали из Термического залива, в то время, когда Ксеркс перешел его (viii, 127). Эти два утверждения кажутся мне совместимыми, и оба они приемлемы: бывшие боттийцы были изгнаны македонцами впоследствии, до Пелопоннесской войны.

Мой взгляд на эти факты, таким образом, несколько отличается от взгляда О. Мюллера (Македонцы, раздел 16).

[33] Herodot. i, 59, v, 94; viii, 136.

[34] Маннерт сравнивает цивилизацию фракийцев с цивилизацией галлов, когда Юлий Цезарь вторгся к ним, - большая несправедливость по отношению к последним, по моему мнению (Geograph. Gr. und Röm. vol. vii, p. 23).

[35] Cicero, De Officiis, ii, 7. "Barbarum compunctum notis Threiciis". Плутарх (De Serâ Numin. Vindict. с. 13, p. 558) говорит, будто во Фракии татуировки были только у женщин: он дает этому необычное толкование, как постоянному наказанию пола за убийство Орфея.

[36] О фракийцах вообще см. Herodot. v, 3-9, vii, 110, viii, 116, ix, 119; Thucyd. ii, 100, vii, 29-30; Xenophon, Anab. vii, 2, 38, и вообще седьмую книгу Анабасиса, где описываются отношения Ксенофонта и десяти тысяч греков с фракийским князем Сеутесом.

[37] Xenoph. Anab. vi, 2, 17; Herodot. vii, 75.

[38] Tacit. Annal. ii, 66; iv, 46.

[39] Plutarch, Quæst. Græc. p. 293.

[40] Skylax, с. 67.

[41] Описание Халкидики см. в Grisebach's Reisen, vol. ii, ch. 10, pp. 6-16, и Leake, Travels in Northern Greece, vol. iii, ch. 24, p. 152.

Если мы внимательно прочитаем описание Халкидики, данное Скилаксом (с. 67), то увидим, что он не считал ее трехконечной, а заканчивающейся только полуостровом Паллен, с Потидеей на перешейке.

[42] Herodot. vii, 123; Skymnus Chius, v, 627.

[43] Strabo, x, p. 447; Thucyd. iv, 120-123; Pompon. Mela, ii, 2; Herodot. vii, 123.

[44] Herodot. vii, 122; viii, 127. Stephanus Byz. (v. Παλλήνη) дает нам некоторое представление о мифах утраченных греческих писателей, Гегезиппа и Теагенеса о Палленке.

[45] Thucyd. iv, 84, 103, 109. См. "Fasti Hellenici" г-на Клинтона, ad ann. 654 ДО Н. Э.

[46] Solinus, x, 10.

[47] Herodot. i, 168; vii, 58-59, 109; Skymnus Chius, v, 675.

[48] Thucyd. i, 100, iv, 102; Herodot. v, 11. Большое количество кукурузы в настоящее время экспортируется с этой территории в Константинополь (Leake, North. Gr. vol. iii, ch. 25, p. 172).

[49] Herodot. vii, 108-109; Thucyd. i, 101.

[50]

... ἤδε δ' ὥστ' ὄνου ῥαχίς

Ἔστηκεν, ὕλης ἀγρίας ἐπιστεφής.

Архилох. Фрагм. 17-18, ed. Schneidewin.

Поразительную правильность этого описания, даже по прошествии двух тысяч пятисот лет, можно увидеть в Путешествиях Гризебаха, т. i. гл. 7, стр. 210-218, и в Prokesch, *Denkwürdigkeiten des Orients*, Th. 3, p. 612. Вид на Тасус с моря оправдывает название Ἡερίη (Ænomaus ap. Euseb. Præpar. Evang. vii, p. 256; Steph. Byz. Θάσσος).

В Тасусе (ныне Тассо) в настоящее время проживает около шести тысяч греков, рассеянных по двенадцати небольшим деревням; он экспортирует неплохую корабельную древесину, главным образом пихту, которой на острове в избытке, а также оливковое масло и воск; но он не может выращивать кукурузу, достаточную даже для такого небольшого населения. Шахты не работают ни сейчас, ни в течение долгого времени.

[51] Archiloch. Fragm. 5, ed. Schneidewin; Aristophan. Pac. 1298, со схолиями; Страбон, x, p. 487, xii, p. 549; Thucyd. iv, 104.

[52] Skymnus Chius, 699-715; Plutarch, Quæst. Græc. c. 57. См. M. Raoul Rochette, *Histoire des Colonies Grecques* chs. xi-xiv, vol. iii, pp. 273-298.

[53] Aristot. Polit. iv, 4, l.

[54] Polyb. iv, 39, Phylarch. Fragm. 10, ed. Didot.

[55] Skymnus Chius, 720-740; Herodot. ii, 33, vi, 33; Strabo, vii, p. 319; Skylax, c. 68; Mannert, *Geograph. Gr. Röm.* vol. vii, ch. 8, pp. 126-140.

Надпись в коллекции Бозция доказывает существование пентаполиса, или союза, пяти греческих городов на этом побережье. Томи, Каллатис, Месамбрия и Аполлония, как полагает Бларамберг, входили в этот союз. См. инскрипт. No. 2056 с.

Синцелл, однако (стр. 213), помещает основание Истрии значительно раньше, в 651 г. до н. э.

[56] Herodot. viii, 90.

[57] См. обсуждение эпохи Кирена в Thrige, *Historia Cyrênês*, chs. 22, 23, 24, где различные утверждения замечены и сопоставлены.

[58] Schol. ad Pindar. Pyth. iv.

[59] Herodot. iv, 150-154.

[60] Herodot. iv, 155.

[61] Herodot. iv, 158. ἐνθαῦτα γὰρ ὁ οὐρανὸς τέτρηται. Сравните шутку, приписываемую византийским посланникам по случаю хвастовства Лисимаха (Плутарх, De Fortunâ Alexandr. Magn. с. 3, р. 338).

[62] Herodot. iv, 198.

[63] См. о производительных силах Кирены и ее окрестностей: Herodot. iv, 199; Kallimachus (сам киринеянин), Hymn. ad Apoll. 65, с примечанием Спанхейма; Пиндар, Pyth. iv, с *примечаниями* Схолии; Диодор. iii, 49; Арриан, Indica, xliii, 13. Страбон (xvii, р. 837) видел Кирену с моря, проплывая мимо, и был поражен ее видом: судя по всему, он не высаживался на берег.

Результаты современных наблюдений в этой стране приведены в Viaggio Делла Селлы и в исследовательской экспедиции капитана Бичи; см. интересное резюме в "Истории Барбарийских государств" д-ра Рассела (Эдинбург, 1835), гл. v, с. 160-171. Глава на эту тему (с. 6) в "Истории Киренаиды" Триге неполноценна, поскольку автор, похоже, никогда не видел тщательных и ценных наблюдений капитана Бичи и опирается в основном на утверждения Делла Селлы.

Я кратко останавлиюсь на некоторых из многих интересных замечаний капитана Бичи. О месте расположения древнего города Гесперид (Бенгази) и "прекрасной плодородной равнины возле него, простирающейся до подножия длинной цепи гор, удаленных на четырнадцать миль к юго-востоку" - см. Veitchey, Expedition, ch. xi, pp. 287-315; "множество финиковых пальм в окрестностях" (ch. xii, pp. 340-345).

Расстояние между Бенгази (Гесперидами) и Птолеметой (Птолемаисом, портом Барка) составляет пятьдесят семь географических миль, по плодородной и красивой равнине, простирающейся от гор до моря. Между ними находилась древняя Теухейра (ib. ch. xii, p. 347), примерно в тридцати восьми милях от Гесперид (p. 349), в стране, весьма плодородной везде, где она возделывается (pp. 350-355). В окрестностях заброшенного Птолемета, или Птолемаиса, после зимних дождей наблюдается буйная растительность (с. 364). Окружность Птолемаиса, измеренная по развалинам его стен, составляла около трех с половиной английских миль (с. 380).

Дорога из Барки в Кирену сохранила следы древних колесниц (гл. xiv, с. 406); после прохождения равнины Мерга она становится холмистой и лесистой, "но по приближении к Гренне (Кирене) она становится более чистой от леса; долины дают прекрасный урожай ячменя, а холмы - отличный выпас для скота" (с. 409.) Роскошная растительность после зимних дождей в окрестностях Кирена (гл. xv, с. 465).

[64] Theophrast. Hist. Pl. vi, 3, 3; ix, 1, 7; Skylax, с. 107.

[65] Isokratês, Or. v, ad Philipp. p. 84, (p. 107, ed. Bek.) Thêra была колонией Lacedæmon, а Kyrênê из Thêra, Isokratês говорит о Kyrênê как о колонии Lacedæmon.

[66] Pindar, Pyth. iv, 26. Κυρήνην-ἄστέων ῥίζαν. Во времена Геродота об этих трех городах, возможно, говорили как о Триполисе; но никто до Александра Македонского не понимал выражения "Пентаполис", которое использовалось римлянами для обозначения Кирены, Аполлонии, Птолемаиса, Теухейры и Береники, или Геспериды.

Птолемаис, первоначально бывший портом Барки, стал самостоятельным и более важным, чем последняя.

[67] Сведения об озере, называемом в древности Тритонисом, однако, весьма неопределенны: см. Dr. Shaw's Travels in Barbary, p. 127. Страбон упоминает озеро с таким названием вблизи Гесперид (xvii, p. 836); Ферекидес говорит о нем как о близком к Ирасу (Pherekyd. Fragm. 33 d. ed. Didot).

[68] Эратосфенес, родившийся в Кирене и проживавший в Александрии, оценивал путь по суше между этими двумя городами в пятьсот двадцать пять римских миль (Плиний, Н. N. v, 6).

[69] Саллюст, Bell. Jugurth. c. 75; Valerius Maximus, v, 6. Триге (Histor. Cyr. c. 49) относит это разделение Сиртиса между Киреной и Карфагеном к какому-то периоду между 400-330 гг. до н. э., до потери независимости Кирены; но я не могу думать, что это было раньше Птолемея: сравните Страбона, xvii, p. 836.

[70] Карфагенское поселение Неаполис упоминается Скилаксом (с. 109), а Страбон утверждает, что Лептис был другим названием того же места (xvii, p. 835).

[71] Skylax, c. 107; Vopiscus, Vit. Prob. c. 9; Strabo, xvii, p. 838; Pliny, Н. N. v, 5. От ливийского племени Marmaridæ произошло название Marmarika, применяемое к этой области.

[72] ταπεινὴ τε καὶ ψαρμῳδὴς (Herodot. iv, 191); Sallust, Bell. Jugurthin. c. 17.

Капитан Бичи указывает на ошибочные представления, которые сложились об этом регионе: - "Это не только в работах, но и в том, что касается "Адама".

"Не только в работах ранних писателей мы находим неверное понимание природы Сиртиса; все пространство между Месуратой (*т.е.* мысом, который образует западную оконечность Великого Сиртиса) и Александрией описано Львом Африканским под названием Барка как дикая и пустынная страна, где нет ни воды, ни земли, пригодной для возделывания. Он рассказывает, что самые могущественные из магометанских захватчиков завладели плодородными частями побережья, оставив остальным лишь пустыню для проживания, подвергаясь всем бедам и лишениям, связанным с этим; ведь эта пустыня (продолжает он) находится вдали от всякого жилья, и там ничего не производится. Поэтому, если эти бедняки хотят иметь запас зерна или других необходимых для существования вещей, они вынуждены отдавать своих детей в залог сицилийцам, посещающим побережье; которые, снабжая их этими вещами, уносят детей, которых они получили.....

"Похоже, что современные историки черпают свое представление о том, что они называют районом и пустыней Барка, в основном у Льва Африканского. Однако вся Киренаика заключена в тех пределах, которые они ей отводят; и авторитета Геродота, без ссылки на какой-либо другой, будет вполне достаточно, чтобы доказать, что этот участок страны не только не был пустыней, но и во все времена отличался плодородием..... Впечатление, остающееся в нашем сознании после прочтения рассказа Геродота, будет гораздо более соответствовать внешнему виду и особенностям того и другого в их действительном состоянии, чем то, которое возникнет из описания любого последующего писателя..... Район Барки, включая всю страну между Месуратой и Александрией, не является и никогда не являлся таким бедным и бесплодным, как его представляют: та его часть, которая составляет Киренаику, способна к наивысшей степени культивации, а многие части Сиртиса обеспечивают превосходное пастбище, в то время как часть его не только приспособлена к культивации, но и действительно дает хорошие урожаи ячменя и дхурры." (Капитан Бичи,

Экспедиция на северное побережье Африки, гл. х, стр. 263, 265, 267, 269: сопр. гл. xi, стр. 321).

[73] Justin, xiii, 7. "Amœnitatem loci et fontium ubertatem". Капитан Бичи отмечает эту ежегодную миграцию арабов-бедуинов: - "Теухейра (на острове Теухейра).

"Теухейра (на побережье между Гесперидами и Баркой) изобилует колодцами с превосходной водой, которые арабы берегут для своего летнего потребления и прибегают к ним только тогда, когда истощаются запасы воды в глубине страны: в остальное время она необитаема. Многие из раскопанных гробниц используются арабами в качестве жилых домов во время их летних визитов в эту часть побережья". (Beechey, Exp. to North. Afric. ch. xii, p. 354.)

А что касается широкой горной равнины, или столовой земли Мерге, где находилась древняя Барка, то "вода с гор, окружающих равнину, оседает в бассейнах и озерах в разных частях этой просторной долины; и обеспечивает постоянный приток в летние месяцы для арабов, которые часто посещают ее". (Красная земля, которую капитан Бичи заметил на этой равнине, отмечена Геродотом в отношении Ливии (ii, 12). Стефан. Византия отмечает также кирпичи, используемые в строительстве (v. Βάρκη). Дерна, расположенная к востоку от Киринеи на морском побережье, также в изобилии снабжается водой (гл. xvi, с. 471).

О самом Кирене капитан Бичи пишет следующее: "За время нашего отсутствия в Кирене, которое длилось около двух недель, произошли заметные изменения в облике страны. По возвращении мы обнаружили, что холмы покрыты арабами, их верблюдами, отарами и стадами; нехватка воды во внутренних районах страны в это время загнала бедуинов в горы, в частности в Кирену, где источники в любое время дают обильный приток. Кукуруза была вся скошена, а высокая трава и пышная растительность, через которую нам было так трудно пробираться в прежние времена, была съедена скотом до корней". (гл. xviii, с. 517-520).

Зимние дожди также обильны, с января по март, в Бенгази (древние Геспериды): сладкие источники воды вблизи города (гл. xi, с. 282, 315, 327). О Птолемете, или Птолемаисе, порте древней Барки, ib. ch. xii, p. 363.

[74] Herodot. iv, 170-171. παραλία σφόδρα εὐδαίμων. Strabo, ii, p. 131. πολυμήλου καὶ πολυκαρποτάτας χθονὸς, Pindar. Pyth. ix, 7.

[75] Herodot. iv, 186, 187, 189, 190. Νομάδες κρεοφάγοι καὶ γαλακτοπόται. Пиндар, Pyth. ix, 127, ἵππευται Νομάδες. Помпон. Mela, i, 8.

[76] См. четвертую, пятую и девятую "Пифийские оды" Пиндара. В описании пифийских состязаний, данном Софоклесом (Electra, 695), в котором делается вид, что Орестес погиб, предполагается десять состязающихся колесниц, из которых две ливийские, из Барки: из остальных восьми только по одной из каждого названного места.

[77] Herodot. iv, 172-182. Сравните Hornemann's Travels in Africa, p. 48, и Heeren, Verkehr und Handel der Alten Welt, Th. ii, Abth. 1, Abschnitt vi, p. 226.

[78] Herodot. iv, 175-188.

[79] Herodot. iv, 178, 179, 195, 196.

[80] Herodot. iv, 42.

[81] Herodot. iv, 170. νόμους δὲ τοὺς πλείστους μιμέεσθαι ἐπιτηδεύουσι τοὺς Κυρηναίωv.

[82] Herodot. iv, 161. Θηραίων καὶ τῶν περιοίκων и т. д.

[83] Herodot. iv, 186-189. Сравните, также, историю в Pindar. Pyth. ix, 109-126, об Алексидаме, предке Телесикратеса Киренейского; о том, как первый завоевал своей быстротой в беге ливийскую деву, дочь Антея из Ирасы, - и Каллимах, Hymn. Apoll. 86.

[84] Herodot. iv, 155.

[85] Herodot. iv, 164.

[86] Относительно хронологии князей Баттиады см. Boeckh, ad Pindar. Pyth. iv, p. 265, и Thirge, Histor. Cyrenes, p. 127, seq.

[87] Herodot. iv, 159.

[88] Herodot. ii, 180-181.

[89] Herodot. iv, 160; Skylax, c. 107; Hekataëus, Fragm. 300, ed. Klausen.

[90] Herodot. iv, 204.

[91] Herodot. iv, 160. Плутарх (De Virtutibus Mulier. p. 261) и Полиэн (viii, 41) приводят различные подробности этой уловки Эриксо; Леарх был влюблен в нее. Плутарх также утверждает, что Леарх некоторое время оставался деспотом благодаря помощи египетских войск Амасиса и совершал большие жестокости. Его история слишком похожа на роман, чтобы переписывать ее в текст, и я не знаю, из каких источников она взята.

[92] Herodot. iv, 161. Τῷ βασιλεΐ Βάττῳ τεμένεα ἐξελὼν καὶ ἱρωσύνας, τὰ ἄλλα πάντα τὰ πρότερον εἶχον οἱ βασιλεῖς ἐς μέσον τῷ δήμῳ ἔθηκε.

Я понимаю слово τεμένεα как означающее все владения, несомненно большие, которые принадлежали князьям Баттиадов; вопреки Триге (Historia Cyrênês, ch. 38, p. 150), который ограничивает это выражение доходами, полученными от священного имущества. Ссылка Весселинга на Хесиха - Βάττου σίλφιον - бесполезна для иллюстрации этого отрывка.

Предположение О. Мюллера о том, что предыдущий царь сделал себя деспотом с помощью египетских солдат, не кажется мне ни вероятным само по себе, ни приемлемым на основании простого авторитета романтической истории Плутарха, если принять во внимание молчание Геродота. Мюллер также не прав, утверждая, что Демонекс "восстановил верховенство общины": этот законодатель отменил старые царские политические привилегии и разработал новую конституцию (см. O. Müller, History of Dorians, b. iii, ch. 9. s. 13.).

[93] И О. Мюллер (Dor. b. iii, 4, 5), и Триге (Hist. Cyren. c. 38, p. 148) говорят о Демонексе как об упразднившем старые племена и создавшем новые. Я не представляю себе изменения таким образом. Демонекс не упразднял никаких племен, но впервые распределил жителей по племенам. Возможно, что до него ферейцы Кирены были разделены между собой на отдельные племена; но остальные жители, эмигрировавшие из множества различных мест, никогда прежде не делились на племена. Для этого было необходимо какое-то официальное постановление, чтобы определить и утвердить религиозное, социальное и политическое единство, которое и составляло идею племени. Не следует считать само собой разумеющимся, что среди населения, столь разнородного по своему происхождению, обязательно должны были существовать племена до Демонакса.

[94] Hesychius, Τριακάτιοι; Eustath. ad Hom. Odys. p. 303; Herakleidês Pontic. De Polit. c. 4.

[95] Herodot. iv, 163. Ἐπὶ μὲν τέσσερας Βάττους, καὶ Ἀρκεσιλέως τέσσερας, διδοῖ ὑμῖν Λοξίης βασιλεύειν Κυρήνης- πλέον μέντοι τούτου οὐδὲ πειρᾶσθαι παραινέει.

[96] Herodot. iv, 163-164.

[97] Herodot. iii, 13; iv, 165-166.

[98] Полиэн (Strateg. vii, 28) дает рассказ, во многих отношениях отличающийся от рассказа Геродота.

[99] Herodot. iv, 203-204.

[100] Herodot. iv, 205.

[101] Thucyd. i, 15.

[102] Thucyd. i, 26. См. рассказ Павсания (v, 25, 1) о древнем хоре, ежегодно отправлявшемся из Мессены на Сицилию через пролив в Региум на местный праздник регийцев, - тридцать пять мальчиков с хормейстером и флейтистом: в один несчастный случай все они погибли при переправе. О Феории (или торжественной религиозной делегации), периодически посылаемой афинянами на Делос, см. Плутарх, Никий, с. 3; Платон, Федон, с. 1, с. 58. Сравните также Страбон, ix, p. 419, по общей теме.

[103] Гомер, Илиада, xi, 879, xxiii, 679; Гесиод, Опр. Di. 651.

[104] Гомер, Hymn. Apoll. 150; Thucyd. iii, 104.

[105] Pausan. v, 6, 5; Ælian, N. H. x, 1; Thucyd. iii, 104. Когда Эфес и праздник под названием Эфесия стали великим местом ионических собраний, присутствие женщин все еще продолжалось (Dionys. Hal. A. R. iv, 25).

[106] Strabo, viii, p. 353; Pindar, Olymp. viii, 2; Xenophon, Hellen. iv, 7, 2; iii, 2, 22.

[107] См. K. F. Hermann, Lehrbuch der Griechischen Staats-Alterthümer, sect. 10.

[108] Dionys. Halikarn. Ant. Rom. i, 71; Phlegon. De Olympiad. p. 140. Иллюстрацию того, как греки придавали значение чисто почетным наградам Олимпии, а также заслугам, которые они ставили перед собой как соперники не ради денег, а ради славы, см. в Herodot. viii, 26. Сравните схолии на Пиндара, Nem. и Isthm. Argument, pp. 425-514, ed. Boeckh.

[109] См. несколько пренебрежительное отношение Агесилая к гонкам на колесницах, описанным Ксенофонтom (Agesilaus, ix, 6); общее чувство Греции, однако, более соответствует тому, что Фукидид (vi, 16) вкладывает в уста Алкивиада, а Ксенофонт - в уста Симонида (Xenophon, Hiero, xi, 5). Большое уважение к семье, одержавшей победу на колесницах, подтверждается многочисленными свидетельствами: см. Herodot. vi, 35, 36, 103, 126, -οἰκίῃ τεθρίπποτρόφος, - и vi, 70, о Демарате, царе Спарты.

[110] Antholog. Palatin. ix, 588; vol. ii. p. 299, Jacobs.

[111] Первоначальное греческое слово для этого покрытия (которое окружало среднюю часть руки и верхнюю часть пальцев, оставляя кончики пальцев и большой палец открытыми) было ἱμάς, слово, обозначающее ремень, ремешок или плетъ из кожи: особое слово μύρμηξ, кажется, было введено позже (Hesychius, v. ἱμάς): см. Homer, Iliad, xxiii, 686. Cestus, или Cæstus, - латинское слово (Virg. Æn. v, 404), греческое слово κεστός - прилагательное,

прилагаемое κ ἰμᾶς-κεστὸν ἰμάντα-πολύκεστος ἰμᾶς (Iliad, xiv, 214; iii, 371). Описание инцидента, вызвавшего изменения в этом покрытии на Немейских играх, см. в Pausan. viii, 40, 3: в конце концов, оно было еще более упрочнено добавлением железа.

[112] Ἀέθλων περπαμέρους ἀμίλλαις, - Пиндар, Olymp. v, 6: ср. Schol. ad Pindar. Olymp. iii, 33.

См. факты об олимпийском Αγоне, собранные Корсини (Dissertationes Agonicæ, Dissert. i, sects. 8, 9, 10), и еще более подробно изложенные с ценным комментарием Краузе (Olympia, oder Darstellung der grossen Olympischen Spiele, Wien, 1838, sects. 8-11 особенно).

[113] Hom. Hymn. Apoll. 262.

Πημανέει σ' αἰεὶ κτυπὸς ἵππων ὠκείων,

Ἀρδόμενοι τ' οὐρῆες ἐμῶν ἱερῶν ἀπὸ πηγέων-.

Ἔνθα τις ἀνθρώπων βουλήσεται εἰσοράασθαι

Ἄρματά τ' εὐποίητα καὶ ὠκυπόδων κτυπὸν ἵππων,

Ἦ νηὸν τε μέγαν καὶ κτήματα πόλλ' ἐνεόντα.

Также ст. 288-394. γυάλων ὑπὸ Παρνήσοιο-484. ὑπὸ πτυχὶ Παρνήσοιο-Пиндар, Pyth. viii, 90.

Πυθῶνος ἐν γυάλοις-Strabo, ix, p. 418. πετρωδὲς χώριον καὶ θεατροειδὲς-Heliodorus, Æthiop. ii, 26: ср. Will. Götte, Das Delphische Orakel (Leipzig, 1839), pp. 39-42.

[114] Βωμοί μ' ἔφερβον, οὔπιών τ' αἰεὶ ξένος, говорит Ион (в Euripidês, Ion. 334), раб Аполлона и смотритель его дельфийского храма, который поливает его из касталийского источника, подметаает лавровыми ветвями и отгоняет своим луком и стрелами назойливых птиц (Ion, 105, 143, 154). Тот, кто прочтет описание профессора Ульриха (Reisen und Forschungen in Griechenland, ch. 7, p. 110), увидит, что птицы - орлы, грифы и вороны - достаточно многочисленны и доставляли немало хлопот. Вся пьеса об Ионе передает живое представление о дельфийском храме и его пейзажах, с которыми Еврипид, несомненно, был знаком.

[115] Существует значительное недоумение по поводу Криссы и Кирры, и среди ученых до сих пор остается вопрос, обозначают ли эти два названия одно и то же место или разные места; первого мнения придерживается О. Мюллер (Orchomenos, p. 495). Страбон различает эти два названия. Павсаний отождествляет их, считая, что никакого другого города, кроме морского порта, никогда не существовало (x, 37, 4). Маннерт (Geogr. Gr. Röm. viii, p. 148) следует Страбону и представляет их как разные.

Я считаю последнее мнение правильным на основании, а отчасти и на основании тщательного топографического исследования профессора Ульриха, который дает превосходный отчет обо всем пейзаже Дельф (Reisen und Forschungen in Griechenland, Bremen, 1840, главы 1, 2, 3). Описанные им руины на возвышенности близ Кастри, называемые Сорока Святыми, можно справедливо считать руинами Криссы; руины Кирры находятся на морском берегу близ устья Плейстуса. Равнину под ними можно без обиняков назвать либо Крисской, либо Киррхской (Herodot. viii, 32; Strabo, ix, p. 419). Хотя Страбон был прав, отличая Криссу от Кирры, а также прав в отношении положения последней при Кирфисе, он неверно представлял положение Криссы; и его представление о том, что было две войны, в первой из которых Кирра была разрушена крисцейцами, а во второй сама Крисса была завоевана амфикифонами, не подтверждается никакими другими авторитетами.

Одно лишь обстоятельство, что Пиндар дает нам в трех отдельных отрывках Κρίσα, Κρισαῖον, Κρισαίοις (Isth. ii, 26; Pyth. v, 49, vi, 18), и в пяти других отрывках Κίρρα, Κίρρας, Κίρραθεν (Pyth. iii, 33, vii, 14, viii, 26, x, 24, xi, 20), делает почти уверенным, что эти два названия принадлежат разным местам, а не являются просто двумя разными названиями одного и того же места; поэт не мог в этом случае иметь никаких метрических причин для изменения обозначения, так как метр двух слов схож.

[116] Athenæus, xiii, p. 560; Æschinês cont. Ktesiphont. c. 36, p. 406; Strabo, ix, p. 418. Об Акрагаллидах, или Краугаллидах, которых Эсхинес упоминает вместе с киррхейцами как еще одну нечестивую расу, обитавшую по соседству с богом, - и которые были свергнуты вместе с киррхейцами, - у нас нет более подробных сведений. По предположению О. Мюллера, их можно отождествить с дриопами (Dorians, i, 2, 5, и его Orchomenos, p. 496); Harpokration, v. Κραυγαλλίδαι.

[117] Schol. ad Pindar, Pyth. Introduct...: Schol. ad Pindar, Nem. ix, 2; Plutarch, Solon, c. 11; Pausan. ii, 9, 6. Pausanias (x, 37, 4) и Polyænus (Strateg. iii, 6) рассказывают об уловке Солона или Эврилоха, чтобы отравить воду кирхейцев чемерицей.

[118] Eurip. Ion, 230.

[119] Thucyd. i, 112.

[120] Г-н Клинтон считает, что Пифийские игры праздновались осенью: М. Бёкх относит празднование к весне: Краузе соглашается с Бозком. (Clinton, Fast. Hell. vol. ii, p. 200, Appendix; Boeckh, ad Corp. Inscr. No. 1688, p. 813; Krause, Die Pythien, Nemeen und Isthmien, vol. ii, pp. 29-35).

Мнение г-на Клинтона представляется мне почти истинным; реальное время, как я его себе представляю, - начало августа или конец июля. Бозкх признает, что, за исключением Фукидида (v, 1-19), другие авторитеты поддерживают его; но он полагается на Фукидида, чтобы перевесить их. Теперь отрывок из Фукидида, правильно понятый, кажется мне столь же противоречащим мнению Бозэция, как и все остальные.

В качестве дополнительного довода я могу отметить, что Истмий, по-видимому, праздновался в третий год каждой Олимпиады и весной (Krause, p. 187). Кажется неправдоподобным, что эти два великих праздника должны были следовать один за другим, что, тем не менее, следует предположить, если мы примем мнение Бозэция и Краузе.

Пифийские игры проводились иногда чуть раньше, иногда чуть позже, в зависимости от времени полнолуния: администраторы всегда заранее оповещали о начале священного месяца. См. ссылки в K. F. Hermann, Lehrbuch der gottesdienstl. Alterth. der Griechen, ch. 49, not. 12.- Это примечание было несколько изменено со времени моего первого издания, - см. примечание vol. vi, ch. liv.

[121] Demosthen. Philipp. iii, p. 119.

[122] Pindar, Nem. x, 28-33.

[123] Strabo, viii, p. 377; Plutarch, Arat. c. 28; Mannert. Geogr. Gr. Röm. pt. viii, p. 650. Сравните вторую главу в Krause, Die Pythien, Nemeen und Isthmien, vol. ii. p. 108, seq.

То, что клеонцы продолжали без перерыва проводить Немейский праздник вплоть до Олимпиады 80 (460 г. до н. э.) или около того, является рациональным выводом из Пиндара, Nem. x, 42: сравните Nem. iv, 17. Евсевий, правда, утверждает, что аргейцы захватили власть

в Олимпиаду 53 года, и, чтобы согласовать это утверждение с приведенным выше отрывком из Пиндара, критики пришли к выводу, что аргейцы снова потеряли ее и что клеонцы возобновили ее немного раньше Олимпиады 80 года. Я придерживаюсь другой точки зрения и склонен полностью отвергнуть утверждение Евсевия, тем более что десятая Немейская ода Пиндара адресована аргейскому гражданину по имени Тезей. Если бы в то время существовал постоянный спор между Аргосом и Клеоной по поводу управления Немеей, поэт вряд ли стал бы вводить упоминание о Немейских призах, полученных предками Тесея, под неприличным обозначением "призы, полученные от клеонских мужчин".

[124] См. Boeckh, Corp. Inscript. No. 1126.

[125] К. Ф. Герман в своем *Lehrbuch der Griechischen Staatsalterthümer* (гл. 32, прим. 7. и гл. 65, прим. 3), а также в более поздней работе (*Lehrbuch der gottesdienstlichen Alterthümer der Griechen*, часть iii, гл. 49, также прим. 6), оба весьма ценные издания, утверждает: 1. Что возвышение Истмийских и Немейских игр до общеэллинского значения произошло непосредственно после падения деспотов Коринфа и Сикиона. 2. Что это произошло под влиянием дорийцев, особенно Спарты. 3. Что спартанцы свергли деспотов обоих этих городов.

Последнее из этих трех утверждений представляется мне неверным в отношении Сикиона, а в отношении Коринфа - опровержимым: причины, по которым я так считаю, были приведены в предыдущей главе. А если это так, то причина предполагать спартанское вмешательство в Истмийские и Немейские игры отпадает сама собой; ведь других доказательств этому нет, как нет и того, что Спарта интересовалась любым из четырех национальных праздников, кроме Олимпийского, с которым она была связана с самого раннего периода.

Я также не могу считать, что первое из трех предположений Германа вообще заслуживает внимания. Между Сикионом и Немейскими играми нет никакой связи; и тем более невероятно, что в этом случае сикионцы принимали активное участие, так как незадолго до этого они при Клейстенесе способствовали национализации Пифийских игр: второе вмешательство с аналогичной целью не следует предполагать без каких-либо доказательств. В доказательство своей точки зрения на Истмию Герман приводит лишь отрывок из Солина (vii, 14): "*Nos spectaculum, per Cypselum tyrannum intermissum, Corinthii Olymp. 49 solemnitati pristinae reddiderunt*". Чтобы сделать этот отрывок хоть сколько-нибудь достоверным, мы должны читать *Cypselidas* вместо *Cypselum*, что снижает ценность свидетеля, чьи показания ни при каких обстоятельствах не могут быть оценены высоко. Но если допустить это изменение, есть две причины против утверждения Солина. Первая, положительная, заключается в том, что Солон предложил большую награду афинским победителям на Истмийских играх: его законодательство приходится на 594 год до н. э., за десять лет до того времени, когда Истмийские игры, по словам Солина, возобновились после долгого перерыва. Другая причина (отрицательная, хотя, на мой взгляд, и весомая) - молчание Геродота в той длинной инвективе, которую он вкладывает в уста Сосиклеса против Кипселидов (v, 92). Если бы Кипсел действительно был виновен в столь сильном оскорблении чувств народа, как подавление его самого торжественного праздника, этот факт вряд ли был бы опущен в обвинении, которое Сосиклес выдвигает против него. Аристотель, действительно, представляя Кипсела мягким и популярным деспотом, вводит противоположный взгляд на его характер, который, если бы мы его признали, сам по себе был бы достаточным для того, чтобы опровергнуть предположение о том, что он подавил Истмию.

[126] Plutarch, Arat. c. 28. καὶ συνεχύθη τότε πρῶτον (по приказу Арата) ἡ δεδομένη τοῖς ἀγωνισταῖς ἀσυλία καὶ ἀσφάλεια, смертельное пятно на характере Арата.

[127] Festus, v, Perihodos, p. 217, ed. Müller. См. оживленный протест философа Ксенофана против больших наград, которые давали олимпийским победителям (540-520 гг. до н. э.), Xenophan. Фрагмент. 2, p 357, ed. Bergk.

[128] Thucyd. vi, 16. Алкивиад говорит: καὶ ὅσα αὖ ἐν τῇ πόλει χορηγίαις ἢ ἄλλῳ τῷ λαμπρύνομαι, τοῖς μὲν ἀστοῖς φθονεῖται φύσει, πρὸς δὲ τοὺς ξένους καὶ αὐτῇ ἰσχὺς φαίνεται.

Большую Панафинею приписывает Пейсистрату схолиаст об Аристеидесе, т. iii, с. 323, изд. Диндорф: судя по тому, что непосредственно предшествует, это утверждение, по-видимому, исходит от Аристотеля.

[129] Симонид, Фрагм. 154-158, ed. Bergk; Пиндар, Nem. x, 45; Olymp. xiii, 107.

Выдающийся атлет Теагенес, как утверждается, завоевал двенадцать сотен призов на этих различных агонах: по некоторым данным, четырнадцать сотен призов (Pausan. vi, 11, 2; Плутарх, Præcept. Reip. Ger. с. 15, p. 811).

Атлет по имени Аполлоний прибыл на Олимпийские игры слишком поздно, слишком долго отсутствовал, стремясь получить деньги в различных агонах в Ионии (Pausan. v, 21, 5).

[130] См., в частности, договор между жителями Латуса и Олуса в Крте, в Boeckh's Corp. Inscr. No. 2554, где эта взаимность четко оговорена. Боэкс относит эту надпись к III веку до н. э.

[131] Timæus, Fragm. 82, ed. Didot. Кротониаты обеспечили большое количество победителей как на Олимпийских, так и на Пифийских играх (Herodot. viii, 47; Pausan. x, 5, 5-x, 7, 3; Krause, Gymnastik und Agonistik der Hellenen, vol. ii, sect. 29, p. 752).

[132] Herodot. viii, 65. καὶ αὐτῶν ὁ βουλόμενος καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων μυεῖται.

Исключение всех соперников, уроженцев Лампсака, из игр, проводимых в Херсонесе в честь экиста Мильтиадеса, упоминается Геродотом как нечто особенное (Herodot. vi, 38).

[133] См. замечания о том, что лакедемоняне не поощряли чужаков на своих общественных празднествах, вложенные Фукидидом в уста Перикла (Thucyd. ii, 39).

Спартанец Лихас прославился тем, что гостеприимно угощал чужеземцев, приходивших на Гимнопедии в Спарте (Ксенофонт, Memorab. i, 2, 61; Плутарх, Kimon, с. 10), - история, доказывающая, что на спартанские праздники приходили чужеземцы, но также доказывающая, что их было не так много и что проявление гостеприимства к ним разительно отличалось от общего характера спартанцев.

[134] Аристотель. Поэтические, с. 3 и 4; Maximus Tyrius. Diss. xxi. p. 215; Plutarch. De Cupidine Divitiarum. с. 8. p. 527: сравните трактат "Quod non potest suaviter vivi secundum Epicurum." с. 16. p. 1098. Старые оракулы, цитируемые Демосфеном, cont. Meidiam (с. 15. p. 531. и cont. Makartat. p. 1072: см. также примечание Буттмана к первому отрывку), передают идею древнего простого афинского праздника.

[135] Плутарх. Solon, с. 29: см. выше, гл. xi. vol. iii. p. 195.

[136] Оратор Лисий во фрагменте своей утраченной панегирической оратории, сохраненной Дионисием Галикарнасским (vol. v. p. 520 R.), описывает влияние игр с большой силой и простотой. Геракл, основатель их, ἀγῶνα μὲν σωμάτων ἐποίησε, φιλοτιμίαν δὲ πλούτῳ, γνώμης δ' ἐπίδειξιν ἐν τῷ καλλίστῳ τῆς Ἑλλάδος- ἵνα τούτων ἀπάντων ἕνεκα ἐς τὸ αὐτὸ ἔλθωμεν, τὰ μὲν

ὁψόμενοι, τὰ δὲ ἀκουσόμενοι. Ἠγήσατο γὰρ τὸν ἐνθάδε σύλλογον ἀρχὴν γενέσθαι τοῖς Ἑλλήσι τῆς πρὸς ἀλλήλους φιλίας.

[137] Cicero, Tusc. Quæst. v, 3. "*Mercatum* eum, qui haberetur maximo ludorum apparatu totius Græciæ celebritate: nam ut illic alii corporibus exercitatis gloriam et nobilitatem coronæ peterent, alii emendi aut vendendi quæstu et lucro ducerentur," etc.

И Веллий Патеркул (i, 8), и Юстин (xiii, 5) называют олимпийский праздник именем *mercatus*.

Во время игр вокруг Альтиса, священного участка Зевса (Schol. Pindar. Olymp. xi, 55), стояли палатки.

Страбон справедливо замечает по поводу многолюдных празднеств вообще Ἡ πανήγυρις, ἐμπορικὸν τι πρῶγμα (x, p. 486), особенно в отношении Делоса: см. Cicero pro Lege Maniliâ, c. 18: ср. Pausanias, x, 32, 9, о Панегирисе и ярмарке в Титорее в Фокисе, и Becker, Chariklês, vol. i, p. 283.

На аттическом празднике Ираклия, отмечавшемся общиной, называвшейся Месогей, или определенным числом демонов, составлявших Месогей, регулярно взималась рыночная пошлина, или ἀγοραστικόν, с тех, кто приносил товары на продажу (Inscriptiones Atticæ nuper repertæ 12, by E. Curtius, pp. 3-7).

[138] Pausan. vi, 23, 5; Diodor. xiv, 109, xv, 7; Lucian, Quomodo Historia sit conscribenda, c. 42. См. Краузе, Олимпия, разд. 29. pp. 183-186.

[139] Thucyd. i, 120; Herodot. v, 22-71. Эврибатес из Апроса (Herodot. vi, 92); Филипп и Фаил из Кротона (v, 47; viii, 47); Эуалкидес из Эретрии (v, 102); Гермоликос из Афин (ix, 105).

Пиндар (Nem. iv и vi) рассказывает о многочисленных победах бассидов и феандридов при Игине: также о Мелиссе Панкратиасте и его предках Клеонимидах из Фив -τιμάνεντες ἀρχῆθεν πρόξενοί τ' ἐπιχωρίων (Isthm. iii, 25).

О чрезвычайной известности Диагора и его сыновей, родосских родов Эратидов, Дамагета, Акусилая и Дория, см. Пиндар, Olymp. vii, 16-145, со схолиями; Thucyd. iii, 11; Pausan. vi, 7, 1-2; Xenophon, Hellenic. i, 5, 19: ср. Strabo. xiv, p. 655.

[140] Латинские писатели отмечают как особенность греческого чувства, в отличие от римского, что люди высокого положения считали за честь участвовать в играх: см. в качестве примера Тацита, Dialogus de Orator. c. 9. "Ac si in Græciâ natus esses, ubi ludicras quoque artes exercere honestum est, ac tibi Nicostrati robur Dii dedissent, non paterer immanes illos et ad pugnam natos lacertos levitate jaculi vanescere." И снова Цицерон, pro Flacco, c. 13, в своем саркастическом стиле: "Quid si etiam occisus est a piratis Adramyttenus, homo nobilis, cujus est fere nobis omnibus nomen auditum, Atinas pugil, Olympionices? hoc est apud Græcos (quoniam de eorum *gravitate* dicimus) prope majus et gloriosius, quam Romæ triumphasse."

[141] Лихас, один из главных людей Спарты, к тому же победитель на колеснице, получил от этих посохоносцев реальное наказание на земле за нарушение правил (Thucyd. v, 50).

[142] Thucyd. v, 18-47. и любопытная древняя надпись в Voeckh's Corpus Inscr. No. 11. p. 28, где записан договор между элейцами и жителями аркадского города Гереея.

Сравнение различных отрывков, относящихся к Олимпии, Истмии и Немее (Thucydides iii, 11; viii, 9-10; v, 49-51; и Xenophon, Hellenic. iv, 7, 2; v, 1, 29) показывает, что на этих играх часто обсуждались различные политические дела, что дипломаты использовали это общение для выявления тайных замыслов государств, которые они подозревали, и что управляющее государство часто

практиковало маневры в отношении обязательств перемирия на Иеромени, или Священный месяц.

[143] Himerius, Orat. iii, p. 426, Wernsdorf-ἀγέρωχοι καὶ ὑψαυχένης.

[144] Для всей темы этой главы весьма ценными будут одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая и четырнадцатая главы "Истории литературы Древней Греции" О. Мюллера, в которых лирические поэты рассматриваются более подробно, чем это предусмотрено рамками данного труда, - главы, изобилующие эрудицией и изобретательностью, но не всегда в пределах доказательств.

Эрудированный труд Ульрици (*Geschichte der Griechischen Poesie-Lyrik*) еще более открыт для такого же замечания.

[145] Эти ранние новаторы греческой музыки, ритма, метра и поэзии, относящиеся к седьмому веку до н. э., были очень плохо известны даже тем современникам Платона и Аристотеля, которые пытались собрать факты для последовательной истории музыки. Трактат Плутарха "О музыке" показывает, какие противоречивые утверждения он находил. Он приводит цитаты из четырех разных авторов - Гераклида, Глаука, Александра и Аристоксена, которые отнюдь не сходятся в ряде имен и фактов. Первые три из них смешивают миф и историю; в то время как даже Anagraphê или надпись в Сикионе, которая претендует на то, чтобы дать непрерывный список поэтов и музыкантов, которые соревновались на Сикионских играх, начинается с большого количества мифических имен, - Амфион, Линус, Пиерий и т.д. (Плутарх, Музыка. (Плутарх, Музыка. стр. 1132.) Некоторые авторы, согласно Плутарху (стр. 1133), совершили большую хронологическую ошибку, поместив Терпандра как современника Гиппонакса; доказательство того, как мало хронологических свидетельств было доступно в то время.

То, что Терпандр победил на спартанском празднике Карнеи в 676 году до н. э., вполне может быть почерпнуто Эллаником из спартанских регистров: имя лесбийской арфистки Периклеиты, получившей тот же приз в какой-то последующий период (Plutarch, De Mus. p. 1133), вероятно, опирается на тот же авторитет. О том, что Архилох был позже Терпандра, а Фалектас позже Архилоха, говорит Глаукос (Plutarch, De Mus. p. 1134). Клонас и Полимнест помещены позже Терпандра; Архилох позже Клонаса: Алкман, как говорят, упоминает Полимнеста в одной из своих песен (стр. 1133-1135). Вряд ли верно, что Терпандр получил *четыре* пифийских приза, если праздник был восьмилетним до его воссоздания Амфиктионами (с. 1132). Сакадас получил три пифийских приза *после* этого периода, когда праздник был четырехлетним (с. 1134).

Сравните путанные указания в Pollux, iv, 65-66, 78-79. Приведенный Фотием реферат некоторых частей "Хрестоматии" Прокла (опубликованный в издании Гэсфорда "Гефестион", с. 375-389), несмотря на краткость и неясность, также чрезвычайно ценен для лирической и хорической поэзии Греции.

[146] Различие между Νόμος и Μέλος появляется у Плутарха, De Musicâ, p. 1132-Καὶ τὸν Τέρπανδρον, καθαρωδικῶν ποιητὴν ὄντα νόμων, κατὰ νόμον ἕκαστον τοῖς ἔπεισι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ τοῖς Ὀμήρου μέλη περιτίθεντα, ἄδειν ἐν τοῖς ἀγῶσι- ἀποφῆναι δὲ τοῦτον λέγει ὀνόματα πρῶτον τοῖς καθαρωδικοῖς νόμοις.

Номы были немногочисленны; они назывались особыми именами, и существовало разногласие относительно лиц, которые их сочинили (Плутарх, Музыка. стр. 1133). Они были монодическими, а не хорическими, предназначенными для пения одним человеком (Aristot. Problem. xix, 15). Herodot. i, 23, об Арионе и Nomus Orthius.

[147] Г-н Клинтон (Fasti Hellen. ad ann. 671, 665, 644) кажется мне неудовлетворительным в его хронологическом расположении поэтов этого века. Я согласен с О. Мюллером (Hist. of Literat. of

Ancient Greece, ch. xii, 9) в том, что он делает Терпандра слишком недавним, а Талетаса слишком древним; я также считаю, что Каллину и Алкман были более поздними, чем то место, которое г-н Клинтон им приписывает; эпоха Тиртея будет зависеть от даты, которую мы приписываем второй Мессенской войне.

Насколько несовершенна хронология поэтических имен даже шестого века до н. э. - Сапфо, Анакреон, Гиппонакс - была известна даже писателям начала эпохи Птолемея (или вскоре после 300 г. до н. э.), можно судить по ошибкам, отмеченным в Athenæus, xiii, p. 599. Гермесианакс Колофонский, элегический поэт, представлял Анакреона любовником Сапфо; это, возможно, было бы не совсем невозможно, если бы мы предполагали в Сапфо старость, как у Нинон де л'Энклос; но другие (даже раньше Гермесианакса, поскольку их цитирует Хамелеон) представляли Анакреона в старости, как обращающегося со стихами к Сапфо, еще молодой. Опять же, комический писатель Дифил представил Архилоха и Гиппонакса как любовников Сапфо.

[148] Латинские поэты и александрийские критики, кажется, настаивали на естественной скорбности элегического метра (Овидий, Героид. xv, 7; Horat. Art. Poet. 75): см. также причудливое объяснение, данное Дидимом в Etymologicum Magnum, v. "Ελεγος.

От Гефестиона (с. viii, p. 45, Gaisf.) мы узнаем, что анапестический марш-метр Тиртея использовался и комическими писателями, но для совершенно иных чувств. См. диссертацию Франка "Каллину", с. 37-48 (Лейпс., 1816).

Из замечаний, сделанных О. Мюллером по поводу метров этих ранних поэтов ("История литературы Древней Греции", гл. xi, с. 8-12 и т. д.; гл. xii, с. 1-2 и т. д.), многие представляются непроверенными и спорными.

Несколько хороших замечаний по поводу ошибочности впечатлений людей относительно естественного и неотъемлемого ῥθος отдельных метров см. у Адама Смита (Теория нравственных чувств, часть v, гл. i, с. 329), в издании его работ Дугалда Стюарта.

[149] См. замечания Аристотеля (Rhetor. iii, 9) о λέξις εἰρομένη по сравнению с λέξις κατεστραμμένη- λέξις εἰρομένη, ἣ οὐδὲν ἔχει τέλος αὐτὴ καθ' αὐτήν, ἂν μὴ τὸ πρᾶγμα τὸ λεγόμενον τελειώθῃ-- κατεστραμμένη δέ, ἣ ἐν περιόδοις- λέγω δὲ περίοδον, λέξιν ἔχουσαν ἀρχὴν καὶ τελευτὴν αὐτὴν καθ' αὐτήν καὶ μέγεθος εὐσύνοπτον.

[150] Я употребляю здесь, хотя и неохотно, слово *thesis* (arsis и thesis) в том смысле, в каком его использует Г. Герман ("Illud tempus, in quo ictus est, *arsin*; ea tempora, quæ carent ictu, *thesin* vocamus," Element. Doctr. Metr. sect. 15), и за ним следует Бозех в своей "Диссертации о метрах Пиндара" (i, 4), хотя я согласен с д-ром Барэмом (в ценном предисловии к его изданию "Гефестиона", Кембридж, 1843, с. 5-8), что противоположный смысл слов был бы предпочтительнее, так как это был первоначальный смысл, в котором их использовали лучшие греческие музыкальные авторы: Предисловие д-ра Бархэма очень поучительно в отношении сложного вопроса о древнем ритме в целом.

[151] Гомер, Hymn. ad Cererem. 202; Hesychius, v. Γεφυρίς; Herodot. v, 83; Diodor. v, 4. Существовали различные боги, на празднествах которых скурелити (τωθασμός) было освящено, по-видимому, различные праздники в разных местах (Aristot. Politic. vii, 15, 8).

Читатель лучше поймет, что означает это освященное скоморошество, сравнив описание современного путешественника по Неаполитанскому королевству (Tour through the Southern Provinces of the Kingdom of Naples, by Mr. Keppel Craven, London, 1821, ch. xv, p. 287):-.

"Я вернулся в Герас (место древнего эпизефирийского Локри) при одном из тех лунных сияний, которые известны только в этих широтах и которые не может изобразить ни перо, ни карандаш. Мой путь лежал вдоль кукурузных полей, на которых туземцы занимались последними работами по сбору урожая, и я был не мало удивлен, встретив залп оскорбительных эпитетов и ругательств, произнесенных самым угрожающим голосом и сопровождаемых самыми оскорбительными жестами. Этот необычный обычай имеет весьма отдаленную древность и соблюдается по отношению ко всем незнакомцам в сезоны сбора урожая и винограда; те, кто осведомлен о нем, будут сохранять самообладание, а также присутствие духа, поскольку потеря того или другого послужит лишь сигналом для еще более громких ругательств и продлит соревнование, в котором успех будет столь же безнадежным, сколь и нежелательным".

[152] Главное свидетельство ритмических и метрических изменений, введенных Архилохом, можно найти в 28-й главе Плутарха, *De Musicâ*, pp. 1140-1141, в словах, которые очень трудно понять полностью. См. Ulrici, *Geschichte der Hellenisch. Poesie*, vol. ii, p. 381.

Эпиграмма, приписываемая Феокриту (№ 18 в Gaisford's *Poetæ Minores*), показывает, что поэт имел перед собой гекзаметрические сочинения Архилоха, а также лирические: -...

ὥς ἐμμελὴς τ' ἔγεντο κἀπιδέξιος

ἐπεὰ τε ποιεῖν, πρὸς λύραν τ' ἀείδειν

См. статью об Архилохе в Welcker's *Kleine Schriften*, pp. 71-82, которая имеет то достоинство, что показывает, что ямбическая горечь - далеко не единственная отличительная черта в его характере и гении.

[153] См. Meleager, *Epigram.* cxix, 3; Horat. *Epist.* 19, 23 и *Epod.* vi, 13 у Схолиаста; *Ælian.* V. H. x, 13.

[154] Пиндар, *Pyth.* ii, 55; *Olymp.* ix, 1, со схолиями; Euripid. *Hercul. Furens*, 583-683. Восемнадцатая эпиграмма Феокрита (о которой говорилось выше) передает поразительную дань восхищения Архилоху: сравните Квинтилиан, x, 1, и Liebel. *ad Archilochi Fragmenta*, sects. 5, 6, 7.

[155] *Athenæus*, xiv, p. 630.

[156] *Plutarch*, *De Musicâ*, pp. 1134, 1135; *Aristotle*, *De Lacedæmon. Republicâ*, *Fragm.* xi, p. 132, ed. Neumann; *Плутарх*, *De Serâ Numin. Vindict.* c. 13, p. 558.

[157] *Thucyd.* v, 69-70, с *Scholia*, -μετὰ τῶν πολεμικῶν νόμων ... Λακεδαιμόνιοι δὲ βραδέως καὶ ὑπὸ αὐλητῶν πολλῶν νόμῳ ἐγκαθεστῶτων, οὐ τοῦ θεοῦ χάριν, ἀλλ' ἵνα ὁμαλῶς μετὰ ῥυθμοῦ βαίνοιεν, καὶ μὴ διασπασθεῖν αὐτοῖς ἡ τάξις.

Цицерон, *Tuscul. Qu.* ii, 16. "Spartiatarum quorum procedit Mora ad tibiam, neque adhibetur ulla sine anapæstis pedibus hortatio."

Флейта также была инструментом, присвоенным Комусу, или возбужденным движением полупьяных весельчаков (Гесиод. *Scut. Hercul.* 280; *Athenæ.* xiv, pp. 617-618).

[158] *Plato*, *Legg.* vii, p. 803. θύοντα καὶ ᾄδοντα καὶ ὀρχούμενον, ὥστε τοὺς μὲν θεοὺς ἰλέως αὐτῷ παρασκευάζειν δυνατόν εἶναι, etc.: compare p. 799; *Maximus Tyr.* *Diss.* xxxvii, 4; *Aristophan.* *Ran.* 950-975; *Athenæus*, xiv, p. 626; *Polyb.* iv, 30; *Lucian*, *De Saltatione*, c. 10, 11, 16, 31.

Сравните Аристотеля (Проблема хix, 15) о первобытном характере и последующих изменениях хора; и последнюю главу восьмой книги его Политики: также поразительный отрывок в Плутарха (*De Cupidine Divitiarum*, c. 8, p. 527) о трансформации дионисийского праздника в Херонее от простоты к дороговизне.

[159] Athenæus, xiv, p. 628; Suidas, vol. iii, p. 715, ed. Kuster; Plutarch, Instituta Laconica, c. 32, - κωμῳδίας καὶ τραγῳδίας οὐκ ἠκρόωντο, ὅπως μήτε ἐν σπουδῇ, μήτε ἐν παιδίᾳ, ἀκούωσι τῶν ἀντιλεγόντων τοῖς νόμοις, - что в точности соответствует этическим воззрениям, подразумеваемым в предполагаемом разговоре между Солоном и Фесписом (Плутарх, Солон, с. 29: см. выше, гл. xi, т. ii, с. 195), и с Платоном, Legg. vii, p. 817.

[160] Xenophon, Agesilaus ii, 17. οἴκαδε ἀπελθὼν εἰς τὰ Ὑακίνθια, ὅπου ἐτάχθη ὑπὸ τοῦ χοροποιοῦ, τὸν παιᾶνα τῷ θεῷ συνεπετέλει.

[161] Плутарх, Ликург. с. 14, 16, 21: Athenæus, xiv, pp. 631-632, xv, p. 678; Ксенофонт, Hellen. vi, 4, 15; De Republic. Lacedæm. ix, 5; Пиндар, Hyporchemata, Fragm. 78, ed. Bergk.

Λάκαινα μὲν παρθένων ἀγέλα.

Также Алкман, Fragm. 13, ed. Bergk; Antigone. Caryst. Hist. Mirab. с. 27.

[162] Насколько широко пантомимическим был древний орхексис, можно видеть на примере Ксенофонта, Симпозиум, vii, 5, ix, 3-6, и Плутарха, Симпозиум, ix, 15, 2: см. K. F. Hermann, Lehrbuch der gottesdienstlichen Alterthümer der Griechen, ch. 29.

"Sane ut in religionibus saltaretur, hæc ratio est: quod nullam majores nostri partem corporis esse voluerunt, quæ non sentiret religionem: nam cantus ad animum, saltatio ad mobilitatem corporis pertinet." (Servius ad Virgil. Eclog. v, 73.)

[163] Aristot. Politic. viii, 4, 6. Οἱ Λάκωνες-οὐ μανθάνοντες ὅμως δύνανται κρίνειν ὀρθῶς, ὥς φασι, τὰ χρηστὰ καὶ τὰ μὴ τῶν μέλων.

[164] Гомер. Гимн. Apoll. 340. Οἷοί τε Κρητῶν παιήονες и т. д.: см. Boeckh. De Metris Pindari, ii, 7, p. 143; Ephorus ap. Strabo, x, p. 480; Plutarch, De Musicâ, p. 1142.

Что касается Талетаса и постепенных изменений в характере музыки в Спарте. Хокх дал много поучительного (Kreta. vol. iii, pp. 340-377). О Нимфее из Кидонии, которую Илиан (V. II. xii, 50) ставит в один ряд с Талетом и Терпандером, ничего не известно.

После того как Фалектас и его современники ввели так называемую вторую моду на музыку (κατάστασις), а первой была мода Терпандра, дальнейшие нововведения были запрещены. Эфоры использовали насильственные средства, чтобы запретить предполагаемые нововведения Фриниса и Тимофея после Персидской войны: см. Плутарх Агис, с. 10.

[165] Alkman. Fragm. 13-17. ed. Bergk, ὁ πάμφαγος Ἀλκμάν: ср. Fr. 63. Аристид называет его ὁ τῶν παρθένων ἐπαινέτης καὶ σύμβουλος (Or. xlv, vol. ii, p. 40. Dindorf).

Парфений Алкмана (песни, гимны и танцы, сочиненные для хора девиц) насчитывал не менее двух книг (Stephanus Byzant. v. Ἑρυσίχη). Он был самым ранним поэтом, прославившимся в этом виде композиции, который впоследствии активно использовали Пиндар, Вакхилид и Симонид из Кеоса: см. Welcker, Alkman. Fragment. p. 10.

[166] Alkman, Frag. 64, ed. Bergk.

Ὅρας δ' ἐσῆκε τρεῖς, θέρος

Καὶ χειῖμα κ' ὠπώραν τρίταν-

Καὶ τέτρατον τὸ ἦρ, ὅκα

Σάλλει μὲν, ἐσθίειν δ' ἄδαν

Οὐκ ἐστί.

[167] Плутарх, De Musicâ, с. 9, р. 1134. О диалекте Алкмана см. Ahrens, De Dialecto Æolicâ, sects. 2, 4; о его различных метрах - Welcker, Alkman. Fragm. pp. 10-12.

[168] Плутарх, De Musicâ, с. 32, р. 1142, с. 37, р. 1144; Athenæus, xiv, р. 632. В Крте также сохранялась популярность примитивных музыкальных композиторов, хотя и вместе с новатором Тимофеем: см. надпись № 3053, ap. Boeckh, Corp. Ins.

[169] Herodot. vi, 60. Вероятно, они были γένος с героическим родоначальником, как глашатаи, с которыми их сравнивает историк.

[170] Pindar, Fragm. 44, ed. Bergk: Schol. ad Pindar. Olymp. xiii, 25; Proclus, Chrestomathia, с. 12-14. ad calc. Hephæst. Gaisf. p. 382: ср. W. M. Schmidt, In Dithyrambum Poetarumque Dithyrambicorum Reliquias, pp. 171-183 (Berlin, 1845).

[171] Archiloch. Fragm. 72, ed. Bergk.

Ὡς Διωνύσου ἄνακτος καλὸν ἐξάρξαι μέλος

Οἷδα διθύραμβον, οἶνω ξυγκεραυνωθείς φρένας.

Старый оракул, цитируемый в Demosthen. cont. Meidiam, о Дионисии в Афинах, предписывает- Διονύσω δημοτελῇ ἱερὰ τελεῖν, καὶ κρατῆρα κέρασαι, καὶ χοροὺς ἰστάναι.

[172] Herodot. i, 23; Suidas, v. Ἀρίων; Pindar, Olymp. xiii, 25.

[173] Aristot. Poetic. с. 6, ἐγέννησαν τὴν ποίησιν ἐκ τῶν αὐτοσχεδιασμάτων; еще раз, в том же смысле, ibid. с. 9.

[174] Алкман несколько отступил от этого правила: в одной из его композиций из четырнадцати строф последние семь были в другом метре, чем первые семь (Hephæstion, с. xv, р. 134, Gaisf.; Hermann, Elementa Doctrin. Metricæ, с. xvii, sect. 595). Ἀλκμανικὴ καινοτομία καὶ Στησιχόρειος (Plutarch, De Musicâ, р. 1135).

[175] Pausanias, vi, 14, 4; x, 7, 3. Сакадас, как и Стесихор, сочинил Ἰλίου πέрсис (Athenæus, xiii, р. 609).

"Stesichorum (замечает Квинтилиан, x, 1) quam sit ingenio validus, materiæ quoque ostendunt, maxima bella et clarissimos canentem duces, et epici carminis onera lyrâ sustinentem. Reddit enim personis in agendo simul loquendoque debitam dignitatem: ac si tenuisset modum, videtur æmulari proximus Homerum potuisse: sed redundat, atque effunditur: quod, ut est reprehendendum, ita copiæ vitium est."

Симонид из Кеоса (Frag. 19. ed. Bergk) ставит Гомера и Стесихора вместе: см. эпigramму Антипатра в Anthologia, t. i, р. 328, ed. Jacobs, и Dio Chrysostom. Or. 55, vol. ii, р. 284, Reisk. Сравните Kleine, Stesichori Fragment. pp. 30-34 (Берлин, 1828), и О. Мюллер, История литературы Древней Греции, гл. xiv, разд. 5.

Геродот утверждает, что музыкальные композиторы Аргоса были самыми известными в Греции через полвека после Сакадаса (Her. iii, 131).

[176] Horat. Epistol. i, 19, 23.

[177] Sappho, Fragm. 93, ed. Bergk. См. также Plehn, Lesbiaca, pp. 145-165. О поэтессах, две или три из которых были отмечены, современных Сапфо, см. Ulrici, Gesch. der Hellen. Poesie, vol. ii, р. 370.

[178] Dionys. Hal. Ant. Rom. v, 82; Horat. Od. i, 32, ii, 13; Цицерон, De Nat. Deor. i, 28; поразительный отрывок в Plutarch, Symposion iii, 1, 3, ap. Bergk. Fragm. 42. По мнению Дионисия, эолийский диалект Алкея и Сафо снижал ценность их сочинений: эолийский акцент, аналогичный латинскому и почти не допускающий окситонов, должен был сделать их гораздо менее приятными для декламации или песни.

[179] См. Плутарх, De Music. p. 1136; Dionys. Hal. de Comp. Verb. c. 23, p. 173, Рейск, а также некоторые поразительные отрывки Гимерия, касающиеся Сафо (i, 4, 16, 19; Maximus Tyrius, Dissert. xxiv, 7-9), и энкомий критика Дионисия (De Compos. Verborum, c. 23, p. 173).

Автор Парийского мрамора принимает в качестве одной из своих хронологических эпох (Эпоха 37) бегство или изгнание Сафо из Митилены в Сицилию где-то между 604-596 гг. до н. э. Вероятно, было что-то примечательное, что побудило его выделить это событие; но мы не знаем что, и не можем доверять намекам, предложенным Овидием (Героид. xv, 51).

Девять книг песен Сафо были собраны позднейшими литературными греками, расположенными главным образом в соответствии с метрами (C. F. Neue, Sapphonis Fragm. p. 11, Berlin 1827). Было десять книг песен Алкея (Athenæus, xi, p. 481), и Аристофан (Грамматик) и Аристарх опубликовали их издания. (Дикеарх написал комментарий к его песням (Athenæus, xi, p. 461).

[180] Welcker, Simonidis Amorgini lambi qui supersunt, p. 9.

[181] Aristophan. Nubes, 536.

Ἀλλ' αὐτῇ καὶ τοῖς ἔπεσιν πιστεύουσ' ἐλήλυθεν.

[182] См. Pratinas ap. Athenæum, xiv, p. 617, также p. 636, и поразительный фрагмент потерянного комического поэта Ферекратеса, в Плутархе, De Musicâ, p. 1141, содержащий горькую жалобу *Музыки* (Μουσική) на обиду, нанесенную ей дифирамбистом Меланиппидесом: ср. также Aristophanês, Nubes, 951-972; Athenæus, xiv, p. 617; Horat. Искусство. Poetic. 205; и W. M. Schmidt, Diatribê in Dithyrambum, ch. viii, pp. 250-265.

Τὸ σοβάρων καὶ περικτὸν - характер новой музыки (Плутарх, Agis, c. 10) - в отличие от τὸ σεμνὸν καὶ ἀπερίεργον старой музыки (Плутарх, De Musicâ, *ut sup.*): показность и аффектированная демонстрация, против серьезности и простоты. Ни в коем случае нельзя быть уверенным в том, что эти упреки в адрес более поздней музыки греков были обоснованными; мы вполне можем не верить в их точность, когда слышим подобные замечания и противопоставления, выдвигаемые в отношении музыки наших последних трех столетий. Характер греческой поэзии, несомненно, имел тенденцию к вырождению после Еврипида.

[183] Биас из Приэнки написал поэму из двух тысяч стихов о состоянии Ионии (Diogen. Laërt. i, 85), из которой, возможно, Геродот прямо или косвенно почерпнул благоразумный совет, который он приписывает этому философу по случаю первого персидского завоевания Ионии (Herod. i, 170).

Не только философ Ксенофанес (Diogen. Laërt. viii, 36, ix, 20), но и долгое время после него Парменидес и Эмпедокл, написанные в стихах.

[184] См. рассказ Геродота (vi, 128-129) о том, как Клейстенес из Сикиона проверял сравнительную образованность (παίδευσις) различных женихов, приехавших свататься к его дочери, - οἱ δὲ μνήστηρες ἔριν εἶχον ἀμφὶ τε μουσικῇ καὶ τῷ λεγομένῳ ἐς τὸ μέσον.

[185] Plato, Protagoras, c. 28, p. 343.

[186] Hippônax, Fragm. 77, 34, ed. Bergk-καὶ δικάσασθαι Βίαντος τοῦ Πριηνέος κρείττων.

... Καὶ Μύσων, ὃν ὡς πολλῶν

Ἀνεῖπεν ἀνδρῶν σωφρονέστατον πάντων.

Simonidēs. Fr. 6, ed. Bergk-μωροῦ φωτὸς ἄδε βουλά. Diogen. Laërt. i, 6, 2.

Симонидес относится к Питтакусу с большим уважением, хотя и подвергает сомнению высказанное им мнение (Fragm. 8, ed. Bergk; Plato, Protagoras, с. 26, р. 339).

[187] Dikæarchus ap. Diogen. Laërt. i. 40. συνετοῦς καὶ νομοθετικοῦς δεινότηα πολιτικὴν καὶ δραστήριον σύνεσιν. Плутарх, Фемистоклос, с. 2.

О рассказе о треножнике, который, как говорят, обошли эти семь мудрецов, см. Menage ad Diogen. Laërt. i, 28, р. 17.

[188] Cicero, De Republ. i, 7; Plutarch, in Delph. p. 385; Bernhardt, Grundriss der Griechischen Litteratur, vol. i, sect. 66, not. 3.

[189] Плиний, Н. N. vii, 57. Suidas v. Ἑκαταῖος.

[190] У Г. Риттера (Geschichte der Philosophie, ch. vi, p. 243) есть несколько хороших замечаний о сложности и неясности ранних греческих прозаиков, в связи с темнотой выражения и смысла, повсеместно обвиняемой философом Ираклием.

[191] См. O. Müller, Archäologie der Kunst, sect. 61; Sillig. Catalogus Artificium, - под Теодором и Телеклесом.

Тирш (Epochen der Bildenden Kunst, pp. 182-190, 2nd edit.) помещает Rhœkus около начала записанных олимпиад; и предполагает двух художников по имени Theodôrus, один внук другого; но это кажется мне не подкрепленным никаким адекватным авторитетом (ибо свободная хронология Плиния о саамской школе художников не более достоверна, чем о хианской, - сравните xxxv, 12, и xxxvi, 3), и, более того, внутренне неправдоподобна. Геродот (i, 51) говорит о "саамском Феодоре" и, похоже, знал только одного человека с таким именем: Диодот (i, 98) и Павсаний (x, 38, 3) приводят разные сведения о Теодоре, но положительные свидетельства не позволяют нам проверить генеалогии Тирша или О. Мюллера. Геродот (iv, 152) упоминает Ἡραῖον на Самосе в связи с событиями около Olymp. 37; но это не доказывает, что великий храм, который он сам видел полтора века спустя, был начат до Olymp. 37, как полагает Тирш. Утверждение О. Мюллера, что этот храм был начат в Olymp. 35, не подтверждается (Arch. der Kunst. sect. 53).

[192] Павсаний ясно говорит нам, что этот ларец был посвящен в Олимпии Кипселидами, потомками Кипсела; и это кажется достаточно достоверным. Но он также говорит нам, что это был тот самый сундук, в котором был спрятан младенец Кипселус, веря в историю, рассказанную Геродотом (v, 92). В этом последнем убеждении я не могу согласиться с ним, как и в том, что нет никаких оснований считать сундук более древним, чем те, кто его посвятил, - несмотря на противоположные мнения О. Мюллера и Тирша (O. Müller, Archäol. der Kunst, sect. 57; Thiersch, Epochen der Griechischen Kunst, p. 169, 2nd edit: Pausan. v, 17, 2).

[193] Г-н Файнс Клинтон (Fast. Hellen. vol. ii, Appendix, с. 2, р. 201) изложил и обсудил различные мнения о хронологии Пейсистрата и его сыновей.

[194]

Ἀγροῖκος ὀργήν, κυαμοτρῶξ, ἀκράχολος

Δῆμος Πνυκίτης, δύσκολον γερόντιον.

Aristoph. Equit. 41.

Нет нужды упоминать, что Пникс был местом, где проходили афинские общественные собрания.

[195] Плутарх (De Herodot. Malign. с. 15, р. 858) сердится на Геродота за то, что он придает столь мелкий и личный характер раздорам между Алкмеонидами и Писистратом; его резкие замечания в этом трактате, однако, почти всегда скорее укрепляют, чем ослабляют авторитет историка.

[196] Плутарх, Фокион, с. 27, ἀπεκρίνατο φυλίαν ἔσεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις καὶ συμμαχίαν, ἐκδοῦσι μὲν τοὺς περὶ Δημοσθένην καὶ Ὑπερείδην, πολιτευομένοις δὲ τὴν πάτριον ἀπὸ τιμήματος πολιτείαν, δεξαμένοις δὲ φρουρὰν εἰς τὴν Μουνυχίαν, ἔτι δὲ χρήματα τοῦ πολέμου καὶ ζημίαν προσεκτίσασιν. Сравните Diodor. xviii, 18.

Двенадцать тысяч беднейших граждан были лишены прав в результате этого изменения (Плутарх, Фокион, с. 28).

[197] См. предыдущий том, гл. xi, с. 155.

[198] Solon. Fragm. 10, ed. Bergk.-

Εἰ δὲ πεπόνθατε λυγρὰ δι' ὑμετέρεην κακότητα,

Μήτι θεοῖς τούτων μοῖραν ἐπαμφέρετε, и т.д.

[199] Herodot. i, 60, καὶ ἐν τῷ ᾧ αὐτεῖ πειθόμενοι τὴν γυναῖκα εἶναι αὐτὴν τὴν θεὸν, προσεύχοντό τε τὴν ἄνθρωπον καὶ ἐδέκοντο τὸν Πεισιστράτον. Позднейшее изложение (Athenæus, xiii, р. 609) представляет Фику как ставшую впоследствии женой Гиппарха.

В этой замечательной истории не последнюю роль играет критика, которой сопровождает ее сам Геродот. Он считает ее бесконечно глупой (πρῆγμα εὐθέςτατον, ὥς ἐγὼ εὐρίσκω, μακρῶ); он не может представить себе, как греки, настолько превосходящие варваров, - и даже афиняне, самые умные из греков, - могли попасть в такую ловушку. Для него эта история с самого начала была обманом, и он, возможно, не позаботился о том, чтобы перенестись в состояние тех первоначальных зрителей, которые видели приближение колесницы без всякого предупреждения или предвзятого подозрения. Но даже если допустить это, его критика показывает нам изменения и расширение, произошедшие в греческом сознании за столетие между Пейсистратом и Периклесом. Несомненно, ни последнему, ни кому-либо из его современников не удалось бы проделать подобный трюк.

Этот факт и его критика, которые мы сейчас рассматриваем, замечательно иллюстрируются аналогичным случаем, описанным в предыдущей главе (vol. ii, р. 421, chap. viii). Почти в тот же период, когда эта стратагема Пейсистрата, лакедемоняне и аргейцы договорились решить спор между собой о территории Кинурии путем боя трехсот отборных чемпионов. Бой действительно состоялся, и о героизме Отириада, единственного выжившего спартамца, уже рассказывалось. На одиннадцатом году Пелопоннесской войны, вскоре после или почти после того периода, когда, как мы полагаем, была закончена история Геродота, аргейцы заключили договор с Лакедемоном и включили в него в качестве пункта право возобновить свои притязания на Кинурию и вновь решить спор путем поединка отборных чемпионов. Лакедемонянам того времени это показалось крайним безрассудством - именно к такому решению они прибегли за столетие до этого. Вот еще один случай, в котором изменение точки зрения и усиление позитивных тенденций в греческом сознании обращают на себя наше внимание не менее убедительно, чем критика Геродота в отношении Фика-Афонского.

Иструс (один из аттидо-графов III в. до н. э.) и Антиклес опубликовали книги о личных проявлениях или прозрениях богов, -Ἀπόλλωνος ἐπιφανείαι: см. Истрический фрагмент. 33-37, ed. Didot. Если бы Писистрат и Мегаклес никогда не ссорились, их совместная интрига могла бы и дальше выдаваться за подлинное прозрение и быть включенной в качестве таковой в труд Истра.

Добавлю, что идея реального присутствия богов на праздниках, отмечаемых в их честь, постоянно возникала в умах греков.

Афиняне полностью поверили прозрению бога Пана, явившемуся курьеру Фидиппидесу во время его похода в Спарту, за некоторое время до битвы при Марафоне (Herodot. vi, 105, καὶ ταῦτα Ἀθηναῖοι πιστεύσαντες εἶναι ἀληθέα), и даже сам Геродот не оспаривает это, хотя он ослабляет положительный характер истории настолько, чтобы добавить: "как сказал сам Фидиппидес и публично пересказал афинянам". Его информаторы в этом случае, несомненно, были искренне верующими; в то время как в случае с Фиком история была рассказана ему сначала как выдумка.

В Геле на Сицилии, по-видимому, незадолго до этого восстановления Писистрата, Телинес (предок деспота Гелона) вернул в Гелу несколько изгнанников, "без всякой вооруженной силы, а просто с помощью священных церемоний и приемов подземных богинь", "-ἔχων οὐδεμίην ἀνδρῶν δύναμιν, ἀλλ' ἰρὰ τούτων τῶν θεῶν-τούτοισι δ' ὧν πίστευον ἔων, κατήγαγε (Herodot. vii, 153). Геродот не сообщает нам подробности, которые он слышал о том, как происходило это восстановление в Геле; но его общий язык намекает, что это были замечательные подробности, и они могли бы проиллюстрировать историю Phylê Athênê.

[200] Herodot. i, 61. Peisistratus-ἐμίχθη οἱ οὐ κατὰ νόμον.

[201] О Лигдамисе см. Athenæus, viii, p. 348, и его цитату из утраченной работы Аристотеля о греческих Πολιτεῖαι; также, Aristot. Politic. v, 5, 1.

[202] Herodot. i, 63.

[203] Herodot. i, 64. ἐπικούροισί τε πολλοῖσι, καὶ χρημάτων συνόδοισι, τῶν μὲν αὐτόθεν, τῶν δὲ ἀπὸ Στρυμόνος ποτάμου προσιόντων.

[204] Isokratês, Or. xvi, De Bigis, c. 351.

[205] Для утверждения Бозция, д-ра Арнольда и д-ра Тирлволла, что Писистрат ввел налог в размере десяти процентов, а его сыновья снизили его до половины, я не нахожу достаточных оснований: конечно, поддельное письмо Писистрата к Солону в Диогене Лаэртийском (i, 53) не должно рассматриваться как доказательство чего-либо. Boeckh, Public Economy of Athens, B. iii, c. 6 (i, 351 German); Dr. Arnold ad Thucyd. vi, 34; Dr. Thirlwall Hist. of Gr. ch. xi, pp. 72-74. Идомений (ар. Athenæ. xii, p. 533) считает, что сыновья Писистрата предавались удовольствиям в большей степени, чем их отец, дорогостоящим и угнетающим народ. Я также не думаю, что есть достаточные основания для утверждения д-ра Тирлуолла (стр. 68): "Он (Писистрат) владел землями на Стримоне во Фракии, которые приносили большой доход". Геродот (i, 64) говорит нам, что Пейсистрат привел наемных солдат со Стримона, но деньги на их оплату он взимал в Аттике -ἐρρίζωσε τὴν τυραννίδα ἐπικούροισί τε πολλοῖσι, καὶ χρημάτων συνόδοισι, τῶν μὲν αὐτόθεν, τῶν δὲ ἀπὸ Στρυμόνος ποταμοῦ συνιόντων. Действительно, можно истолковать этот отрывок так, чтобы отнести и τῶν μὲν, и τῶν δὲ к χρημάτων, что означало бы, что Пейсистрат получал свои средства частично из реки Стримон, и таким образом послужило бы основанием для утверждения д-ра Тирлволла. Но мне кажется, что лучше истолковать эти слова, отнеся τῶν μὲν к χρημάτων συνόδοισι, а τῶν δὲ к ἐπικούροισι, - рассматривая их оба как абсолютные генитивы. Весьма маловероятно, чтобы он получал деньги от Стримона: весьма вероятно, что его наемники пришли оттуда.

[206] Гермипп (ap. Marcellin. Vit. Thucyd. p. ix,) и схолиаст на Thucyd. i, 20, утверждают, что Фукидид был связан родственными узами с Пейсистратидами. Его манера говорить о них, безусловно, подтверждает это утверждение; Не только потому, что он дважды описывает их историю, один раз кратко (i, 20), а другой раз очень подробно (vi, 54-59), хотя она и не входит в непосредственный период его жизни, но и потому, что он так решительно заявляет о своей личной осведомленности об их семейных отношениях, "Ὅτι δὲ πρεσβύτατος ὢν Ἰππίας ἤρξεν, εἰδὼς μὲν καὶ ἀκοῇ ἀκριβέστερον ἄλλων ἰσχυρίζομαι (vi, 55).

Аристотель (Politic. v, 9, 21) упоминает как сообщение (φασί), что Писистрат повиновался вызову в Ареопаг; Плутарх добавляет, что вызвавший его человек не явился, чтобы передать дело в суд (Vit. Solon, 31), что совсем не удивительно: сравните Thucyd. vi, 56, 57.

[207] Aristot. Politic, v, 9, 4; Dikæarchus, Vita Græciæ, pp. 140-166, ed. Fuhr; Pausan. i, 18, 8.

[208] Aul. Gell. N. A. vi, 17.

[209] Herodot. vii, 6; Pseudo-Plato, Hipparchus, p. 229.

[210] Herodot. v, 93, VI, 6. Ὀνομάκριτον, χρησμολόγον καὶ διαθέτην τῶν χρησμῶν τῶν Μουσαίου. См. Pausan. i, 22, 7. Сравните, о литературных тенденциях Писистратидов, Nitzsch, De Historiâ Homeri, ch. 30, p. 168.

[211] Philochor. Frag. 69, ed. Didot; Plato, Hipparch. p. 230.

[212] Herodot. vi, 38-103; Theopomp. ap. Athenæ. xii, p. 533.

[213] Thucyd. vi, 53; Pseudo-Plato, Hipparch. p. 230; Pausan. i, 23, 1.

[214] Thucyd. i, 20, об общем убеждении афинской публики в его время - Ἀθηναίων γοῦν τὸ πλῆθος οἴονται ὑφ' Ἀρμόδιου καὶ Ἀριστογείτονος Ἰππαρχον τύραννον ὄντα ἀποθανεῖν, καὶ οὐκ ἴσασιn ὅτι Ἰππίας μὲν πρεσβύτατος ὢν ἤρχε τῶν Πεισιστράτου παιδῶν и др.

Псевдо-Платон в диалоге под названием "Гиппарх" принимает это мнение, а настоящий Платон в своей "Симпозиуме" (с. 9, р. 182), похоже, его поддерживает.

[215] Herodot. v, 55-58. Плутарх утверждает, что Гармодий был родом из дема Афиднæ (Plutarch, Symposiacion, i, 10, p. 628).

Следует помнить, что он умер до введения Десяти племен и до признания демонов в качестве политических элементов в сообществе.

[216] Об ужасных последствиях, вызванных этим страхом перед ὕβρις εἰς τὴν ἡλικίαν, см. Плутарх, Кимон, 1; Aristot. Polit. v, 9, 17.

[217] Thucyd. vi, 56. Τὸν δ' οὖν Ἀρμόδιον ἀπαρνηθέντα τὴν πείρασιν, ὥσπερ διανοεῖτο, προυπηλάκισεν- ἀδελφὴν γὰρ αὐτοῦ, κόρην, ἐπαγγεῖλαντες ἤκειν κανοῦν οἴσουσαν ἐν πομπῇ τινι, ἀπήλασαν, λέγοντες οὐδὲ ἐπαγγεῖλαι ἀρχήν, διὰ τὸ μὴ ἀξίαν εἶναι.

Д-р Арнольд в своем примечании предполагает, что это исключение сестры Гармодия Пейсистратидами могло быть основано на том обстоятельстве, что она принадлежала к роду Гефиреев (Herodot. v, 57); ее чужая кровь и то, что она была в некоторых отношениях ἄτιμος, лишало ее (он думает) права служить богам Афин.

Нет никаких веских оснований для поддержки предположения д-ра Арнольда, которое, к тому же, практически опровергается рассказом Фукидида, который явно описывает обращение с этой

молодой женщиной как преднамеренное, заранее обдуманное оскорбление. Если бы существовала какая-либо причина для исключения, подобная той, которую предполагает доктор Арнольд и которая позволяет сделать вывод, что Писистратиды не могли принять ее, не нарушив религиозного обычая, Фукидид вряд ли пренебрег бы ссылкой на нее, поскольку это смягчило бы оскорбление; и действительно, при таком предположении отправку первоначального вызова можно было бы представить как случайную ошибку. Добавлю, что Фукидид, ни в коей мере не отказываясь от своих обязательств перед исторической правдой, явно не склонен опускать ничего, что можно было бы действительно сказать в пользу Писистратидов.

[218] Thucyd. vi, 58, οὐ ῥαδίως διέτέθη: ср. Polyæn. i, 22; Diodorus, Fragn. lib. x, p. 62, vol. iv, ed. Wess.; Justin, ii, 9. См. также хорошую заметку д-ра Тирлуолла об этом отрывке, Hist. of Gr. vol. ii, ch. xi, p. 77, 2nd ed. Я согласен с ним, что мы можем справедливо истолковать нечеткую фразу Фукидида по более точным заявлениям более поздних авторов, которые упоминают пытку.

[219] Thucyd. i, 20, vi, 54-59; Herodot. v, 55, 56, vi, 123; Aristot. Polit. v, 8, 9.

[220] См. слова песни:.

Ὅτι τὸν τύραννον κτανέτην

Ἰσονόμους τ' Αῠήνας ἐποίησάτην-

ар. Athenæum, xv, p. 691.

Эпиграмма Кея Симонидеса (Fragn. 132, ed. Bergk-ар. Hephæstion. с. 14, p. 26, ed. Gaisf.) подразумевает подобное убеждение: также отрывки в Plato, Symposion, p. 182, в Aristot. Polit. v, 8, 21, и Арриан, Exped. Alex. iv, 10, 3.

[221] Herodot. vi, 109; Demosthen. adv. Leptin. с. 27, p. 495; cont. Meidiam, с. 47, p. 569; и клятва, предписанная в псефизме Демофанта, Andokidês, De Mysteriis, p. 13; Pliny, H. N. xxxiv, 4-8; Pausan. i, 8, 5; Plutarch, Aristeidês, 27.

Статуи были вывезены из Афин Ксерксом и возвращены афинянам Александром после завоевания Персии (Арриан, Ex. Al. iii, 14, 16; Плиний, H. N. xxxiv, 4-8).

[222] Один из этих рассказов можно увидеть у Юстина, ii, 9, который дает Гиппарху имя Диокла: "Diocles, alter ex filiis, per vim stupratâ virgine, a fratre puellæ interficitur."

[223] Ἡ γὰρ δειλία φονικώτατόν ἐστιν ἐν ταῖς τυραννίσιν - замечает Плутарх, (Artaxerxês, с. 25).

[224] Pausan. i, 23, 2; Plutarch, De Garrulitate, p. 897; Polyæn. viii, 45; Athenæus, xiii. p. 596.

[225] Вряд ли мы ошибемся, если дадим такое толкование словам Фукидида - Αῠηναῖος ὢν, Λαμψακηνῶ ἔδωκε (vi, 59).

Некоторые финансовые трюки и мошенничества приписывает Гиппиасу автор псевдоаристотелевской второй книги *Ἐconomica* (ii, 4). Я не очень доверяю утверждениям этого трактата относительно лиц раннего периода, таких как Кипсел или Гиппиас; что касается фактов последующего периода Греции, между 450-300 гг. до н. э., средства информации автора, несомненно, сделают его лучшим свидетелем.

[226] Herodot. vi, 36-37.

[227] Так, скифы ворвались в Херсонес еще во время правления Мильтиадеса, сына Кимона, племянника Мильтиадеса-кистика, примерно через сорок лет после возведения стены (Herodot. vi, 40). Опять же, Периклес восстановил поперечную стену, отправив в Херсонес новый отряд из тысячи афинских поселенцев (Плутарх, Периклес, с. 19): наконец, Деркиллидас Лакедемонский построил ее заново, в результате громких жалоб жителей на их беззащитное состояние, - около 397 года до н. э. (Ксенофонт. Hellen. iii, 2, 8-10). Однако защита оказалась настолько несовершенной, что примерно через полвека после этого, в первые годы завоеваний Филиппа Македонского, возникла идея прорыть перешеек и превратить полуостров в остров (Демосфен, Филиппики ii, 6, с. 92, и De Haloneso, с. 10, р. 86); идея, однако, так и не была реализована.

[228] Herodot. vi, 38, 39.

[229] Herodot. v, 94. Я уже говорил, что представляю себе это как другую войну, чем та, в которой участвовал поэт Алкей.

[230] Herodot. iii, 39.

[231] Herodot. vi, 104, 139, 140.

[232] Herodot. vi, 39-103. Корнелий Непос в своей "Жизни Мильтиадеса" смешивает в одном жизнеописании приключения двух лиц - Мильтиадеса, сына Кипсела, кистинца, и Мильтиадеса, сына Кимона, победителя Марафона, - дяди и племянника.

[233] Я не знаю ничего, что могло бы обозначить эту дату, кроме того, что она была раньше смерти Гиппарха в 514 г. до н. э., а также раньше экспедиции Дария против скифов, около 516 г. до н. э., в которой участвовал Мильтиадес: см. Fasti Hellenici г-на Клинтона и J. M. Schultz, Beitrag zu genaueren Zeitbestimmungen der Hellen. Geschichten von der 63^{sten} bis zur 72^{sten} Olympiade, p. 165, in the Kieler Philologische Studien 1841.

[234] Herodot. v, 62. Несчастливая борьба при Лейпсидрионе стала впоследствии темой популярной песни (Athenæus, xv, p. 695): см. Hesychius, v. Λειψιδριον, и Aristotle, Fragm. Ἀθηναίων Πολιτεία, 37, ed. Neumann.

Если верно, что Алкивиад, дед знаменитого Алкивиада, участвовал вместе с Клейстенесом и изгнанниками Алкмеонидов в этой борьбе (см. Isokratês, De Bigis, Or. xvi, p. 351), то он, должно быть, был еще юношей.

[235] Pausan. x, 5, 5.

[236] Herodot. i, 50, ii, 180. Я принял триста талантов Геродота за эгинейские таланты, которые соотносятся с аттическими талантами в пропорции 5 : 3. Надписи доказывают, что счета храма велись Амфиктионами по эгинейской шкале денег: см. Corpus Inscript. Boeckh, No. 1688, и Boeckh, Metrologie, vii, 4.

[237] Herodot. vi, 62. Слова историка, похоже, подразумевают, что они начали думать об этом плане строительства храма только после поражения Лейпсидриона и за год или два до изгнания Гиппия; предположение совершенно неприемлемое, поскольку строительство храма должно было занять несколько лет.

Вольное и предвзятое заявление Филохора, утверждающего, что Писистратиды вызвали сожжение Дельфийского храма, а также что они были свергнуты победоносной рукой Алкмеонидов (Philochori Fragment. 70, ed. Didot), заставляет нас почувствовать ценность Геродота и Фукидида как авторитетов.

[238] Herodot. vi, 128; Cicero, De Legg. ii, 16. Упоминаемый Цицероном депозит, который, весьма вероятно, был записан в надписи в храме, должен был быть сделан до персидского завоевания Самоса, - действительно, до смерти Поликрatesа в 522 году до н. э., после чего остров сразу же оказался в шатком положении, а вскоре после этого - в величайших бедствиях.

[239] Herodot. v, 62, 63.

[240] Herodot. v, 64, 65.

[241] Thucyd. vi, 56, 57.

[242] Thucyd. vi, 55. ὥς ὃ τε βωμὸς σημαίνει, καὶ ἡ στήλη περὶ τῆς τῶν τυράννων ἀδικίας, ἡ ἐν τῇ Ἀθηναίων ἀκροπόλει σταθεῖσα.

Доктор Тирлуолл, упомянув об отъезде Гиппия, продолжает следующим образом: "После его отъезда было принято множество суровых мер против его приверженцев, которые, судя по всему, еще долгое время оставались грозной партией. Их наказывали или подавляли, одних - смертью, других - изгнанием или потерей политических привилегий. Семья тиранов была приговорена к вечному изгнанию и, похоже, исключена из самых всеобъемлющих указов об амнистии, принятых в более поздние времена". (Hist. of Gr. ch. xi, vol. ii, p. 81.)

Я не могу не думать, что д-р Тирлуолл был введен в заблуждение недостаточным авторитетом. Он ссылается на орацию Андокидеса о мистериях, разд. 106 и 78 (раздел 106 частично совпадает с гл. 18 в изд. Добри). Внимательное прочтение покажет, что она совершенно недостойна доверия в том, что касается вопросов, предшествующих оратору на одно поколение или более. Ораторы часто позволяют себе большую вольность, говоря о прошлых фактах, но Андокидес в этой главе переходит границы даже риторической вольности. Во-первых, он сообщает нечто, не имеющее ни малейшей аналогии с рассказом Геродота об обстоятельствах, предшествовавших изгнанию Писистратидов, и даже молчаливо отбрасывает этот рассказ; во-вторых, он фактически смешивает вместе два главных и разных подвига Афин - битву при Марафоне и отпор Ксерксу через десять лет после нее. Я излагаю это последнее обвинение словами Слюйтера и Валкенаера, прежде чем рассматривать первое: "Verissime ad hæc verba notat Valckenaerius-Confundere videtur Andocidês diversissima; Persica sub Miltiade et Dario et victoriam Marathoniam (v, 14)-quæque evenere sub Themistocle, Xerxis gesta. Hic urbem incendio delevit, non ille (v, 20). Nihil magis manifestum est, quam diversa ab oratore confundi." (Sluiter, Lection. Andocideæ, p. 147.)

Критика этих комментаторов полностью подтверждается словами оратора, которые слишком длинны, чтобы занять здесь место. Но непосредственно перед этими словами он выражается следующим образом, и именно этот отрывок служит авторитетом для доктора Тирлуолла: "Я не знаю, что это такое. Тирволлом: Οἱ γὰρ πατέρες οἱ ὑμέτεροι, γενομένων τῇ πόλει κακῶν μεγάλων, ὅτε οἱ τύραννοι εἶχον τὴν πόλιν, ὃ δὲ δῆμος ἔφυγε, νικήσαντες μαχόμενοι τοὺς τυράννους ἐπὶ Παλληνίῳ, στρατηγοῦντος Λεωγόρου τοῦ προπάππου τοῦ ἐμοῦ, καὶ Χαρίου οὗ ἐκεῖνος τὴν θυγατέρα εἶχεν ἐξ ἧς ὁ ἡμέτερος ἦν πάππος, κατελθόντες εἰς τὴν πατρίδα τοὺς μὲν ἀπέκτειναν, τῶν δὲ φυγὴν κατέγνωσαν, τοὺς δὲ μένειν ἐν τῇ πόλει ἐάσαντες ἡτίμωσαν.

И Слюйтер (Lect. And. p. 8), и д-р Тирлуолл (Hist. p. 80) относят эту предполагаемую победу Леогора и афинского дема к действию, описанному Геродотом (v, 64) как сражение Клеомена из Спарты против фессалийской конницы. Но у этих двух событий нет ни одного общего обстоятельства, кроме победы над Писистратидами или их союзниками: да и не могли они быть одним и тем же событием, описанным в разных терминах, если учесть, что Клеоменес, шедший из Спарты в Афины, не мог сразиться с фессалийцами в Паллене, который лежал на дороге из Марафона в Афины. Паллен был местом, где Писистрат, продвигаясь из Марафона в Афины по

случаю своей второй реставрации, одержал полную победу над противником и после этого без дальнейшего сопротивления двинулся в Афины (Herodot. i, 63).

Если мы сравним изложение Андокидесом предшествующих обстоятельств, при которых династия Писистратидов была низложена, с изложением Геродота, то увидим, что они радикально отличаются друг от друга; мы не можем смешивать их вместе, а должны выбирать между ними. Не менее различны и представления этих двух авторов об обстоятельствах, которые немедленно последовали за падением Гиппия: едва ли они могут относиться к одному и тому же событию. То, что "приверженцы Писистратидов были наказаны или подавлены, одни - смертью, другие - изгнанием или потерей политических привилегий", как утверждают Андокидес и д-р Тирлуолл, не только не сказано Геродотом, но и крайне неправдоподобно, если принять факты, которые он излагает; ведь он говорит нам, что Гиппиас капитулировал и согласился уйти, имея достаточно средств для сопротивления, - просто из заботы о безопасности своих детей. Не следует думать, что он оставил бы своих близких сторонников, подвергаясь опасности; те из них, кто считал себя несносными, естественно, ушли бы вместе с ним; и если это то, что подразумевается под "многими людьми, осужденными на изгнание", то нет причин ставить это под сомнение. Но маловероятно, что кто-то из них был предан смерти, и еще менее вероятно, что кто-то был наказан потерей своих политических привилегий. Через год после этого появилась всеобъемлющая конституция Клейстенеса, которая будет описана в [следующей главе](#), и я считаю крайне маловероятным, что в Аттике был значительный класс жителей, оставшихся вне этой конституции, под категорией сторонников Пейсистрата: действительно, факт не может быть таким, если правда, что самым первым человеком, изгнанным под остракизмом Клейстенеса, был человек по имени Гиппарх, родственник Пейсистрата (Androtion, Fr. 5, ed. Didot; Harpokration, v. "Ἰππαρχος"); и это последнее обстоятельство зависит от свидетельства, лучшего, чем у Андокидеса. То, что в Аттике существовала партия, примыкавшая к Писистратидам, я не сомневаюсь; но то, что это была "влиятельная партия" (как думает д-р Тирлуолл), я не вижу никаких доказательств; а необычайная энергичность и единодушие афинского народа при Клейстенской конституции далеко доказывают, что такого не могло быть.

Я добавлю еще одну причину, чтобы показать, как совершенно неверно Андокидес представляет себе историю Афин между 510-480 гг. до н. э. Он говорит, что когда Пейсистратиды были свергнуты, многие из их сторонников были изгнаны, многим другим было позволено остаться дома с потерей их политических привилегий; но что после этого, когда надвинулась непреодолимая опасность персидского вторжения, народ проголосовал за восстановление изгнанников и устранение существующих лишений дома. Таким образом, он хочет заставить нас поверить, что все изгнанные партизаны Пейсистратидов были восстановлены, а лишенные прав партизаны Пейсистратидов получили права, как раз в момент персидского вторжения и с целью дать Афинам возможность лучше отразить эту серьезную опасность. Это не что иное, как вопиющая ошибка; ведь первое персидское вторжение было предпринято с явной целью восстановления Гиппия и с присутствием самого Гиппия в Марафоне; второе персидское вторжение также было частично вызвано подстрекательством его семьи. Лица, которые до этого времени оставались в изгнании или в бесправном состоянии из-за своей привязанности к Писистратидам, по здравому размышлению не могли быть призваны в опасный момент на помощь в отражении самого Гиппия. Правда, изгнанники и лишенные гражданских прав были приняты на службу незадолго до нашествия Ксеркса и в связи с бедствиями, постигшими государство. Но эти люди не были фило-пейсистратидами; они были числом, постепенно накопленным из приговоров об изгнании и лишении гражданских прав, ежегодно выносимых в Афинах, - ибо это были наказания, применяемые афинским законом за различные преступления и общественные упущения, - приговоренные не были политически недовольны, и их помощь могла бы пригодиться при защите государства от внешнего врага.

Что касается "исключения семьи Писистрата из наиболее полных указов об амнистии, принятых в более поздние времена", я также замечу, что в указе об амнистии они не упоминаются по имени, и против них не делается никаких особых исключений: среди перечня различных категорий исключенных названы те, "которые были осуждены на смерть или изгнание либо как убийцы, либо как деспоты" (ἢ σφαγεῦσιν ἢ τυράννοις, Andokid. с. 13.) Ни в коем случае нельзя быть уверенным, что *потомки* Писистрата будут включены в это исключение, в котором упоминается только сам осужденный; но даже если бы это было иначе, исключение является простым продолжением аналогичных слов исключения в старом солонийском законе, предшествовавшем Писистрату; и, следовательно, не указывает на особое чувство против Писистратидов.

Андокидес - полезный авторитет для афинской политики в его собственное время (между 420-390 гг. до н. э.), но в отношении предыдущей истории Афин между 510-480 гг. до н. э. его утверждения настолько рыхлые, путанные и недобросовестные, что он не является ценным свидетелем. Одно только обстоятельство, отмеченное Валькенаером, что он спутал Марафон и Саламин, было бы достаточным, чтобы показать это; Но если к такому подлинному невежеству добавить его упоминание о двух его прадедах, занимавших видные и победоносные посты, что вряд ли можно считать достоверным, что они когда-либо занимали их, - когда мы вспомним, что факты, которые, как он утверждает, предшествовали и сопровождали изгнание Писистратидов, не только расходятся с теми, что изложены у Геродота, но и настолько надуманы, что создают фактическую аналогию для дела, которое он сам отстаивает, - мы вряд ли сможем оправдать его в чем-то худшем, чем невежество в его показаниях.

[243] Herodot. v, 66-69 ἐσσοῦμενος δὲ ὁ Κλεισθένης τὸν δῆμον προσεταιρίζεται-ὥς γὰρ δὴ τὸν Ἀθηναίων δῆμον, πρότερον ἄπλωσμένον πάντων, τότε πρὸς τὴν ἐωυτοῦ μοίρην προσεθήκατο, etc.

[244] Aristot. Polit. iii, 1, 10; vi, 2, 11. Κλεισθένης,-πολλοῖς ἐφυλέτευσε ξένους καὶ δούλους μετοίκους.

Несколько компетентных критиков, в том числе д-р Тирлуолл, считают, что этот отрывок не имеет смысла, и предполагают, что необходимо сделать какое-то предположительное изменение; хотя нет никакого конкретного изменения, которое бы выглядело как наиболее правдоподобное. В этих обстоятельствах я предпочитаю лучше использовать слова в их нынешнем виде; которые, хотя и необычны, не кажутся мне абсолютно неприемлемыми. Выражение ξένος μέτοικος (которое является совершенно удачным, как мы находим в Aristoph. Equit. 347,-εἶπου δικιδίον εἶπας εἴ κατὰ ξένου μετοίκου) можно рассматривать как коррелят к δούλους μετοίκους, - последнее слово толкуется и с δούλους и с ξένους. Я полагаю, что в Аттике всегда должно было существовать некоторое количество разумных рабов, живущих отдельно от своих хозяев (χωρὶς οἰκοῦντες), в состоянии между рабством и свободой, работая частично на условиях фиксированной оплаты ему, частично на себя, и, возможно, продолжая номинально оставаться рабами после того, как они купили свою свободу в рассрочку. Такие люди были бы δοῦλοι μέτοικοι: действительно, есть случаи, когда δοῦλοι означает *вольноотпущенников* (Meier, De Gentilitate Atticâ, p. 6): они должны были быть трудолюбивыми и напористыми людьми, ценными приверженцами политической революции. См. K. F. Hermann, Lehrbuch der Griech. Staats Alterth. ch. 111, not. 15.

[245] Herodot. v, 69. Κλεισθένης,-ὑπεριδὼν Ἴωνας, ἵνα μὴ σφισι αἱ αὐταὶ ἔωσι φυλαὶ καὶ Ἴωσι.

[246] Такая позиция, кажется, очевидна в Herodot. i, 143.

[247] В качестве иллюстрации к сказанному см. рассказ об изменениях в конституции Цюриха в Blüntschi, Staats und Rechts Geschichte der Stadt Zurich, book iii. ch. 2, p. 322; также Kortüm, Entstehungs Geschichte der Freistädtischen Bünde im Mittelalter, ch. 5, pp. 74-75.

[248] Об этих одноименных героях десяти племен и легендах, связанных с ними, см. главу viii Ἐπιτάφιος Λόγος, ошибочно приписываемую Демосфену.

[249] Herodot. v, 69. δέκα δὲ καὶ τοὺς δῆμους κατένεμε ἐς τὰς φυλάς.

Шеманн утверждает, что Клейстенес учредил ровно сто демов для десяти племен (De Comitibus Atheniensium, Praef. p. xv и p. 363, и Antiquitat. Jur. Pub. Græc. ch. xxii, p. 260), а К. Ф. Герман (Lehrbuch der Griech. Staats Alt. ch. 111) считает, что именно это хотел утверждать Геродот, хотя он не верит, что факт действительно имел место.

Я склоняюсь, как к наименьшему затруднению в данном случае, к толкованию δέκα с φυλάς, а не с δῆμους, как это делают Вахсмут (i, 1, p. 271) и Дитерих (De Clisthene, трактат, цитируемый К. Ф. Германом, но который я не видел).

[250] Дем *Мелиток* принадлежал племени Кекропис; *Коллитус* - племени Эгеис; *Кидатенæон* - племени Пандионис; *Керамейс* или *Керамейкус* - Акамантис; *Скамбонидæ* - Леонтис.

Все эти пять владений находились в пределах города Афины, и все они принадлежали разным племенам.

Пейрæй принадлежал Гиппотоонтисам; *Фалекрум* - Иантисам; *Ксипеток* - Кекрописам; *Тимæтадæ* - Гиппотоонтисам. Эти четыре дема, примыкающие друг к другу, образовали своего рода четверной местный союз для проведения праздников и других целей между собой, хотя три из них принадлежали разным племенам.

См. список аттических демов с тщательным описанием их местоположения, насколько это удалось установить, в книге профессора Росса "Демены Аттики". Halle, 1846. Распределение городов-демов, а также Пейреуса и Фалерума между различными племенами представляется мне ясным доказательством намерений первоначальных распространителей. Это показывает, что они с самого начала хотели сделать демы, составляющие каждое племя, прерывистыми, и что они хотели предотвратить как рост отдельных интересов племени, так и возвышение одного племени над остальными. Это противоречит мнению тех, кто полагает, что племя изначально состояло из непрерывных демов, а нарушение непрерывности возникло в результате последующих изменений.

Конечно, было много случаев, когда соседние земли принадлежали одному племени; но ни одно из десяти племен не состояло полностью из соседних земель".

[251] См. Bœckh, Corp. Inscriptt. №№ 85, 128, 213 и т. д.: ср. Demosthen. cont. Theokrin. c. 4. p. 1326 R.

[252] Можно заметить, что этот регистр назывался особым именем, Лексиархическим регистром; в то время как примитивный регистр фраторов и язычников всегда сохранял, даже во времена ораторов, свое первоначальное название общего регистра - Арпократион, ст. Κοινὸν γράμματεϊον καὶ ληξιαρχικόν.

[253] См. Schömann, Antiq. Jur. P. Græc. ch. xxiv. Ораторская речь Демосфена против Эвбулида поучительна в отношении этих действий собравшихся демонов: сравните Harpokration, v. Διαψήφισις, и Meier, De Bonis Damnatorum, ch. xii, p. 78, etc.

[254] Aristot. Fragment. de Republ., ed. Neumann.-Ἀθην. πολιτ. Fr. 40, p. 88; Schol. ad Aristophan. Ran. 37; Harpokration, v. Δήμαρχος-Ναυκραρική; Photius, v. Ναυκραρία.

[255] Herodot. vi, 109-111.

[256] Harpokration, v. Ἀποδέκται.

[257] См. ценный трактат Шеманна, De Comitiis, *passim*; также его Antiq. Jur. Publ. Gr. ch. xxxi; Harpokration, v. Κυρία Ἐκκλησία; Pollux, viii, 95.

[258] См. по этому вопросу, в частности, трактат Шеманна, De Sortitione Judicum (Gripswald, 1820), и работу того же автора, Antiq. Jur. Publ. Græc. ch. 49-55, p. 264, *seqq.*; также Heffter, Die Athenäische Gerichtsverfassung, part ii, ch. 2, p. 51, *seqq.*; Meier and Schömann, Der Attische Prozess, pp. 127-135.

Взгляды Шеманна на сортировку афинских присяжных подверглись ожесточенным нападкам, но ни в коей мере не были опровергнуты Ф. В. Фрицше (De Sortitione Judicum apud Athenienses Conmentatio, Leipsic, 1835).

Два или три таких дикастических билета с указанием имени и деми гражданина, а также буквы декурия, к которому он принадлежал в определенный год, были недавно откопаны вблизи Афин: - Δ.

Δ. Διόδωρος	Ε. Δεινίας
Φρεάρριος	Ἀλαιεύς.

(Boeckh, Corp. Inscrip. № 207-208.)

Фрицше (стр. 73) считает, что это билеты сенаторов, а не дикастов, вопреки всякой вероятности.

О клятве гелиастов и ее примечательных особенностях см. Demosthen. cont. Timokrat. p. 746. См. также Aristophanês, Plutus, 277 (с ценными схождениями, хотя из разных рук и не все одинаково правильные) и 972; Ekklesiastusæ, 678, *seqq.*

[259] Plutarch, Arist. 7; Herodot. vi, 109-111.

[260] Аристотель соединяет эти два понятия вместе: избрание магистратов массой граждан, но только из лиц, обладающих высокой материальной квалификацией; это он относит к наименее демократической демократии, если можно употребить это выражение (Politic. iii, 6-11), или среднему между демократией и олигархией, - ἀριστοκρατία, или πολιτεία, в его смысле этого слова (iv, 7, 3). Он рассматривает использование жребия как симптом решительной и крайней демократии, которая никогда не допустит материального ограничения права на участие в выборах.

Так же и Платон (Legg. iii, p. 692), заметив, что законодатель Спарты сначала предоставил сенат, а затем эфоров в качестве узды для царей, говорит об эфорах, что они были "чем-то почти приближающимся к власти, исходящей от жребия", "-οἷον ψάλιον ἐνέβαλεν αὐτῇ τὴν τῶν ἐφόρων δύναμιν, ἐγγὺς τῆς κληρωτῆς ἀγαγὼν δυνάμεως.

На этот отрывок есть несколько хороших замечаний в издании Шеманна "Жизни Агиса и Клеомена" Плутарха (Comment. ad Ag. c. 8, p. 119). Следует помнить, что реальный способ, которым спартанские эфоры выбирались, как я уже говорил в моем первом томе, не может быть четко определен, и критики много спорили: - "Mihi æs ver ver".

"Mihi hæc verba, quum illud quidem manifestum faciant, quod etiam aliunde constat, sorte captos ephoros non esse, tum hoc alterum, quod Hermannus statuit, creationem sortitioni non absimilem fuisse, nequaquam demonstrare videntur. Nimirum nihil aliud nisi prope accedere ephorum magistratus ad cos dicitur, qui sortito capiuntur. Sortitis autem magistratibus hoc maxime proprium est, ut promiscue-non ex genere, censu, dignitate-a quolibet capi possint: quamobrem quum ephori quoque

fere promiscue fierent ex omni multitudine civium, poterat haud dubie magistratus eorum ἐγγὺς τῆς κληρωτῆς δυνάμεως esse dici, etiamsi αἵρετοὶ essent-h. e. suffragiis creati. Et video Lachmannum quoque, p. 165, not. 1, de Platonis loco similiter judicare".

Использование жребия, как замечает Шеманн, подразумевает всеобщую допустимость всех граждан к должности: хотя обратное не верно, - последнее не обязательно подразумевает первое. Так как мы знаем, что всеобщая допустимость стала афинским законом только после битвы при Платее, мы можем заключить, что до этой эпохи, *то есть* при конституции Клейстенеса, жребий не имел места.

[261] Плутарх, Периклес, с. 9-16.

[262] См. отрывок о таких персонажах в Платоне, Республика, v, p. 475 B.

[263] Plutarch, Arist. 22.

[264] Так, по крайней мере, называли сторонников конституции Клейстенеса современники Перикла.

[265] Plutarch, Arist. *ut sup.* γράφει ψήφισμα, κοινὴν εἶναι τὴν πολιτείαν, καὶ τοὺς ἄρχοντας ἐξ Ἀθηναίων πάντων αἰρεῖσθαι.

[266] Так и в итальянских республиках XII и XIII веков дворяне долгое время продолжали обладать исключительным правом быть избранными в консульство и на великие государственные должности, даже после того, как эти должности стали избираться народом: привычные злоупотребления и притеснения дворян постепенно положили конец этому праву и даже создали во многих городах постановление, положительно исключающее их. В Милане в конце двенадцатого века двенадцать консулов вместе с подестатом обладали всеми полномочиями правительства: эти консулы назначались сотней выборщиков, избранных народом. Сисмонди отмечает: "Независимо от того, что народ сам навязал этим выборщикам основополагающее правило выбора всех магистратов в корпусе знати. Это не совсем то владение магистратурами, которое мы оспариваем у дворян: мы требуем лишь, чтобы они были непосредственными мандатариями нации. Но более двух раз, в нарушение неоспоримого права граждан, царствующие консулы приписывали себе избрание преемников". (Sismondi, Histoire des Républiques Italiennes, chap. xii, vol. ii, p. 240.)

[267] Plutarch, Kimon, с. 15. τὴν ἐπὶ Κλεισθένους ἐγείρειν ἀριστοκρατίαν πειρωμένον: compare Plutarch, Aristeidês, с. 2, and Isokratês, Areopagiticus, Or. vii, p. 143, p. 192, ed. Bek.

[268] Геродот говорит о Каллимахе Полемархе, при Марафоне, как о ὁ τῷ κυάμῳ λαχὼν Πολέμαρχος (vi, 110).

Я не могу не думать, что в данном случае он переносит на 490 год до н. э. практику своего времени. Полемарх во время Марафонской битвы был в определенном смысле первым стратегом; а стратегов никогда не выбирали по жребию, но всегда выбирали поднятием рук, вплоть до конца демократии. Кажется невозможным поверить, что стратеги избирались, а полемарх, в то время, когда его функции были такими же, как у них, выбирался по жребию.

Геродот, похоже, считал выбор магистратов по жребию сущностью демократии (Herodot. iii, 80).

Плутарх также (Periklês, с. 9), похоже, считал выбор архонтов по жребию очень древним афинским институтом: тем не менее, из первой главы его жизни Аристейдеса - неясной главы, в которой упоминаются противоречивые авторитеты без должного разбора, - следует, что Аристейдес был *избран архонтом народом*, а не по жребию: дополнительная причина верить в это - то, что он

был архонтом в год после битвы при Марафоне, в которой он был одним из десяти полководцев. Идоменей однозначно утверждал, что так оно и есть: οὐ κωαμευτὸν, ἀλλ' ἐλομένων Ἀθηναίων (Плутарх, Arist. с. 1).

Исократ также (Areopagit. Or. vii, p. 144, p. 195, ed. Bekker) считал, что конституция Клейстенеса включала все три пункта, отмеченные в тексте: 1. Высокий денежный ценз, позволяющий претендовать на отдельные должности. 2. Избрание на эти должности всеми гражданами и ответственность перед ними после вступления в должность. 3. Никакой занятости по жребию. - Он даже утверждает, что эти выборы более демократичны, чем сортировка; поскольку в последнем случае могут быть допущены люди, связанные с олигархией, чего не произошло бы при первом, - ἔπειτα καὶ δημοτικωτέραν ἐνόμιζον ταύτην τὴν κατάστασιν ἢ τὴν διὰ τοῦ λαγχάνειν γιγνομένην- ἐν μὲν γὰρ τῇ κληρώσει τὴν τύχην βραβεύσειν, καὶ πολλάκις λήψεσθαι τὰς ἀρχὰς τοὺς τῆς ὀλιγαρχίας ἐπιθυμοῦντας, и т.д. Это был бы хороший аргумент, если бы не было материального ценза для получения права, - такой материальный ценз является положением, которое он устанавливает, но на котором он не находит удобным настаивать категорически.

Я не упоминаю здесь οὐ γραφὴ παρανόμων, νομοφύλακες и клятвенных νομόθεται, - все эти учреждения относятся ко времени Перикла не ранее, чем к времени Клейстенеса.

[269] См. выше, гл. xi. т. iii. с. 145.

[270] Aristeidês Rhetor. Orat. xlvii. vol ii. p. 317, ed. Dindorf.

[271] Плутарх (Nikias, с. 11; Alkibiad. с. 13; Aristeid. с. 7): Thucyd. viii, 73. Платон Комик говорит в отношении Гипербола.

Οὐ γὰρ τοιοῦτων οὐνεκ' ὄστραχ' ἠϋρέθη.

Теофраст утверждал, что Феракс, а не Никиас, был соперником Алкивиада по этому случаю, когда Гипербол был изгнан; но большинство авторов, говорит Плутарх, представляют Никиаса в качестве этого человека. Любопытно, что по поводу столь известного факта, да еще в самое известное время афинской истории, должны существовать разногласия.

Тейлор считает, что речь, которую сейчас выдают за речь Андокидеса против Алкивиада, на самом деле принадлежит Фераксу, и была прочитана Плутархом как речь Феракса в реальном поединке остракизма между Фераксом, Никиасом и Алкивиадом. Ему возражают Рюнкен и Валкенаер (см. предисловие Слюйтера к этой оратории, с. 1, и Рюнкен, Hist. Critic. Oratt. Græcor. p. 135). Я не могу согласиться ни с тем, ни с другим: Я не могу думать вместе с ним, что это настоящая оратория Феакса; я также не могу думать вместе с ними, что это настоящая орация по какому-либо подлинному поводу остракизма. Мне кажется, что она была написана уже после того, как остракизм пришел в упадок и когда афиняне не только стали немного стыдиться его, но и утратили привычное представление о том, чем он на самом деле был. Ибо как иначе объяснить тот факт, что автор этой оратории жалуется на то, что его собираются подвергнуть остракизму без какого-либо тайного голосования, в котором заключалась сама суть остракизма и от которого было заимствовано его название (οὔτε διαψηφισαμένων κρυβδὴν, с. 2)? Его ораторская речь построена так, как будто аудитория, к которой он обращается, собирается подвергнуть остракизму одного из трех, подняв руки. Но процесс остракизма не включал в себя никаких собраний и проповедей, ничего, кроме простого помещения раковин в ларец; это видно из описания специальных перил на агоре, а также из истории (правдивой или ложной) о том, как неграмотный горожанин пришел в город, чтобы отдать свой голос, и попросил Аристеидеса, даже не зная его, написать его имя на раковине (Plutarch, Aristeid. с. 7). Действительно, в сенате, как и в экклесии, ранее обсуждался вопрос о том, следует ли вообще прибегать к остракизму; но автор оратории, на которую я

ссылаюсь, не касается *этого* вопроса; он предполагает, что голосование действительно должно состояться и что один из троих - он сам, Никиас или Алкивиад - должен быть подвергнут ostracismu (с. 1). Несомненно, на практике решение обычно принималось между двумя грозными соперниками, но оно не выносилось на суд народа публично или формально: каждый гражданин мог написать на раковине такое имя, какое он выберет. Кроме того, открытое обличение несправедливости ostracismu как системы (с. 2) относится к более позднему периоду, чем изгнание Гипербола. Более того, автор, начав с замечания о том, что он соперничает как с Никиасом, так и с Алкивиадом, больше ничего не говорит о Никиасе до конца речи.

[272] См. обсуждение ostracismu в Aristot. Politic. iii, 8, где он признает эту проблему общей для всех правительств.

Сравните также хорошую диссертацию Дж. А. Paradys, De Ostracismo Atheniensium, Lugduni Batavor. 1793; K. F. Hermann, Lehrbuch der Griechischen Staatsalterthümer, ch. 130; и Schömann, Antiq. Jur. Pub. Græc. ch. xxxv, p. 233.

[273] Plutarch, Aristeid. c. 3.

[274] Баратрум - глубокая яма, на дне которой, как говорят, были железные шипы, в которую иногда бросали преступников, приговоренных к смерти. Хотя это, вероятно, древнее афинское наказание, в исторически известные нам времена Афин оно, по крайней мере, стало крайне редким, а то и вовсе вышло из употребления; однако фраза продолжала звучать в речи и после того, как эта практика вышла из употребления. О железных шипах свидетельствуют Schol. Аристофан. Plutus, 431, - весьма сомнительный авторитет, когда мы читаем легенду, которую он присоединяет к своему утверждению.

[275] Thucyd. iii, 70, 81, 82.

[276] Andokidês, De Mysteriis, p. 12, c. 13. Μηδὲ νόμον ἐπ' ἀνδρὶ ἐξεῖναι θεῖναι, ἐὰν μὴ τὸν αὐτὸν ἐπὶ πᾶσιν Ἀθηναίοις- ἐὰν μὴ ἐξακισχίλιοις δόξῃ, κρυβδῇν ψηφίζομένοις. В соответствии с обычной вольностью в обращении с именем Солона, этот закон был назван законом Солона (см. Petit. Leg. Att. p. 188), хотя он, конечно, не может быть старше Клейстенеса.

"Privilegia ne irroganto", - гласил закон Двенадцати таблиц в Риме (Cicero, Legg. iii, 4-19).

[277] Aristotle and Philochorus, ap. Photium, App. p. 672 и 675, ed. Porson.

Из этого отрывка скорее следует, что ostracismu никогда не был формально отменен; и что даже в более поздние времена, к которым относится описание Аристотеля, все еще сохранялась форма постановки вопроса о том, требует ли общественная безопасность голосования за ostracismu, долгое время после того, как он вышел из употребления и из памяти.

[278] Philochorus, *ut supra*; Plutarch, Aristeid. c. 7; Schol. ad Aristophan. Equit. 851; Pollux, viii, 19.

Среди авторитетов, как и среди толкователей, существует различие во мнениях, относится ли минимум в шесть тысяч к голосам, поданным в целом, или к голосам, поданным против какого-либо одного имени. Я придерживаюсь последнего мнения, которое поддерживают Филохор, Поллукс и схолии об Аристофане, хотя Плутарх поддерживает первое. Боэций в своем "Общественном хозяйстве Афин" и Вахсмут (i, 1, p. 272) поддерживают Плутарха и первое мнение; Парадиз (Dissertat. De Ostr. p. 25), Платнер и Герман (см. K. F. Hermann,

Lehrbuch der Gr. Staatsalt. ch. 130, not. 6) поддерживают другое, которое кажется мне правильным.

Ибо цель, столь недвусмысленно выраженная в общем законе, определяющем абсолютный минимум, необходимый для *привилегии*, ни в коем случае не была бы достигнута, если бы простое большинство голосов среди шести тысяч избирателей в целом было допущено к действию. Тогда человек мог быть подвергнут остракизму при очень малом числе голосов против него и без создания разумного предположения, что он опасен для конституции; что ни в коем случае не было ни целью Клейстенеса, ни хорошо понятным действием остракизма, пока он оставался реальностью.

[279] Практическая деятельность остракизма представляет его как борьбу двух соперничающих лидеров, сопровождаемую возможностью изгнания обоих - Периклес πρὸς τὸν Θουκυδίδην εἰς ἀγῶνα περὶ τοῦ ὀστράκου καταστάς, καὶ διακινδυνεύσας, ἐκεῖνον μὲν ἐξέβαλε, κατέλυσε δὲ τὴν ἀντιτεταγμένην ἑταιρείαν (Plutarch, Periklēs, c. 14; ср. Плутарх, Никиас, с. 11).

[280] В этом замечании нет необходимости обращать внимание ни на олигархию Четырехсот, ни на олигархию Тридцати, называемую Тридцатью Тиранами, созданную в последние годы Пелопоннесской войны и после того, как остракизм был отменен. Ни одна из этих перемен не была вызвана чрезмерным возвышением одного или нескольких человек: обе они выросли из затруднений и опасностей, в которых оказались Афины в последний период своей великой внешней войны.

[281] Аристотель (Polit. iii, 8, 6), кажется, признает политическую необходимость остракизма, применяемого даже при очевидном превосходстве богатства, связей и т. д. (которое он резко отличает от превосходства заслуг и характера), и только на основе принципов симметрии, даже без опасных замыслов со стороны высшего ума. Ни один художник, замечает он, не позволит, чтобы нога на его картине человека была непропорционально велика по отношению ко всему телу, хотя по отдельности она может быть прекрасно написана; ни один хормейстер не позволит, чтобы один голос, каким бы прекрасным он ни был, преобладал сверх определенной пропорции над остальными.

Его окончательный вывод, однако, состоит в том, что законодатель должен, если возможно, так построить свою конституцию, чтобы не было нужды в таком исключительном средстве; но если это невозможно, то вторым лучшим шагом будет применение остракизма. Сравните также v, 2, 5.

Последний век свободной афинской демократии реализовал первую из этих альтернатив.

[282] Плутарх, Никиас, с. 11: Harpokration. v. Ἰππάρχος.

[283] Lysias cont. Alkibiad. A. с. 11, p. 143: Harpokration. v. Ἀλκιβιάδης; Andokidēs cont. Alkibiad. с. 11-12, pp. 129, 130: эта последняя оратория может служить доказательством упомянутых в ней фактов, хотя я не могу представить ее ни подлинной, ни относящейся к тому времени, к которому она, как было отмечено в предыдущем примечании, относится.

[284] Плутарх, Периклес. с. 4; Плутарх. Aristeid. с. 1.

[285] Ælian, V. H. xiii, 24; Herakleidēs, περὶ Πολιτειῶν, с. 1, ed. Köhler.

[286] Плутарх, Themistoklês, 22; Плутарх, Aristeidês, 7, παραμυθία φθόνου καὶ κουφισμός. См. те же мнения у Wachsmuth, Hellenische Alterthumskunde, ch. 48, vol. i, p. 272, и у Platner, Prozess and Klagen bey den Attikern, vol. i, p. 386.

[287] Thucyd. viii, 73, διὰ δυνάμεως καὶ ἀξιώματος φόβον.

[288] Kratinus ap. Plutarch, Periklês, 13.

Ὁ σχινοκέφαλος Ζεὺς ὁδὶ προσέρχεται

Περικλέης, τῷδεῖον ἐπὶ τοῦ κρανίου

Ἔχων, ἐπειδὴ τοῦστρακὸν παροίχεται.

О нападках комических писателей на Дамона см. Плутарх, Periklês, с. 4.

[289] Aristot. Polit. iii, 8, 4; v, 2, 5.

[290] Diodor. xi, 55-87. Этот автор очень несовершенно описывает афинский остракизм, перенося на него, по-видимому, обстоятельства сиракузского петализма.

[291] Herodot. v, 70-72; ср. Schol. ad Aristophan. Lysistr. 274.

[292] Herodot. v, 73.

[293] См. т. ii, с. 295, ч. ii, гл. 3.

[294] Thucyd. iii, 61.

[295] Herodot. vi, 108. ἔῃν Θηβαίους Βοιωτῶν τοὺς μὴ βουλομένους ἐς Βοιωτοὺς τελέειν. Это важное обстоятельство, касающееся греческого политического чувства: Я останавлиюсь на нем в дальнейшем.

[296] Herodot. vi, 108. Фукидид (iii, 58), рассказывая о взятии Платеи лакедемонянами в третий год Пелопоннесской войны, утверждает, что союз между Платеей и Афинами был тогда на 93-м году жизни; согласно этому отсчету, он должен был начаться в 519 году до н. э., куда его помещают г-н Клинтон и другие хронологи.

Я осмелюсь предположить, что непосредственные обстоятельства, как они изложены в тексте Геродота (представлял ли их таким же образом Фукидид, определить невозможно), которые привели к объединению Платеи с Афинами, не могли иметь место в 519 году до н. э., но должны были произойти *после* изгнания Гиппия из Афин в 510 году до н. э., - по следующим причинам: - 1.

1. Не упоминается Гиппий, который, однако, если бы это событие произошло в 519 году до н. э., должен был бы определить, должны ли афиняне помогать Платее или нет. Посланники Платеи предстают перед публичным жертвоприношением в образе сторонников, чтобы затронуть чувства афинских граждан в целом: если бы Гиппий был тогда деспотом, *он* был бы тем человеком, которого следовало бы умиловить и определить, за или против помощи.

2. Мы не знаем причин, которые могли бы привести Клеоменеса с лакедемонским отрядом к Платее в 519 году до н. э.: мы знаем из заявления Геродота (v, 76), что в это время не было лакедемонской экспедиции против Аттики. Но в год, к которому я отнес это событие, Клеоменес совершает поход вблизи этого места с известной и определенной целью. Из самого повествования ясно, что Клеоменес со своим войском не собирался находиться в Беотии и не вмешивался в беотийские дела в то время, когда платейцы просили его о

помощи; он отказывается вмешиваться в это дело, ссылаясь на большое расстояние между Спартой и Платеей.

3. Опять же, Клеоменес, советуя платейцам обратиться за помощью к Афинам, дает этот совет не по доброй воле, а из желания досадить афинянам, втянув их в ссору с беотийцами. В тот момент, к которому я отношу этот инцидент, это было вполне естественным желанием: он был разгневан и, возможно, встревожен недавними событиями, которые привели к его изгнанию из Афин. Но что могло заставить его испытывать подобные чувства к Афинам во времена правления Гиппия? Этот деспот находился в самых близких отношениях со Спартой: Писистратиды были (ξείνους-ξενίους ταράλιστα-Herod. v, 63, 90, 91) "особыми гостями" спартанцев, которых побудило принять участие в войне против Гиппия лишь неохотное повиновение оракулам, которые один за другим получал Клейстенес. Поэтому мотив, который Геродот приписывает совету, данному Клеоменесом платейцам, не может быть применим к тому времени, когда Гиппий еще был деспотом.

4. То, что Геродот не считал победу, одержанную афинянами над Фивами, состоявшейся до изгнания Гиппия, видно из его резкого противопоставления их воинственного духа и успеха, когда они освободились от деспота, и их робости или отсталости, когда они находились под властью Гиппия (Ἀθηναῖοι τυραννεύομενοι μὲν, οὐδαμῶν τῶν σφέας περιοικεόντων ἔσαν τὰ πολέμια ἀμείνους, ἀπαλλαχθέντες δὲ τυράννων, μακρῶ πρῶτοι ἐγένοντο- δηλοῖ ὧν ταῦτα, ὅτι κατεχόμενοι μὲν, ἐθελόκακεον, etc. v, 78). Тот, кто так писал, не мог поверить, что в 519 году до н. э., когда Гиппий был в полном составе, афиняне одержали важную победу над фиванцами, отрезали значительную часть фиванской территории, чтобы присоединить ее к территории платейцев, и с тех пор демонстрировали свое постоянное превосходство над Фивами, защищая от них свою более низкую соседку.

Эти различные причины, взятые в совокупности, как мне кажется, показывают, что первый союз между Афинами и Платеями, как его представляет и описывает Геродот, не мог состояться до изгнания Гиппия в 510 году до н. э.; и заставляют меня полагать, что либо Фукидид ошибся в дате этого события, либо Геродот неверно описал факты. Не видя причин подозревать описание, данное последним, я, хотя и неохотно, отошел от даты Фукидида.

Обращение платейцев к Клеоменесу и его советы, основанные на этом, могут быть связаны скорее с его первой экспедицией в Афины после изгнания Гиппия, чем со второй.

[297] Herodot. v, 75.

[298] Сравните Kortüm, Zur Geschichte Hellenischer Staats-Verfassungen, p. 35 (Heidelberg, 1821).

Я сомневаюсь, однако, в его интерпретации слов Геродота (v, 63) -εἴτε ἰδίῳ στόλῳ, εἴτε δημοσίῳ χρησόμενοι.

[299] Herodot. v, 77; Ælian, V. H. vi, 1; Pausan. i, 28, 2.

[300] Herodot. v, 80.

[301] По выражению Геродота, герои Эакиды действительно посланы из Эгины и действительно отправлены обратно фиванцами (v, 80-81) -Οἱ δὲ σφί αἰτέουσι ἐπικουρίην τοὺς Αἰακίδας συμπεμπεῖν ἔφασαν, αὐτίς οἱ Θηβαῖοι πέμψαντες, τοὺς μὲν Αἰακίδας σφί ἀπεδίδοσαν, τῶν δὲ ἀνδρῶν ἐδέοντο. Сравните также v, 75; viii, 64; и Polyb. vii, 9, 2. θεῶν τῶν συστратευομένων.

Юстин приводит рассказ об аналогичном обращении локрийцев из Эпизефирии в Спарту (xx, 3): "Territi Locrenses ad Spartanos decurrunt: auxilium supplices deprecantur: illi longinquâ militiâ gravati, auxilium a Castore et Polluce petere eos jubent. Neque legati responsum sociæ urbis spreverunt; profectique in proximum templum, facto sacrificio, auxilium deorum implorant. Litatis hostiis, *obtentoque, ut rebantur, quod petebant-haud secus læti quam si deos ipsos secum avecturi essent-pulvinaria* iis in navi componunt, faustisque profecti ominibus, *solatia suis pro auxiliis* deportant." Сравнивая выражения Геродота и Юстина, мы видим, что первый верит в прямое буквальное присутствие и действие героев Эакидов ("фиванцы отослали назад героев и попросили людей"), а второй объясняет божественное вмешательство простым воображением и чувством тех, кому оно должно было быть дано. Таков был тон тех поздних авторов, за которыми следовал Юстин: сравните также Pausan. iii, 19, 2.

[302] Herodot. v, 81-82.

[303] Herodot. v, 83-88.

[304] Herodot. v, 81-89. μεγάλως Ἀθηναίους ἐσινέοντο.

[305] Herodot. v, 90.

[306] Herodot. v, 90, 91.

[307] Herodot. v, 92. ...τυραννίδας ἐς τὰς πόλεις κατάγειν παρασκευάζεσθε, τοῦ οὔτε ἀδικώτερον ἐστὶ οὐδὲν κατ' ἀνθρώπους οὔτε μισαιφονώτερον.

[308] Herodot. v, 93. μὴ ποιεῖν μηδὲν νεώτερον περὶ πόλιν Ἑλλάδα.

[309] Herodot. v, 93-94.

[310] Thucyd. i, 68-71, 120-124.

[311] Herodot. v, 78-91. Ἀθηναῖοι μὲν νυν ἡῤῃξηντο- δηλοῖ δὲ οὐ κατ' ἓν μόνον ἀλλὰ πανταχῇ, ἡ ἰσηγορίη ὡς ἔστι χρῆμα σπουδαῖον, εἰ καὶ Ἀθηναῖοι τυραννευόμενοι μὲν, οὐδαμῶν τῶν σφέας περιοικεόντων ἔσαν τὰ πολέμια ἀμείνους, ἀπαλλαχθέντες δὲ τυράννων, μακρῷ πρῶτοι ἐγένοντο- δηλοῖ ὧν ταῦτα, ὅτι κατεχόμενοι μὲν, ἐθελοκάκεον, ὡς δεσπότη ἐργαζόμενοι, ἐλευθερωθέντων δὲ, αὐτὸς ἕκαστος ἐωῦτῷ προθυμέετο κατεργάζεσθαι.

(с. 91.) Οἱ Λακεδαιμόνιοι-νόω λαβόντες, ὡς ἐλεύθερον μὲν ἐὼν τὸ γένος τὸ Ἀττικόν, ἰσόρροπον τῷ ἐωῦτῶν ἂν γένοιτο, κατεχόμενον δὲ ὑπὸ τοῦ τυραννίδι, ἀσθενὲς καὶ πειθαρχέεσθαι ἐτοῖμον.

[312] Herodot. iii, 80. Πλήθος δὲ ἄρχον, πρῶτα μὲν, οὔνομα πάντων κάλλιστον ἔχει, ἰσονομίην- δεύτερα δὲ, τούτων τῶν ὁ μόναρχος, ποιεῖ οὐδέν- πάλω μὲν ἀρχὰς ἄρχει, ὑπεύθυνον δὲ ἀρχὴν ἔχει, βουλευματα δὲ πάντα ἐς τὸ κοινὸν ἀναφέρει.

Демократический оратор в Сиракузах, Афинагор, также ставит это имя и обещание в первый ряд преимуществ - (Thucyd. vi, 39)-ἐγὼ δὲ φημι, πρῶτα μὲν, δῆμον ξύμπαν ὠνόμασθαι, ὀλιγαρχίαν δὲ, μέρος, etc.

[313] См. предыдущую главу xi этой "Истории", т. iii, с. 145, относительно упомянутой здесь солоновской декларации.

[314] См. две речи Перикла в Thucyd. ii, 35-46, и ii, 60-64. Сравните размышления Фукидида о двух демократиях - Афинской и Сиракузской, vi, 69 и vii, 21-55.

[315] Thucyd. vii, 69. Πατρίδος τε τῆς ἐλευθερωτάτης ὑπομιμνήσκων καὶ τῆς ἐν αὐτῇ ἀνεπιτακτοῦ πᾶσιν ἐς τὴν δίαίταν ἐξουσίας, etc.

[316] Сравните замечательную речь коринфских посланников в Спарте (Thucyd. i, 68-71) с φιλοπραγμοσύνη, которую Демосфен так выразительно отмечает у Филиппа (Olynthiac. i, 6, p. 13): также Philippic. i, 2, и Филиппики и Олинфии в целом.

[317] Среди утраченных произведений Антисфена, современника Ксенофонта и Платона и происходившего, как и они, из обучения Сократеса, было одно Κῦρος, ἡ περὶ Βασιλείας (Diogenes Laërt. vi, 15).

[318] Что это была реальная история - близкая параллель Ромула и Рема - мы можем видеть по Геродоту, i, 122. Некоторые рационализирующие греки или персы превратили ее в более правдоподобную историю о том, что жену пастуха, которая сосала мальчика Кира, звали Κυνώ (Κυών - собака, мужчина или женщина); утверждая, что это последнее было реальной основой, а вмешательство суки было преувеличением, основанным на имени женщины, чтобы божественная защита, проявленная к Киру, могла быть еще более очевидной, -οἱ δὲ τοκέες παραλαβόντες τὸ οὔνομα τοῦτ (ἵνα θειοτέρως δοκέῃ τοῖσι Πέρσησι περιεῖναί σφι ὁ παῖς), κατέβαλον φάτιν ὡς ἐκκείμενον Κῦρον κύων ἐξέθρεψε- ἐνθεῦτεν μὲν ἡ φάτις αὐτὴ κεχωρήκεε.

В первом томе этой Истории я обратил внимание на различные трансформации, произведенные Палефатом и другими над греческими мифами: таран, который перенес Фрикса и Элладу через Геллеспонт, представлен нам как человек *по имени Криус*, который помог им бежать, крылатый конь, который нес Беллорофона, был кораблем *по имени Пегас*, и т.д.

Та же операция была проделана и с историей о том, как Кир сосал ребенка; мы не будем рисковать, утверждая, что чудесная история является более древней из двух. Чувства, которые приветствуют чудесную историю, являются ранними и примитивными; те, которые разрушают чудо до обыденного факта, развиваются позже.

[319] Herodot. i, 95. Ὡς ὧν Περσέων μετεξέτεροι λέγουσιν, οἱ μὴ βουλόμενοι σεμνοῦν τὰ περὶ Κῦρον, ἀλλὰ τὸν ἔοντα λέγειν λόγον, κατὰ ταῦτα γράψω- ἐπιστάμενος περὶ Κύρου καὶ τριφασίας ἄλλας λόγων ὁδοὺς φῆναι. Таким образом, его информаторами были избранные люди, которые отличались от персов в целом.

Длинное повествование о младенчестве и росте Кира содержится в Herodot. i, 107-129.

[320] См. отрывки из утраченной персидской истории Ктесия в Фотиевом кодексе lxii, также приложенные к изданию Геродота Швейгхаузера, т. iv, с. 345. Φησὶ δὲ (Ktêsias) αὐτὸν τῶν πλειόνων ἃ ἱστορεῖ αὐτόπτην γενόμενον, ἢ παρ' αὐτῶν Περσῶν (ἐνθα τὸ ὁρᾶν μὴ ἐνεχώρει) αὐτήκοον καταστάντα, οὕτως τὴν ἱστορίαν συγγράψαι.

К расхождению между Ксенофонтом, Геродотом и Ктесиасом по вопросу о Кире следует добавить утверждение Эсхила (Persæ, 747), древнейшего авторитета из всех, и утверждение армянских историков: см. Bähr ad Ktesiam, p. 85: comp. Комментарии Бэра по поводу расхождений, стр. 87.

[321] Ксенофонт, Анабас. i, 8, 26.

[322] Herodot. i, 71-153; Arrian, v, 4; Strabo, xv, p. 727; Plato, Legg. iii, p. 695.

[323] Ксенофонт, Анабас. iii, 3, 6; iii, 4, 7-12. Страбон читал рассказы, согласно которым последняя битва между Астиагесом и Киром произошла около Пасаргад (xv, p. 730).

Однако Риттер считает вероятным, что разрушенный город, который Ксенофонт назвал Меспилой, был древней ассирийской Ниневией, а другой заброшенный город, который Ксенофонт назвал Лариссой, расположенный на Тигре, должен был быть первоначально ассирийским, а не мидийским. См. о Ниневии выше, глава о вавилонянах, т. III, гл. XIX, с. 305, примечание.

Земля к востоку от Тигра, на которой находились Ниневия и Арбела, кажется, называлась Атурией - диалектический вариант Ассирии (Strabo, xvi, p. 737; Dio Cass. lxviii, 28).

[324] Xenophanês, Fragm. p. 39, ap. Schneidewin, Delectus Poett. Elegiac. Græc.-

Πήλικος ἦσθ' ὅθ' ὁ Μῆδος ἀφίκετο;

Сравните Феогнис, v, 775, и Геродот. i, 163.

[325] Strabo, xv, p. 724. ὁμόγλωττοι παρὰ μικρόν. См. Heeren, Ueber den Verkehr der Alten Welt, part i, book i, pp. 320-340, и Ritter, Erdkunde, West-Asien, b. iii, Abtheil. ii, sects. 1 и 2, pp. 17-84.

[326] О провинции Персис см. Strabo, xv, p. 727; Diodor. xix, 21; Quintus Curtius, v, 13, 14, pp. 432-434, с ценными пояснениями Mützell (Berlin, 1841). Сравните также "Второе путешествие Мориера в Персию", с. 49-120, и "Эрдкунде Западной Азии" Риттера, с. 712-738.

[327] Ktêsiâs, Persica, с. 2.

[328] Herodot. i, 153.

[329] То, что эта точка зрения не была замечена Геродотом, может показаться необычным, когда мы читаем его рассказ (vi, 86) о милезийце Глаукесе и суде, постигшем его за испытание оракула; но она выдвигается Ксенофонтом как часть вины Крёза (Сугорæd. vii, 2, 17).

[330] Herodot. i, 47-50.

[331] Herodot. i, 52-54.

[332] Herodot. i, 55.

[333] Herodot. i, 67-70.

[334] Herodot. i, 77.

[335] Herodot. i, 83.

[336] Рассказ об успешном использовании верблюдов встречается также у Ксенофонта, Сугорæd. vii, 1, 47.

[337] Herodot. i, 84.

[338] Сравните Herodot. i, 84-87, и Ktêsiâs, Persica, с. 4; последняя, кажется, была скопирована Полиэном, vii, 6, 10.

Примечательно, что среди чудес, перечисленных Ктесиасом, не упоминается ни огонь, ни куча дров: у нас есть цепи Крёза, чудесным образом снятые при громе и молнии, но не упоминается *огонь*. Это заслуживает внимания как иллюстрация того факта, что Ктесий получил свои сведения от *персидских* рассказчиков, которые вряд ли стали бы вменять Киру использование огня в подобных целях. Персы поклонялись огню как богу и считали нечестивым сжигать мертвое тело (Herodot. iii, 16). Теперь Геродот, похоже, услышал

историю о сожжении от лидийских информаторов (λέγεται ὑπὸ Λυδῶν, Herodot. i, 87): рассматривали ли лидийцы огонь с той же точки зрения, что и персы, мы не знаем; но даже если да, они не преминули бы приписать Киру акт грубой нечестивости, подобно тому как египтяне приписали Камбисесу другой столь же грубый акт, который сам Геродот рассматривает как ложь (iii, 16).

Длинное повествование Николая Дамаскина об обращении Кира с Крёзом некоторые считают заимствованным у лидийского историка Ксанфа, старшего современника Геродота. Но мне кажется, что это просто компиляция, плохо скомпонованная из "Киропедии" Ксенофонта и повествования Геродота, возможно, с включением некоторых отдельных случаев из Ксанфа (см. Nikol. Дамас. Fragm. ed. Orell. pp. 57-70, и Фрагменты Ксанфа в Didot's Historic. Græcor. Fragm. p. 40).

[339] Юстин (i, 7), похоже, копирует Ктесия в отношении обращения с Крёзом.

[340] Herodot. i, 91. Προθυμεομένου δὲ Λοξίῳ ὅπως ἂν κατὰ τοὺς παῖδας τοὺς Κροΐσου γένοιτο τὸ Σαρδίῳ πάθος, καὶ μὴ κατ' αὐτὸν Κροΐσον, οὐκ οἶόν τε ἐγένετο παραγαγεῖν Μοίρας- ὅσον δὲ ἐνέδωκαν αὐται, ἠνύσατο, καὶ ἐχαρίσατό οἱ- τρία γὰρ ἔτεα ἐπανεβάλετο τὴν Σαρδίῳ ἄλωσιν. Καὶ τοῦτο ἐπιστάσθω Κροΐσος, ὡς ὕστερον τοῖσι ἔτεσι τούτοις ἀλοὺς τῆς πεπρωμένης.

[341] Herodot. i, 91. Ὁ δὲ ἀκούσας συνέγνω ἑωυτοῦ εἶναι τὴν ἀμαρτάδα, καὶ οὐ τοῦ θεοῦ.

Ксенофонт в "Киропедии" (vii, 2, 16-25) также приводит Крёза к тому же результату - признанию и унижению, хотя и несколькими иными путями.

[342] Herodot. i, 13.

[343] См. выше, глава xi, т. iii, с. 149-153.

[344] Herodot. vii, 10. οὐ γὰρ ἔῃ φρονέειν ἄλλον μέγα ὁ θεὸς ἢ ἑωυτόν.

[345] В оракуле, о котором сообщает Геродот. vii, 141, доставленном пифийской жрицей в Афины по случаю приближения Ксеркса, Зевс представлен в том же верховном положении, которое в данном оракуле отведено Моэга, или судьбам: Паллас тщетно пытается умиловить его в пользу Афин, так же как в данном случае Аполлон пытается умиловить Мерей в отношении Крёза.

Οὐ δύναται Παλλὰς Δί' Ὀλύμπιον ἐξίλάσασθαι,

Λισσομένη πολλοῖσι λόγοις καὶ μήτιδι πυκνῇ и т. д.

Сравните также viii, 109 и ix, 16.

О. Мюллер (Dissertation on the Eumenides of Æschylus, p. 222, Eng. Transl.) говорит: "Ни в одном случае Зевс Сотер не оказывает своего влияния непосредственно, как Аполлон, Минерва и Эриннии; но в то время как Аполлон является пророком и экзегетом в силу мудрости, полученной от него, а Минерва обязана ему своей властью над государствами и собраниями, - более того, сами Эриннии осуществляют свои функции от его имени, - этот Зевс всегда стоит на втором плане и в действительности должен лишь разрешить конфликт, существующий внутри него самого. Ведь для Эсхила, как и для всех глубоко чувствующих греков с древнейших времен, Юпитер - единственный настоящий бог в высшем смысле этого слова. Хотя он, в духе античной теологии, порожденный бог, возникший из несовершенного состояния вещей и не произведенный на свет до третьей стадии развития природы, - все же

в то время, о котором мы говорим, он является духом, пронизывающим и управляющим вселенной".

С той же целью высказывается Клаузен (Theologumena Æschyli, pp. 6-69).

Совершенно верно, что можно привести множество отрывков из греческих авторов, которые приписывают Зевсу верховную власть, о которой здесь говорится. Но не менее верно и то, что эта концепция не является единообразной и что иногда верховными представляются судьбы, или Μοῖρæ, иногда - более сильные, а Зевс - более слабый (Promêtheus, 515). Весь сюжет трагедии, в сущности, выражает концепцию Зевса τύραννος, чья власть не является верховной даже на время, и ей не суждено продолжаться постоянно, даже на ее существующей высоте. Объяснения этой драмы, данные Клаузенем, кажутся мне неверными; я также не понимаю, как их можно согласовать с приведенным выше отрывком, процитированным О. Мюллером.

Два приведенных здесь оракула из Геродота наглядно демонстрируют колебания греческого мнения по этому вопросу: в одном из них верховная решимость и сопровождающая ее неумолимость приписываются Зевсу, в другом - Мере. Эта двойная точка зрения приспособлялась к разным случаям и служила подспорьем для интерпретации различных событий. Предполагалось, что Зевс испытывает определенные симпатии к людям; с различными людьми случались несчастья, которые он не только не хотел навлекать, но и был бы готов предотвратить; здесь же в качестве объясняющей причины фигурировали не испытывающие никаких симпатий Меры, которые молчаливо подразумевались как главенствующие над Зевсом. "Cum Furiis Æschylus Parcas tantum non ubique conjungit", - говорит Клаузен (Theol. Æsch. p. 39); и это полное отсутствие человеческих симпатий составляет общий пункт обоих, - то, в чем Μοῖρæ и Erinnyes отличаются от всех других богов, - πέφρικα τὰν ὠλεσίοικον θεῶν, οὐ θεοῖς ὁμοίαν (Æschyl. Sept. ad Theb. 720): сравните Eumenid. 169, 172, да и вообще общее напряжение этой страшной трагедии.

У Эсхила, как и у Геродота, Аполлон представлен как обладающий силой убеждения над Μοῖρæ (Eumenid. 724), - Μοίρας ἔπεισας ἀφθίτους θεῖναι βροτοῦς.

[346] Язык Геродота заслуживает внимания. Аполлон говорит Крёзу: "Я обратился к маврам, чтобы они отложили исполнение приговора от твоего времени до времени твоих детей, - но я не смог их убедить; но столько, сколько они уступят *по своей воле*, я добился для тебя". (ὅσον δὲ ἐνέδωκαν αὐταί, ἐχαρίσατό οἱ-ι, 91.)

[347] Thucyd. i, 22.

[348] Эта важная дата зависит от свидетельств Солина (Polyhistor, i, 112) и Сосикратеса (ap. Diog. Laërt. i, 95): см. Fasti Hellen. ad ann. 546, и его Приложение, гл. 17, о лидийских царях.

Г-н Клинтон и большинство хронологов принимают эту дату без колебаний, но Вольней (Recherches sur l'Histoire Ancienne, vol. i, pp. 306-308; Chronologie des Rois Lydiens) полностью отвергает ее, считая, что взятие Сард произошло в 557 году до н. э., а правление Крёза началось в 571 г. до н. э. Он очень пренебрежительно относится к авторитету Солина и Сосикратеса и приводит подробную аргументацию, чтобы доказать, что дата, которую он принимает, подтверждается Геродотом. Последняя аргументация не кажется мне вполне удовлетворительной: Я принимаю дату Солина и Сосикратеса, хотя и согласен с Вольнеем, что такой положительный авторитет не очень значителен, потому что им нечего возразить, и потому что дата, которую они дают, кажется созвучной течению истории.

Аргументы Вольнея предполагают, что Геродот обладал совершенно неоправданной степенью хронологической точности в отношении событий, предшествовавших современным записям. Он, подобно другим хронологам, исчерпывает свою изобретательность, чтобы найти подходящую точку исторического времени для предполагаемого разговора между Солоном и Крёзом (стр. 320).

[349] Herodot. i, 141.

[350] Herodot. i, 152. Пурпурное одеяние, столь привлекательное на фоне простой одежды, распространенной в Спарте, знаменует контраст между азиатской и европейской Грецией.

[351] Herodot. i, 153. ταῦτα ἐς τοὺς πάντας Ἑλλήνας ἀπερῶριψε ὁ Κῦρος τὰ ἔπεα, etc.

[352] Herodot. i, 155.

[353] Herodot. i, 159.

[354] Herodot. i, 160. Короткий фрагмент из Харона Лампсакского, который Плутарх (De Malignitat. Herod. p. 859) приводит здесь в обоснование одного из своих многочисленных несправедливых порицаний Геродота, ни в коей мере не противоречит утверждению последнего, а скорее подтверждает его.

При написании этого трактата о якобы плохом настроении Геродота мы видим, что Плутарх имел перед собой историю Харона из Лампсака, более древнюю на одно поколение, чем историк, на которого он нападал, и также относящуюся к азиатской Греции. Конечно, целью его работы было привести все противоречия Геродоту, которые он мог найти в Хароне: тот факт, что он не привел ни одного существенного, укрепляет нашу веру в историка Галикарнаса и показывает, что в основном его повествование соответствовало повествованию Харона.

[355] Herodot. i, 161-169.

[356] Herodot. i, 168; Skymnus Chius, Fragm. v, 153; Dionys. Perieg. v, 553.

[357] Herodot. i, 163. Ὁ δὲ πνθόμενος παρ' αὐτῶν τὸν Μῆδον ὥς αὔξειτο, ἐδίδου σφί χρήματα τεῖχος περιβαλέσθαι τήν πόλιν.

Я не понимаю, почему комментаторы спорят о том, что или кто подразумевается под τὸν Μῆδον: очевидно, что это означает Медийскую или Персидскую державу в целом: но хронологическая трудность реальна, если мы предположим, что между первой тревогой ионийцев о Медийской державе и осадой Фокеи Гарпагом было время, чтобы сообщить Аргантонию об обстоятельствах и получить от него эту большую помощь, а также построить укрепления. Ионические греки не испытывали и не имели оснований испытывать тревогу по поводу персидской власти до прибытия Кира в Сарды, а через месяц после этого Сарды были в его владении. Если мы предположим, что связь с Аргантониусом была основана на этом обстоятельстве, на расстоянии Тартесса и в условиях древней навигации, мы должны обязательно представить, что нападение Гарпага на Фокею - город, который он атаковал раньше всех остальных - было отложено по крайней мере на два или три года. Такая отсрочка не является полностью невозможной, но она не соответствует духу иродотеевского повествования, и я не считаю ее вероятной. Гораздо вероятнее, что информаторы Геродота допустили ошибку в хронологии и приписали пожертвования Аргантония мотивам, которые на самом деле их не диктовали.

Что касается укреплений (которые Фокея и другие ионические города, как сообщается, возвели после завоевания Сард персами), то дело обстоит так. Пока все эти города были независимыми, до того как их завоевал Крёз, они, несомненно, должны были иметь укрепления. Когда Крёз завоевал их, он приказал разрушить укрепления; но разрушение не обязательно означает снос всех стен: если сделать одну или несколько брешей, город окажется открытым, и цель Крёза будет таким образом достигнута. Вполне возможно, что именно в таком состоянии находились ионийские города в то время, когда они впервые сочли необходимым обеспечить оборону от персов в Сардах: они ремонтировали и совершенствовали пробитые укрепления.

Догадка Ларшера (см. примечания Ларшера и Весселинга), -τὸν Λυδὸν вместо τὸν Μῆδον, - не является необоснованной, если она имеет какой-либо авторитет: дарение Аргантония было бы тогда перенесено в период, предшествующий лидийскому завоеванию: это избавило бы от хронологической трудности, о которой говорилось выше, но внесло бы некоторую новую неловкость в повествование.

[358] Herodot. i, 164.

[359] Herodot. i, 165. ὑπερημίσεας τῶν ἀστῶν ἔλαβε πόθος τε καὶ οἶκτος τῆς πόλιος καὶ τῶν ἡθέων τῆς χώρας- ψευδόρκιοί τε γενόμενοι, etc. Разговорный термин, который я решился поместить в текст, точно и кратко выражает смысл историка. Публичная клятва, приносимая в большинстве греческих городов с аналогичной церемонией на кусках железа, брошенных в море, упоминается у Плутарха, Aristid. c. 25.

[360] Herodot. i, 166.

[361] Aristot. Polit. iii, 5, 11; Polyb. iii, 22.

[362] Herodot. i, 167.

[363] Herodot. i, 170. Πυνθάνομαι γνώμην βίαντα ἄνδρα Πριηνέα ἀποδέξασθαι ἴωσι χρησιμωτάτην, τῇ εἰ ἐπείθοντο, παρεῖχε ἂν σφι εὐδαιμονεῖν Ἑλλήνων μάλιστα.

[364] Herodot. i, 174.

[365] Herodot. i, 176. Все население Ксанфа погибло, кроме восьмидесяти случайно отсутствовавших семей: последующие обитатели города были набраны из чужеземцев. Спустя почти пять веков после этого их потомки в том же городе покончили с собой таким же отчаянным и трагическим образом, чтобы не сдаться римской армии под командованием Марка Брута (Плутарх, Брут, с. 31).

[366] Herodot. i, 177.

[367] Herodot. i, 153.

[368] Herodot. i, 177. τὰ δὲ οἱ παρέσχε πόνον τε πλεῖστον, καὶ ἀξιαπηγητότατά ἐστι, τούτων ἐπιμνήσομαι.

[369] См. Ксенофонт, Анабас. i, 7, 15; ii, 4, 12. О неразрешимых трудностях, в которые попали десять тысяч греков после битвы при Кунаксе, и о непреодолимых препятствиях, которые мешали их походу, предполагая любое сопротивление, см. Ксенофонт. Анаб. ii, 1, 11; ii, 2, 3; ii, 3, 10; ii, 4, 12-13. Эти препятствия, несомненно, служили им не только защитой от нападения, но и препятствием для продвижения вперед; а хорошо снабженные деревни позволяли им

получать много провизии: отсюда и беспокойство великого царя о том, чтобы помочь им переправиться через Тигр из Вавилонии. Но нелегко понять, как перед лицом таких трудностей любая армия вторжения могла достичь Вавилона.

Риттер представляет стену Медии как протянувшуюся от Евфрата до Тигра в месте их ближайшего сближения, примерно на двести стадий или двадцать пять миль в поперечнике. Но, насколько я могу судить, нигде не сказано, что эта стена доходила до Евфратеса, и уж тем более, что ее длина составляла двести стадий, поскольку отрывки Страбона, приведенные Риттером, не доказывают ни того, ни другого (ii, 80; xi, 529). А Ксенофонт (ii, 4, 12) приводит длину стены так, как я указал ее в тексте, = 20 парасангов = 600 стадий = 75 миль.

Отрывок Анабасиса (i, 7, 15), по-видимому, связывает Медийскую стену с каналами, а не с рекой Евфратес. Повествование Геродота, как я уже отмечал в предыдущей главе, заставляет нас предположить, что он спустился по этой реке в Вавилон; и если мы предположим, что стена не доходила до Евфратеса, это объяснит, почему он не упоминает о ней. См. Ritter, *West Asien*, b. iii, Abtheilung iii, Abschn. i, sect. 29, pp. 19-22.

[370] Ὁ Τίγρης μέγας τε καὶ οὐδαμοῦ διαβατὸς ἔς τε ἐπὶ τὴν ἐκβολὴν (Arrian, vii, 7, 7). Под этим он подразумевает, что ниже древней Ниневии, или Мосула, она не проходима вброд; ибо немного выше этого места Александр сам перешел ее со своим войском за несколько дней до битвы при Арбекле - не без больших трудностей (Arrian, iii, 7, 8; Diodor. xvii, 55).

[371] Herodot. i, 190. ἐπεὶ δὲ ἐγένετο ἐλαύνων ἀγχοῦ τῆς πόλιος, συνέβαλόν τε οἱ Βαβυλώνιοι, καὶ ἔσσωθέντες τῇ μάχῃ, κατελήθησαν ἐς τὸ ἄστυ.

Как если бы Вавилон был так же легко доступен, как Сарды, -οἷά τε ἐπιστάμενοι ἔτι πρότερον τὸν Κῦρον οὐκ ἀτρεμίζοντα, ἀλλ' ὀρέοντες αὐτὸν παντὶ ὁμοίως ἔθνεϊ ἐπιχειρόντα, προεσάξαντο σίτια ἐτέων κάρτα πολλῶν.

[372] Xenophon, *Anabas.* i, 7, 14-20; Diodor. xiv, 22; Plutarch, *Artaxerxês*, c. 7. Я без колебаний следую Ксенофону, где он отличается от этих двух последних.

[373] Ксенофонт, *Сугорæd.* iii, 3, 26, ο πολυχειρία варварских королей.

[374] Herodot. i, 189-202. ἐνθαῦτά οἱ τῶν τις ἱρῶν ἵππων τῶν λευκῶν ὑπὸ ὕβριος ἐσβὰς ἐς τὸν ποταμὸν, διαβαίνειν ἐπειρᾶτο.... Кάρта τε δὴ ἐχάλεπαινε τῷ ποταμῷ ὃ Κῦρος τοῦτο ὑβρίσαντι, и т.д.

[375] Herodot. i, 191. Эта последняя часть рассказа, если судить по выражению Геродота, по-видимому, возбуждает в нем больше сомнений, чем все остальное, ибо он считает нужным добавить: "как говорят жители Вавилона", ὡς λέγεται ὑπὸ τῶν ταύτῃ οἰκημένων. Однако если мы предположим, что размеры города были такими, как он утверждает, то нет ничего удивительного в том, что люди в центре не сразу услышали о захвате; ведь первым делом нападавшие должны были овладеть стенами и воротами. Это живая иллюстрация огромного масштаба, и в таком виде ее приводит Аристотель (*Polit.* iii, 1, 12); однако он преувеличивает ее, сообщая, что жители в центре узнали о захвате только на третий день. У Геродота такого преувеличения не встречается.

Ксенофонт в "Киропедии" (vii, 5, 7-18), следуя рассказу о том, что Кир осушил Евфратес, представляет это как осуществленное способом, отличающимся от Геродота. По его словам, Кир вырыл два обширных и глубоких рва, по одному с каждой стороны вокруг города, от реки выше города до реки ниже его: воспользовавшись случаем в день праздника в Вавилоне, он пустил воду в оба этих боковых рва, которые впадали в главный поток снова ниже города:

таким образом, главный поток в своем течении через город стал почти сухим. Повествование Ксенофонта, однако, выдает себя тем, что не было написано на основе информации, полученной на месте, как у Геродота; ведь он говорит о αἱ ἄκραι Вавилона, как и о ἄκραι холмов Карики (ср. Киропедия, vii, 4, 1, 7, с vii, 5, 34). На мертвой плоскости Вавилона ἄκραι не было.

[376] Арриан, vi, 24, 4.

[377] Herodot. i, 205-214; Arrian, v, 4, 14; Justin, i, 8; Strabo, xi, p. 512.

Согласно Ктесию, Кир был убит во время экспедиции против дербиков, народа на Кавказе, - хотя его армия впоследствии одержала победу и завоевала страну (Ktesiaë Persica, с. 8-9), - см. комментарий Бэра к этому отрывку в его издании Ктесия.

[378] Strabo, xv, pp. 730, 731; Arrian, vi, 29.

[379] Город Кира, или Кирополис, на реке Сихон, или Jaxartês, как говорят, был основан Киром, - он был разрушен Александром (Strabo, xi, pp. 517, 518; Arrian, iv, 2, 2; Curtius, vii, 6, 16).

[380] Herodot. iii, 19.

[381] Herodot. i, 188; Plutarch, Artaxerxês, с. 3; Diodor. xvii, 71.

[382] Ксенофонт, Анабас. i, 1, 8.

[383] Xenophon, Anabas. i, 7, 6; Cyropæd. viii, 6, 19.

[384] Herodot. ix, 122.

[385] Современные персы в наши дни демонстрируют почти несравненное мастерство в стрельбе из огнестрельного оружия, а также из лука, верхом на лошади. См. Sir John Malcolm, Sketches of Persia, ch. xvii, p. 201; см. также Kinneir, Geographical Memoir of the Persian Empire, p. 32.

[386] Об атрибутах персидского характера см. Herodot. i, 131-140: ср. i, 153.

Он очень резко выражается по поводу легкости, с которой персы впитывали чужие обычаи и особенно чужие предметы роскоши (i, 135), - ξεινικὰ δὲ νόμαϊα Πέρσαι προσιένται ἀνδρῶν μάλιστα, καὶ εὐπαθείας τε παντοδατὰς πυνθανόμενοι ἐπιτηδεύουσι.

Та жесткая стойкость обычаев и исключительность вкусов, которыми отличаются современные восточные народы, по-видимому, возникла из магометанства и сильно отличает их от старых зороастрийских персов.

[387] Herodot. ix, 76; Plutarch, Artaxerx. с. 26.

[388] Herodot. i, 210; iii, 159.

[389] Herodot. iii, 1-4.

[390] Herodot. iii, 1, 19, 44.

[391] Повествование Ктесия, как в отношении египетской экспедиции, так и в отношении других происшествий персидской истории, совершенно отличается в деталях от Геродота, сходясь лишь в основных событиях (Ktêsias, Persica, с. 7). Смешать их вместе невозможно.

Тацит (Histor. i, 11) отмечает трудность подхода армии вторжения к Египту: "Egyptum, provinciam aditu difficilem, annonæ fecundam, superstitione ac lasciviâ discordem et mobilem," etc.

[392] Herodot. iii, 10-16. Об аравийцах, живших между Иудеей и Египтом, см. iii, с. 5, 88-91.

[393] Herodot. iii, 19.

[394] Herodot. iii, 29.

[395] Ктесий называет брата Таниоксарком и говорит, что Кир оставил его сатрапом Бактрии и соседних областей без дани (Persica, с. 8). Ксенофонт в "Киропедии" также называет его Таниоксарком, но дает ему другую сатрапию (Cyropæd. viii, 7, 11).

[396] Herodot. iii, 30-62.

[397] Herodot. iii, 61-63.

[398] Herodot. iii, 68-69. - "Auribus decisis vivere jubet", говорит Тацит о случае при парфянском правительстве (Annal. xii, 14), - и турецкие власти не отказались от его применения в настоящее время, или, по крайней мере, до очень недавнего времени.

[399] Herodot. iii, 64-66.

[400] Herodot. iii, 67.

[401] Herodot. iii, 68-69.

[402] Herodot. iii, 69-73. ἀρχόμεθα μὲν ἐόντες Πέρσαι, ὑπὸ Μήδου ἀνδρὸς μάγου, καὶ τοῦτου ὧτα οὐκ ἔχοντος.

Сравните описание невыносимого отвращения греков Киренаиды к тому, чтобы ими управлял *хромой* Баттус (Herodot. iv, 161).

[403] Сравните Аристофан. Aves, 487, со Схолиями, и Herodot. vii, 61; Arrian, iv, 6, 29. Шапка персов обычно была свободной, низкой, облегающей голову складками; шапка царя была высокой и возвышалась над головой. См. примечания Весселинга и Швейгхаузера к πῖλοι ἀπαγέες в Herodot. i. с.

[404] Herodot. i, 101-120.

[405] В речи, которую Геродот вкладывает в уста Камбисеса на смертном одре, обращенной к окружавшим его персам в тоне пророческого напутствия (iii, 65), он говорит: Καὶ δὴ ὑμῖν τάδε ἐπισκήπτω, θεοὺς τοὺς βασιληῖους ἐπικαλέων, καὶ πᾶσιν ὑμῖν καὶ μάλιστα Ἀχαιμενιδέων τοῖσι παρεοῦσι, μὴ περιῖδεῖν τὴν ἡγεμονίην αὐτίς ἐς Μήδους περιελθοῦσαν- ἀλλ' εἴτε δόλῳ ἔχουσι αὐτὴν κτησάμενοι (персонификация умершего сына Кира), δόλῳ ἀπαيرهθῆναι ὑπὸ ὑμέων- εἴτε καὶ σθένει τεῶν κατεργασάμενοι, σθένει κατὰ τὸ κάρτερον ἀνασώσασθαι (насильственное противодействие мидян Дарию, которое он подавил превосходящей силой с персидской стороны): Сравните речь Гобриаса, одного из семи персидских заговорщиков (iii, 73), и речь Прексаспеса (iii, 75); также Платон, Legg. iii, 12, p. 695.

Херен правильно оценивает правление Смердиса Магиана и его политический характер (Ideen über den Verkehr, etc., der Alten Welt, part i, abth. i, p. 431).

[406] Herodot. iii, 79. Σπασάμενοι δὲ τὰ ἐγχειρίδια, ἔκτεινον ὅκου τινὰ μάγον εὕρισκον- εἰ δὲ μὴ νύξ ἐπελθοῦσα ἔσχε, ἔλιπον ἂν οὐδένα μάγον. Ταύτην τὴν ἡμέρην θεραπεύουσι Πέρσαι κοινῇ

μάλιστα τῶν ἡμερέων- καὶ ἐν αὐτῇ ὀρτὴν μεγάλην ἀνάγουσι, ἣ κέκληται ὑπὸ Περσέων Μαγοφόνια.

Периодическое празднование Магофонии засвидетельствовано Ктесиасом - один из немногих пунктов полного согласия с Геродотом. Он также согласен с тем, что магиец узурпировал трон благодаря сходству с умершим сыном Кира, которого убил Камбисес, - но все остальные его утверждения отличаются от Геродота (Ktésias, 10-14).

[407] Даже в битве при Арбеле: "Summæ Orsines præerat, a septem Persis oriundus, ad Cyrum quoque, nobilissimum regem, originem sui referens." (Quintus Curtius, iv, 12, 7, или iv, 45, 7, Zumpt.): сравните Strabo, xi, p. 531; Florus, iii, 5, 1.

[408] Herodot. iii, 127. Δαρεῖος-ἄτε οἰδεόντων οἱ ἔτι τῶν πρηγμάτων и т. д., - упоминание о тαραχή (iii, 126, 150).

[409] Herodot. iii, 126. Μετὰ γὰρ τὸν Καμβύσεω θάνατον, καὶ τῶν Μάγων τὴν βασιληϊὴν, μένων ἐν τῇσι Σάρδισι Ὀροίτης, ὠφέλει μὲν οὐδὲν Πέρσας, ὑπὸ Μήδων ἀπαραιρημένους τὴν ἀρχήν- ὁ δὲ ἐν ταύτῃ τῇ ταραχῇ κατὰ μὲν ἔκτεινε Μιτροβάτεια ἄλλα τε ἐξύβρισε παντοῖα и т.д.

[410] Herodot. iv, 166. Ὁ δὲ Ἀρυάνδης ἦν οὗτος τῆς Αἰγύπτου ὑπαρχος ὑπὸ Καμβύσεω κατεστεώς- ὃς ὑστέρω χρόνῳ παρισεύμενος Δαρείῳ διεφθάρη.

[411] Herodot. iii, 67-150.

[412] Herodot. i, 130. Ἀστυάγης μὲν νυν βασιλεύσας ἐπ' ἔτεα πέντε καὶ τριήκοντα, οὕτω τῆς ἀρχῆς κατεπαύσθη. Μῆδοι δὲ ὑπέκυψαν Πέρσῃσι διὰ τὴν τοῦτου πικρότητα.... Ὑστέρω μέντοι χρόνῳ μετεμέλησέ τέ σφι ταῦτα ποιήσασι, καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ Δαρείου- ἀποστάντες δὲ, ὀπίσω κατεστράφησαν, μάχῃ νικηθέντες- τότε δὲ, ἐπὶ Ἀστυάγεος, οἱ Πέρσαι τε καὶ ὁ Κῦρος ἐπαναστάντες τοῖσι Μήδοισι, ἦρχον τὸ ἀπὸ τοῦτου τῆς Ἀσίας.

Этот отрывок, утверждающий, что медяне, спустя некоторое время после низложения Астиагеса и приобретения Киром персидского верховенства, рассказали в том, что из-за их недовольства Астиагесом это верховенство оказалось в руках персов, восстали против Дария и были вновь завоеваны после состязания, кажется мне неправильно понятым хронологами. Додвелл, Ларчер и мистер Файнс Клинтон (да и большинство, если не все, хронологов) объясняют это как ссылку на восстание медян против персидского царя Дария Нота, упомянутое в "Эллинике" Ксенофонта (i, 2, 12) и относящееся к 408 году до н.э. См. Larcher ad Herodot. i, 130, и его Vie d'Hérodote, приложенное к его переводу (p. lxxxix); также Mr. Clinton, Fasti Hellenici, ad ann. 408 и 455, и его Приложение, с, 18, p. 316.

Восстание медян, о котором упоминает Геродот, по моему мнению, совершенно отлично от восстания, о котором говорит Ксенофонт: отождествлять их, как это делают эти выдающиеся хронологи, - гипотеза, не только не имеющая под собой оснований, но и открытая для серьезных возражений. Восстание, упомянутое Геродотом, было направлено против Дария, сына Гистаспека, а не против Дария Нота; и я с особой тщательностью изложил обстоятельства, связанные с заговором и воцарением первого, чтобы показать, что все они определенно подразумевают тот конфликт между мидийским и персидским господством, о котором Геродот прямо заявляет в рассматриваемом нами отрывке.

1. Когда Геродот говорит о Дарии без каких-либо прилагательных, почему мы должны думать, что он имеет в виду кого-то другого, кроме Дария, сына Гистаспеса, о котором он так подробно рассказывает в своем повествовании? Только один раз в ходе его истории (ix, 108) упоминается другой Дарий (молодой принц, сын Ксеркса Первого); но за этим исключением

Дарий, сын Гистаспеса, единообразно, на протяжении всего произведения, упоминается под своим простым именем: Дарий Нотус вообще никогда не упоминается.

2. Низложение Астиагеса произошло в 559 году до н. э., начало правления Дария - в 520 году до н. э.; теперь раскаяние медян за то, что они натворили в первую из этих двух эпох, естественно, могло побудить их попытаться исправить это во вторую. Но между низложением Астиагеса в 559 году до н. э. и восстанием, о котором упоминает Ксенофонт против Дария Нота в 408 году до н. э., лежит интервал более чем в сто пятьдесят лет. Приписывать восстание, произошедшее в 408 году до н. э., покаянию за то, что произошло за сто пятьдесят лет до этого, неестественно и надуманно, если не сказать, что совершенно недопустимо.

Предыдущие аргументы показывают, что естественное построение отрывка в Геродоте указывает на Дария, сына Гистаспека, а не на Дария Нота; но это еще не все. Есть еще более веские причины, по которым ссылка на Дария Нота должна быть отброшена.

Предполагаемое упоминание в Геродоте факта, произошедшего так поздно, в 408 году до н. э., ставит в тупик всю хронологию его жизни и авторства. Согласно обычному изложению его биографии, которое все признают и которое нет причин ставить под сомнение, он родился в 484 году до н. э. Таким образом, в его истории упоминается событие, которое произошло, когда историку было семьдесят шесть лет, и ссылку на которое он, надо полагать, написал, когда ему было около восьмидесяти лет, если не больше; ведь его упоминание этого факта ни в коем случае не означает, что он был особенно недавним. Те, кто придерживается этой точки зрения, не считают, что он написал всю свою историю в этом возрасте; но они утверждают, что он сделал более поздние дополнения, одним из которых, по их мнению, является эта. Я не говорю, что это невозможно: мы знаем, что Исократес написал свою Панафинейскую ораторию в возрасте девяти лет; но следует признать, что это крайне маловероятно, - предположение, которое не следует выдвигать без убедительных доказательств в его поддержку. Но здесь никаких доказательств не приводится. Геродот упоминает о восстании медян против Дария, Ксенофонт также упоминает о восстании медян против Дария; поэтому хронологи считают само собой разумеющимся, что оба автора должны ссылаться на одно и то же событие; хотя это предположение неестественно с точки зрения текста и еще более неестественно с точки зрения биографии Геродота.

В отношении этой биографии г-н Клинтон, как мне кажется, принял еще одно ошибочное мнение, в котором, однако, против него выступают Ларчер и Весселинг, хотя Дальманн и Хейсе согласны с ним. Он утверждает, что отрывок из Геродота (iii, 15), где говорится, что Павсаний сменил своего отца Амиртея с согласия персов в управлении Египтом, должен быть отнесен к факту, произошедшему после 414 года до н. э., или десятого года правления Дария Нота; поскольку именно в этом году Амиртей получил управление Египтом. Но это мнение полностью основывается на предположении, что некий Амиртей, чье имя и дата встречаются у Манефа (см. Евсевий, Хроника), является тем же человеком, что и Амиртей, упомянутый у Геродота; эта идентичность не только не доказана, но и крайне маловероятна, поскольку сам мистер Клинтон признает (F. H. Appendix, p. 317), поддерживая идентичность: "Он (Амиртей) вел войну против персидского правительства *более чем за пятьдесят лет до этого*". Это, хотя и не невозможно, но, несомненно, очень маловероятно; по крайней мере, столь же вероятно, что Амиртей из Манефа был другим человеком (возможно, даже *внуком*) того Амиртея из Геродота, который вел войну против персов *более чем за пятьдесят лет до этого*; мне кажется, что это более разумная гипотеза из двух.

Я позволил себе продлить это примечание до необычной длины, потому что предполагаемое упоминание таких недавних событий в истории Геродота, как события в царствование Дария Нота, ввело очень необоснованные предположения относительно времени и способа, в котором эта история была написана. Невозможно доказать, что есть хоть одно событие точной и установленной даты, упоминаемое в его истории, более позднее, чем захват лакедемонских глашатаев в 430 году до н. э. (Herodot. vii, 137: см. Larcher, Vie d'Hérodote, p. lxxxix); и это делает композицию его истории как цельного произведения гораздо более гладкой и понятной.

Стоит добавить, что тот, кто внимательно читает Геродота, vi, 98, - и в то же время размышляет о том, что уничтожение афинского войска в Сиракузах (величайшее из всех эллинских бедствий, едва ли уступающее для своего времени русской кампании Наполеона, и особенно впечатляющее того, кто жил в Фуриях, как можно видеть из жизни Лисия, Плутарх, Vit. x, Oratt. p. 835) произошел в правление Дария Нота в 413 году до н. э., - не охотно примет гипотезу о дополнениях, внесенных в историю во время правления последнего или так поздно, в 408 году до н. э. Геродот вряд ли стал бы так подробно и настойчиво рассказывать о злодеяниях, причиненных греками друг другу в царствование Дария, сына Гистаспа, Ксеркса и Артаксеркса, если бы он дожился до более значительных бед, причиненных в царствование Дария Нота, и сохранил бы свою историю для того, чтобы вставить в нее новые события. Уничтожение афинян перед Сиракузами было бы в тысячу раз более поразительным для его воображения, чем восстание медян против Дария Нота, и побудило бы его с гораздо большей силой изменить или расширить главу vi, 98.

Чувства, которые Геродот вкладывает в уста Демарата по поводу спартанцев (vii, 104), по-видимому, были написаны до захвата спартанцев в Сфактерии в 425 году до н. э., а не после него: сравните Thucyd. iv, 40.

Дальманн (Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte, vol. ii, pp. 41-47) и Хейсе (Quæstiones Herodoteæ, pp. 74-77, Berlin, 1827) утверждают, что указывают на шесть отрывков из Геродота, которые отмечают события более позднего времени, чем 430 г. до н. э. Но ни одно из хронологических указаний, которые они приводят, не кажется мне достоверным.

[413] Herodot. iii, 127, 128.

[414] Herodot. iii, 150.

[415] Herodot. iii, 155. δεινόν τι ποιούμενος Ἀσσυρίους Πέρσῃσι καταγελᾷν. Сравните речь Мардония, vii, 9.

Ужас Дария при первом виде Зопируса в таком состоянии сильно драматизирован Геродотом.

[416] Herodot. iii, 154-158.

[417] Ктесий представляет, что восстание и захват Вавилона произошли не при Дарии, а при его сыне и преемнике Ксерксе. Он говорит, что вавилоняне, восстав, убили своего сатрапа Зопируса; что их осадил Ксеркс, и что Мегабиз, сын Зопируса, взял город, применив ту самую хитрость, которую Геродот приписывает самому Зопирусу (Persica, c. 20-22).

Это кажется несовместимым с тем фактом, что Мегабиз был генералом персидской армии в Египте во время войны с афинянами, около 460 года до н. э. (Diodor. Sic. xi, 75-77): его вряд ли отправили бы на действительную службу, если бы он был так страшно изувечен; кроме того,

вся история Ктесия кажется мне гораздо менее вероятной, чем история Геродота; ведь в этом, как и в других случаях, соединить оба варианта невозможно.

[418] Herodot. iii, 159, 160. "От женщин, введенных таким образом (говорит Геродот), произошли нынешние вавилоняне".

Распинать покоренных бунтовщиков тысячами - это, к счастью, так мало соответствует современным европейским нравам, что не будет лишним укрепить уверенность читателя в точности Геродота, приведя аналогичное повествование о происшествиях гораздо более недавних. Вольтер приводит из рукописи генерала Лефорта, одного из главных и доверенных офицеров Петра Великого, следующий рассказ о подавлении восставших стрельцов в Москве в 1698 году: эти стрельцы были старым туземным ополчением, или янычарами, русских царей, выступавших против всех реформ Петра.

"Чтобы справиться с этими бедами, царь тайно покидает Вьенну, прибывает в Москву и своим присутствием поражает весь мир: он вознаграждает трупы, которые расправились со стрельцами: тюрьмы были полны этих злодеев. Если их преступление было грандиозным, то и замок тоже. Их шефы, многие офицеры и несколько человек приговорены к смертной казни: четверо из них были растерзаны, а две женщины заблудились. Он останавливается у памятников города и укладывает на землю два миля Штрелиц; их трупы остаются на два дня выставленными на больших дорогах, и прежде всего у монастыря, где проживают принцессы Софи и Евдоксия. Находят колонки из пирса, на которых были высечены преступление и замок. Три с лишним человека, имевшие своих женщин и детей, были рассеяны вместе со своими семьями в Сибири, в Астраханской области, в стране Азоф: таким образом, их наказание было полезным для государства: они служили для освобождения территорий, где не хватало людей и культуры". (Вольтер, "История России", часть i, гл. x, том. 31, of the *Œuvres Complètes de Voltaire*, p. 148, ed. Paris, 1825.)

[419] Herodot. iii, 92.

[420] Herodot. iii, 89. Что означало персидское обозначение, которое Геродот или его информаторы перевели κάπηλος, мы не знаем; но это последнее слово часто использовалось греками для обозначения мошенника или обманщика вообще: см. Etymologic. Magn. p. 490, 11, и Suidas, v. Κάπελος. Ὁ δ' Αἴσχυλος τὰ δόλια πάντα καλεῖ κάπηλα-"Κάπηλα προσφέρων τεχνήματα." (Æschylus, Fragment. 328, ed. Dindorf: compare Euripid. Hippolyt. 953.)

[421] Herodot. iii, 128. Такое разделение власти и двойное назначение Великим царем, по-видимому, сохранялось до конца Персидской империи: см. Квинт Курций, v, l, 17-20 (v, 3, 19-21, Zumpt). Нынешнее турецкое правительство назначает дефтердара финансовым управляющим в каждой провинции, с полномочиями, полученными непосредственно от него, и, как утверждается, независимыми от паши.

[422] Herodot. iii, 15.

[423] Об управлении современной Персидской империей см. Kinneir, Geograph. Memoir of Persia, pp. 29, 43, 47.

[424] Herodot. iii, 95. Текст Геродота содержит ошибочное суммирование предметов, которое критики не имеют возможности достоверно исправить. Нельзя также доверять огромной сумме, которая, как он утверждает, взималась с индийцев, хотя все остальные статьи, включенные в девятнадцать подразделений, плативших серебром, кажутся в пределах вероятной истины; и действительно, и Реннелл, и Робертсон считают общую сумму слишком маленькой: сборы с некоторых сатрапий явно меньше, чем на самом деле.

Говорят, что Александр Македонский нашел огромную сумму в пятьдесят тысяч талантов, заложенную сменявшими друг друга царями только в Сузах, помимо сокровищ в Персеполисе, Пасаргаде и других местах (Arrian, iii, 16, 12; Plutarch, Alexand. 37). Если предположить, что эти таланты были вавилонскими или игинейскими (в пропорции 5 : 3 к аттическим талантам), то пятьдесят тысяч талантов будут равны девятнадцати миллионам фунтов стерлингов; если же это были аттические таланты, то они будут равны одиннадцати миллионам шестистам тысячам фунтов стерлингов. Утверждения Диодора дают еще более крупные суммы (xvii, 66-71: ср. Курций, v, 2, 8; v, 6, 9; Страбон, xv, p. 730). Очевидно, что числовые утверждения у разных авторов были разными, и нельзя судить о достоверности таких больших цифр, не зная больше о первоначальных доходах, на которых они были основаны. То, что золота и серебра было огромное количество, не вызывает сомнений. Что касается сведений о персидских доходах, приведенных Геродотом, см. Voeckh, Metrologie, ch. v, 1-2.

Амеде Жобер в 1806 году оценил население современной Персидской империи примерно в семь миллионов душ; из них около шести миллионов - оседлое население, остальные - кочевники: он также оценил доход Шаха примерно в два миллиона девятьсот тысяч туманов, или один миллион пятьсот тысяч фунтов стерлингов. По другим подсчетам, численность населения была выше и приближалась к двенадцати миллионам душ. Киннейр называет доход в размере более трех миллионов фунтов стерлингов: он считает, что на всей территории между Евфратесом и Индом проживает не более восемнадцати миллионов душ (Geogr. Memoir of Persia, pp. 44-47: ср. Ritter, West Asien, Abtheil. ii, Abschn. iv, pp. 879-889).

Современная Персидская империя включает в себя не так много, как восточная половина древней, которая охватывала всю Азиатскую Турцию и Египет.

[425] Herodot. iii, 102; iv, 44. См. два экскурса Бэра по этим двум главам, т. ii, с. 648-671 его издания Геродота.

Конечно, необычно, что ни Неарх, ни Птолемей, ни Аристокл, ни Арриан не обращают никакого внимания на это замечательное путешествие, о котором Геродот утверждает, что оно было совершено. Однако такое молчание не является достаточным основанием для того, чтобы поставить рассказ под сомнение. Внимание персидских царей, преемников Дария, было гораздо больше занято западными, чем восточными частями их империи.

[426] Thucyd. i, 138.

[427] Herodot. iii, 117.

[428] Herodot. i, 192. Сравните описание обеда и ужина Великого Царя в Polyænus, iv, 3, 32; также Ktésias и Deinôn ap Athenæum, ii, p. 67.

[429] Платон, Legg. iii, 12, p. 695.

[430] Herodot. iv, 166; Plutarch, Kimon, 10.

Золотой дарик, весом в два аттических драхмы (Stater Daricus), эквивалентный двадцати аттическим серебряным драхмам (Xenoph. Anab. i, 7, 18), стоил бы около 16s. 3d. англ. Но кажется сомнительным, что такое соотношение между золотом и серебром (10 : 1) может считаться обычным в пятом и четвертом веках до н. э. Мистер Хасси считает золотой дарик равным 1 фунту стерлингов, 1s. 3d. английскому (Hussey, Essay on the Ancient Weights and Money, Oxford, 1836, ch. iv, s. 8, p. 68; ch. vii, s. 3, p. 103).

Я не могу согласиться с м-ром Хасси, что есть основания считать имя или монету *Дарик* более древними, чем Дарий, сын Гистаспека. Сравните Voeskh, *Metrologie*, ix, 5, p. 129.

Частные заявления о стоимости золота и серебра, обмениваемых одно на другое, следует принимать с некоторой оговоркой в качестве основы для любой общей оценки, поскольку у нас нет возможности сравнить множество таких заявлений вместе. Ведь процесс чеканки монет был несовершенен, и различные куски, как золотые, так и серебряные, находившиеся в обращении, существенно отличались по весу один от другого. Геродот приводит соотношение золота и серебра как 13 : 1.

[431] Herodot. iii, 96.

[432] Herodot. v, 52-53; viii, 98. "Похоже, что все варварские князья любят считать, что плохие дороги значительно увеличивают естественную силу их владений. Турки и персы, несомненно, придерживаются этого мнения: поэтому общественными дорогами пренебрегают, и особенно это касается границ". (Kinneir, *Geog. Mem. of Pers.* p. 43.)

Описание Геродота выгодно отличается от картины, приведенной г-ном Киннейром.

[433] Herodot. iii, 120.

[434] Herodot. iii, 39; Thucyd. i, 13.

[435] Herodot. iii, 40-42. ... ἥν δὲ μὴ ἐναλλὰξ ἤδη τῷπὸ τούτου αἱ εὐτυχίαι τοι τοιαύταισι πάθαισι προσιπίπτωσι, τρόπῳ τῷ ἐξ ἐμεῦ ὑποκειμένῳ ἀκέο: ср. vii, 203, и i, 32.

[436] Herodot. iii, 44.

[437] Herodot. iii, 44.

[438] Herodot. iii, 46. τῷ θυλάκῳ περιείργασθαι.

[439] Herodot. iii, 47, 48, 52.

[440] Herodot. iii, 54-56.

[441] Herodot. iii, 57. νησιωτέων μάλιστα ἐπλούτεον.

[442] Herodot. iii, 58, 59.

[443] Herodot. iii, 139. πολίων πασέων πρώτην Ἑλληνίδων καὶ βαρβάρων.

[444] Herodot. iii, 60.

[445] Aristot. *Polit.* v, 9, 4. τῶν περὶ Σάμον ἔργα Πολυκράτεια- πάντα γὰρ ταῦτα δύναται ταύτῳ, ἀσχολίαν καὶ πενίαν τῶν ἀρχομένων.

[446] Thucyd. i, 14; iii, 104.

[447] Herodot. iii, 120.

[448] Сравните трюк Ганнибала у Гортина в Крете, - Корнелий Непос (Ганнибал, с. 9).

[449] Herodot. iii, 124, 125.

[450] Herodot. iii, 126. Ὅροίτεια Πολυκράτεος τίσιες μετῆλθον.

[451] Herodot. iii, 142. τῷ δικαιοτάτῳ ἀνδρῶν βουλομένῳ γενέσθαι, οὐκ ἐξεγένετο. Сравните его замечание о Кадмусе, который добровольно сложил с себя деспотию в Косе (vii, 164).

[452] Herodot. iii, 142. Ἄλλ' οὐδ' ἄξιός ἐστι σύ γε ἡμέων ἄρχειν, γεγονώς τε κακός, καὶ ἔων ὄλεθρος- ἀλλὰ μᾶλλον ὅκως λόγον δώσεις τῶν ἐνεχείρισας χρημάτων.

[453] Herodot. iii, 143. οὐ γὰρ δὴ, ὥς οἴκασι, ἐβουλέατο εἶναι ἐλεύθεροι.

[454] Herodot. v, 78, и iii, 142, 143.

[455] Herodot. iii, 139. Ὁ δὲ Συλοσῶν, ὀρέων τὸν Δαρεῖον μεγάλως ἐπιθυμέοντα τῆς χλάνιδος, θείῃ τύχῃ χρεώμενος, λέγει, etc.

[456] Herodot. iii, 140. ἡπίστατό οἱ τοῦτο ἀπολωλέναι δι' εὐηθίην.

[457] Herodot. iii, 141-144.

[458] Herodot. iii, 146. τῶν Περσέων τοὺς διφροφορευμένους καὶ λόγου πλείστου ἀξίους.

[459] Herodot. iii, 145. Ἐμὲ μὲν, ὃ κάκιστε ἀνδρῶν, ἐόντα σεωυτοῦ ἀδελφεόν, καὶ ἀδικήσαντα οὐδὲν ἄξιον δεσμοῦ, δήσας γοργύρης ἡξίωσας- ὀρέων δὲ τοὺς Πέρσας ἐκβάλλοντάς τέ σε καὶ ἄνοικον ποιεῦντας, οὐ τολμᾷς τίσασθαι, οὕτω δὴ τι ἐόντας εὐπετέας χειρωθῆναι.

Драматическая манера Геродота не может быть переплавлена в гладкий исторический пересказ.

[460] Herodot. iii, 149. ἔρημον ἐοῦσαν ἀνδρῶν.

[461] Herodot. v, 27.

[462] Herodot. iii, 148.

[463] Herodot. iii, 149.

[464] Herodot. vi, 13.

[465] Strabo, xiv, p. 638. Он приводит пословицу об обезлюдении острова -

Ἐκῆτι Συλοσῶντος εὐρυχορίη,

что вполне согласуется с повествованием Геродота.

[466] Herodot. iii, 88; vii, 2.

[467] Herodot. vii, 3. ἡ γὰρ Ἄτοσσα εἶχε τὸ πᾶν κράτος. Сравните описание возвышения дикой султанши Парисатис над ее сыном Артаксерксом Мнкмоном (Плутарх, Артаксеркс, с. 16, 19, 23).

[468] Herodot. iii, 131. ἀσκευῆς περ ἐὼν, καὶ ἔχων οὐδὲν τῶν ὅσα περὶ τὴν τέχνην ἔστιν ἐργαλήϊα,- описание относится скорее к хирургической, чем к медицинской практике.

Любопытная подборка случаев конкретных пациентов с примечаниями, известная в трудах Гиппократов под названием Ἐπιδήμια (Записки о посещении разных городов), очень иллюстрирует то, что Геродот упоминает здесь о Димоккедеше. Проконсультируйтесь также с ценными "Пролегоменами" М. Литтре в его издании Гиппократеса, которое сейчас находится в процессе публикации, относительно характера, способов действия и странствующих привычек греческого ἱατροί: см. особенно предисловие к т. V, с. 12, где он

перечисляет различные места, которые посетил и отметил Гиппократес. Большая часть наблюдений Гиппократа относится к различным частям Фракии, Македонии и Фессалии; но есть и такие, которые касаются пациентов на островах Сирос и Делос, в Афинах, Саламине, Элисе, Коринфе и CEniadæ в Акарнании. "On voit par là combien étoit juste le nom de Periodeutes ou voyageurs donnés à ces anciens médecins."

Опять же, М. Литтре в том же предисловии, стр. 25, иллюстрирует процедуры и место жительства древних ἰατρός: "Мы не понимаем, как можно представить себе жилище одного врача в прошлом так же, как и одного врача в наши дни. Дом врача в древности, по меньшей мере, во времена Гиппократа и в последующие эпохи, представлял собой место, предназначенное для проведения большого количества операций, содержащее необходимые машины и инструменты, а также фармацевтический бутик. Ce local se nommait ἰατρεῖον". См. Платон, Legg. i, p. 646, iv, p. 720. Тимей обвинял Аристотеля в том, что тот начал свою карьеру как хирург, с большим успехом занимался хирургией, или ἰατρεῖον, и бросил это занятие в конце жизни, чтобы посвятить себя изучению наук, - σοφιστὴν ὁψιμαθῆ καὶ μισθὸν ὑπάρχοντα, καὶ τὸ πολυτίμητον ἰατρεῖον ἀρτίως ἀποκεκλεικότα (Polyb. xii, 9).

См. также "Ретроспективные замечания", приложенные М. Литтре к IV тому той же работы (стр. 654-658), где он останавливается на тесном единстве хирургической и медицинской практики в древности. В то же время следует отметить, что в одном из отрывков замечательной медицинской клятвы, опубликованной в сборнике Гиппократовых трактатов, самым ясным образом признается различие между врачом и оператором: первый обязуется не выполнять операцию "даже литотомию, а предоставить ее операторам, или рабочим": "Οὐ τεμῶ δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάστησιν ἀνδράσι πρήξις τῆσδε (Œuvres d'Hippocrate, vol. iv, p. 630, ed. Littré). М. Литтре (p. 617) оспаривает это объяснение, отмечая, что в различных гиппократовских трактатах ἰατρός представлен как исполнитель всевозможных операций, даже таких, которые требуют насильственного и механического воздействия. Но слова клятвы настолько ясны, что кажется более разумным отнести саму клятву к более поздней дате, чем трактаты, когда привычки практикующих могли измениться".

[469] О персидской привычке посылать в Египет хирургов, сравните Herodot. iii, 1.

[470] Herodot. iii, 129. τὸν δὲ ὡς ἐξεῦρον ἐν τοῖσι Ὀροίτεω ἀνδραπόδοισι ὅκου δὴ ἀπημελημένον, παρῆγον ἐς μέσον, πέδας τε ἔλκοντα καὶ ῥάκεσιν ἐσθημένον.

[471] Herodot. iii, 130. Золотой статер был равен примерно 1л. 1s. 3d. английским деньгам (Hussey, Ancient Weights, vii, 3, p. 103).

Дамы в персидском гареме, по-видимому, были менее неприступными и незаметными, чем в современной Турции; несмотря на замечание Плутарха, Артаксеркс, с. 27.

[472] Herodot. iii, 133. δεήσεσθαι δὲ οὐδενὸς τῶν ὅσα αἰσχύνην ἐστὶ φέροντα. Другой греческий врач при дворе Суз, около семидесяти лет спустя, - Аполлонидес из Коса, - ухаживая за персидской принцессой, не наложил на себя таких же ограничений: его интрига была раскрыта, и он был предан мучительной смерти (Ktêsiâs, Persica, с. 42).

[473] Herodot. iii, 134.

[474] Herodot. iii, 136. προσίσχοντες δὲ αὐτῆς τὰ παραθαλάσσια ἐθήσαντο καὶ ἀπεγράφοντο.

[475] Herodot. iii, 137, 138.

[476] Herodot. iii, 137. κατὰ δὴ τοῦτό μοι σπεῦσαι δοκέει τὸν γάμον τοῦτον τελέσας χρήματα μεγάλα Δημοκίδης, ἵνα φανῇ πρὸς Δαρείου ἔων καὶ ἐν τῇ ἐωυτοῦ δόκιμος.

[477] Herodot. iii, 138.

[478] Ксенофонт, Memorab. iv, 2, 33. Ἄλλους δὲ πόσους οἶει (говорит Сократес) διὰ σοφίαν ἀναρπάστους πρὸς βασιλέα γεγόνεσθαι, καὶ ἐκεῖ δουλεύειν;

Мы не рискуем предположить, что среди умных и способных людей, уведенных таким образом, хирурги и врачи были бы выбраны как первые и самые необходимые.

Аполлонид из Коса, о чьем печальном конце говорилось в предыдущем примечании, был резидентом в качестве хирурга или врача у Артаксеркса Лонгимана (Ктесий, Persica, с. 30), а Поликрит из Мендека, как и сам Ктесий, у Артаксеркса Мнемона (Плутарх, Artaxerxês, с. 31).

[479] Æschyl. Pers. 435-845 и др.

[480] Herodot. iv, 1, 83. Ничто не указывает на точный год скифской экспедиции; но поскольку воцарение Дария датируется 521 годом до н. э., а экспедиция связана с началом его правления, можно предположить, что он приступил к ней, как только его руки освободились; то есть как только он усмирил восставших сатрапов и провинции, Орэтеков, мидийцев, вавилонян и т. д. Пять лет кажутся разумным сроком, чтобы учесть эти потребности империи, что позволяет отнести скифскую экспедицию к 516-515 гг. до н. э. Есть основания полагать, что она состоялась до 514 г. до н. э., поскольку в том году Гиппарх был убит в Афинах, а оставшийся в живых брат Гиппий, присматриваясь к ценным бумагам и союзам за границей, отдал свою дочь в жены Жантиде, сыну Гиппокла, деспоту Лампсака, "понимая, что Гиппокл и его сын имели большое влияние на Дария" (Thucyd. vi, 59.) Теперь Гиппокл не мог приобрести это влияние до скифской экспедиции; ведь Дарий тогда впервые спустился к западному морю; Гиппокл служил в этой экспедиции (Herodot. iv, 138), и, вероятно, именно тогда его благосклонность была приобретена и еще более подтверждена во время пребывания Дария в Сардах после возвращения из Скифии.

Профессор Шульц (Beiträge zu genaueren Zeitbestimmungen der Hellen. Geschicht. von der 63ⁿ bis zur 72ⁿ Olympiade, p. 168, in the Kieler Philolog. Studien) помещает экспедицию в 513 г. до н. э.; но я думаю, что год или два раньше более вероятны. Ларчер, Весселинг и Бэр (ad Herodot. iv, 145) помещают ее в 508 г. до н. э., что позже истины; более того, сам Ларчер помещает уменьшение Лемноса и Имброса Отанесом в 511 г. до н. э., хотя это событие, несомненно, произошло после скифской экспедиции (Herodot. v, 27; Larcher, Table Chronologique, Trad. d'Hérodote. t. vii, pp. 633-635).

[481] Herodot. iv, 84.

[482] Herodot. vii, 39.

[483] Herodot. iv, 97, 137, 138.

[484] Herodot. iv, 89-93.

[485] Herod. iv, 48-50. Ἰστρος-μέγιστος ποταμῶν πάντων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν и т. д.

[486] Ktêsias, Persica. с. 17. Юстин (ii, 5 - ср. также xxxviii, 7), кажется, следует рассказу Ктесия.

Эсхил (Persæ. 864), который представляет умершего Дария как славный контраст с живым Ксерксом, говорит о великолепных завоеваниях, которые он совершил с помощью других, - "сам не переправляясь через Халис и не покидая своего дома". Язык, который Эсхил вкладывает в уста Эйдолона Дария (v, 720-745), заставляет нас предположить, что он забыл или никогда не слышал о мосте, переброшенном через Босфор по приказу Дария; ведь последний сурово осуждает нечестивую дерзость Ксеркса, перебросившего мост через Геллеспонт.

[487] Herodot. iv, 136. ἄτε δὲ τοῦ Περσικοῦ πολλοῦ ἐόντος πεζοῦ στρατοῦ, καὶ τὰς ὁδοὺς οὐκ ἐπισταμένου, ὥστε οὐ τετμημένων τῶν ὁδῶν, τοῦ δὲ Σκυθικοῦ, ἵπποτεω, καὶ τὰ σύντομα τῆς ὁδοῦ ἐπισταμένου, etc. Сравните с. 128.

Количество и размеры рек упоминаются Геродотом как главное чудо Скифии, с. 82-
Θωῦμάσια δὲ ἡ χώρα αὐτὴ οὐκ ἔχει, χωρὶς ἣ ὅτι ποτάμους τε πολλῶ μεγίστους καὶ ἀριθμὸν πλείστους, и т. д. Он считает Бoryстенек самой большой из всех рек, кроме Нила и Дуная (с. 53). Гипанис также (Бог) является ποταμὸς ἐν ὀλίγοισι μέγας (с. 52).

Но он, похоже, забывает о существовании этих рек, когда описывает поход персов.

[488] Herodot. iv, 101.

[489] Herodot. iv, 118, 119.

[490] Herodot. iv, 120-122.

[491] Herodot. iv, 123. Ὅσον μὲν δὴ χρόνον οἱ Πέρσαι ἦσαν διὰ τῆς Σκυθικῆς καὶ τῆς Σαυρομάτιδος χώρας, οἳ δὲ εἶχον οὐδὲν σίνεσθαι, ἄτε τῆς χώρας ἐούσης χέρσου- ἐπεὶ δὲ τε ἐς τὴν τῶν Βουδίνων χώραν ἐσέβαλον, и др. См. Rennell, Geograph. System of Herodotus, p. 114, об Oaryce.

Воздвижения, какими бы они ни были, которые, как предполагалось, отмечали крайнюю точку похода Дария, можно сравнить с теми свидетельствами крайнего продвижения Диониса, которые македонская армия видела на севере от Джаксартеса - "Liberi patris terminos". Quintus Curtius, vii, 9, 15, (vii, 37, 16, Zumpt.)

[492] Herodot. iv, 125. Гекатæй причисляет меланхлæни к скифам (Hekat. Fragment. 154, ed. Klausen): он также упоминает несколько других подразделений скифов, которые не могут быть более достоверными (Fragm. 155-160).

[493] Herodot. iv, 126, 127.

[494] Herodot. iv, 128-132. Птица, мышь, лягушка и стрелы объясняются как означающие: Если ты не взлетишь в воздух, как птица, в землю, как мышь, или в воду, как лягушка, то станешь жертвой скифских стрел.

[495] Herodot. iv, 133.

[496] Herodot. iv. 46. Τῷ δὲ Σκυθικῷ γένει ἐν μὲν τὸ μέγιστον τῶν ἀνθρωπηϊῶν πρηγμάτων σοφώτατα πάντων ἐξεύρηται, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν- τὰ μέντοι ἄλλα οὐκ ἄγαμαί. Τὸ δὲ μέγιστον οὕτω σφι ἀνεύρηται, ὥστε ἀποφυγέειν τε μηδὲνα ἐπελθόντα ἐπὶ σφέας, μὴ βουλομένους τε ἐξευρεθῆναι, καταλαβεῖν μὴ οἶον τε εἶναι. Τοῖσι γὰρ μήτε ἄστεα μήτε τείχεα ἢ ἐκτισμένα, ἀλλὰ φερέοικοι ἐόντες πάντες, ἕωσι ἵπποτοξόται, ζῶντες μὴ ἀπ' ἀρότου, ἀλλ' ἀπὸ κτηνῶν, οἰκήματα δὲ σφι ἢ ἐπὶ ζευγέων, κῶς οὐκ ἂν εἶησαν οὗτοι ἄμαχοί τε καὶ ἄποροι προσμίσειν;

Ἐξεύρηται δέ σφι ταῦτα, τῆς τε γῆς ἐούσης ἐπιτηδείης, καὶ τῶν ποταμῶν ἐόντων σφι συμμάχων, и т. д.

Сравните это с орацией скифских посланников к Александру Македонскому, как она изложена у Квинта Курция, vii, 8, 22 (vii, 35, 22, Zumpt).

[497] Заявление Страбона (vii, p. 305), которое ограничивает поход Дария страной между Дунаем и Тирасом (Днестром), справедливо названо Нибуром (Kleine Schriften, p. 372) просто предположением, вызванным вероятностью дела, потому что нельзя было понять, как его большая армия должна пересечь даже Днестр: это не следует рассматривать как утверждение, опирающееся на какой-либо авторитет. "Поскольку Геродот говорит нам о том, что невозможно (добавляет Нибур), мы вообще ничего не знаем исторически об этой экспедиции".

Так же и предположение Пальмериуса (Exercitationes ad Auctores Græcos, p. 21) относит поход несколько дальше Днестра - к Гипанису или, *возможно*, к БORYСТЕНЕСУ. Реннел, Клапрот и Рейхард не боятся продлить поход до Волги. Д-р Тирлуолл останавливается на Танаисе, признавая, однако, что о нем нельзя дать правильного исторического отчета. Эйхвальд предполагает долгий поход вверх по Днестру в Волынь и Литву.

Сравните Ukert, Skythien, p. 26; Dahlmann, Historische Forschungen, ii, pp. 159-164; Schaffarik, Slavische Alterthümer, i, 10, 3, i, 13, 4-5; и Mr. Kenrick, Remarks on the Life and Writings of Herodotus, prefixed to his Notes on the Second Book of Herodotus, p. xxi. Последний относится к тем, кто не может переплыть Днестр: он говорит: "Вероятно, Днестр (Тирас) был настоящим пределом экспедиции, а Бессарабия, Молдавия и Буковина - местом ее проведения."

[498] Herodot. iv, 97. Δαρεῖος ἐκέλευσε τοὺς Ἴωνας τὴν σχεδίην λύσαντας ἔπεσθαι κατ' ἥπειρον ἑωῦτῳ, καὶ τὸν ἐκ τῶν νέων στρατόν.

[499] Herodot. iv, 98. ἦν δὲ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ μὴ παρέω, ἀλλὰ διέλθωσι ὑμῖν αἱ ἡμέραι τῶν ἀμμάτων, ἀποπλέετε ἐς τὴν ὑμετέρεην αὐτέων- μέχρι δὲ τούτου, ἐπεὶ τε οὕτω μετέδοξε, φυλάσσετε τὴν σχεδίην.

[500] Herodot. vi, 84. Сравните его рассказ о походах киммерийцев и скифов в Малую Азию и Медию соответственно (Herodot. i, 103, 104, iv, 12).

[501] Априан, Exp. Al. iii, 6, 15; Плутарх, Alexand. c. 45; Quint. Curt. vii, 7, 4, vii, 8, 30 (vii, 29, 5, vii, 36, 7, Zumpt).

[502] Herodot. iv, 133, 136, 137.

[503] Herodot. iv, 137-139.

[504] Herodot. iv, 140, 141.

[505] Herodot. iv, 143, 144, v, 1, 2.

[506] Herodot. v, 2.

[507] Herodot. v, 11.

[508] Herodot. v, 23.

[509] Herodot. vi, 40-84. То, что Мильтиадес мог оставаться в Херсонесе в промежутке между скифской экспедицией Дария и восстанием ионийцев, - когда персы были полными

хозяевами этих областей и когда Отанес наказывал другие города по соседству за уклонение от службы Дарию, после того как он так резко выступил против персов по вопросу жизни и смерти царя и армии, - кажется мне, как и д-ру Тирлваллу (History Gr. vol. ii). Тирлуоллу (История Гр. т. ii, Приложение ii, с. 486, гл. xiv, с. 226-249), крайне неправдоподобным. Д-р Тирлуолл так остро ощущает эту трудность, что подозревает, что сообщение о поведении и увещеваниях Мильтиадеса у моста через Дунай было ложью, сфабрикованной самим Мильтиадесом двадцать лет спустя для приобретения популярности в Афинах в период, непосредственно предшествовавший битве при Марафоне.

Я не могу считать эту гипотезу приемлемой. Она прямо противоречит Геродоту в том, что касается фактов, которые очень заметны и о которых, судя по всему, у него были хорошие источники информации. Я уже отмечал, что историк Гекатей должен был лично знать обо всех отношениях между ионийцами и Дарием и что он, весьма вероятно, мог даже присутствовать на мосту: вся информация, предоставленная Гекатеем по этим вопросам, была бы открыта для расспросов Геродота. Безграничная благодарность Дария к Гистиею показывает, что кто-то из ионийских деспотов, присутствовавших на мосту, должен был решительно настаивать на целесообразности его разрушения. То, что имя деспота, выступившего инициатором этого решения, было забыто и не упомянуто в то время, крайне маловероятно; однако так и должно было быть, если выдумка Мильтиадека двадцать лет спустя смогла успешно заполнить пробел его собственным именем. После отступления Дария двумя наиболее важными вопросами, связанными с мостом, были, вероятно, имя вождя, призывавшего к его разрушению, и имя Гистиея, который его сохранил. В самом деле, сам факт злонамеренного влияния, оказанного последним впоследствии, наверняка заставит обратить внимание на эти моменты дела.

Я думаю, что есть средства выйти из затруднительного положения, не противореча Геродоту ни в одном важном и заметном факте, да и вообще ни в одном факте. Мы видим из vi, 40, что Мильтиадес *действительно покинул Херсонес* между завершением скифской экспедиции Дария и восстанием ионийцев; Геродот, правда, говорит нам, что он покинул его из-за вторжения скифов: но, не отрицая факта такого вторжения, мы можем разумно предположить, что историк ошибся, назвав его причиной бегства Мильтиадеса. В промежутке между вторжением персов в Скифию и восстанием ионийцев он не мог постоянно жить в Херсонесе, опасаясь персидской вражды. Нет необходимости верить, что он вообще никогда там не был, но его пребывание там должно было быть прерывистым и небезопасным. Хронологические данные в Herodot. vi, 40 чрезвычайно неясны и запутанны; но мне кажется, что предположение, которое я предлагаю, вносит правдоподобную последовательность в ряд исторических фактов, при малейшем возможном противоречии с нашим основным свидетельством.

Единственное достижение Мильтиадеса между делом на Дунае и его возвращением в Афины незадолго до Марафонской битвы - завоевание Лемноса; и *это*, очевидно, произошло, пока персы были заняты ионическим восстанием (между 502-494 гг. до н. э.). Нет ничего в его записанных деяниях, противоречащего мнению, что между 515-502 гг. до н. э. он, возможно, вообще не жил в Херсонесе или, по крайней мере, не очень долго: и утверждение Корнелия Непоса, что он покинул его сразу после возвращения из Скифии из страха перед персами, может быть в значительной степени верным. Доктор Тирлуолл замечает (стр. 487): "Так же мало похоже, что когда скифы вторглись в Херсонес, Мильтиадес осознавал, что пытался оказать им важную услугу. Он бежал перед ними, хотя был в такой безопасности, пока персидское оружие находилось поблизости". Здесь он уловил то, что я считаю ошибкой

Геродота, - предположение, что Мильтиадес бежал из Херсонеса, чтобы избежать скифов, тогда как на самом деле он покинул его, чтобы избежать персов.

Рассказ Страбона (xiii, p. 591) о том, что Дарий приказал сжечь греческие города на азиатской стороне Геллеспонта, чтобы помешать им доставлять скифов в Азию, кажется мне крайне неправдоподобным. Эти города предстают в своем обычном состоянии, в том числе и Абидус, во время восстания ионийцев через несколько лет после него (Herodot. v, 117).

[510] Herodot. v, 13-16. Николай Дамаскин (Fragm. p. 36, ed. Orell.) рассказывает похожую историю о том, как мисийская женщина привлекла внимание лидийского царя Аляттеса. Такое повторение поразительной истории, относящейся к разным людям и временам, имеет много параллелей в древней истории.

[511] Herodot. v, 20, 21.

[512] Herodot. v, 23, 24.

[513] Herodot. vi, 138. Æschyl. Choëphor. 632; Stephan. Byz. v. Λῆμνος.

Мистические обряды в честь Кабейри на Лемносе и Имбросе особенно отмечены Ферекидесом (ap. Strabo, x, p. 472): сравните Фотия, v. Κάβειροι, и замечательное описание периодических лемнийских торжеств у Филострата (Heroi. p. 740).

Вулканическая гора Мосихлус в северо-восточной части острова все еще горела в четвертом веке до н. э. (Antimach. Fragment. xviii, p. 103, Düntzer Episc. Græc. Fragm.).

В диссертации Велькера (Die Æschylische Trilogie, p. 248, seqq.) много говорится о лемнийских и самофракийских культах.

[514] Herodot. v, 26, 27. Двадцать седьмая глава вызывает крайнее недоумение. Как гласит текст, мы должны сделать Ликарета субъектом некоторых предикаций, которые, тем не менее, кажутся правильно относящимися к Отанесу. Слова от Οἱ μὲν δὲ Λήμνιοι до τελευτᾶ мы должны рассматривать как парентетические, что неловко; но это кажется наименьшей трудностью в данном случае, и комментаторы вынуждены принять это.

[515] Zenob. Proverb. iii, 85.

[516] Herodot. vi, 140. Charax ap. Stephan. Byz. v. Ἡφαιστία.

[517] Xenophon, Hellen. v, 1, 31. Сравните Платона, Menexenus, с. 17, p. 245, где слова ἡμετέροι ἀποίκιαι, несомненно, означают Лемнос, Имброс и Скирос.

[518] Thucyd. iv, 23, v, 8, vii, 57; Phylarchus ap. Athenæum, vi, p. 255; Dêmosthen. Philippic. 1, с. 12, p. 17, R.: сравните надпись, № 1686, в коллекции Бёкха, с его замечаниями, p. 297.

Об уловках, к которым прибегали афинские дикастерии, чтобы добиться отсрочки путем притворного отсутствия на Лемносе или Скиросе, см. Isæus, Or. vi, p. 58 (p. 80, Bek.); Pollux, viii, 7, 81; Hesych. v. Ἰμβριος; Suidas, v. Λημνία δίκη: ср. также Carl Rhode, Res Lemnicæ, p. 50 (Wratishaw 1829).

Похоже, что εἰς Λῆμνον πλεῖν стало в Афинах пословичным выражением, обозначающим уход с дороги, уклонение от исполнения долга: так, по-видимому, считает Демокрит, Philippi. i, с. 9, p. 14. ἀλλ' εἰς μὲν Λῆμνον τὸν παρ' ὑμῶν ἵππαρχον δεῖ πλεῖν, τῶν δ' ὑπὲρ τῶν τῆς πόλεως κτημάτων ἀγωνιζομένων Μενέλαον ἵππαρχεῖν.

Из приведенного выше отрывка Иссея, который Род, как мне кажется, истолковывает неверно, следует, что между афинскими гражданами и лемнийскими женщинами существовал законный брак.

[519] Herodot. vi, 136.

[520] Herodot. v, 28. Μετὰ δὲ οὐ πολλὸν χρόνον, ἄνεως κακῶν ἦν или ἄνεσις κακῶν - если принять догадку некоторых критиков. Г-н Клинтон, а также Ларчер и другие (см. Fasti Hellen. App. 18, p. 314), интерпретируют этот отрывок так, как если бы запятая была поставлена после μετὰ δὲ, чтобы историк утверждал, что период отдыха длился недолго. Мне кажется, что запятую следует поставить после χρόνον, а "короткое время" относится к тем бедам, которые историк описывал ранее. Между событиями, которые описывал историк, - бедствиями, причиненными нападениями Отанеса, и вспышкой ионического восстания, - должен был быть интервал не менее восьми, а то и десяти лет; последнее событие никто не помещает ранее 504 года до н. э., хотя некоторые предпочитают 502 год до н. э., а другие даже 500 год до н. э.

Если, действительно, мы согласимся с Весселингом (ad Herodot. vi, 40; и г-н Клинтон, кажется, склоняется к тому же мнению, см. p. 314, *ut sup.*), что скифская экспедиция должна быть помещена в 508-507 гг. до н. э., тогда действительно интервал между походом Отанеса и ионическим восстанием сократится до одного или двух лет. Но я уже отмечал, что не могу считать 508 г. до н. э. правильной датой для скифской экспедиции: мне кажется, что она относится примерно к 515 г. до н. э. Я также не знаю, какие основания есть для определения даты так, как это делает Весселинг, кроме этой самой фразы οὐ πολλὸν χρόνον, которая при любом предположении является крайне неопределенной, и которую он, как мне кажется, истолковал не лучшим образом.

[521] Herodot. v, 96. Ὁ δὲ Ἀρταφέρνης ἐκέλευέ σφεας εἰ βουλοῖατο σοοὶ εἶναι, καταδέεσθαι ὀπίσω τὸν Ἰππίην.

[522] Herodot. v, 31. Плутарх говорит, что Лигдамис, поставленный Пеисистратом деспотом на Наксосе (Herodot. i, 64), был изгнан с этого поста лакедемонянами (De Herodot. Malignitat. c. 21, p. 859). Признаюсь, я не очень доверяю утверждениям этого трактата о многих деспотах, изгнанных Спартой: мы не знаем ни источника, из которого Плутарх их заимствовал, ни обстоятельств, связанных с ними.

[523] Herodot. v, 30, 31.

[524] Herodot. v, 34, 35.

[525] Herodot. v, 35: сравните Polyæn. i, 24, и Aulus Gellius, N. A. xvii, 9.

[526] Herodot. v, 36.

[527] Сравните Геродот, v, 121, и vii, 98. Олиат был сыном Ибанолиса, как и миласский Ираклидес, упомянутый в v, 121.

[528] Herodot. v, 36, 37; vi, 9.

[529] Herodot. v, 49. Τῷ δὲ (Κλεομένει) ἐς λόγους ἦϊε, ὡς Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, ἔχων χάλκεον πίνακα, ἐν τῷ γῆς ἀπάσης περιόδου ἐνετέμνητο, καὶ θάλασσά τε πᾶσα καὶ ποταμοὶ πάντες.

Самая ранняя карта, о которой упоминается, была составлена Анаксимандром в Ионии, очевидно, незадолго до этого периода: см. Strabo, i, p. 7; Agathemerus, 1, c. 1; Diogen. Laërt. ii, 1.

Гроскурд в своем примечании к приведенному выше отрывку Страбона, а также Ларчер и другие критики, похоже, считают, что, хотя эта табличка или карта Анаксимандра была самой ранней, которая охватывала всю известную землю, среди греков были и другие, еще более ранние, которые описывали отдельные страны. Доказательств этому нет, и я не могу считать это вероятным: отрывок Аполлония Родия (iv, 279) со схождениями к нему, который приводится в качестве доказательства, кажется мне недостойным внимания.

Среди римских земледельцев существовала древняя практика гравировать свои планы земельных участков на латунных табличках, которые хранились в государственных архивах, и с которых делались копии для частного пользования, хотя к оригиналу обращались в случае судебных споров (Siculus Flaccus ap. Rei Agrariæ Scriptores, p. 16, ed. Goes: сравните Giraud, Recherches sur le Droit de Propriété, p. 116, Aix, 1838).

[530] Herodot. v, 49. δεικνὺς δὲ ταῦτα ἔλεγε ἐς τὴν τῆς γῆς περίοδον, τὴν ἐφέρειτο ἐν τῷ πίνακι ἐντετμημένην.

[531] Herodot. v, 49. παρέχον δὲ τῆς Ἀσίης πάσης ἄρχειν εὐπετέως, ἄλλο τι αἰρήσεσθε;

[532] Herodot. v, 49, 50, 51. Сравните Плутарх, Aporphthegm. Laconic. p. 240.

Мы можем отметить, что как в этом случае, так и в течение всей жизни и времени Клиомена, спартанский царь активно управляет и руководит внешними делами, подвергаясь, однако, суду и наказанию со стороны эфоров в случае проступка (Herodot. vi, 82). В дальнейшем мы увидим, что эфоры постепенно все больше и больше берут в свои руки фактическое управление.

[533] Herodot. vi, 112. πρῶτοί τε ἀνέσχοντο ἐσθῆτά τε Μηδικὴν ὀρέοντες, καὶ ἄνδρας ταύτην ἐσθημένους- τέως δὲ ἦν τοῖσι Ἑλλησι καὶ τὸ οὖνομα τὸ Μήδων φόβος ἀκοῦσαι.

[534] Аристагор говорит спартанцам (v, 49)-τὰ κατήκοντα γὰρ ἐστὶ ταῦτα- ἰώνων παῖδας δούλους εἶναι ἀντ' ἐλευθέρων, ὄνειδος καὶ ἄλγος μέγιστον μὲν αὐτοῖσι ἡμῖν, ἐτι δὲ τῶν λοιπῶν ὑμῖν, ὅσῳ προεστέατε τῆς Ἑλλάδος (Herodotus, v, 49). В связи с более ранним инцидентом (Herodot. i, 70) -Τουτέων τε ὧν εἶνεκεν οἱ Λακεδαιμόνιοι τὴν συμμαχίην ἐδέξαντο, καὶ ὅτι ἐκ πάντων σφέας προκρίνας Ἑλλήνων, αἰρέετο φίλους (Cræsus).

Эти два события разделяет более чем сорокалетний промежуток, за который и чувства спартанцев, и отношение к ним окружающих претерпели существенные изменения.

[535] Herodot. v, 97. πολλοὺς γὰρ οἶκε εἶναι εὐπετέστερον διαβάλλειν ἢ ἓνα, εἰ Κλεομένεα μὲν τὸν Λακεδαιμόνιον μοῦνον οὐκ οἶός τε ἐγένετο διαβαλέειν, τρεῖς δὲ μυριάδας Ἀθηναίων ἐποίησε τοῦτο.

[536] Herodot. v, 98; Homer, Iliad, v, 62. Критика Плутарха (De Malignitat. Herodot. p. 861) на этот отрывок, скорее, более уместна, чем критика в этом злосчастном сочинении вообще.

[537] О Кораксе см. Diodor. xiv, 99, и Xenophon, Hellen. i, 2, 7.

[538] Харон из Лампсака и Лисаний в своей истории Эретрии, кажется, упоминали об этой первой осаде Милета и о том, что он был поднят в результате экспедиции в Сарды; см.

Плутарх, de Herodot. Malignit. p. 861, - хотя цитата приведена там сбивчиво, так что мы не можем многое из нее понять.

[539] Herodot. v, 102, 103. Любопытно, что Харон из Лампсака не упоминает об этом поражении объединенного афинского и ионийского войска: см. Plutarch, de Herodot. Malign. *ut sup.*

[540] О Деркиллидасе см. Ксенофонт, Hellen. iii, 2, 17-19.

[541] Herodot. v, 103, 104, 108. Сравните действия на Кипре против Артаксеркса Мнемона под руководством энергичного Евагора Саламинского (Diodor. xiv, 98, xv, 2) около 386 г. до н. э.: большинство мелких князей острова стали на время его подданными, но в 351 г. до н. э. их было девять независимых (Diodor. xvi, 42), и, кажется, столько же во время осады Александром Тира (Arrian, ii, 20, 8).

[542] Herodot. v, 116. Κύπριοι μὲν δὴ, ἐνιαυτὸν ἐλεύθεροι γενόμενοι, αὖτις ἐκ νέης κατεδεδούλωντο.

[543] Herodot. vi, 6. Κίλικες καὶ Αἰγύπτιοι.

[544] Herodot. v, 109. Ἡμέας δὲ ἀπέπεμψε τὸ κοινὸν τῶν Ἰώνων φυλάξοντας τὴν θάλασσαν, etc.: ср. vi, 7.

[545] Herodot. v, 112.

[546] Herodot. v, 112-115. Небезынтересно сравнить с этим повторным завоеванием Кипра персами завоевание того же острова турками в 1570 году, когда они изгнали с него венецианцев. Повествование об этом завоевании (осуществленном в царствование Селима Второго сераскиром Мустафой-пашой) см. в Von Hammer, Geschichte des Osmannischen Reichs, book xxxvi, vol. iii, pp. 578-589. Из двух главных городов, Никосии в центре острова и Фамагусты на северо-восточном побережье, первый после долгой осады был взят штурмом, а жители всех полов и возрастов либо преданы смерти, либо уведены в рабство; второй же, после самой доблестной обороны, был вынужден капитулировать. Но условия капитуляции были самым грубым образом нарушены сераскирами, которые обошлись с храбрым венецианским губернатором Брагадино с ужасающей жестокостью, отрезав ему нос и уши, подвергнув его всевозможным оскорблениям и в конце концов заживо содрал с него кожу. Кожа этого несчастного генерала была доставлена в Константинополь в качестве трофея, но впоследствии попала в Венецию.

Мы не читаем ни о чем подобном обращении с Брагадино во время персидского завоевания Кипра, хотя это было покорение после восстания; более того, ничего подобного нет во всех персидских войнах.

Фон Хаммер дает краткий очерк (не всегда очень точный в отношении древних времен) о состоянии Кипра при сменявших друг друга хозяевах - персах, герако-египтянах, римлянах, аравийцах, династии Лузиньянов, венецианцах и турках, - причем последний, похоже, был самым худшим из всех.

В связи с вышеупомянутым примером жестокости я могу упомянуть, что персидский царь Камбизес заставил одного из царских судей (согласно Геродоту v, 25), который взял взятку за вынесение неправосудного решения, быть заживо сожженным, а его кожу натянуть на сиденье, на котором сидел его сын, чтобы сменить его; в качестве урока справедливости для последнего. Аналогичная история рассказывается о персидском царе Артаксерксе Мкмоне;

и что еще более примечательно, эта же история приводится в турецкой истории как деяние Мухаммеда Второго (Von Hammer, Geschichte des Osmannisch. Reichs, book xvii, vol. ii, p. 209; Diodorus, xv, 10). Аммиан Марцеллин (xxiii, 6) имел все основания считать реальность этого факта сомнительной.

[547] Herodot. v, 117.

[548] Herodot. v, 122-124.

[549] Herodot. v, 118. О топографии этого места, как она описана у Геродота, см. хорошую заметку в Weissenborn, Beiträge zur genaueren Erforschung der alt. Griechischen Geschichte, p. 116, Jena, 1844.

Он с большим основанием полагает, что упомянутая здесь река Марсиас не может быть той, что протекает через Келен, а другой рекой с тем же названием, которая впадает в Меандр с юго-запада.

[550] О деревне Лабранда и храме Зевса Стратия см. Strabo, xiv, p. 659. Лабранда была деревней на территории и в семи милях от внутреннего города Миласа; во время восстания ионийцев она была карийской, но частично эллинизировалась до 350 г. до н.э. Около этой последней эпохи три сельских племени Миласы, составлявшие вместе с жителями города общину миласен, были Тарκόνδα, Ὀτῶρκονδα, Λάβρανδα, - см. надпись в коллекции Боэция, № 2695, и в Franz, Epigraphicê Græca, № 73, p. 191. В лидийском языке λάβρυς, как говорят, означал секиру (Плутарх, Quæst. Gr. c. 45, p. 314).

[551] Herodot. v, 118, 119.

[552] Herodot. v, 120, 121; vi, 25.

[553] Herodot. v, 125; Strabo, xiv, p. 635.

[554] Herodot. v, 126.

[555] Herodot. vi, 5. Οἱ δὲ Μιλήσιοι, ἄσμενοι ἀπαλλαχθέντες καὶ Ἀρισταγόρεω, οὐδαμῶς ἔτοιμοι ἦσαν ἄλλον τύραννον δέκεσθαι ἐς τὴν χώραν, οἷά τε ἐλευθερίας γευσάμενοι.

[556] Herodot. v, 105. Ὡ Ζεῦ, ἐκγενέσθαι μοι Ἀθηναίους τίσασθαι. Сравните фракийскую практику общения с богами путем пускания стрел высоко в воздух (Herodot. iv, 94).

[557] Herodot. v, 107, vi, 2. Сравните совет Биаса из Приенки ионийцам, когда приближался персидский завоеватель Кир, основать колонию пан-ионийцев в Сардинии (Herodot. i, 170): идея, начатая Аристагором, упоминалась выше (Herodot. v, 124).

Павсаний (iv, 23, 2) вкладывает в уста Мантикла, сына Аристоменеса, рекомендацию мессенцам, когда их во второй раз завоевали спартанцы, переселиться в Сардинию.

[558] Herodot. v, 106, 107.

[559] Herodot. vi, 1. Οὕτω τοι, Ἰστίαιε, ἔχει κατὰ ταῦτα τὰ πρήγματα- τοῦτο τὸ ὑπόδημα ἔρραψας μὲν σὺ, ὑπεδήσατο δὲ Ἀρισταγόρης.

[560] Herodot. vi, 2-5.

[561] Herodot. vi, 5-26.

[562] Herodot. vi, 6-9.

[563] Herodot. vi, 8.

[564] Herodot. vi, 9-10.

[565] Herodot. vi, 11. Ἐπὶ ξυροῦ γὰρ ἀκμῆς ἔχεται ἡμῖν τὰ πρήγματα, ἄνδρες Ἴωνες, ἢ εἶναι ἐλευθέροισι ἢ δοῦλοισι, καὶ τούτοις ὡς ὀρηπέτησι- νῦν ὧν ὑμεῖς, ἦν μὲν βούλησθε ταλαιπωρίας ἐνδέκεσθαι, τὸ παραχρῆμα μὲν πόνος ὑμῖν ἔσται, οἷοί τε δὲ ἔσεσθε, ὑπερβαλλόμενοι τοὺς ἐναντίους, εἶναι ἐλευθέροι, etc.

[566] Herodot. vi, 12. Οἱ Ἴωνες, οἷα ἀπαθέες ἔοντες πόνων τοιούτων, τετρυμένοι τε ταλαιπωρήσιν τε καὶ ἡελίῳ, ἔλεξαν πρὸς ἑωυτοὺς τάδε-Τίνα δαιμόνων παραβάντες, τάδε ἀναπίμπλαμεν, οἵτινες παραφρονήσαντες, καὶ ἐκπλώσαντες ἐκ τοῦ νόου, ἀνδρὶ Φωκαέει ἀλαζόνι, παρεχομένῳ νέας τρεῖς, ἐπιτρέψαντες ἡμέας αὐτοὺς ἔχομεν, etc.

[567] Herodot. vi, 13.

[568] Herodot. vi, 14, 15.

[569] Herodot. vi, 16.

[570] Thucyd. viii, 14.

[571] Herodot. vi, 17. ληϊστῆς κατεστήκεε Ἑλλήνων μὲν οὐδενός, Καρχηδονίων δὲ καὶ Τυρσηνῶν.

[572] Herodot. vi, 22-25.

[573] Herodot. vi, 18, 19, 20, 22.

Μίλητος μὲν νυν Μιλησίων ἡρήμωτο.

[574] Herodot. vi, 18, αἰρέουσι κατ' ἄκρης, ἐν τῷ ἐκτῷ ἔτει ἀπὸ τῆς ἀποστάσιος τῆς Ἀρισταγόρεω. Это почти единственное четкое хронологическое утверждение, которое мы находим у Геродота в отношении ионийского восстания. Остальные свидетельства о времени в его главах более или менее двусмысленны: нет достаточных свидетельств, чтобы мы могли распределить события между началом ионического восстания и битвой при Марафоне по годам, к которым они относятся. Битва при Марафоне приходится на август или сентябрь 490 года до н. э.: осада Милета, вероятно, была закончена в 496-495 годах до н. э., а ионическое восстание началось в 502-501 годах до н. э. Таковы даты, которые в целом кажутся мне наиболее вероятными, хотя я далек от того, чтобы считать их определенными.

Хронологические критики значительно расходятся в своем распределении событий, о которых здесь говорится, между конкретными годами. См. Приложение, № 5, стр. 244, в Fasti Hellenici г-на Клинтона; профессор Шульц, Beiträge zu genaueren Zeitbestimmungen von der 63^{er} zur 72^{en} Olympiade, pp. 177-183, в Kieler Philologische Studien; и Байсенборн, Beiträge zur genaueren Erforschung der alten Griechischen Geschichte, Jena, 1844, p. 87, seqq.: не говоря уже о Рейце и Ларчере. Г-н Клинтон отсчитывает только десять лет от начала ионийского восстания до битвы при Марафоне, что кажется мне слишком коротким; хотя, с другой стороны, четырнадцать лет, отсчитанных Ларчером, и тем более шестнадцать лет, отсчитанных Рейсом, - это слишком много. Мистер Клинтон неудобно сжимает последнюю часть интервала - ту часть, которая прошла между осадой Милета и битвой при Марафоне. И очень невероятное предположение, к которому он вынужден прибегнуть, - о путанице в языке Геродота между аттическими и олимпийскими годами, - показывает, что он слишком сильно давит на текст историка, когда утверждает, "что Геродот указывает срок в три года между взятием Милета и экспедицией Датиса": см. F. H. ad ann. 499. Он помещает взятие Милета в

494 г. до н. э., что я склонен считать годом позже - если не двумя годами позже, чем в действительности. Действительно, поскольку г-н Клинтон помещает экспедицию Аристагора против Наксоса (которая была *непосредственно перед* началом восстания, так как Аристагор захватил ионийских деспотов в то время, когда флот еще оставался в сборе сразу после завершения экспедиции) в 501 г. до н. э., и поскольку Геродот прямо говорит, что Милет был взят на шестой год после восстания, из этого следует, что это взятие должно относиться к 495, а не к 494 году до н. э. Я склонен поместить его либо в 496, либо в 495 год; а накийскую экспедицию - в 502 или 501 год, склоняясь к более ранней из этих двух дат: Шульц согласен с Ларше, помещая накийскую экспедицию в 504 г. до н. э., однако он относит взятие Милета к 496 г. до н. э., тогда как Геродот утверждает, что последнее из этих двух событий произошло на шестой год после восстания, которое сразу же сменилось первым из них, в течение того же лета. Вейссенборн помещает взятие Милета в 496 г. до н. э., а экспедицию на Наксос - в 499 г., подозревая, что текст Геродота - ἔκτῳ ἔτει - неверен, и что это должен быть τέταρτῳ ἔτει, четвертый год (стр. 125: сравните хронологическую таблицу в его работе, стр. 222). Он пытается показать, что отдельные происшествия, составляющие ионийское восстание, как о нем рассказывает Геродот, не могут занимать более четырех лет; но его рассуждения, на мой взгляд, неудовлетворительны, а предположение неприемлемо. Четкое утверждение историка относительно всего промежутка между двумя событиями имеет гораздо большую доказательную ценность, чем наше предположительное суммирование деталей.

Я думаю, что напрасно пытаться расположить эти детали по точным годам: это можно сделать лишь очень приблизительно".

[575] Herodot. vi, 25.

[576] Herodot. vi, 31-33. Возможно, именно на это сожжение и разграбление городов в Пропонтиде и на азиатской стороне Геллеспонта ссылается Страбон (xiii, p. 591), хотя он приписывает это действие другой причине - страху Дария, что скифы перейдут в Азию, чтобы отомстить ему за нападение на них, и что города на побережье предоставят им суда для этого перехода.

[577] Herodot. vi, 41.

[578] Herodot. vi, 31, 32, 33.

[579] Herodot. vi, 25.

[580] Herodot. vi, 26-28. ἄγων ἰώνων καὶ Αἰολέων συχνοῦς.

[581] Herodot. vi, 28, 29, 30.

[582] Herodot. vi, 21, ὡς ἀναμνήσαντα οἰκῆϊα κακὰ: ср. vii, 152; также, Kallisthenês ap. Strabo, xiv, p. 635, и Плутарх, Præcept. Reipubl. Gerend. p. 814.

[583] См. Welcker Griechische Tragödien, vol. i, p. 25.

[584] Herodot. vi, 42.

[585] Herodot. vi, 20.

[586] Herodot. vi, 43. Рассказывая об этом низложении деспотов Мардонием, Геродот использует его как аналогию для подтверждения правильности другого своего утверждения, которое, как он сообщает нам, оспаривали многие люди; А именно, он сообщает, что после

смерти мага Смердиса семь заговорщиков обсуждали, установить ли им монархию, олигархию или демократию, -ἐνθαῦτα μέγιστον θῶῦμα ἐρέω τοῖσι μὴ ἀποδεκόμενοισι τῶν Ἑλλήνων, Περσέων τοῖσι ἕπτα Ὀτάνεα γνώμην ἀποδέξασθαι, ὡς χρέων εἶη δημοκρατέεσθαι Πέρσας- τοὺς γὰρ τυράννους τῶν Ἰώνων καταπαύσας πάντας ὁ Μαρδόνιος, δημοκρατίας κατίστα ἔς τὰς πόλιας. Подобные отрывки вводят нас в противоречия того времени и доказывают, что Геродот нашел много возражавших против его рассказа о дискуссии о теориях правления среди семи персидских заговорщиков (iii, 80-82).

[587] Herodot. vi, 43, 44, ἐπορεύοντο δὲ ἐπὶ τε Ἑρετρίαν καὶ Ἀθήνας.

[588] Herodot. vi, 44-94. Харон из Лампсака заметил бурю у горы Афон и гибель флота Мардония (Charonis Fragment. 3, ed. Didot; Athenæ. ix, p. 394).

[589] Herodot. vi, 46-48. См. аналогичный случай разоблачения, возникший на почве ревности между Тенедосом и Лесбосом (Thucyd. iii, 2).

[590] Herodot. vi, 94.

[591] Herodot. vi, 48-49; viii, 46.

[592] Herodot. v, 81-89. См. выше, [глава xxxi](#). Легендарная история, приведенная там в качестве провокации Эгины к войне, очевидно, не должна рассматриваться как реальная и историческая причина войны: состояние ссоры заставляет все подобные истории разгребать, а некоторые, вероятно, и выдумывать. Это похоже на старую предполагаемую ссору между афинянами и пеласгами с Лемноса (vi, 137-140).

[593] Именно на такое обращение с герольдом, должно быть, ссылается история в "Жизни Фемистокла" Плутарха, если эта история действительно правдива; ведь персидский царь вряд ли послал бы второго герольда после такого обращения с первым. Глашатая сопровождал переводчик, говоривший не только на родном, но и на греческом языке. Фемистокл предложил и провел голосование, чтобы его предали смерти за то, что он использовал греческий язык как средство для варварской диктовки (Плутарх, Themist. c. 6). Нам было бы интересно узнать, у кого Плутарх скопировал эту историю.

Павсаний утверждает, что именно Мильтиадес предложил предать смерти глашатаев в Афинах (iii, 12, 6) и что из-за этого на его семью обрушился божественный суд. От кого Павсаний скопировал это утверждение, я не знаю: конечно, не от Геродота, который не упоминает Мильтиадеса в этом деле и прямо говорит, что не знает, каким образом божественный суд настиг афинян за это преступление, "кроме того (говорит он), что их город и страна были впоследствии опустошены Ксерксом; но я не думаю, что это произошло из-за возмущения герольдов". (Herodot. vii, 133.)

Вера в то, что должен был произойти тот или иной божественный суд, послужила сильным стимулом для того, чтобы придумать или извратить какой-нибудь исторический факт, чтобы соответствовать ему. Геродот обладает достаточным уважением к истине, чтобы противостоять этому стимулу и признаться в своем невежестве; это обстоятельство, наряду с другими, укрепляет наше доверие к его общему авторитету. Его молчание ослабляет доверие, но не опровергает утверждение Павсания относительно Мильтиадеса, которое, конечно, не является по своей сути невероятным.

[594] Herodot. vii, 133.

[595] Herodot. vi, 49. Ποιήσασι δέ σφι (Αἰγινήταις) ταῦτα, ἰθέως Ἀθηναῖοι ἐπεκέατο, δοκέοντες ἐπὶ σφίσι ἔχοντας τοὺς Αἰγινήτας δεδωκέναι (γῆν καὶ ὕδωρ), ὥς ἅμα τῷ Πέρσῃ ἐπὶ σφέας στρατεύωνται. Καὶ ἄσμενοι προφάσιος ἐπελάβοντο- φοιτέοντές τε ἐς τὴν Σπάρτην, κατηγοροῦν τῶν Αἰγινήτων τὰ πεποιήκοιεν, προδόντες τὴν Ἑλλάδα. Сравните viii, 144, ix, 7. τὴν Ἑλλάδα δεινὸν ποιούμενοι προδοῦναι - новая и очень важная фраза.

vi, 61. Τότε δὲ τὸν Κλεομένεα, ἐόντα ἐν τῇ Αἰγίνῃ, καὶ κοινὰ τῇ Ἑλλάδι ἀγαθὰ προεργαζόμενον, etc.

[596] Thucyd. i, 70-118. ἄοκνοι πρὸς ὑμᾶς (*m. e.* спартанцы) μελλήτας καὶ ἀποδημηταὶ πρὸς ἐνδημοτάτους.

[597] Herodot. vii, 145-148. Οἱ συνωμόται Ἑλλήνων ἐπὶ τῷ Πέρσῃ.

[598] Что отмечает осаду Милета и поражение аргейцев от Клеомена как одновременные или почти одновременные, так это общие прорицательные изречения, произнесенные в отношении обоих: в одном и том же пророчестве Пифии одна половина относится к страданиям Милета, другая - к страданиям Аргоса (Herodot. vi, 19-77).

Χρεωμένοισι γὰρ Ἀργείοισι ἐν Δελφοῖσι περὶ σωτηρίας τῆς πόλιος τῆς σφετέρης, τὸ μὲν ἐς αὐτοὺς τοὺς Ἀργεῖους φέρον, τὴν δὲ παρενθήκην ἔχρησε ἐς Μιλησίους.

Я считаю, что это свидетельство о дате лучше, чем утверждение Павсания. Этот автор помещает предприятие против Аргоса сразу (αὐτίκα-Paus. iii, 4, 1) после воцарения Клеоменеса, который, поскольку он был царем, когда Мæндрий пришел с Самоса (Herodot. iii, 148), должен был вступить на престол не позднее 518 или 517 г. до н. э. Это было бы тридцать семь лет до 480 г. до н. э.; слишком ранняя дата для войны между Клеоменесом и аргейцами, как мы можем видеть по Геродоту (vii, 149).

[599] Herodot. vi, 92.

[600] Herodot. vi, 78; ср. Ксенофонт, Rep. Laced. xii, 6. Приказы об эволюциях в поле, в лакедемонской военной службе, не объявлялись глашатаем, а передавались через различные градации офицеров (Thucyd. v, 66).

[601] Herodot. vi, 79, 80.

[602] Pausan. ii, 20, 7; Polyæn. viii, 33; Plutarch, De Virtut. Mulier, p. 245; Suidas, v. Τελέσιλλα.

Плутарх ссылается на историка Сократеса из Аргоса для этого рассказа о Телесилле; историк, или, возможно, составитель περιγῆσις Ἀργους, неизвестной даты: сравните Diogen. Laërt. ii, 5, 47, и Плутарх, Quæstion. Romaic. pp. 270-277. Согласно его представлению, Клеоменес и Демарат совместно напали на город Аргос, и Демарат, проникнув в город и став хозяином Памфилика, был изгнан оттуда женщинами. Геродот сообщает нам, что Клеоменес и Демарат никогда не участвовали в одном походе после разногласий во время похода в Аттику (v, 75; vi, 64).

[603] Herodot. vi, 77.

Ἄλλ' ὅταν ἡ θηλεῖα τὸν ἄρσενα νικήσασα

Ἐξελάσῃ, καὶ κύδος ἐν Ἀργείοισιν ἄρῃται и т.д.

Если это пророчество может иметь какой-то определенный смысл, то оно, вероятно, относится к Хере, как покровительнице Аргоса, отражающей спартанцев.

Павсаний (ii, 20, 7) вполне может сомневаться, понимал ли Геродот этот оракул в том же смысле, что и он: ясно, что Геродот не мог его так понять.

[604] Herodot. vi, 80, 81: сравните v, 72.

[605] Herodot. vi, 82. εἰ μὲν γὰρ ἐκ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἀγάλματος ἐξέλαμψε, αἰρέειν ἂν κατ' ἀκρῆς τὴν πόλιν- ἐκ τῶν στηθέων δὲ λάμψαντος, πᾶν οἱ πεποιῆσθαι ὅσον ὁ θεὸς ἤθελε.

Для выражения αἰρέειν κατ' ἀκρῆς, сравните Herodot. vi, 21, и Damm. Lex. Homer. v. ἀκρός. В этом выражении, как правило, последние слова κατ' ἀκρῆς утратили свой примитивный и особый смысл и не более чем усиливают простое αἰρέειν, что равносильно чему-то вроде "de fond en comble": ибо Клеоменес обвиняется своими врагами, -φάμενοί μιν δωροδοκήσαντα, οὐκ ἔλέειν τὸ Ἄργος, παρέον εὐπετέως μιν ἔλεϊν. Но в истории, пересказанной Клеоменесом, слова κατ' ἀκρῆς возвращаются к своему первобытному значению и служат основой для религиозного умозаключения, от типа к типизируемой вещи: если бы свет сиял от головы или *вершины* статуи, это означало бы, что боги предназначили ему взять город "*сверху донизу*".

Что касается этой весьма показательной истории, - к которой, кажется, нет причин относиться с недоверием, - то контраст между точкой зрения Геродота и спартанских эфоров заслуживает внимания. Первый, хотя и утверждает, что это реальная история, рассказанная Клеоменесом, подозревает ее истинность и выражает столько скептицизма, сколько позволяет ему его благочестивый страх; последние находят ее в полной гармонии, как с их канонам веры, так и с их религиозным чувством, -Κλεομένης δὲ σφί ἔλεξε, οὔτε εἰ ψευδόμενος οὔτε εἰ ἀληθέα λέγων, ἔχω σαφηνέως εἶπαι- ἔλεξε δ' ὧν.... Ταῦτα δὲ λέγων, πιστά τε καὶ οἴκοτα ἔδόκεε Σπαρτιήτησι λέγειν, καὶ ἀπέφυγε πολλὸν τοὺς διώκοντας.

[606] Сравните Павсаний, ii, 20, 8.

[607] Herodot. vi, 92.

[608] Herodot. vi, 50. Κρίος-ἔλεγε δὲ ταῦτα ἐξ ἐπιστολῆς τῆς Δημαρήτου. Сравните Pausan. iii, 4, 3.

[609] Herodot. vi, 50-61, 64. Δημάρητος-φθόνῳ καὶ ἄγῃ χρεώμενος.

[610] Herodot. vi, 61, 62, 63.

[611] Herodot. vi, 65, 66. В аналогичном случае впоследствии, когда наследство оспаривалось между братом Агесилая и Леотихидом, предполагаемым сыном умершего царя Агиса, лакедемоняне, похоже, взяли на себя решение объявить Леотихида незаконнорожденным; или, скорее, молчаливо признали такую незаконность, предпочтя Агесилая без помощи оракула (Ксенофонт, Hellen. iii, 3, 1-4; Плутарх, Agesilaus, с. 3). Однако предыдущий оракул из Дельф, φυλάξασθαι τὴν χωλὴν βασιλείαν, был приведен по этому случаю, и вопрос заключался в том, как его следует интерпретировать.

[612] Herodot. vi, 68, 69. Ответ матери на это обращение - сообщить Демарату, что он сын либо царя Аристо, либо героя Астрабака - чрезвычайно интересен как свидетельство греческих нравов и чувств.

[613] Plutarch, Agis, с. 11. κατὰ δὴ τίνα νόμον παλαιὸν, ὃς οὐκ ἔῃ τὸν Ἡρακλείδην ἐκ γυναικὸς ἄλλοδαπῆς τεκνοῦσθαι, τὸν δ' ἀπελθόντα τῆς Σπάρτης ἐπὶ μετοικισμῷ πρὸς ἑτέρους ἀποθνήσκειν κελεύει.

[614] Herodot. vi, 70.

[615] Herodot. vi, 78.

[616] Herodot. vi, 94. Δατὴν τε, ἔοντα Μηδὸν γένος и т. д.

Корнелий Непос (Жизнь Павсания, с. 1) называет Мардония медянином, что не может быть правдой, так как он был сыном Гобриаса, одного из семи персидских заговорщиков (Herodot. vi, 43).

[617] Herodot. vi, 94. ἐντειλάμενος δὲ ἀπέπεμπε, ἐξανδραποδίσαντας Ἑρετρίαν καὶ Ἀθήνας, ἄγειν ἑωῦτ' ὃς ἔστιν τὰ ἀνδράποδα.

Согласно "Менексену" Платона (с. 17, р. 245), Дарий приказал Датису исполнить этот приказ под угрозой собственной головы; у Геродота такой суровости не встречается.

[618] Thucyd. i, 93.

[619] Herodot. vi, 95, 96. ἐπὶ ταύτην (Naxos) γὰρ δὴ πρώτην ἐπέϊχον στρατεύεσθαι οἱ Πέρσαι, μεμνημένοι τῶν πρότερον.

[620] Историки Наксоса утверждали, что Датис был отбит от острова. Это утверждение мы находим у Плутарха, De Malign. Herodot. с. 36, р. 869, среди его яростных и необоснованных противоречий Геродоту.

[621] Herodot. vi, 99.

[622] Herodot. vi, 100. Τῶν δὲ Ἑρετριέων ἦν ἄρα οὐδὲν ὑγιὲς βούλευμα, οἳ μετεπέμποντο μὲν Ἀθηναίους, ἐφρόνεον δὲ διφασίας ἰδέας- οἳ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐβουλεύοντο ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν ἐς τὰ ἄκρα τῆς Εὐβοίης, ἄλλοι δὲ αὐτῶν ἴδια κέρδεα προσδεκόμενοι παρὰ τοῦ Πέρσεω οἴσεσθαι προδοσίην ἐσκευάζοντο.

Упоминание об этой измене эретрийцев можно найти в изречении Фемистокла (Плутарх, Themist. с. 11).

История, рассказанная Гераклидом Понтийским (Ap. Athenæ. xii, р. 536), о раннем персидском войске, которое напало на Эретрию и потерпело неудачу, не может быть понята; она скорее похожа на миф, объясняющий происхождение огромного богатства, которым обладала семья Каллиаса в Афинах, - Λακκόπλουτος. Другая история, имеющая тот же объяснительный смысл, есть у Плутарха, Аристеидес, с. 5.

[623] Herodot. vi, 101, 102.

[624] Платон, Legg. iii, р. 698, и Menexen. с. 10, р. 240; Diogen. Laërt. iii, 33; Herodot. vi, 31: сравните Strabo, x, р. 446, который приписывает Геродоту утверждение Платона о σαγήνευσις Эретрии. Платон ничего не говорит о предательстве города.

Следует отметить, что в отрывке из "Трактата о законах" Платон упоминает эту историю (о том, что персы очистили территорию Эретрии от жителей) с некоторым сомнением в ее правдивости и как будто это слух, намеренно распространяемый Датисом с целью запугать афинян. Но в "Менексене" эта история приводится как подлинный исторический факт.

[625] Плутарх, De Garrulitate, с. 15, р. 510. Потомки Гонгила Эретрийского, перешедшие по этому случаю к персам, спустя почти столетие оказались во владении городом и округой в Мисии, которые персидский царь пожаловал их предку. Геродот не упоминает Гонгилуса (Xenoph. Hellen. iii, 1, 6).

Эта капитуляция перед персами вызвала у эретрийцев горькие замечания во время битвы при Саламине (Плутарх, Фемистоклос, с. 11).

[626] Глава Геродота (vi, 40), относящаяся к приключениям Мильтиадеса, чрезвычайно озадачивает, как я уже отмечал в предыдущем примечании: Весселинг считает, что она связана с хронологическими трудностями, которые наши современные MSS. не позволяют нам прояснить. Ни Швайгхойзер, ни объяснение, приведенное в примечании Бэра, не являются удовлетворительными.

[627] Herodot. vi, 43-104.

[628] Herodot. vi, 39-104.

[629] Herodot. vi, 132. Μιλτιάδης, καὶ πρότερον εὐδοκίμων - т. е. до битвы при Марафоне. Насколько повысилась его репутация после завоевания Лемноса, см. Herodot. vi, 136.

[630] Herodot. vi, 35.

[631] Thucyd. i, 138. ἦν γὰρ ὁ Θεμιστοκλῆς βεβαίωτατα δὴ φύσεως ἰσχὺν δηλώσας καὶ διαφερόντως τι ἐς αὐτὸ μᾶλλον ἐτέρων ἄξιος θαυμάσαι- οἰκεία γὰρ συνέσει καὶ οὔτε προμαθῶν ἐς αὐτὴν οὐδὲν οὔτ' ἐπιμαθῶν, τῶν τε παραχρῆμα δι' ἐλαχίστης βουλῆς κράτιστος γνώμων, καὶ τῶν μελλόντων ἐπὶ πλείστον τοῦ γενησομένου ἄριστος εἰκαστής. Καὶ ἃ μὲν μετὰ χεῖρας ἔχοι, καὶ ἐξηγήσασθαι οἷός τε- ὧν δὲ ἄπειρος εἶη, κρίναι ἱκανῶς οὐκ ἀπήλλακτο. Τό τε ἄμεινον ἢ χεῖρον ἐν τῷ ἀφανεῖ ἔτι προεώρα μάλιστα- καὶ τὸ ξύμπαν εἶπεῖν, φύσεως μὲν δυνάμει, μελέτης δὲ βραχύτητι, κράτιστος δὴ οὗτος αὐτοσχεδιάζειν τὰ δέοντα ἐγένετο.

[632] См. противопоставление старого и нового воспитания, изложенное в "Аристофане", "Нубы", 957-1003; также "Ранæ", 1067.

Об обучении Фемистокла по сравнению с обучением современников Перикла см. также Плутарх, Фемистокл. с. 2.

[633] Плутарх, Фемистокл, с. 3, 4, 5; Корнелий Непос, Фемист. с. 1.

[634] Herodot. viii, 79; Plato, Gorgias, с. 172. ἄριστον ἄνδρα ἐν Ἀθήνησι καὶ δικαιοτάτον.

[635] Плутарх (Aristeidês, с. 1-4; Themistoklês, с. 3; An Seni sit gerenda respublica, с. 12, p. 790; Præcepta Reip. Gerend. с. ii, p. 805).

[636] Timokreon ap. Плутарх, Themistoklês, с. 21.

[637] Thucyd. ii, 65.

[638] Plutarch, Aristeidês, с. 7.

[639] Plutarch, Aristeidês, с. 5.

[640] Herodot. vi, 109, 110.

[641] Г-н Киннейр отмечает, что персидские кассиды, или пешие гонцы, проходят несколько дней подряд по шестьдесят или семьдесят миль в день (Geographical Memoir of Persia, p. 44).

[642] Herodot. ix, 7-10.

[643] Herodot. vi, 110.

[644] Herodot. vi, 108-112.

[645] Thucyd. iii, 55.

[646] Юстин сообщает о десяти тысячах афинян, кроме одной тысячи платейцев. Корнелий Непос, Павсаний и Плутарх называют десять тысяч в сумме. Юстин, ii, 9; Corn. Nep. Miltiad. c. 4; Pausan. iv, 25, 5; x, 20, 2: сравните также Suidas, v. Ἰππίας.

Херен (De Fontibus Trogi Pompeii, Dissertat. ii, 7) утверждает, что Трог, или Юстин, следует Геродоту в вопросах, касающихся персидских вторжений в Грецию. Он не мог сравнить их очень внимательно; ведь Юстин не только излагает несколько вопросов, которых нет у Геродота, но и расходится с ним по некоторым немаловажным пунктам.

[647] Юстин (ii, 9) говорит, что общая численность персидской армии составляла шестьсот тысяч человек и что двести тысяч погибли. Платон (Menexen. p. 240) и Лисий (Orat. Funebr. c. 7) говорят о персах как о пятистах тысячах человек. Валерий Максим (v, 3), Павсаний (iv, 25) и Плутарх (Parallel. Græc. ad init.) называют триста тысяч человек. Корнелий Непос (Miltiadês, c. 5) дает более умеренную цифру в сто десять тысяч человек.

См. наблюдения о битве при Марафоне, сделанные полковником Ликом и г-ном Финлеем, которые исследовали и описали местность; Лик, о демиях Аттики, в Transactions of the Royal Society of Literature, vol. ii, p. 160, seq.; и Финлей, о битве при Марафоне, в тех же Transactions, vol. iii, pp. 360-380, etc.

Оба они сделали замечания о вероятной численности собранных армий; но в отношении персов нет никаких материалов, даже для вероятного предположения. Молчание Геродота (который, как мы увидим далее, весьма косвенно касается численности армии под командованием Ксеркса), похоже, показывает, что у него не было информации, которой он мог бы доверять. Его рассказ о битве при Марафоне представляет собой достойный контраст с вольными и хвастливыми утверждениями, которые следовали за ним; хотя он и не говорит нам много, и досадно мало того, что мы хотели бы знать, но все, что он говорит, разумно и вероятно в отношении действий обеих армий, и то небольшое, что он сообщает, становится более достоверным именно по этой причине, - потому что *это* так мало, - показывая, что он строго придерживается своих полномочий.

В рассказе Геродота нет ничего, что заставило бы нас поверить, что он когда-либо посещал землю Марафона".

[648] См. м-р Финлей о Марафонской битве, Transactions, etc., vol. iii, pp. 364, 368, 383, *ut supra*: сравните Hobhouse, Journey in Albania, i, p. 432.

Полковник Лик считает, что древний город Марафон находился не на месте современного Марафона, а в месте под названием Врана, немного южнее Марафона (Leake, on the Demi of Attica, in the Transactions of the Royal Society of Literature, 1829, vol. ii, p. 166).

"Ниже этих двух точек, - замечает он, - (курганы Врана и холм Котрони) равнина Марафона простирается до берега залива, который находится на расстоянии около двух миль от отверстия долины Врана. Она в меру хорошо возделывается и является одним из самых плодородных мест в Аттике, хотя и довольно неудобно подвержена затоплениям из-за двух пересекающих ее потоков, особенно Марафонского. Из Лукиана (в "Икаро-Мениппо") следует, что окрестности Σενοῦ славилась своим плодородием, а египетский поэт V века прославил виноградники и оливки Марафона. Естественно предположить, что виноградники занимали возвышенности, и вполне вероятно, что оливковые деревья располагались в

основном в двух долинах, где некоторые из них растут до сих пор: что касается самой равнины, то обстоятельства битвы склоняют к мысли, что в древности она была так же лишена деревьев, как и в наши дни". (Leake, on the Demi of Attica, Trans. of Roy. Soc. of Literature, vol. ii, p. 162.)

Далее полковник Лик говорит о пригодности марафонской земли для передвижения кавалерии: "Когда я ехал через равнину Марафона с крестьянином из Враны, он заметил мне, что это прекрасное место для сражения кавалерии. Никто из современных марафонцев не был выше рабочего: они слышали, что там когда-то произошла великая битва, но это все, что они знают". (Leake, *ut sup.* ii, p. 175.)

[649] Herodot. vi, 107.

[650] Plutarch, Symposiac. i, 3, p. 619; Xenophon, Anab. i, 8, 21; Arrian, ii, 8, 18; iii, 11, 16.

С этим устоявшимся боевым порядком персидских армий можно сравнить боевой порядок турецких армий, принятый и постоянно соблюдаемый со времени победоносной битвы при Икони в 1386 году, одержанной Амуратом Первым над караманцами. Европейские войска, или войска Рума, занимают левое крыло: азиатские войска, или войска Анатолия, - правое крыло: янычары - центр. Султан, или Великий Визирь, окруженный национальной кавалерией, или спахи, находится в центре всего (Von Hammer, Geschichte des Osmannischen Reichs, book v, vol. i, p. 199).

О чести занимать правое крыло в греческой армии см., в частности, оживленный спор между афинянами и тегейцами перед битвой при Платее (Herodot. ix, 27): этот пост отводился героическим царям в легендарных войнах (Eurip. Supplices, 657).

[651] Herodot. vi, 112. Πρῶτοι μὲν γὰρ Ἑλλήνων πάντων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, δρόμῳ ἐς πολέμιους ἐχρήσαντο.

Очевидно, что темп бега заряда был одним из самых примечательных событий, связанных с битвой. Полковник Лик и мистер Финлей, кажется, склонны сводить бег к быстрому маршу; отчасти на том основании, что войска должны были быть расстроены и запыхаться, пробежав милю. Вероятно, так оно и было на самом деле, и именно это стало главной причиной поражения центра. Весьма вероятно, что часть пройденной мили состояла из склонов. Я принимаю рассказ Геродота буквально, хотя точно ли указано расстояние, мы не можем сказать: действительно, факт в том, что требовалась определенная устойчивость дисциплины, чтобы шаг гоплитов, когда они заряжаются, не ускорялся до бега. См. рассказ о битве при Кунаксе в Xenoph. Anab. i, 8, 18; Diodor. xiv, 23: сравните Polyæn. ii, 2, 3. В приведенном здесь отрывке Диодора противопоставляются преимущества и недостатки бегущего заряда.

И полковник Лик, и мистер Финлей пытаются указать точное место, занятое двумя армиями: они расходятся в выборе места, и я не могу считать, что есть достаточные доказательства в пользу какого-либо места. Лик считает, что персидские полководцы расположились лагерем на равнине Трикоритос, отделенной от Марафонской большим болотом и сообщавшейся с ней только с помощью мостовой (Leake, Transact. ii, p. 170).

[652] Herodot. vi, 113. Κατὰ τοῦτο μὲν δὴ, ἐνίκων οἱ βάρβαροι, καὶ ῥήξαντες ἐδίωκον ἐς τὴν μεσόγειαν.

Геродот здесь говорит нам всю правду без утайки: Плутарх (Aristeidês, с. 3) говорит только, что персидский центр оказал более длительное сопротивление и доставил больше хлопот племенам в греческом центре, чтобы свергнуть их.

[653] Pausan. i, 32, 6.

[654] Herodot. vi, 113-115.

[655] Herodot. vi, 114. Это утверждение Геродота относительно Кинегейра. Как достойно его характер историка контрастирует с последующими романтиками! Юстин рассказывает, что Кинегейр сначала схватил судно правой рукой: она была отрублена, и он держал судно левой: когда он потерял и ее, он схватил корабль зубами, "как дикий зверь" (Юстин, ii, 9) - Юстин, похоже, нашел это утверждение у многих разных авторов: "Cynegiri militis virtus, multis scriptorum laudibus celebrata".

[656] Преувеличенные рассказы о количестве убитых персов см. у Ксенофонта, Anabasis. iii, 2, 12; Плутарха, De Malign. Herodot. с. 26, р. 862; Юстин, ii, 9; и Суидас, v. Ποικίλη.

В рассказе Ктесия Датис представлен как убитый в битве, и далее говорится, что афиняне отказались отдать его тело для погребения; это было одним из оснований, по которым Ксеркс после этого вторгся в Грецию. Очевидно, что в авторитетных источниках, которым следовал Ктесий, предполагаемая смерть Датиса при Марафоне подчеркивалась довольно сильно. См. Ктесий, Персика, с. 18-21, с примечанием Бэра, который склонен защищать это утверждение против Геродота.

[657] Herodot. vi, 124. Ἀνεδέχθη μὲν γὰρ ἄσπις, καὶ τοῦτο οὐκ ἔστι ἄλλως εἰπεῖν- ἐγένετο γάρ- ὃς μέντοι ἦν ὁ ἀναδέξας οὐκ ἔχω προσωτέρω εἰπεῖν τουτέων.

[658] Herodot. vi, 116. Οὗτοι μὲν δὴ περιέπλων Σούνιον. Ἀθηναῖοι δὲ, ὡς ποδῶν εἶχον, τάχιστα ἐβοήθειον ἐς τὸ ἄστυ- καὶ ἐφθησάν τε ἀπικόμενοι, πρὶν ἢ τοὺς βαρβάρους ἥκειν, καὶ ἐστρατοπεδεύσαντο ἀπιγμένοι ἐξ Ἡρακλῆϊ τοῦ ἐν Μαραθῶνι ἐς ἄλλο Ἡρακλῆϊον το ἐν Κυνοσάργει.

Плутарх (Bellone an Pace clariores fuerint Athenienses, с. 8, р. 350) представляет Мильтиадеса как вернувшегося в Афины на *следующий день после* битвы: это должно было произойти в тот же день после полудня, согласно рассказу Геродота.

[659] Herodot. v, 62, 63.

[660] Herodot. vi, 115. Τοῖσι Πέρσησι ἀναδέξαι ἀσπίδα, ἐοῦσι ἤδη ἐν τῇσι νηυσί.

[661] Herodot. viii, 109. ἡμεῖς δὲ, εὖρημα γὰρ εὐρήκαμεν ἡμέας τε καὶ τὴν Ἑλλάδα, νέφος τοσοῦτον ἀνθρώπων ἀνωσάμενοι.

[662] Pausanias, i, 14, 4; Thucyd. i, 73. φάμεν γὰρ Μαραθῶνι τε μόνοι προκινδυνεῦσαι τῷ βαρβάρῳ, etc.

Herodot. vi, 112. πρῶτοι τε ἀνέσχοντο ἐσθῆτά τε Μηδικὴν ὀρέοντες, καὶ τοὺς ἄνδρας ταύτην ἐσθημένους- τέως δὲ ἦν τοῖσι Ἑλλήσι καὶ τὸ οὔνομα τὸ Μήδων φόβος ἀκοῦσαι.

Не лишним будет заметить, что памятная клятва в оратории Демосфена де Корона, в которой он призывает воинов Марафона, копирует фразу Фукидида, -οὐ μὰ τοὺς ἐν Μαραθῶνι προκινδυνεύσαντας τῶν προγόνων, etc. (Demosthen. de Coronâ, с. 60.)

[663] Так звучит это вычисление на языке афинских ораторов (Herodot. ix, 27.) Было бы несправедливо рассматривать его критически.

[664] Плутарх, Фемистоклос, с. 3. Согласно Цицерону (Epist. ad Attic. ix, 10) и Юстину (ii, 9), Гиппий был убит при Марафоне. Суидас (v. Ἰππίας) говорит, что он умер после этого на Лемносе. Ни одно из этих утверждений не кажется вероятным. Гиппиас вряд ли отправился бы на Лемнос, который был афинским владением; и если бы он был убит в битве, Геродот, скорее всего, упомянул бы об этом.

[665] Thucyd. i, 126.

[666] Thucyd. ii, 34.

[667] Pausan. i, 32, 3. Сравните элегию Крития (Kritias ap. Athenæ. i, p. 28.

[668] Ныне существующий курган имеет высоту около тридцати футов и двести ярдов в окружности. (Leake, on the Demi of Attica; Transactions of Royal Soc. of Literat. ii, p. 171.)

[669] Herodot. vi, 105; Pausan. i, 28, 4.

[670] Плутарх, Тесей, с. 24; Pausan. i, 32, 4.

[671] Pausan. i, 15, 4; Dêmosthen. cont. Neær. с. 25.

[672] Herodot. vi, 120; Plutarch, Camill. с. 19; De Malignit. Herodoti, с. 26, p. 862; и De Gloriâ Atheniensium, с. 7.

Боздромион был третьим месяцем аттического года, который начинался около летнего солнцестояния. Первые три аттических месяца, Гекатомбæон, Метагейтнион, Боздромион, приближаются (говоря неточно) почти к нашим июлю, августу, сентябрю; вероятно, месяц Гекатомбæон начинался обычно в какой-то день во второй половине июня.

Из того факта, что гонец Фидиппидеса достиг Спарты в девятый день луны, а две тысячи спартанцев прибыли в Аттику на третий день после полнолуния, в течение которого произошла битва, следует, что шестой день Боздромиона не мог быть шестым днем луны. Аттические месяцы, хотя и исповедовались как лунные, в это время не имели точного соответствия с ходом луны. См. г-н Клинтон, Fast. Hellen. ad an. 490 B. C. Плутарх (в трактате De Malign. Herodoti, упомянутом выше), похоже, не имел представления об этом несоответствии между аттическим месяцем и ходом луны. Часть порицаний, которые он обрушивает на Геродота, основывается на предположении, что эти два понятия должны совпадать.

М. Бозкх, вслед за Фрере и Ларше, оспаривает утверждение Плутарха, что битва произошла шестого числа месяца Боздромион, но по причинам, которые кажутся мне недостаточными. Его главный аргумент опирается на другое утверждение Плутарха (взятое из некоторых утраченных стихов Эсхила), что племя иантидов занимало правое крыло или почетный пост в битве; и что общественное голосование, согласно которому войско было выведено из Афин, было проведено во время притании племени иантидов. Он предполагает, что причина, по которой это племя было размещено на правом крыле, должна была заключаться в том, что оно по жребию получило первую пританию в этом году: если это так, то голосование о выводе армии должно было состояться в первой притании или в течение первых тридцати пяти или тридцати шести дней аттического года, в промежутке между первым Гекатомбеоном и пятым или шестым Метагейтнионом. Но несомненно, что промежуток между выходом армии из города и битвой был гораздо меньше месяца, можно даже сказать, меньше недели.

Таким образом, битва должна была произойти между шестым и десятым числом Метагейттиона. (Плутарх, Симпосиак. i, 10, 3, и Иделер, Handbuch der Chronologie, vol. i, p. 291.) Геродот (vi, 111) говорит, что племена были расположены в ряд ὡς ἡριθμέοντο, - "как они были пронумерованы", - что, как утверждается, обязательно означает расположение между ними, определенное по жребию для прайтаний этого конкретного года. "In acie instruendâ (говорит Боэкс, Comment. ad Corp. Inscript. p. 299) Athenienses non constantem, sed variabilem secundum prytanias, ordinem secutos esse, ita ut tribus ex hoc ordine inde a dextro cornu disponderentur, docui in Commentatione de pugnâ Marathoniâ." Proœmia Lect. Univ. Berolin. æstiv. a. 1816.

С упомянутыми здесь "Проэмиями" я не имел возможности ознакомиться, и поэтому они могут содержать дополнительные доводы в пользу выдвинутой точки зрения, а именно, что порядок десяти племен в боевой линии, начиная с правого крыла, соответствовал их порядку в притании по жребию в течение года; но я думаю, что отрывки Геродота и Плутарха, представленные нам сейчас, недостаточны для утверждения этой точки зрения. Из того факта, что племя Æantis имело правое крыло в битве при Марафоне, мы ни в коем случае не можем сделать вывод, что это племя получило по жребию самую раннюю пританию в году. В объяснение этого обстоятельства можно привести и другие причины, на мой взгляд, не менее вероятные: одна из них, как мне кажется, гораздо более вероятна. Эта причина заключается в том, что битва произошла во время притании племени Æantis, что можно заключить из утверждения Плутарха, что голосование за выход армии из Афин было проведено во время притании этого племени; ведь промежуток между выходом армии из города и битвой должен был составлять всего несколько дней. Кроме того, дем Марафон принадлежал племени Æantis (см. Boeckh, ad Inscript. No. 172, p. 309): битва произошла в их деде, и марафонцы, возможно, могли претендовать на почетный пост для своего племени на этом основании; точно так же мы видим, что в первой битве Мантинеи против лакедемонян мантинейцам было позволено занять правое крыло или почетный пост, "поскольку битва произошла на их территории" (Thucyd. v, 67. Наконец, к племени Æantis принадлежал и дем Arhidnæ (см. Boeckh, l. c.): полемарх Каллимах был афиднейцем (Herodot. vi, 109), и Геродот прямо говорит нам, что "тогда среди афинян существовал закон или обычай, что полемарх должен иметь правое крыло", "-ὁ γὰρ νόμος τότε εἶχε οὕτω τοῖσι Ἀθηναίοισι, τὸν πολέμαρχον ἔχειν κέρας τὸ δέξιον (vi, 111). Где стоял полемарх, там, скорее всего, стояло и его племя: и язык Геродота действительно, кажется, прямо подразумевает, что он отождествляет племя полемарха с самим полемархом, -ἡγεομένου δὲ τούτου, ἐξεδέκοντο ὡς ἀριθμέοντο αἱ φυλαί, ἐχόμεναι ἀλλήλων, т.е. порядок племен начинался с того, что полемарх занимал ведущее положение, а затем его "занимали" остальные "в числовой последовательности", т.е. в порядке их родов. т. е. в порядке их противостояния в течение года.

Вот совокупность причин, объясняющих, почему племя Æantis имело правое крыло в битве при Марафоне, хотя оно, возможно, и не было первым в порядке прыткости племен в течение года. Поэтому Боэций не имеет оснований выводить второй из этих двух фактов из первого.

Совокупность этих трех причин, все из которых говорят в пользу одного и того же вывода, и все они не зависят от причины, предполагаемой Боэком, кажется мне очень весомой; но я считаю первую из трех, даже взятую в отдельности, более вероятной, чем его причина. Если мой взгляд на дело верен, то шестой день Боэдромиона, день битвы, указанный Плутархом, не подлежит сомнению. Этот день приходится на вторую пртанию года, которая начинается около шестого числа Метагейттиона и заканчивается около двенадцатого числа Боэдромиона, и которая должна была в этом году выпасть на долю племени Æantis. В первый

или второй день Боэдромиона, возможно, прошло голосование о походе армии, а на шестой состоялась битва; и то и другое произошло во время прютании этого племени.

Я не готов распространять эти доводы дальше конкретного случая с Марафонской битвой и обоснованием дня этой битвы, указанного Плутархом; я также не стал бы применять их к более поздним периодам, таким как Пелопоннесская война. Несомненно, что между Марафонской битвой и Пелопоннесской войной армейские правила Афин были значительно изменены, как в других вопросах, так и в том, что касается полемарха; и у нас нет достаточной информации, чтобы определить, придерживались ли афиняне в этот более поздний период какого-либо известного или постоянного правила в боевом порядке племен. Военные соображения, связанные с состоянием конкретной армии, должны были препятствовать постоянному соблюдению какого-либо правила: так, мы с трудом можем представить, что Никиас, командуя армией перед Сиракузами, мог быть привязан к какому-либо неизменному порядку сражений между племенами, к которым принадлежали его гоплиты. Более того, экспедиция против Сиракуз длилась более одного аттического года: можно ли поверить, что Никиас, получив из Афин информацию о последовательности, в которой племена по жребию распределялись на втором году экспедиции, был бы вынужден выстроить свою армию в новом боевом порядке, соответствующем этому? По мере того как военные операции афинян становились все более масштабными, им приходилось все больше и больше оставлять подобные распоряжения на усмотрение генерала, выступавшего в каждой конкретной кампании. Можно усомниться в том, что во время Пелопоннесской войны соблюдалось *какое-либо* установленное правило при сборе племен для битвы.

Один из главных мотивов, побуждающих критиков утверждать, что битва произошла в афинский месяц Метагейтнийон, заключается в том, что этот месяц совпадает со спартанским месяцем Карнеем, так что отказ спартанцев выступать в поход до полнолуния истолковывается как относящийся только к особой святости этого последнего месяца, а не как постоянное правило для всего года. Я полностью согласен с этими критиками, что ответ, данный спартанцами курьеру Фидиппидесу, не может служить доказательством регулярного, неизменного спартанского правила, применимого в течение всего года, не начинать поход во второй четверти луны: очень возможно, как замечает Бозкх, в конкретном месяце мог быть какой-то праздник, на котором основывался спартанский отказ от похода. Но отсюда нельзя сделать никаких выводов, чтобы опровергнуть шестое число Боэдромиона как день битвы при Марафоне: хотя месяцы в каждом греческом городе исповедовали лунные, они никогда не совпадали друг с другом точно или долго, потому что системы интеркаляции, принятые в разных городах, были разными: была большая нерегулярность и путаница (Плутарх, *Aristeidês*, с. 19; *Aristoxenus*, *Harmon.* ii, p. 30: ср. также K. F. Hermann, *Ueber die Griechische Monatskunde*, p. 26, 27. Göttingen, 1844; и Boeckh, *ad Corp. Inscript.* t. i, p. 734).

Допуская, таким образом, что ответ, данный спартанцами Фидиппидес, следует толковать не как общее правило, применимое ко всему году, а как относящееся к конкретному месяцу, в котором он был дан, - из этого нельзя сделать вывод о дне Марафонской битвы, поскольку возможно одно из двух следующих предположений: 1. Спартанцы могли устраивать торжества в день полнолуния или за день до него в *другие месяцы*, кроме Карнея; 2. Или полнолуние спартанского Карнея могло действительно выпасть в 490 году до н.э, на пятое или шестое число аттического месяца Боэдромион.

Д-р Тирлуолл, по-видимому, принимает точку зрения Бозка, но не добавляет ничего существенного к доводам в ее пользу (*Hist. of Gr.* vol. ii, *Append.* iii, p. 488).

[673] Herodot. vi, 119. Дарий-σφέας τῆς Κισσίας χώρας κατοίκησε ἐν σταθμῷ ἐωῦτοῦ τῷ οὔνομα ἐστὶ Ἀρδέρικκα-ἐνθαῦτα τοὺς Ἑρετρίεας κατοίκησε Δαρεῖος, οἱ καὶ μέχρι ἐμέο εἶχον τὴν χώραν ταύτην, φυλάσσοντες τὴν ἀρχαίην γλῶσσαν. Значение слова σταθμός объясняет Геродот. v, 52. σταθμός ἐωῦτοῦ - то же, что σταθμός βασιλήϊος: подробности, которые Геродот рассказывает об Ардерикке и ее замечательном колодце, или яме с битумом, солью и нефтью, дают все основания полагать, что он сам останавливался там.

Страбон помещает пленных эретрийцев в Гордиенке, что значительно выше по Тигру; на чьих основаниях, мы не знаем (Strabo, xv, p. 747).

Нельзя с уверенностью цитировать многочисленные сведения о потомках этих эретрийцев в Киссии, которые приводит Филострат в своей "Жизни Аполлония Тианского", как они якобы существовали даже в первом веке христианской эры. Со всеми вымыслами, которые там содержатся, возможно, смешана некоторая правда, но мы не можем ее различить (Philostratus, Vit. Apollon. i, c. 24-30).

[674] Herodot. vi, 133. ἔπλεε ἐπὶ Πάρον, πρόφασιν ἔχων ὡς οἱ Πάριοι ὑπῆρξαν πρότεροι στρατευόμενοι τριήρεϊ ἐς Μαραθῶνα ἅμα τῷ Πέρσῃ. Τοῦτο μὲν δὴ πρόσχημα τοῦ λόγου ἦν- ἀτὰρ τινα καὶ ἔγκοτον εἶχε τοῖσι Παρίοισι διὰ Λυσαγόρεα τὸν Τισίεω, ἐόντα γένος Πάριον, διαβαλόντα μιν πρὸς Ὑδάρνεα τὸν Πέρσῃν.

[675] Эфор (Fragm. 107, ed. Didot; ap. Stephan. Byz. v. Πάρος) дал отчет об этой экспедиции в нескольких пунктах, отличающихся от Геродота, которому я здесь следую. Авторитет Геродота предпочтительнее во всех отношениях; тем более, что Эфор приводит свой рассказ как своего рода объяснение своеобразной фразы ἀναπαριάζειν. Объяснительные повествования такого рода обычно мало заслуживают внимания.

[676] Herodot. vi, 136. Ἀθηναῖοι δὲ ἐκ Πάρου Μιλτιάδεα ἀπονοστήσαντα ἔσχον ἐν στόμασι, οἳ τε ἄλλοι, καὶ μάλιστα Ξάνθιππος ὁ Ἀρίφρωνος- ὃς θανάτου ὑπαγαγὼν ὑπὸ τὸν δῆμον Μιλτιάδεα, ἐδίωκε τῆς Ἀθηναίων ἀπάτης εἵνεκεν. Μιλτιάδης δὲ, αὐτὸς μὲν παρεὼν, οὐκ ἀπελογέετο- ἦν γὰρ ἀδύνατος, ὥστε σηπομένου τοῦ μηροῦ. Προκειμένου δὲ αὐτοῦ ἐν κλίνῃ, ὑπεραπελογέοντο οἱ φίλοι, τῆς μάχης τε τῆς ἐν Μαραθῶνι γενομένης πολλὰ ἐπιμεμνημένοι, καὶ τὴν Λήμνου αἵρεσιν- ὡς ἐλὼν Λῆμνόν τε καὶ τισάμενος τοὺς Πελασγοὺς, παρέδωκε Ἀθηναίοισι. Προσγενομένου δὲ τοῦ δήμου αὐτῷ κατὰ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ θανάτου, ζημιώσαντος δὲ κατὰ τὴν ἀδικίην πεντήκοντα τάλαντοισι, Μιλτιάδης μὲν μετὰ ταῦτα, σφακελίσαντός τε τοῦ μηροῦ καὶ σαπέντος, τελευτᾷ- τὰ δὲ πεντήκοντα τάλαντα ἐξέτισεν ὁ πάϊς αὐτοῦ Κίμων.

Платон (Gorgias, c. 153, p. 516) говорит, что афиняне проголосовали за то, чтобы бросить Мильтиадеса в баратрум (ἐμβάλεῖν ἐψηφίσαντο), и что его действительно бросили бы туда, если бы не пританис, *то есть* председатель, по очереди на этот день, пританизирующих сенаторов и эклесии. Возможно, пританис был среди тех, кто выступал в дикастерии от имени Мильтиадеса, осуждая предложение Ксантиппа; но чтобы он стал причиной фактической отмены принятого голосования - это невероятно. Схолиаст об Аристеидесе (цитируется Valckenaer ad Herodot. vi, 136) сводит преувеличение Платона к чему-то более разумному - Ὅτε γὰρ ἐκρίνετο Μιλτιάδης ἐπὶ τῇ Πάρῳ, ἠθέλσαν αὐτὸν κατακρημνίσαι- ὁ δὲ πρῦτανις εἰσελθὼν ἐξητήσατο αὐτὸν.

[677] То, что это был обычный ход аттической процедуры в отношении публичных обвинений, где положительная сумма наказания не была определена заранее, представляется несомненным. См. Platner, Prozess und Klagen bei den Attikern, Abschn. vi, vol. i, p. 201; Heffter, Die Athenäische Gerichtsverfassung, p. 334. Майер и Шеманн (Der Attische Prozess, b. iv, p. 725) утверждают, что любой из дикастов мог предложить третью меру наказания, отличную от

той, которую предлагал как обвинитель, так и обвиняемый. В отношении публичных обвинений это мнение представляется однозначно неверным; но когда приговор, который должен был быть вынесен, касался компенсации за частное правонарушение и оценки ущерба, мы не можем так четко определить, не было ли иногда большей свободы в выдвижении предложений для голосования дикастов. Следует помнить, что дикастов было несколько сотен, а иногда и больше, что между ними не было никаких обсуждений и дискуссий, и что было совершенно необходимо, чтобы перед ними было представлено какое-либо конкретное предложение для голосования. В отношении некоторых преступлений закон прямо разрешал то, что называлось *προστίμῃ*; то есть после того, как дикасты произносили полное наказание, требуемое обвинителем, любой другой гражданин, считавший назначенное наказание недостаточным, мог потребовать определенного ограниченного размера дополнительного наказания и просить дикастов проголосовать за него - "за" или "против". Голоса дикастов подавались путем опускания камешков в два бочонка с определенными деталями.

ἀγὼν τῖμῆτος, *δίκη τῖμῆτος*, или суд, включающий это отдельное назначение наказания, - в отличие от *δίκη ἀτίμῆτος*, или суда, где наказание было предопределено, и где не было *τίμῆσις*, или голосования о назначении наказания, - является важной линией различия в предмете аттической процедуры; А практика призыва обвиняемого после объявления его виновным наложить на себя *контрпенальти* или *недопенальти* (*ἀντιτίμῃσθαι* или *ὑποτίμῃσθαι*) в отличие от того, что назвал обвинитель, была удобным средством для вынесения вопроса на голосование дикастов по существу. Иногда обвиняемые находили удобным назначать себе очень большие наказания, чтобы избежать смертной казни, на которую ссылался обвинитель (см. Dêmosthen. cont. Timokrat. с. 34, р. 743, R). Не было также опасений, как думает Платнер, что в большинстве случаев дикасты будут поставлены перед необходимостью выбирать между экстравагантным наказанием и чем-то чисто номинальным; ведь интересы самого обвиняемого не позволяли этому случиться. Иногда мы видим, как он пытается уговорами убедить обвинителя добровольно смягчить наказание, которое он сначала назвал; и обвинитель, вероятно, мог бы это сделать, если бы увидел, что дикасты вряд ли согласятся с этим первым предложением.

В одном конкретном случае, запечатленном в бессмертной памяти, то, о чем говорит Платнер, действительно произошло, и следствием этого стала смерть Сократеса. Сократес, признанный виновным лишь небольшим большинством голосов среди дикастов, был призван назвать наказание для себя, противоположное смертной казни, на которой настаивал Мелет. Друзья тщетно уговаривали его назвать штраф в сколько-нибудь приемлемой сумме, который они тут же заплатили бы за него; но его с трудом уговорили назвать хоть какое-нибудь наказание, утверждая, что он заслужил скорее честь, чем наказание; наконец, он назвал столь незначительный штраф, что это было равносильно оправданию. Действительно, Ксенофонт утверждает, что он вообще не назвал бы никакого контрнаказания; а в приписываемой ему речи он утверждал, что заслужил даже такую высокую честь, как публичное содержание в пританеях (Plato, Apol. Sok. с. 27; Xenoph. Apol. Sok. 23; Diogen. Laërt. ii, 41). Платон и Ксенофонт не согласны друг с другом, но, принимая их вместе, кажется, что он должен был назвать очень маленький штраф. Можно не сомневаться, что это обстоятельство, а также тон его защиты заставили дикастов проголосовать за предложение Мелета.

[678] Корнелий Непос, Miltiadês, с. 7; и Кимон, с. 1; Плутарх, Кимон, с. 4; Диодор, Фрагмент. lib. x. Все эти авторы, вероятно, черпали из одного и того же источника; возможно, Эфор (см. Marx, ad Ephori Fragmenta, p. 212); но у нас нет возможности определить. Что касается

предполагаемого заключения Кимона в тюрьму, они, однако, должно быть, копировали из разных источников, поскольку все их утверждения отличаются друг от друга. Диодор утверждает, что Кимон добровольно попал в тюрьму после смерти своего отца, потому что ему не разрешили получить тело умершего отца для погребения на других условиях. Корнелий Непос утверждает, что он был заключен в тюрьму как юридически обязанный перед государством за неуплаченный штраф своего отца. Наконец, Плутарх вообще не говорит о том, что его посадили в тюрьму. Многие латинские писатели следуют утверждению Диодора: см. цитаты в примечании Боса к приведенному выше отрывку о Корнелии Непосе.

Можно без колебаний принять рассказ Плутарха как истинный. Кимон не был и не мог быть в тюрьме по аттическому закону за неуплаченный штраф своего отца; но после смерти отца он стал ответственным за штраф в этом смысле, - что он оставался лишенным права голоса (ἄτιμος) и лишенным прав гражданина, пока штраф не был уплачен: см. Dêmosthen. cont. Timokrat. c. 46, p. 762, R.

[679] См. Boeckh, Public Economy of Athens, b. iii, ch. 13, p. 390, Engl. Transl. (vol. i, p. 420, Germ.); Meier und Schömann, Attisch. Prozess, p. 744. Д-р Тирлуолл придерживается иного мнения по этому вопросу, с которым я не могу согласиться (Hist. Gr. vol. iii, Append. ii, p. 488); хотя его общие замечания о суде над Мильтиадесом справедливы и уместны (ch. xiv, p. 273).

Корнелий Непос (Мильтиадес, с. 8; Кимон, с. 3) говорит, что проступок, связанный с Паросом, был лишь предлогом для афинян, чтобы наказать Мильтиадеса; их истинным мотивом, утверждает он, были зависть и страх, те же чувства, которые продиктовали остракизм Кимона. Насколько мало оснований для такого предположения, можно судить даже по характеру наказания. Страх побудил бы их прогнать или предать смерти Мильтиадеса, а не штрафовать его. Остракизм, продиктованный страхом, был временным изгнанием.

[680] Промежуток между судом над ним и его смертью выражен у Геродота (vi, 136) разницей между причастием настоящего времени σπτομένου и причастием прошедшего времени σπέντος τοῦ μηροῦ.

[681] Machiavel, Discorsi sopra Tito Livio, cap. 58. "L' opinione contro ai popoli nasce, perchè dei popoli ciascun dice male senza paura, e liberamente ancora mentre che regnano: dei principi si parla sempre con mille timori e mille rispetti."

[682] Макиавел не признает даже *этого* в ясном и четком изложении вопроса, о котором идет речь: он утверждает, что человек, оказавший услуги, должен быть вознагражден за них, но что он должен быть наказан за последующее преступление так же, как если бы предыдущие услуги не были оказаны. Эту позицию он излагает, обсуждая поведение римлян по отношению к победителю, оставшемуся в живых из трех Горациев, после битвы с Куриациями: "Erano stati i meriti di Orazio grandissimi, avendo con la sua virtù vinti i Curiazi. Era stato il fallo suo atroce, avendo morto la sorella. Nondimeno dispiacque tanto tale omicidio ai Romani, che lo condussero a disputare della vita, non ostante che gli meriti suoi fussero tanto grandi e si freschi. La qual cosa, a who superficialmente la considerasse, parrebbe uno esempio d' ingratitude popolare. Если никто не будет лучше разбираться и с большим вниманием изучать, какие должны быть постановления в республике, то это будет означать, что народ не только за то, что его убили, но и за то, что ему потворствовали: e la ragione è questa, che nessuna repubblica bene ordinata, non mai cancellò i demeriti con gli meriti dei suoi cittadini: ma avendo ordinati i premi ad una buona opera, e le pene ad una cattiva, ed avendo premiato uno per aver bene operato, se quel medesimo opera dipoi male, lo gastiga senza avere riguardo alcuno alle sue buone opere. E quando questi ordini sono bene osservati, una città vive libera molto tempo:

altrimenti sempre rovinera presto. *Perchè se, ad un cittadino che abbia fatto qualche egregia opere for la città, si aggiunge oltre alla riputazione, che quella cosa gli arreca, una audacia e confidenza di potere senza temer pena, far qualche opera non buona, diventerà in breve tempo tanto insolente, che si risolverà ogni civiltà.*"-Machiavel, Discorsi sop. Tit. Livio, ch. 24.

[683] Макиавел в двадцать девятой главе "Discorsi sopra T. Livio" рассматривает вопрос: "Кто из двух более открыт для обвинений в неблагодарности - народное правительство или король?". Он считает, что последний более открыт для этого. Сравните пятьдесят девятую главу той же работы, где он снова поддерживает подобное мнение.

М. Сисмонди также отмечает, говоря о долгой привязанности города Пизы к делу императоров и гибелинской партии: "Pise montra dans plus d'une occasion, par sa constance à supporter la cause des empereurs au milieu des revers, combien la reconnoissance lie un peuple libre d'une manière plus puissante et plus durable qu'elle ne sauroit lier le peuple gouverné par un seul homme." (Histoire des Républ. Italiennes, ch. xiii, tom. ii, p. 302.)

[684] Dêmosthenês, Olynth. iii, c. 9, p. 35, R.

[685] Это общая истина, которую древние авторы часто излагают, как частично, так и преувеличивая степень: "Нæс est natura multitudinis (говорит Ливий); aut humiliter servit aut superbe dominatur." И снова Тацит: "Nihil in vulgo modicum; terrere, ni paveant; ubi pertimuerint, impune contemni." (Annal. i, 29.) Herodotus, iii, 81. ὡθέει δὲ (ὁ δῆμος) ἐμπεισὼν τὰ πρήγματα ἄνευ νοῦ, χειμάρρῳ ποταμῷ ἵκελος.

Примечательно, что Аристотель в своей "Политике" практически не обращает внимания на этот атрибут, присущий каждому многочисленному собранию. Он, скорее, рассуждает так, как если бы совокупный интеллект множества представлял собой сумму отдельных интеллектов каждого человека во всех составляющих его индивидах (Polit. iii, 6, 4, 10, 12); точно так же имущество множества, взятое в совокупности, было бы больше, чем имущество немногих богачей. Он не обращает внимания на разницу между несколькими людьми, судящими совместно и судящими по отдельности: Я, правда, не замечаю, чтобы такое упущение приводило его к какой-либо положительной ошибке, но оно встречается в некоторых случаях, рассчитанных на то, чтобы удивить нас, и когда указанное здесь различие важно заметить: см. Politic. iii, 10, 5, 6.

[686] Thucyd. ii, 65. Ὅποτε γοῦν αἴσθοιτό τι αὐτοὺς παρὰ καιρὸν ὕβρει θαρσοῦντας, λέγων κατέπλησεν πάλιν ἐπὶ τὸ φοβεῖσθαι- καὶ δεδιότας αὖ ἁλόγως ἀντικαθίστη πάλιν ἐπὶ τὸ θαρσεῖν.

[687] Такое колебание ума, от одного сильного чувства к другому, всегда осуждается греческими моралистами, от самых ранних до самых поздних: даже Демокрит, в пятом веке до нашей эры, предостерегает от этого, - Αἱ ἐκ μεγάλων διαστημάτων κινεόμεναι τῶν ψυχῶν οὔτε εὐσταθέες εἰσὶν, οὔτε εὐθυμοί. (Democriti Fragmenta, lib. iii, p. 168, ed. Mullach ap. Stobæum, Florileg. i, 40.)

[688] Письма Бентли против Бойля, обсуждающие предполагаемые Послания Фалариса, - полные остроты и образованности, хотя и сверх меры экскурсивные, - вполне достаточны, чтобы научить нас, что о Фаларисе мало что можно утверждать с уверенностью. Дата его рождения установлена очень плохо. Сравните Bentley, pp. 82, 83, и Seyfert, Akragas und sein Gebiet, p. 60: последний относит правление Фалариса к 570-554 годам до н. э. Удивительно видеть, как Seyfert цитирует письма псевдо-Фалариса в качестве авторитета, после разоблачения Bentley.

[689] Pindar. Pyth. 1 *ad fin*, с Scholia, p. 310, ed. Boeckh; Polyb. xii, 25; Diodor. xiii, 99; Cicero cont. Verr. iv, 33. Противоречие Тимеуса ни в коем случае не заставляет нас сомневаться в подлинности этой истории. Эберт (Σικελίων, часть ii, с. 41-84, Кенигсберг, 1829) собирает все авторитеты о булле Фалариса. Он основательно верит в факт. Аристотель ("Риторика", ii, 20) рассказывает басню, в которой поэт Стесихор отговаривал жителей Гимеры от предоставления стражи Фаларису: Конон (Narrat. 42 ap. Photium) рассказывает ту же историю, заменив имя Гиеро на имя Фалариса. Но маловероятно, что тот или другой мог быть в таких отношениях с жителями Гимеры. Сравните Полибий, vii, 7, 2.

[690] Polyæn. v, 1, 1; Cicero de Officiis, ii, 7.

[691] Plutarch, Philosophand. cum Principibus, с. 3, p. 778.

[692] Чем меньше эти проблемы приспособлены для рационального решения, тем благороднее они предстают перед нами в языке великой поэмы; см. в качестве примера "Еврипид", фрагмент. 101, изд. Диндорфа.

Ὅλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας
Ἔσχε μάθησιν, μήτε πολιτῶν
Ἐπὶ πημοσύνῃ, μήτ' εἰς ἀδίκους
Πράξεις ὀρμῶν-
Ἀλλ' ἀθανάτου καθορῶν φύσεως
Κόσμον ἀγήρω, πῇ τε συνέστη
Καὶ ὅπη καὶ ὅπως.
Τοῖς δὲ τοιοῦτοισι οὐδέποτ' αἰσχρῶν
Ἔργων μελέτημα προσίζει.

[693] Vol. i, ch. xvi.

[694] Diogen. Laërt. i, 23; Herodot. i, 75; Apuleius, Florid. iv, p. 144, Bip.

Прокл в своем комментарии к Евклиду указывает несколько предложений, которые, как говорят, были открыты Талесом (Brandis, Handbuch der Gr. Philos. ch. xxviii, p. 110).

[695] Aristotel. Metaphys. i, 3; Плутарх, Placit. Philos. i, 3, p. 875. ὃς ἐξ ὕδατος φησὶ πάντα εἶναι, καὶ εἰς ὕδωρ πάντα ἀναλύεσθαι.

[696] Aristotel. *ut supra*, и De Cælo, ii, 13.

[697] Aristotel. De Animâ, i, 2-5; Цицерон, De Legg. ii, 11; Диоген. Laërt. i, 24.

[698] Aristotel. De Animâ, i, 2; Alexander Aphrodis. in Aristotel. Metaphys. 1, 3.

[699] Аполлодор во II веке до н. э. имел перед собой несколько кратких разоблачительных трактатов Анаксимандра (Diogen. Laërt. ii, 2): Περί Φύσεως, Γῆς Περίοδον, Περί τῶν Ἀπλανῶν καὶ Σφαῖραν καὶ ἄλλα τινά. Suidas, v. Ἀναξίμανδρος. Themistius. Orat. xxv, p. 317: ἐθάρρῃσε πρῶτος ὧν ἴσμεν Ἑλλήνων λόγον ἐξενεγκεῖν περὶ Φύσεως συγγεγραμμένον.

[700] Irenæus, ii, 19, (14) ap. Brandis, Handbuch der Geschichte der Griech. Röm. Philos. ch. xxxv, p. 133: "Anaximander hoc quod immensum est, omnium initium subjecit, seminaliter habens in semetipso omnium genesin, ex quo immensos mundos constare ait." Aristotel. Physic. Auscult. iii, 4, p. 203, Bek. οὔτε γὰρ μάτην αὐτὸ οἶόν τε εἶναι (τὸ ἄπειρον), οὔτε ἄλλην ὑπάρχειν αὐτῷ δύναμιν, πλὴν ὡς ἀρχήν. Аристотель подвергает это ἄπειρον тщательному обсуждению, в котором он почти ничего не говорит об Анаксимандре, который, по-видимому, принял его, не предвидя дискуссий и возражений. Называл ли Анаксимандр свой ἄπειρον божественным или богом, как утверждают Теннеманн (Gesch. Philos. i, 2, p. 67) и Панцербитер (ad Diogenis Apolloniat. Fragment. c. 13, p. 16), я считаю сомнительным: это скорее вывод, который Аристотель делает из его языка. Однако в другом отрывке, который трудно согласовать, Аристотель приписывает Анаксимандру доктрину о воде Фалеса (Aristotel. de Xenophane, p. 975. Bek.).

Анаксимандр, по-видимому, придерживался умозрений, аналогичных умозрениям Фалеса, в объяснении первого производства человеческого рода (Plutarch Placit. Philos. v, 19, p. 908) и в других вопросах (ibid. iii, 16, p. 896).

[701] Aristotel. De Generat. et Destruct. c. 3, p. 317, Bek. ὃ μάλιστα φοβούμενοι διετέλεσαν οἱ πρῶτοι φιλοσοφήσαντες, τὸ ἐκ μηδενὸς γίνεσθαι προϋπάρχοντος- ср. Physic. Auscultat. i, 4, p. 187, Bek.

[702] Симплиций в Aristotel. Physic. fol. 6, 32. πρῶτος αὐτὸς Ἀρχὴν ὀνομάσας τὸ ὑποκείμενον.

[703] Diogen. Laërt. ii, 81, 2. Он соглашался с Талесом, утверждая, что земля неподвижна (Aristotel. de Cælo, ii, 13, p. 295, ed. Bekk.).

[704] Diogen. Laërt. ix, 18.

[705] Diogen. Laërt. ix, 22; Stobæus, Eclog. Phys. i, p. 294.

[706] Sextus Empiricus, adv. Mathem. ix, 193.

[707] Aristot. Metaphys. i, 5, p. 986, Bek. Ξενοφάνης δὲ πρῶτος τούτων ἐνίσας, οὐθὲν διεσαφίνισεν, οὐδὲ τῆς φύσεως τούτων (τοῦ κατὰ τὸν λόγον ἑνὸς καὶ τοῦ κατὰ τὴν ὕλην) οὐδετέρας ἔοικε θιγεῖν, ἀλλ' εἰς τὸν ὅλον οὐρανὸν ἀποβλέψας τὸ ἓν εἶναι φησι τὸν θεόν.

Plutarch. ap. Eusebium Præparat. Evangel. i, 8. Ξενοφάνης δὲ ὁ Κολοφώνιος ἰδίαν μὲν τινα ὁδὸν πεπορευμένος καὶ παρηλλαχῆς πάντας τοὺς προειρημένους, οὔτε γένεσιν οὔτε φθορὰν ἀπολείπει, ἀλλ' εἶναι λέγει τὸ πᾶν ἀεὶ ὅμοιον. Сравните Тимон ap. Sext. Эмпирик. Pyrrh. Hypotyp. i, 224, 225. ἐδογμάτιζε δὲ ὁ Ξενοφάνης παρὰ τὰς τῶν ἄλλων ἀνθρώπων προλήψεις, ἓν εἶναι τὸ πᾶν, καὶ τὸν θεὸν συμφυῇ τοῖς πᾶσιν- εἶναι δὲ σφαιροειδῆ καὶ ἀπαθῆ καὶ ἀμετάβλητον καὶ λογικόν, (Aristot. de Xenoph. c. 3, p. 977, Bek.). Ἀδύνατόν φησιν (ὁ Ξενοφάνης) εἶναι, εἴ τι ἐστὶν, γενέσθαι, etc.

Можно обоснованно сомневаться, что все аргументы, приписываемые Ксенофану в цитированном коротком, но неясном трактате, действительно принадлежат ему.

[708] Clemens Alexand. Stromat. v, p. 601, vii, p. 711.

[709] Aristot. Metaphysic. i, 5, p. 986, Bek. μικρὸν ἀγροικότερος.

[710] Xenophanês, Fr. xiv, ed. Mullach; Sextus Empiric. adv. Mathematicos, vii, 49-110; и Pyrrhon. Hypotyp. i, 224; Plutarch adv. Colôtên, p. 1114; ср. Karsten ad Parmenidis Fragmenta, p. 146.

[711] См. Brandis, Handbuch der Griech. Röm. Philosophie, ch. xxii.

[712] Herodot. iv, 95. Место его рождения точно известно из Геродота, но даже этот факт по-разному излагался другими авторами, которые называли его тирренцем с Лемноса или Имброса (Порфирий, Vit. Pythag. с. 1-10), сирийцем, флизийцем и т. д.

Цицерон (De Repub. ii, 15: ср. Livy, i, 18) порицает хронологическую ошибку тех, кто сделал Пифагора прецептором Нумы; что, конечно, является замечательной иллюстрацией того, насколько велика была путаница среди литераторов древности относительно дат событий даже шестого века до н. э. Овидий следует этой истории без колебаний: см. Metamorph. xv, 60, с примечанием Бирманна.

[713] Cicero de Fin. v, 29; Diogen. Laërt. viii, 3; Strabo, xiv, p. 638; Alexander Polyhistor ap. Cyrill. cont. Julian. iv, p. 128, ed. Spanh. Об обширности его предполагаемых путешествий см. Порфирий, Vit. Pythag. 11; Jamblic 14, seqq.

Такие же обширные путешествия приписываются Демокриту, Diogen. Laërt. ix, 35.

[714] Связь Пифагора с Ферекидесом отмечает Аристоксен ap. Diogen. Laërt. i, 118, viii, 2; Cicero de Divinat. i, 13.

[715] Xenophanês, Fragm. 7, ed. Schneidewin; Diogen. Laërt. viii, 36: ср. Aulus Gellius, iv, 11 (следует заметить, что эта или подобная доктрина не свойственна пифагорейцам, но в нее верил поэт Пиндар, Olymp. ii, 68, и Фрагмент, Thren. x, а также философ Ферекидес, Porphyrius de Antro Nympharum, с. 31).

Καί ποτέ μιν στουφελίζομένου σκύλακος παρίοντα

Φασὶν ἐποικτεῖραι, καὶ τόδε φάσθαι ἔπος-

Παῦσαι, μηδὲ ῥάπιζ' - ἐπεὶ φίλου ἄνερός ἐστι

Ψυχὴ, τὴν ἔγνω φθεγξαμένης αἴων.

См. также Sextus Empiricus, viii, 286, относительно κοινωνία между богами, людьми и животными, в которую верили и Пифагор, и Эмпедокл. То, что Геродот (ii, 123) ссылается на Орфея и Пифагора, хотя намеренно воздерживается от упоминания имен, вряд ли может вызывать сомнения: сравните ii, 81; также Аристотель, De Animâ, i, 3, 23.

Свидетельство Гераклита содержится в Diogenes Laërtius, viii, 6; ix, 1. 'Ηρακλεῖτος γοῦν ὁ φυσικὸς μονονουχὶ κέκραγε καὶ φησι- Πυθαγόρης Μνησάρχου ἱστορίην ἤσκησεν ἀνθρώπων μάλιστα πάντων, καὶ ἐκλεξάμενος ταύτας τὰς συγγραφάς, ἐποίησατο ἑαυτοῦ σοφίην, πολυμαθείην, κακοτεχνίην. Опять же, Πολυμαθίη νόον οὐ διδάσκει- 'Ησίοδον γὰρ ἂν ἐδίδασκε καὶ Πυθαγόρην, αὐθις δὲ Ξενοφάνεά τε καὶ Ἑκαταῖον.

Доктор Тирлуолл считает, что Ксенофанес намеревался в процитированном выше отрывке отнестись к учению о метемпсихозе "с заслуженной насмешкой". (Hist. of Greece, ch. xii, vol. ii, p. 162.) Религиозные мнения так склонны казаться смешными тем, кто в них не верит, что такое подозрение не является неестественным; однако я думаю, что если бы Ксенофан был так настроен, он бы нашел более смешные примеры среди многих, которые могла бы предложить эта доктрина. Действительно, вряд ли можно представить метемпсихоз в более трогательном или респектабельном виде, чем тот, что изложен в строках его поэмы. В качестве конкретного животного выбрано то, между которым и человеком симпатия наиболее заметна и взаимна, а доктрина служит практическим уроком против жестокости.

[716] Herodot. i, 29; ii, 49; iv, 95. Ἑλλήνων οὐ τῷ ἀσθενεστάτῳ σοφιστῇ Πυθαγόρῃ. Гиппократ отличает σοφιστῆς от ἱητρὸς, хотя оба они занимались предметом медицины, - общее от специального, привычки к исследованию. (Hippokratês, Περὶ ἀρχαίης ἱητρικῆς, с. 20, vol. i, p. 620, Littré.)

[717] См. научный и ценный трактат Лобека, Aglaophamus, Orphica, lib. ii, pp. 247, 698, 900; также Платон, Legg. vi, 782, и Euripid. Hippol. 946.

[718] Концепция Платона о Пифагоре (Republ. x, p. 600) изображает его как нечто не похожее на святого Бенедикта, или святого Франциска, (или святого Элиаса, как пытались представить некоторые кармелиты: см. Kuster ad Jamblich. с. 3)-Ἀλλὰ δὴ, εἰ μὴ δημοσία, ἰδίᾳ τισὶν ἡγεμῶν παιδείας αὐτὸς ζῶν λέγεται Ὅμηρος γενέσθαι, οἱ ἐκεῖνον ἡγάπων ἐπὶ συνουσίᾳ καὶ τοῖς ὑστέροις ὁδὸν τινα βίου παρέδοσαν Ὅμηρικὴν- ὥσπερ Πυθαγόρας αὐτὸς τε διαφερόντως ἐπὶ τούτῳ ἡγαπήθη, καὶ οἱ ὕστερον ἔτι καὶ νῦν Πυθαγορεῖον τροπὸν ἐπονομάζοντες τοῦ βίου διαφανεῖς πρὶ δοκοῦσιν εἶναι ἐν τοῖς ἄλλοις.

Описание Мелампа, приведенное в Herodot. ii, 49, в значительной степени восполняет представление о Пифагоре, вытекающее из ii, 81-123, и iv, 95. Пифагор, как и Меламп, претендовал на прорицание и предсказание (Cicero, Divinat. i, 3, 46; Porphyry, Vit. Pyth. с. 29: ср. Krische, De Societate a Pythagorâ in urbe Crotoniatarum conditâ Commentatio, ch. v, p. 72, Göttingen, 1831).

[719] Brandis, Handbuch der Geschichte der Griechisch. Rom. Philosophie, part i, sect. xlvii, p. 191.

[720] Aelian. V. H. ii, 26; Jamblichus, Vit. Pyth. с. 31, 140; Porphyry, Vit. Pyth. с. 20; Diodorus, Fragm. lib. x, vol. iv, p. 56, Wess: Timon ap. Diogen. Laërt. viii, 36; и Плутарх, Нума, с. 8.

Πυθαγόρην τε γόητος ἀποκλίναντ' ἐπὶ δόξαν

Θήρη ἐπ' ἀνθρώπων, σεμνηγορίης ὀαριστήν.

[721] Isokratês, Busiris, p. 402, ed. Auger. Πυθαγόρας ὁ Σάμιος, ἀφικόμενος εἰς Αἴγυπτον, καὶ μαθητῆς τῶν ἱερέων γενόμενος, τήν τε ἄλλην φιλοσοφίαν πρῶτος εἰς τοὺς Ἕλληνας ἐκόμισε, καὶ τὰ περὶ τὰς θυσίας καὶ τὰς ἀγιστείας ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐπιφανέστερον τῶν ἄλλων ἐσπούδασε.

Сравните Aristotel. Magn. Moralia, i, 1, о Пифагоре как этическом учителе. Демокрит, родившийся около 460 г. до н. э., написал трактат (ныне утраченный) о Пифагоре, которым он очень восхищался: насколько мы можем судить, похоже, он тоже должен был считать Пифагора этическим учителем (Diogen. Laërt. xi, 38; Mullach, Democriti Fragmenta, lib. ii, p. 113; Cicero de Orator. iii, 15).

[722] Jamblichus, Vit. Pyth. с. 64, 115, 151, 199: см. также приписываемую Пифагору идею о божественных вдохновениях, приходящих на людей (ἐπίπνοια παρὰ τοῦ δαίμονιου). Aristoxenus apud Stobæum, Eclog. Physic. p. 206; Diogen. Laërt. viii, 32.

Мейнерс считает вероятным, что рассказы о чудесных силах и свойствах Пифагора попали в оборот либо при его жизни, либо, по крайней мере, вскоре после его смерти (Geschichte der Wissenschaften, b. iii, vol. i, pp. 504, 505).

[723] О Филолае см. ценное собрание его фрагментов и комментарии к ним Боэция (Philolaus des Pythagoreers Leben, Berlin, 1819). То, что Филолай был первым, кто написал труд о пифагорейской науке и таким образом сделал ее известной за пределами братства - среди прочих Платону, - представляется хорошо установленным (Voeckh, Philolaus, p. 22; Diogen.

Laërt. viii, 15-55; Jamblichus, с. 119). Симмиас и Кебес, ученики Платона при Сократе, общались с Филолаем в Фивах (Plato, Phædon, p. 61), возможно, около 420 г. до н. э. Пифагорейское братство тогда было рассеяно по разным частям Греции, хотя привязанность его членов друг к другу, похоже, сохранялась еще долго.

[724] Plutarch, De Isid. et Osirid. p. 384, ad fin. Квинтилиан, Instit. Oratt. ix, 4.

[725] Empedoklēs, ap. Aristot. Rhetoric. i, 14, 2; Sextus Empiric. ix, 127; Plutarch, De Esu Carnium, pp. 993, 996, 997; где он ставит Пифагора и Эмпедокла вместе, поскольку оба придерживались учения о метемпсихозе и оба запрещали есть животную пищу. Эмпедокл предполагал, что растения имеют душу и что души людей после смерти переходят как в растения, так и в животных. "Я сам был прежде (говорил он) мальчиком, девочкой, кустарником, птицей и морской рыбой".

ἤδη γάρ ποτ' ἐγὼ γενόμεν κοῦρός τε κόρη τε,
θάμνος τ', οἶωνός τε καὶ ἐξ ἁλὸς ἔμπυρος ἰχθύς.

(Diogen. L. viii, 77; Sturz. ad Empedokl. Frag. p. 466.) Пифагор, как говорят, утверждал, что он был не только Эвфорбом в греческой армии перед Троей, но и торговцем, придворным и т. д., а также различными другими человеческими персонажами до своего фактического существования; он, однако, не распространял такое же общение на растения, в любом случае.

Воздержание от животной пищи было как орфической, так и пифагорейской заповедью (Aristophan. Ran. 1032).

[726] Strabo, vi, p. 263; Diogen. L. viii, 40.

[727] Diogen. Laërt. ix, 18.

[728] Herodot. iii, 131; Strabo, vi, p. 261: Menander de Encomiis, p. 96, ed. Heeren. Ἀθηναίους ἐπὶ ἀγαλματοποιῖα τε καὶ ζωγραφικῇ, καὶ Κροτωνιάτας ἐπὶ ἰατρικῇ, μέγα φρονῆσαι, etc.

Кротонианец Алкмеон, младший современник Пифагора (Aristotel. Metaph. i, 5), относится к числу самых ранних имен, упоминаемых как философствующие на физические и медицинские темы. См. Brandis, Handbuch der Geschicht. der Philos. sect. lxxxiii, p. 508, и Aristotel. De Generat. Animal. iii, 2, p. 752, Bekker.

Медицинское искусство в Египте в то время, когда Пифагор посетил эту страну, было достаточно развито, чтобы привлечь внимание любознательного путешественника, - его отрасли были детально разделены и установлены строгие правила для практики (Herodot. ii, 84; Aristotel. Politic. iii, 10, 4).

[729] См. аналогию этих двух явлений в трактате Гиппократа Περί ἀρχαίας ἰατρικῆς, с. 3, 4, 7, vol. i, p. 580-584, ed. Литтре.

Ἔτι γοῦν καὶ νῦν οἱ τῶν γυμνασίων τε καὶ ἀσκησίων ἐπιμελόμενοι αἰεὶ τι προσεξευρίσκουσι, καὶ τὴν αὐτέην ὁδὸν ζητέοντες ὅ,τι ἔδων καὶ πίνων ἐπικρατήσῃ τε αὐτέων μάλιστα, καὶ ἰσχυρότερος αὐτὸς ἐωῦτοῦ ἔσται (p. 580); еще раз, с. 584: Τί οὖν φαίνεται ἕτεροῖον διανοηθεῖς ὁ καλεούμενος ἱατρός καὶ ὁμολογεομένως χειροτέχνης, ὃς ἐξεῦρε τὴν ἀμφὶ τοὺς κάμνοντας δίαίταν καὶ τροφήν, ἢ κείνος ὁ ἀπ' ἀρχῆς τοῖσι πᾶσιν ἀνθρώποισι τροφήν, ἣ νῦν χρεόμεθα, ἐξ ἐκείνης τῆς ἀγρίας τε καὶ θηριώδεος εὐρών τε καὶ παρασκευάσας διαίτης: сравните другой отрывок, не менее показательный, в трактате Гиппократа Περί διαίτης ὁξέων, с. 3, vol. ii, p. 245, ed. Литтре.

Следуя той же общей идее, что теория и практика врача является дальнейшим развитием и разнообразием теории и практики гимнастического тренера, я привожу некоторые наблюдения из превосходных *Remarques Rétrospectives* М. Литтре, в конце четвертого тома его издания Гиппократ (р. 662).

После того как он заметил (с. 659), что физиологию можно считать разделенной на две части, одна из которых касается механизма функций, а другая - эффектов, производимых на человеческое тело различными влияниями, которые действуют на него и на среду, которой оно окружено, и после того как он заметил, что в первой из этих двух ветвей древние никогда не могли добиться прогресса от своего невежества в анатомии, он продолжает утверждать, что в отношении второй ветви они приобрели большой объем знаний: - "*Sur la physiologie des physiologie*".

"Что касается физиологии внешних влияний, то Греция времен Гиппократ и после него была театром больших, важных и поучительных опытов. Все население (свободное население - прим. пер.) было подчинено государственной системе физического воспитания (N. В. это слишком сильно сказано): в некоторых городах, например, в Лакедемоне, женщины не были освобождены от этого. Эта система состоит из упражнений и питания, сочетающих в себе, прежде всего, эмпиризм и более глубокую теорию: *il concernoit (comme dit Hippocrate lui-même, en ne parlant, il est vrai, que de la partie alimentaire), il concernoit et les malades pour leur rétablissement, et les gens bien portans pour la conservation de leur santé, et les personnes livrées aux exercices gymnastiques pour l'accroissement de leurs forces*. Мы знаем только то, что необходимо для сохранения тела в хорошем состоянии или для борьбы с болезнью, для того чтобы стать военным или стать атлетом, в частности, для боксера, курьера, саутера, драчуна. Один класс мужчин, мастера гимнастики, были исключительно привержены культуре этого искусства, в котором участвовали врачи в рамках своей профессии, и Гиппократ, который в своих "Афоризмах", ссылаясь на пример атлетов, мы говорим в "Трактате об артикуляции", что у людей крупного телосложения, которые не были амаигрированы в результате правильной процедуры этого искусства, стулья были мягкими. Старинные врачи умели, как мы видим, проводить амаигрирование в соответствии с искусством и распознавать его последствия, если амаигрирование было неправильным: все, что касается наших врачей, они иностранцы, и мы не найдем аналога *среди* англичан. В остальном этот ансамбль эмпирических и теоретических знаний должен быть отнесен к числу тех фатальных потерь, которые сопровождали долгий и турбулентный переход от старого мира к современному. Восхитительные учреждения, предназначенные в древности для развития и поддержания тела, исчезли: общественная гигиена лишена всякого научного и общего руководства и заброшена на произвол судьбы".

См. также замечания Платона по поводу Иродика, *De Republicâ*, iii, p. 406; Aristotel. *Politic.* iii, 11, 6; iv, 1, 1; viii, 4, 1.

[730] Valerius Maxim. viii, 15, xv, 1; Jamblichus, *Vit. Pyth.* c. 45; Timæus, *Fragm.* 78, ed. Didot.

[731] Porphyry, *Vit. Pythag.* c. 21-54; Jamblich. 33-35, 166.

[732] Компиляции Порфирия и Ямблиха о жизни Пифагора, скопированные с самых разных авторов, несомненно, содержат некоторую правду среди путаницы утверждений, многие из которых невероятны и почти все не подтверждены. Но очень трудно выделить, в чем же на самом деле заключаются эти частицы истины. Даже Аристоксен и Дикеарх, лучшие авторы, которых цитируют эти биографы, жили почти через два столетия после смерти Пифагора и, похоже, не имели ни ранних памятников, с которыми можно было бы посоветоваться, ни лучших информаторов, чем современные пифагорейцы, - последние из угасающей секты и,

вероятно, одни из самых выдающихся по интеллекту, поскольку философы сократической школы в ее различных ответвлениях увлекли за собой острых и честолубивых молодых людей того времени.

Мейнерс в своей "Geschichte der Wissenschaften" (vol. i, b. iii, p. 191, seq.) дал тщательный анализ различных авторов, у которых оба биографа делали заимствования, и сравнительную оценку их достоверности. Это прекрасное произведение исторической критики, хотя автор преувеличивает как заслуги, так и влияние первых пифагорейцев: Кисслинг в примечаниях к своему изданию Ямблиха приводит некоторые выдержки из него, но ни в коем случае не достаточно, чтобы обойтись без ознакомления с оригиналом. Я думаю, что Майнерс в целом слишком доверяет Аристоксену (см. с. 214) и делает слишком мало вычетов из различных историй, которым трудно поверить и источником которых является Аристоксен: конечно, последний не мог предоставить лучшего материала, чем тот, который он слышал от своих собственных свидетелей. Там, где суждения Мейнерса более суровы, они также лучше подтверждаются, особенно в отношении самого Порфирия и его ученого Ямблиха. Эти поздние пифагорейские философы, похоже, установили в качестве формального канона достоверности то, что многие религиозные люди древности делали из простого бессознательного чувства и страха нанести оскорбление богам, - что *не верить любой истории*, рассказанной о богах, где вводится божественная власть, было *неправильно*: никто не мог сказать, что это *может быть правдой*: отрицать ее истинность означало ставить границы божественному всемогуществу. Поэтому они без труда верили в то, что рассказывали об Аристее, Абарисе и других выдающихся субъектах мифов (Jamblichus, Vit. Pyth. с. 138-148)-καὶ τοῦτό γε πάντες οἱ Πυθαγόρειοι ὁμῶς ἔχουσι πιστευτικῶς, οἷον περὶ Ἀρισταίου καὶ Ἀβάριδος τὰ μυθολογούμενα καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα λέγεται τῶν τοιούτων δὲ τῶν δοκούντων μυθικῶν ἀπομνημονεύουσιν, ὥς οὐδὲν ἀπιστοῦντες ὅτι ἂν εἰς τὸ θεῖον ἀναγῆται. Также не менее формально изложено в Jamblichus, Adhortatio ad Philosophiam, как четвертый Symbolum, p. 324, ed. Kiessling. Περί θεῶν μηδὲν θαυμαστὸν ἀπιστεῖ, μηδὲ περὶ θεῶν δογμάτων. Исходя из их принципов, это было последовательным следствием; но это помогает нам оценить их ценность как отборщиков и дискриминаторов счетов в отношении Пифагора. Экстравагантные комплименты, которые император Юлиан делает в своих письмах Ямблиху, не могут служить достаточным основанием для авторитета последнего как критика и свидетеля: см. Epistolæ 34, 40, 41, в издании писем Юлиана, подготовленном Хейлером.

[733] Aulus Gell. N. A. iv, 11. Аполлоний (ap. Jamblich. с. 262) упоминает τὰ ὑπομνήματα τῶν Κροτωνιάτῶν: какова их дата, мы не знаем, но нет оснований считать их более ранними, чем Аристоксен.

[734] Thucyd. viii, 54. τὰς συνωμοσίας, αἵπερ ἐτύγχανον πρότερον οὔσαι ἐν τῇ πόλει ἐπὶ δίκαις καὶ ἀρχαῖς, ἀπάσας ἐπελθὼν, etc.

Об этом важном отрывке, в котором Фукидид отмечает политические клубы Афин как клятвенные общества, - многочисленные, известные и эффективные, - я расскажу далее на одном из последующих этапов истории. У д-ра Арнольда есть хорошее примечание к этому отрывку.

[735] Justin, xx, 4. "Sed trecenti ex juvenibus cum sodalities juris sacramento quodam nexi, separatam a ceteris civibus vitam exercebant, quasi cœtum clandestinæ conjurationis haberent, civitatem in se converterunt."

Сравните Diogen. Laërt. viii, 3; Apollonius ap. Jamblich. с. 254; Порфирий, Vit. Pyth. с. 33.

История о преданной привязанности двух пифагорейцев Дамона и Финтия, по-видимому, очень хорошо засвидетельствована: Аристоксен слышал ее из уст младшего Дионисия-деспота, чей приговор вызвал такое проявление дружбы (Porphyry, Vit. Pyth. c. 59-62, Cicero, De Officiis, iii, 10; и Davis ad Cicero, Tusc. Disp. v, 22).

[736] Plutarch, Philosoph. cum Principib. c. i, p. 777. ἄνδ' ἄρχοντος ἀνδρὸς καὶ πολιτικοῦ καὶ πρακτικοῦ καθάψεται (ὁ φιλόσοφος) καὶ τοῦτον ἀναπλήσῃ καλοκαγαθίας, πολλοὺς δι' ἐνὸς ὠφέλησεν, ὡς Πυθαγόρας τοῖς πρωτεύουσι τῶν Ἰταλιωτῶν συγγενόμενος.

[737] Я привожу здесь резюме, данное Крише в конце его "Диссертации о пифагорейском порядке", стр. 101: "Societatis scopus fuit mere politicus, ut lapsam optimatum potestatem non modo in pristinum restitueret, sed firmaret amplificaretque: cum summo hoc scopo duo conjuncti fuerunt; moralis alter, alter ad literas spectans. Discipulos suos bonos probosque homines reddere voluit Pythagoras, et ut civitatem moderantes potestate suâ non abuterentur ad plebem opprimendam; et ut plebs, intelligens suis commodis consuli, conditione suâ contenta esset. Quoniam vero bonum sapiensque moderamen nisi a prudente literisque exculpto viro exspectari (non) licet, philosophiæ studium necessarium duxit Samius iis, qui ad civitatis clavum tenendum se accingerent."

Таково общее мнение (в значительной степени совпадающее с мнением О. Мюллера, - Dorians, iii, 9, 16), высказанное автором, который тщательно и тщательно изучил все доказательства. По некоторым важным пунктам она отличается от того представления, которое я имею о первобытном мастере и его современных братьях. В ней отсутствует религиозное возвышение, которое, как я полагаю, стояло на первом месте среди средств, а также среди преднамеренных целей Пифагора, и излагается реформаторская политическая схема, непосредственно задуманная им, чему нет никаких доказательств. Хотя политическое возвышение ранних пифагорейцев является наиболее заметной чертой их ранней истории, его не следует рассматривать как проявление какой-либо особой или устоявшейся политической идеи, - это скорее результат их положения и средств объединения. Риттер замечает, на мой взгляд, более справедливо: "Мы не должны верить, что мистерии пифагорейского ордена носили просто политический характер: наиболее вероятные свидетельства дают нам основания считать, что его центральным пунктом было мистическое религиозное учение" (Geschicht. der Philosophie, b. iv, ch. i, vol. i, pp. 365-368:) Сравните Hoeck. Kreta, vol. iii, p. 223.

Крише (стр. 32), а также Бёкх (Philolaus, pp. 39-42) и О. Мюллер уподобляют пифагорейскую жизнь дорийским или спартанским привычкам и называют пифагорейскую философию выражением греческого доризма, в противоположность ионийцам и ионической философии. Признаюсь, я не вижу между ними никакой аналогии ни в действиях, ни в рассуждениях. Спартанцы полностью отличаются от других дорийцев; и даже спартанские привычки жизни, хотя и имеют некоторые точки сходства с телесной подготовкой пифагорейцев, демонстрируют еще более важные точки различия, в отношении религиозной особенности и мистицизма, а также научного элемента, воплощенного с ним. И пифагорейская, и элеатская философия в равной степени противостояли ионической, но ни одна из них никак не связана с дорийскими тенденциями. Ни Элея, ни Кротон не были дорийскими городами; более того, Ксенофан, как и Пифагор, были ионийцами.

Общие утверждения об ионической подвижности и непостоянстве, противопоставляемые дорийскому постоянству и устойчивости, не подтверждаются изучением фактов. Доризм Пифагора представляется мне полной фантазией. О. Мюллер даже превращает Кротон в дорийский город, вопреки всем доказательствам.

[738] Niebuhr, Römisch. Gesch. i, p. 165, 2nd edit.; O. Müller, Hist of Dorians, iii, 9, 16: Krische выступает против этой идеи, sect. v, p. 84.

[739] Varro ap. Augustin. de Ordine, ii, 30; Krische, p. 77.

[740] Apollonius ap. Jamblichum, V. P. с. 254, 255, 256, 257. ἡγεμόνες δὲ ἐγένοντο τῆς διαφορᾶς οἱ ταῖς συγγενείαις καὶ ταῖς οἰκειότησιν ἐγγύτατα καθεστηκότες τῶν Πυθαγορείων. Αἴτιον δ' ἦν, ὅτι τὰ μὲν πολλὰ αὐτοὺς ἐλύπει τῶν πραττομένων, etc.: сравните также строки, описывающие Пифагора, с. 259. Τοὺς μὲν ἐταίρους ἦγεν ἴσους μακάρεσσι θεοῖσι. Τοὺς δ' ἄλλους ἡγεῖτ' οὗτ' ἐν λόγῳ, ἐν ἀριθμῷ.

То, что этот Аполлоний, упоминаемый Ямблихом и Порфирием, является Аполлонием Тианским, было признано вероятным Майнерсом (Gesch. der Wissensch. v. i, pp. 239-245): ср. Welcker, Prolegomena ad Theognid. pp. xlv, xlvi.

Читая жизнь Аполлония у Филострата, мы видим, что первый сам был чрезвычайно общителен: поэтому он мог быть более расположен думать, что уединение и замкнутость Пифагора были недостатком, и приписывать ему многие беды, которые впоследствии постигли орден.

[741] Шлейермахер замечает, что "философия пифагорейцев была связана с политическими целями, а их школа - с практическим братским партнерством, подобного которому не было ни в одном другом случае в Греции". (Введение к его переводу Платона, стр. 12.) См. также Theopompus, Fr. 68, ed. Didot, apud Athenæum, v, p. 213, и Euripidês, Mêdêa, 294.

[742] Ксенофонт, Memorab. i, 2, 12; Æschines, cont. Timarch. с. 34. ὑμεῖς, ὦ Ἀθηναῖοι, Σωκράτην μὲν τὸν σοφιστὴν ἀπεκτείνετε, ὅτι Κριτίαν ἐφάνη πεπαιδευκῶς, ἕνα τῶν τριάκοντα.

[743] Это утверждается в Jamblichus, с. 255; однако в это трудно поверить, так как если бы это было так, то уничтожение пифагорейцев, естественно, привело бы к выделению и постоянному занятию сибаритской территории, чего, конечно, не произошло, так как Сибарис оставался без постоянных владельцев до основания Фурий.

[744] Ямблих, с. 255-259; Порфирий, с. 54-57; Диоген. Laërt. viii, 39; Diodor. x, Fragm. vol. iv, p. 56, Wess.

[745] Polyb. ii, 39; Plutarch, De Genio Socratis, с. 13, p. 583; Aristoxenus, ap. Jamblich. с. 250. То, что враги ордена напали на него, поджегши дом, в котором собрались его члены, - это обстоятельство, в котором сходятся все рассказы. По всем остальным пунктам имеются большие расхождения, особенно в отношении имен и дат, когда пифагорейцы спаслись: Боэций (Philolaus, p. 9, seq.) и Брандис (Handbuch der Gesch. Philos. ch. lxxiii, p. 432) пытаются примирить эти расхождения.

Аристофан представляет Стрепсиадеса в конце "Нубов" как поджигателя дома собраний (φροντιστήριον) Сократеса и его учеников, возможно, пифагорейский пожар навел на эту мысль.

[746] "Pythagoras Samius suspicione dominatûs injustâ vivus in fano concrematus est." (Arnobius adv. Gentes, lib. i, p. 23, ed. Elmenhorst.)

[747] Цицерон, De Finib. v, 2 (который, кажется, копировал у Дикеарха: см. Fuhr. ad Dikæarchi Fragment. p. 55); Юстин, xx, 4; Диоген. Laërt. viii, 40; Jamblichus, V. P. с. 249.

О. Мюллер говорит (Dorians, iii, 9, 16), что "влияние Пифагорейской лиги на управление италийскими государствами было самым благотворным и продолжалось в течение многих поколений после распада самой лиги".

Первое из этих двух утверждений не может быть подтверждено и зависит только от заявлений более поздних энкомистов, которые даже предоставляют материалы, противоречащие их собственному общему мнению. Суждение Велькера о влиянии пифагорейцев, гораздо менее благоприятное, в то же время более вероятное. (Præfat. ad Theognid. p. xlv.)

Второе из этих двух утверждений представляется мне совершенно неверным; влияние пифагорейского ордена на правительство Магна-Греции полностью прекратилось, насколько мы можем судить. Отдельный пифагореец вроде Архитаса мог получить влияние, но это не влияние ордена. О. Мюллеру также не следует говорить о том, что италийские греки отказались от дорийских обычаев и приняли ахейское правление. Ничто не доказывает, что в Кротоне когда-либо существовали дорийские обычаи.

[748] Aristotel. de Cælo, ii, 13. οἱ περὶ τὴν Ἰταλίαν, καλούμενοι δὲ Πυθαγορεῖοι. "Italici philosophi quondam nominati." (Cicero, De Senect. c. 21.)

[749] Хейн относит дату битвы при Сагре к 560 г. до н. э.; но это очень неопределенно. См. его Opuscula, vol. ii, Prolus. ii, pp. 53, и Prolus. x, p. 184. См. также Юстин, xx, 3, и Страбон, vi, pp. 261-263. Как видно, последний считает, что битва при Сагре произошла после разрушения Сибариса Кротониатами; ведь он дважды утверждает, что Кротониаты потеряли столько граждан при Сагре, что город недолго пережил столь страшный удар: поэтому он не мог предположить, что полный триумф Кротониатов над великим Сибарисом был одержан после этого.

[750] См. выше, т. iii, гл. xxii.

[751] Diodor. xii, 9. Геродот называет Телиса в одном месте βασιλῆα, в другом τύραννον Сибариса (v, 44): это не противоречит рассказу Диодора.

Рассказ Афиней из Гераклида Понтийского о низвержении владычества Телиса не может быть согласован ни с Геродотом, ни с Диодором (Athenæus, xii, p. 522). Д-р Тирлуолл полагает, что низложение Телиса произошло между поражением при Трае и взятием Сибариса; но это не согласуется с заявлением Ираклидеса и не подтверждается никакими другими доказательствами.

[752] Herodot. v, 47.

[753] Diodor. xii, 9; Strabo, vi, p. 263; Jamblichus, Vit. Pythag. c. 260; Skymn. Chi. v, 340.

[754] Herodot. v, 44.

[755] Diodor. xii, 9, 10; Strabo, vi, p. 263.

[756] Herodot. vi, 21; Strabo, vi, p. 253.

[757] Herodot. v, 45; Diodor. xii, 9, 10; Strabo, vi, p. 263. Страбон прямо упоминает о повороте реки с целью овладения городом, -ἐλόντες γὰρ τὴν πόλιν ἐπήγαγον τὸν ποταμὸν καὶ κατέκλυσαν. Именно к этому изменению русла реки я отношу выражение у Геродота, -τέμενός τε καὶ νηὸν ἔοντα παρὰ τὸν ξηρὸν Κρᾶθιν. Естественно, что старое заброшенное русло реки называлось "сухим Кратисом": если же предположить, что здесь было только одно русло, то выражение

не имеет соответствующего смысла. Ибо я не думаю, что кто-то может быть удовлетворен объяснением Бэра "Vocatur Crathis hoc loco ξηρὸς *siccus*, ut qui hieme fluit, æstatis vero tempore exsiccatus est: quod adhuc in multis Italiæ inferioris fluviis observant." Я сомневаюсь, что это действительно так в отношении реки Кратис (см. мой предыдущий том, гл. xxii), но даже если бы это было так, эпитет в смысле Бэра не имеет особого значения для цели, которую преследует Геродот, который просто хочет описать место храма, возведенного Дориеем. "Возле Кратиса" или "возле сухого Кратиса" были бы эквивалентными выражениями, если бы мы приняли конструкцию Бэра; тогда как сказать "возле пустынного русла Кратиса" было бы хорошим местным обозначением.

[758] Herodot. vi, 21.

[759] Herodot. v, 45.

[760] Herodot. v, 45. Τοῦτο δὲ, αὐτοῦ Δωριέος τὸν θάνατον μαρτύριον μέγιστον ποιεῦνται (Συβαρίται), ὅτι παρὰ τὰ μεμαντευμένα ποιεῶν διεφθάρη. Εἰ γὰρ δὴ μὴ παρέπρηξε μηδὲν, ἐπ' ᾧ δὲ ἐστάλη ἐποίησε, εἴλε ἄν τὴν Ἑρικήν τινος χώραν καὶ ἐλὼν κάτεσχε, οὐδ' ἂν αὐτός τε καὶ ἡ στρατιὴ διεφθάρη.

[761] Polyb. ii, 39. Хейн считает, что соглашение, о котором здесь упоминает Полибий, имело место Olymp. 80, 3; или, действительно, после заселения сибаритской территории основанием Фурий (Opuscula, vol. ii; Prolus. x, p. 189). Но очень трудно представить, что бурные волнения, которые, согласно Полибию, были утихомирены только этим соглашением, могли длиться так долго, как полвека; принятая дата свержения пифагорейцев - около 504 г. до н. э.

[762] Aristot. Хейн помещает Харондаса намного раньше основания Фурий, в чем, я думаю, он, несомненно, прав: но без более точного определения даты (Opuscul. vol. ii; Prolus. ix, p. 160) Харондас, несомненно, должен был быть раньше Анаксила Рогийского и великих сицилийских деспотов, что помещает его выше 500 г. до н. э.: но я не знаю, можно ли найти более точную отметку времени.

[763] Diodorus, xii, 35; Stobæus, Serm. xlv, 20-40; Cicero de Legg. ii, 6. См. K. F. Hermann, Lehrbuch der Griech. Staatsalterthümer, ch. 89; Heyne, Opuscul. vol. ii, pp. 72-164. Брандис (Geschichte der Röm. Philosophie, ch. xxvi, p. 102), похоже, считает эти прологи подлинными.

Ошибки и путаница, допущенные древними авторами в отношении этих законоучителей - даже авторами более ранними, чем Аристотель (Politic. ii, 9, 5) - таковы, что мы не имеем возможности их устранить.

Сенека (Epist. 90) называет и Залеукуса, и Харондаса учениками Пифагора. В то, что первый был таковым, верить не приходится; но не исключено, что и второй мог быть таковым, - или, по крайней мере, что он мог быть спутником самых первых пифагорейцев.

[764] Aristot. Politic. ii, 9, 8. Χαρώνδου δ' ἴδιον μὲν οὐδὲν ἐστὶ πλὴν αἱ δίκαι τῶν ψευδομαρτύρων-πρῶτος γὰρ ἐποίησε τὴν ἐπίσκηψιν- τῇ δ' ἀκριβεῖα τῶν νόμων ἐστὶ γλαφυρώτερος καὶ τῶν νόμων νομοθετῶν. Для полноты и точности предсказаний в отношении Харондаса в последней части этого отрывка, я ссылаюсь на другой отрывок в Politic. iv, 10, 6, который не следует толковать так, будто он означает, что Харондас ввел штрафы для богатых и бедных, имея в виду ту политическую хитрость (косвенное устранение бедных от общественных обязанностей), о которой только что говорил Аристотель, - но просто означает, что Харондас был аккуратен и поминутно вводил денежные штрафы вообще, имея в виду богатство или бедность осужденного.

[765] **Πρῶτος** γὰρ ἐποίησε τὴν ἐπίσκηψιν (Aristot. Politic. ii, 9, 8). См. Harpokration, v. Ἐπεσκήψατο, и Pollux, viii, 33; Demosthenês cont. Stephanum, ii, с. 5; cont. Euerg. et Mnêsibul. с. 1. Слово ἐπίσκηψις несет в себе торжественный смысл, о котором говорится в тексте, и, по-видимому, использовалось специально в отношении иска или обвинения против лжесвидетелей: это обвинение разрешалось предъявлять с меньшим риском или затратами для обвинителя, чем большинство других в аттических дикастериях (Dêmosth. cont. Euerg. et Mn. l. с.).

Примечание транскриптора

- Изображение обложки книги было создано транскриптором и является общественным достоянием.
- Сноски были перенумерованы и перенесены в конец книги.
- Пустые страницы пропущены.
- Очевидные типографские ошибки были беззвучно исправлены после сравнения с более поздним изданием этой работы. Греческий текст также исправлен после сверки с этим более поздним изданием и с Персеем, когда была найдена ссылка.
- Оригинальная орфография, дефис и пунктуация сохранены, но варианты написания приведены в соответствие, если было обнаружено преобладающее употребление.
- Невзирая на это, не было предпринято никаких попыток нормализовать имена собственные. В начале первого тома этой работы автор установил некоторые правила транскрипции имен собственных, но ни он, ни его издатель не следуют им последовательно.